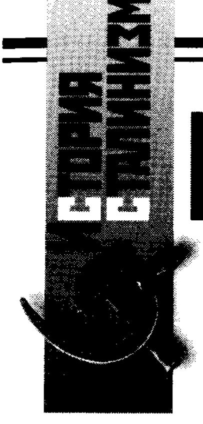
SHEILA FITZPATRICK

EVERYDAY STALINISM

Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s

New York Oxford
Oxford University Press
1999



ШЕЙЛА ФИЦПАТРИК

Повседневный сталинизм

Социальная история Советской России в 30-е годы: город





Москва
2008

УДК 929 (092)
ББК 63.3.92.06-28
Ф64

Фицпатрик Ш.
Ф64 **Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город** / Ш. Фицпатрик; [пер. с англ. Л. Ю. Пантина]. — 2-е изд.— М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. — 336 с. — (История сталинизма).

ISBN 978-5-8243-1009-2

Книга представляет собой исследование повседневного и чрезвычайного в сталинской России в 1930-е годы и их взаимодействия между собой. В ней описываются пути и способы, с помощью которых советские граждане пытались вести обычную жизнь в необычных условиях, созданных сталинизмом, а также рисуется портрет нарождающегося социального типа homo soveticus, для которого сталинизм был естественной средой обитания. Данная работа, в которой рассматривается городская жизнь, является логическим продолжением книги Ш.Фицпатрик «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» (М., 2001).

УДК 929 (092)
ББК 63.3.92.06-28

ISBN 978-5-8243-1009-2

Моим студентам и аспирантам

От автора

Эта книга создавалась долго — почти двадцать лет, если считать самый первый вариант, и десять лет — в ее настоящем виде. За это время за мной накопились интеллектуальные долги стольким людям, что я не в состоянии перечислить их всех. Здесь я приношу свою благодарность тем из них, кто принимал непосредственное участие в моей работе на ее последних стадиях.

Йорг Баберовски, Дитрих Байрау, Терри Мартин и Юрий Слезкин любезно прочли всю рукопись и сделали обстоятельные замечания, оказавшиеся исключительно полезными. Юрию я вдобавок крайне обязана за ответы на мои бесконечные послания по электронной почте с просьбами разъяснить те или иные русские обороты речи или эзотерические аспекты советской культуры. В области политических и полицейских вопросов такую же роль великодушно сыграл Дж. Арч Гетти. Джеймс Эндрюс, Стивен Биттнер, Джонатан Боун и Джошуа Сэнборн в разное время помогали мне в моих изысканиях. Майкл Данос читал все варианты рукописи, внося ценные предложения по ее редакции и помогая мне четче сформулировать свои мысли. Я должна также поблагодарить двух прекрасных редакторов из «Оксфорд-юниверсити-пресс»: Нэнси Лейн, моего старого друга, без неустанных многолетних уговоров и понуканий которой эта книга вряд ли была бы когда-нибудь написана, и Томаса Лебина, чья поддержка и добрые советы так облегчили мне работу на последних этапах.

С особым удовольствием выражаю свою благодарность замечательной когорте аспирантов Чикагского университета, которые писали или пишут диссертации, посвященные различным аспектам эпохи 30-х гг. в СССР: Гольфо Алексопулос, Джонатану Боуну, Майклу Дэвиду, Джеймсу Харрису, Джули Хесслер, Мэтью Линоу, Терри Мартину, Джону Маккеннону, Мэтью Пейну и Кирилу Томоффу. Я столь многому научилась, читая их работы и работая вместе с ними; в знак признательности за наше необычайно плодотворное и счастливое сотрудничество я посвящаю эту книгу моим бывшим и нынешним студентам и аспирантам. Много пользы я извлекла из совместной работы с бывшими и нынешними участниками Чикагского семинара по русским исследованиям:

Стивеном Биттнером, Кристофером Буртоном, Джули Гилмур, Николасом Глоссопом, Чарльзом Хектеном, Стивеном Харрисом, Джейн Ормрод, Эмили Пайл, Стивеном Ричмондом и Джошуа Сэнборном, — а также с моими бесценными коллегами Ричардом Хелли и Рональдом Суни.

Среди молодых ученых, чьи недавно вышедшие работы об эпохе 30-х гг. оказались особенно полезны для меня, следует также назвать Сару Дэвис, Йохена Хелльбека, Олега Хлевнюка, Стивена Коткина и Вадима Волкова.

Благодарю Фонд Джона Саймона Гуггенхейма, Фонд Джона Д. Макартура и Кэтрин Т. Макартур, IREX, Национальный совет по исследованию СССР и Восточной Европы, а также Техасский университет в Остине за поддержку моей работы на разных ее этапах. Также от всей души благодарю Чикагский университет, не только оказавший практическую помощь в подготовке издания моей книги на русском языке, но и создавший для научной деятельности наилучшие условия, какие только возможны.

ВВЕДЕНИЕ

В этой книге рассказывается о повседневной жизни простых, «маленьких» (в противоположность «большим») людей. Эта жизнь, как в их собственном понимании, так и в нашем, не была нормальной: для живущих в чрезвычайное время нормальное существование становится роскошью. Коренные сдвиги и тяготы 1930-х гг. уничтожили нормальный ход вещей, превратили его в нечто такое, к чему советские граждане могли только неустанно, но, как правило, безуспешно стремиться. Данная книга представляет собой исследование повседневного и чрезвычайного в сталинской России и их взаимодействия между собой. В ней описываются пути и способы, с помощью которых советские граждане пытались вести обычную жизнь в необычных условиях, созданных сталинизмом, а также рисуется портрет нарождающегося социального типа homo sovieticus, для которого сталинизм был естественной средой обитания[1].

Существует множество теорий насчет того, как надо писать историю повседневности. Некоторые подразумевают под «повседневностью» главным образом сферу частной жизни, охватывающую вопросы семьи, домашнего быта, воспитания детей, досуга, дружеских связей и круга общения. Другие в первую очередь рассматривают жизнь трудовую, те модели поведения и отношения, которые возникают на рабочем месте. Исследователи повседневности в условиях тоталитарных режимов часто сосредоточиваются на активном или пассивном сопротивлении режиму, и целый ряд работ о жизни крестьян ставит во главу угла «повседневное сопротивление», имея в виду те житейские способы, с помощью которых люди, находящиеся в зависимом положении, оказывают неповиновение хозяевам[2]. В этой книге, как и во многих последних исследованиях по истории повседневности, первостепенное внимание уделяется обиходной практике — т.е. тем формам поведения и стратегиям выживания и продвижения, которыми пользуются люди в специфических социально-политических условиях[3]. Но цель книги все же не в том, чтобы проиллюстрировать какую-либо из общих теорий повседневности. Она посвящена повседневности в чрезвычайное время.

Чрезвычайным описываемое время сделали революция 1917 г. и не менее разрушительные коренные сдвиги в жизни людей, вызванные принятым властью в конце 1920-х гг. курсом на форсированную индустриализацию и коллективизацию. То были годы массового перемещения социальных слоев, когда миллионы людей меняли род занятий и место жительства. Прежняя иерархия была низвергнута, прежние ценности дискредитированы. Новые ценности, включая осуждение религии как «предрассудка», ставили в тупик большинство представителей старшего поколения и казались им неприемлемыми, однако молодежь зачастую встречала их с пылким энтузиазмом. Было возвещено наступление героической эпохи борьбы за разрушение старого мира и создание нового мира и нового человека. Поставив себе целью произвести социальные, культурные и экономические преобразования, режим шел напролом и совершал в стране радикальнейшие перемены, нимало не считаясь с человеческими жертвами, презирая тех, кто желал остаться в стороне от революционной борьбы. Жесточайшая кара, несравнимая со всем тем, что было при старом режиме, обрушивалась на «врагов», а порой и наугад, на кого попало. Множество людей в новом обществе оказались заклеймены ярлыком «социально чуждых».

Все эти обстоятельства отчасти являлись подоплекой испытываемого советскими гражданами ощущения, что они не живут нормальной жизнью. Однако, высказывая подобные жалобы, они, как правило, имели в виду и нечто более конкретное. Самым из ряда вон выходящим аспектом советской городской жизни, с точки зрения самих горожан, было внезапное исчезновение в начале 1930-х гг. товаров с прилавков магазинов и наступление эры хронического дефицита. Не хватало абсолютно всего, в особенности основных продуктов питания, одежды, обуви, жилья. Это было связано с переходом в конце 1920-х гг. от рыночной экономики к централизованному государственному планированию. Кроме того, однако, причиной нехватки продовольствия в городах в начале 1930-х являлся голод, и какое-то время простые люди, так же как и политические лидеры, надеялись, что дефицит — явление временное. Но постепенно он стал казаться чем-то постоянным, неотъемлемой частью системы. В итоге и в самом деле создалось общество, построенное на дефиците со всеми его неизменными спутниками — трудностями, неудобствами, недовольством, огромными затратами времени граждан. У родившегося в 1930-е гг. вида homo sovieticus в городской среде обитания наиболее развито было умение разыскивать и добывать дефицитные товары.

Эта книга посвящена жизни российских городов в эпоху расцвета сталинизма. В ней рассказывается о переполненных коммуналках, о брошенных женах и уклоняющихся от уплаты алиментов мужьях, о нехватке продуктов и одежды, о бесконечных очередях. О том, как роптал народ из-за таких условий жизни и как реагировало на это правительство. О тенетах бюрократической во-

локиты, зачастую превращавших повседневную жизнь в кошмар, и способах, с помощью которых рядовые граждане пытались избегнуть их, в первую очередь о покровительстве вышестоящего начальства и распространившейся повсеместно системе личных связей, известной под названием «блат». В этой книге говорится о том, что значило иметь привилегии в сталинском обществе, а что значило быть одним из миллионов социальных отщепенцев. О полицейском надзоре, пронизывающем все общество, и вспышках террора, подобных Большому Террору, которые периодически повергали его в смятение.

Для homo sovieticus государство было вездесущим и играло центральную роль в его жизни. Во-первых, оно являлось официальным распределителем товаров и почти монопольным их производителем, так что даже черный рынок в основном оперировал государственной продукцией и в значительной степени опирался на государственные связи. Во-вторых, все горожане, будь то рабочий или машинистка, учитель или продавец в магазине, работали на государство: альтернативных работодателей практически не существовало. В-третьих, государство не уставало регулировать жизнь своих граждан, издавая и требуя бесконечное число различных документов и справок, без которых становились невозможными простейшие операции в повседневной жизни. Как признавали все, включая высших руководителей, советский бюрократический аппарат, незадолго до того сильно увеличенный, дабы иметь возможность решать целый ряд новых задач, и потому полный неопытных и некомпетентных работников, был неповоротливым, громоздким, неэффективным, нередко — продажным. Правовой процесс шел очень медленными темпами, и действия чиновников сверху донизу носили печать произвола и фаворитизма. Граждане сознавали, что отданы на милость чиновничества и властей; они бесконечно строили догадки о людях «наверху» и о том, какие сюрпризы те им готовят, но чувствовали себя бессильными как-то повлиять на них. Даже анекдоты, которые любили рассказывать советские люди, невзирая на опасность быть обвиненными в «антисоветских разговорах», как правило, касались не тещи, не сексуальных и даже не национальных тем, а бюрократов, коммунистической партии и НКВД.

Всеохватывающее влияние государства в жизни российского города 1930-х гг. побудило меня в данной книге определить повседневность как повседневные взаимодействия, в той или иной степени включающие участие государства. В применении к советским условиям такое определение заставляет в основном исключить из рассмотрения темы любви, дружбы, некоторые аспекты досуга и личного общения. Но при всем том круг рассматриваемых тем нельзя назвать узким, ибо он включает такие разнообразные предметы, как торговля, путешествия, празднества, анекдоты, поиски квартиры, получение образования, работы, продвижение по службе, приобретение связей и покровителей, вступление в брак и вос-

питание детей, жалобы и доносы, голосование и попытки избежать внимания органов.

Термин «сталинизм», употребленный в заглавии книги, требует некоторых пояснений. Под сталинизмом часто понимают определенную идеологию и/или политическую систему. Я использую здесь это слово для краткого обозначения целого комплекса институтов, структур, ритуалов, образующих в совокупности среду обитания homo sovieticus сталинской эпохи. Господство коммунистической партии, марксистско-ленинская идеология, буйно разросшаяся бюрократия, культы вождей, контроль государства над производством и распределением, социальное строительство, выдвижение рабочих, преследования «классовых врагов», полицейский надзор, террор и различные неформальные, личные сделки и договоренности, помогающие людям на всех уровнях защитить себя и добыть дефицитные блага, — вот что составляет сталинистскую среду. Кое-какие из перечисленных моментов существовали уже в 1920-е гг., но именно в 1930-е окончательно сформировался сталинизм как особая жизненная среда, в основных своих чертах просуществовавшая и всю послесталинскую эпоху вплоть до горбачевской перестройки 1980-х гг. В моем понимании понятия «сталинистский» и «советский» пересекаются, причем первое выражает максимальную степень и определяющий момент второго.

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

Наша история имеет четкую отправную точку: метаморфозы, произошедшие в повседневной жизни в России в конце 1920-х — начале 1930-х гг., после того как была отвергнута сравнительно умеренная и постепенная новая экономическая политика (нэп) и приняты решение о коллективизации и первый пятилетний план.

Для этого перехода был использован термин «сталинская революция», хорошо передающий его насильственный, разрушительный и утопический характер. Однако эта революция совершалась по инициативе государства, а не в результате народных движений, и не привела к смене политического руководства. По мысли Сталина, ее задачей было заложить экономический фундамент для строительства социализма, искореняя частное предпринимательство и используя государственное планирование в целях ускоренного экономического развития страны.

В городах были прикрыты частная торговля и частное предпринимательство. В рамках новой системы централизованного государственного экономического планирования государство взяло распределение товаров на себя, что было весьма смело, но плохо продумано. Планирование подавалось как героический акт подчинения неконтролируемых до тех пор экономических сил. Процесс планирования имел своей непосредственной целью проведение ускоренной индустриализации, особенно в слаборазвитых районах

страны, согласно первому пятилетнему плану (1929—1932 гг.). Этот план предусматривал крупные инвестиции в тяжелую промышленность и урезал расходы на производство товаров народного потребления, что влекло за собой снижение жизненного уровня всего населения.

Руководство питало надежду, что за индустриализацию в основном заплатят крестьяне; проводившаяся в годы первой пятилетки коллективизация сельского хозяйства и была призвана добиться такого результата, вынуждая крестьян смириться с низкими государственными ценами на их продукцию. Но эта надежда рухнула, и в итоге значительную часть бремени пришлось нести на своих плечах городскому населению. Коллективизация оказалась весьма дорогостоящим проектом. Были экспроприированы и сосланы в отдаленные районы страны несколько миллионов «кулаков». Еще несколько миллионов бежали в города. Все это привело к нехватке продовольствия, снабжению по карточкам, перенаселенности городов, а в 1932—1933 гг. — к голоду в большинстве крупнейших хлебородных районов страны. Голод был явлением временным, а вот дефицит продовольствия и всех видов потребительских товаров — нет. Марксисты ожидали, что социализм принесет изобилие, но в советских условиях социализм и дефицит оказались неразрывно связаны друг с другом.

В области политики, общественных отношений и культуры период первой пятилетки тоже явился своего рода водоразделом. Сталин и его сторонники разгромили последнюю открытую оппозицию в рядах советского коммунистического движения — левую оппозицию, исключив ее лидеров из партии в конце 1927 г. Несколько лет спустя без каких-либо открытых дискуссий была подавлена и более слабая правая оппозиция. В результате Сталин превратился не только в бесспорного лидера партии, но и в объект искусственно созданного культа, первым проявлением которого может считаться празднование пятидесятилетия вождя в 1929 г. Для проведения высылки кулаков и других карательных операций был неимоверно увеличен аппарат НКВД, и эти же годы отмечены возвратом к существовавшей при царизме практике административной ссылки и созданием империи Гулага.

Одной из основных примет периода первой пятилетки был изоляционизм. Как будто вернулось время гражданской войны 1918—1920 гг., когда молодое Советское государство оказалось в изоляции из-за враждебности всех крупных западных держав и собственной непримиримости. В годы нэпа, несмотря на государственную монополию на внешнюю торговлю, на которой настаивал Ленин, в некоторой степени возобновились культурные и экономические контакты с внешним миром и движение через границы Советского Союза оживилось. Военная истерия 1927 г. изменила атмосферу, и вскоре правительство решило ввести в стране «предмобилизационное положение», сохранявшееся на протяжении всех 30-х гг. С этого времени советские границы были почти закрыты

для перемещения людей и товаров, и СССР заявил о своем намерении добиться «экономической самостоятельности». На ближайшее время этот шаг случайно возымел положительный результат, оградив Советский Союз от Великой депрессии. Однако на более длительную перспективу он подготовил почву для возвращения к изоляции, продиктованной подозрительностью и местническими интересами, в какой-то степени напоминавшей состояние Московской Руси XVI столетия[4].

Возраставшая подозрительность по отношению к врагам за рубежом шла бок о бок с резкой вспышкой враждебности к «врагам народа» внутри страны: кулакам, священникам, представителям дореволюционного дворянства, бывшим капиталистам и прочим лицам, чье классовое происхождение, с точки зрения коммунистов, делало их естественными противниками советской власти. Впрочем, преследование классовых врагов уже имело к тому моменту свою историю. Конституция РСФСР 1918 г. лишила права голоса различные категории «нетрудовых элементов» — бывших эксплуататоров, и эти лишенцы были также существенно ограничены в других гражданских правах, в частности, их не допускали к высшему образованию и облагали чрезвычайным налогом. Несмотря на все старания партийного руководства во времена нэпа «не допустить разжигания классовой войны», рядовые коммунисты всегда предпочитали проводить политику резкой дискриминации «бывших» — представителей прежних привилегированных классов и наибольшего благоприятствования рабочим — новому «классу-диктатору». В годы первой пятилетки этим инстинктам была дана полная воля.

Еще одна примета того времени — беспорядочная «Культурная Революция», в ходе которой коммунисты избрали главной мишенью своей атаки представителей дореволюционной интеллигенции, получивших название «буржуазные специалисты». В годы нэпа Ленин и другие руководители страны утверждали, что государство нуждается в опыте этих специалистов, рекомендуя, однако, не оставлять их без бдительного присмотра коммунистов. Положение круто изменилось весной 1928 г., когда группу инженеров из Шахтинского района Донбасса обвинили во «вредительстве» (т.е. злонамеренном подрыве советской экономики) и преступных связях с иностранными капиталистами и разведывательными службами. Шахтинский процесс, первый в ряду ему подобных, дал сигнал, после которого прокатилась волна арестов среди инженеров и, в несколько меньшей степени, лиц некоторых других профессий[5].

Культурная Революция содержала в себе также элемент «выдвиженчества». Объявив о необходимости создать в СССР свою «рабоче-крестьянскую интеллигенцию», которая заменит «буржуазную интеллигенцию», оставшуюся от старого режима, Сталин начал проводить в жизнь широкомасштабную программу направления на учебу в вузы, особенно технические, рабочих, крестьян,

молодых коммунистов, чтобы подготовить их к занятию командных постов в новом обществе. Усиленная кампания по «пролетаризации» интеллигенции длилась всего несколько лет, но имела далеко идущие последствия. Созданные ею новые кадры чрезвычайно быстро сделали карьеру во время Большого Террора. Они не только составили основу различных профессиональных групп, например инженеров, но и образовали поразительно долговечную политическую элиту — «брежневское поколение», — пришедшую к власти перед самой войной и остававшуюся у кормила почти полвека.

Однако в те годы поднимались по административной лестнице не только будущие Брежневы. Множество полуграмотных мелких бюрократов, чьи невежество и чванство постоянно критиковала «Правда» и высмеивал «Крокодил», тоже были выдвиженцами. Почти вся советская бюрократия состояла из неопытных людей, не получивших должной подготовки. В некоторых отраслях, например в государственной торговле, не только отдельные работники, но даже целые учреждения проходили ускоренные курсы профессионального обучения.

В ряды рабочих, так же как и в ряды администраторов, хлынул поток необученных новобранцев. Только за период первой пятилетки более 10 млн крестьян переехали в город и стали наемными работниками. Массовая миграция породила жилищный кризис чудовищных масштабов. Этот вид дефицита тоже, подобно всем прочим, стал неотъемлемой чертой советского образа жизни; целые семьи десятки лет ютились в крошечных комнатах в коммуналках с общей кухней и ванной (если таковая имелась). Во время голода, когда поток мигрантов неизмеримо вырос, государство впервые после революции ввело внутренние паспорта и создало систему городской прописки. И тем, и другим ведало ОГПУ (предшественник НКВД), получившее новое средство контроля за перемещениями граждан, чрезвычайно осложнившее жизнь множеству людей.

В 1935 г. Сталин провозгласил: «Жить стало лучше, веселее». Это означало некоторые послабления, в которых кое-кто чересчур оптимистически усматривал частичное возвращение к духу нэпа. Основные политические инициативы первой пятилетки, такие как коллективизация, запрещение частного предпринимательства и частной торговли в городах, не претерпели никаких изменений, однако кое-какие второстепенные прорехи попытались залатать, и риторика несколько смягчилась. Были отменены карточки (преждевременно, по мнению некоторых рабочих, которым оказались недоступны новые «коммерческие» цены). «Буржуазная интеллигенция» была реабилитирована и осторожно подбиралась к привилегированному положению в обществе, где все больше дифференцировалась система материального поощрения. Новая «сталинская» Конституция СССР 1936 г. обещала советским гражданам

кучу гражданских прав, включая свободу собраний и свободу слова, однако на деле не предоставила ни одного из них.

В течение «трех хороших лет» (1934–1936 гг.) жизнь была легче, чем в годы первой пятилетки. Но это мало о чем говорит, если учесть, что непосредственно перед тем страна пережила голод и промышленный кризис. Первый «хороший» год еще омрачала тень недавнего голода, а третий, 1936-й, оказался таким неурожайным, что в городах выстроились длинные очереди за хлебом и стали распространяться панические слухи о новом голоде. В народной памяти, судя по всему, из всего десятилетия 1930-х гг. только 1937-й (по иронии судьбы, ставший первым годом Большого Террора) сохранился как по-настоящему хороший: тогда собрали лучший урожай за десять лет, и продуктов в магазинах было в избытке.

Существовали проблемы и в сфере политики. В конце 1934 г., как раз перед отменой карточек и провозглашением лозунга «Жить стало лучше», был убит ленинградский партийный лидер С.М.Киров. Это — самое громкое политические преступление того десятилетия в СССР. В американской истории с ним можно сравнить убийство президента Джона Кеннеди в 1963 г. Хотя существование заговора так и не было доказано и вполне возможно, что убийство совершил озлобленный одиночка, многие верили (и продолжают верить) в заговор. Сталин указывал на бывших лидеров левой оппозиции, Л.Каменева и Г.Зиновьева, которых дважды судили за соучастие и приговорили к смерти на втором процессе в августе 1936 г. Другие указывали на Сталина.

Террор — т.е. внеправовое государственное насилие в отношении групп и отдельных произвольно выбранных граждан — применялся столь часто, что его следует рассматривать как системную характеристику сталинизма 1930-х гг. В начале десятилетия его жертвами становились кулаки, священники, нэпманы, после смерти Кирова — «бывшие». Самым впечатляющим его проявлением стал Большой Террор 1937–1938 гг., о котором будет подробно рассказано в последней главе. В количественном отношении размах его не слишком отличался от масштабов репрессий, обрушившихся на кулаков при «раскулачивании»[6]. Однако существенной отличительной чертой Большого Террора, по крайней мере в отношении городского населения, стало то, что от него в громадной степени пострадала верхушка, в том числе коммунистическая. Кроме того, в выборе жертв в этот период силен был элемент случайности. Кто угодно мог быть объявлен «врагом народа»: подобно ведьмам в далеком прошлом, враги были лишены внешних отличительных признаков.

Свой вклад в развитие динамики Большого Террора внес страх перед внешними врагами, характерный для Советского Союза на протяжении 1920-х и 1930-х гг., в том числе и в те периоды, когда, по мнению иностранных наблюдателей, никакой сколько-нибудь значительной реальной угрозы не существовало; примером может служить дело маршала Тухачевского и других военачальников (обвиненных в том, что они германские шпионы), так же как признания обвиняемых на показательных процессах 1937 и 1938 гг., заявлявших, что в своей антисоветской деятельности они сотрудничали с иностранными разведками, в частности германской и японской.

На смену когорте старых коммунистических лидеров и администраторов, уничтоженной Большим Террором, пришло поколение новых кадров, по большей части созданных выдвиженческими программами начала десятилетия. Каковы бы ни были их заслуги впоследствии[7], в конце 1930-х гг. они представляли собой неопытных новичков, изо всех сил пытающихся восстановить экономическую и административную систему, подорванную Большим Террором. Война, которой так давно боялись, теперь действительно была не за горами, но в Красной Армии царила неразбериха, не только из-за потерь, понесенных ею в результате репрессий, но и потому, что она находилась в процессе ускоренного пополнения и преобразования из территориальной армии в регулярную[8].

Заслуживает внимания еще один политический сдвиг конца 1930-х гг., оказавший большое влияние на повседневную жизнь: укрепление трудовой дисциплины посредством законов 1938 и 1940 гг., ужесточавших наказания за прогулы и опоздания на работу. Хотя с 1932 г. уже имелся довольно жесткий закон о трудовой дисциплине, он чаще нарушался, чем соблюдался. Новые законы были суровее; так, закон 1940 г. предусматривал увольнение и штраф за опоздание рабочего или служащего на работу на 20 минут. Учитывая ненадежность общественного транспорта, не говоря уже о советских часах и будильниках, это положение ставило под удар любого работающего человека и вызывало сильное возмущение среди городского населения. После острого продовольственного дефицита и резкого падения жизненного уровня в начале десятилетия законы о трудовой дисциплине, пожалуй, оказали на жизнь рядовых рабочих и служащих большее негативное влияние, чем что бы то ни было еще, включая Большой Террор.

МИФЫ

Люди осмысливают и сохраняют в памяти свою жизнь с помощью мифов. Эти мифы обобщают разрозненные факты обычной жизни, создают некий контекст, своего рода модель, показывающую, откуда пришел человек и куда он идет. Теоретически мифов может быть столько, насколько хватит человеческого воображения, однако на практике их количество вовсе не так велико. В сознании большинства людей укореняются мифы, общераспространенные в данном обществе в конкретный отрезок времени. Цель этого раздела — познакомить читателя с некоторыми из таких расхожих мифов, с помощью которых советские граждане осмысливали свою личную и общественную жизнь.

В Советском Союзе 1930-х гг. режим был крайне заинтересован в создании подобных мифов. Эту функцию выполняли агитация и пропаганда — один из основных видов деятельности коммунистической партии. Для данной книги, однако, не столь важно происхождение мифа, важнее то, что он говорит о прошлом, настоящем и будущем, о связи между ними. Один из наиболее широко распространенных в 1930-е гг. мифов можно назвать мифом о «светлом будущем» (пользуясь заглавием книги А.Зиновьева[9]). Суть его в том, что настоящее должно быть подчинено строительству будущего, социализма. Награда придет потом.

Согласно мифу о «светлом будущем», советский народ, вооруженный знанием исторических законов, выведенных Марксом, мог быть уверен, что награда *будет*. В ходе Октябрьской революции 1917 г. пролетариат во главе с большевиками сверг эксплуататоров-капиталистов, сосредоточивших все богатства в руках меньшинства и обрекших большинство на нужду и лишения. Конечная цель пролетарской революции — социализм. Это предначертание и осуществлялось в 1930-е гг., как показывали индустриализация и уничтожение мелкого капиталистического предпринимательства, призванные заложить экономический фундамент социализма. С отменой эксплуатации и привилегий, ростом производства и производительности социализм обязательно принесет изобилие, и уровень жизни повысится. Следовательно, светлое будущее обеспечено.

Эта уверенность в будущем должна была обусловливать понимание настоящего. Человек несведущий может видеть в жизни советских людей только трудности и нищету, не понимая, что временные жертвы необходимы для построения социализма. От писателей и художников требовали показывать жизнь, какой она станет, а не какова она есть, т.е. пользоваться методом «социалистического реализма» вместо реализма буквального, «натуралистического». Но социалистический реализм был не просто художественным стилем — он был чертой менталитета сталинизма. Рядовые граждане тоже развивали в себе способность видеть вещи не такими, какие они есть, а какими они должны стать и станут. Зияющая яма — это строящийся канал; заросший сорняками, захламленный пустырь на месте снесенного дома или церкви — будущий парк[10].

«Социалистический реализм» в его крайних формах трудно отличить от откровенного обмана — создания «потемкинских деревень», скрывающих пустоту за своим фасадом. Например, во время голода газеты рассказывали о счастливых процветающих колхозах, где веселые крестьяне по вечерам собираются за накрытым столом, пляшут и поют под гармошку[11].

Другой миф, усиленно пропагандировавшийся режимом и воспринятый многими гражданами, можно назвать — «Долой отсталость». Согласно этому мифу, рисовавшему настоящее в его связи

с прошлым, а не с будущим, Советскому Союзу приходилось преодолевать отсталость, унаследованную от царской России. Советский словарь 1938 года издания определял отсталость как «недостаток развития» и приводил такой пример употребления данного слова: «Великая Октябрьская социалистическая революция ликвидировала вековую отсталость нашей страны»[12]. Утверждение чересчур оптимистичное: в 1930-е гг. «ликвидация отсталости» еще шла полным ходом.

Отсталость Российской империи (как ее понимали в 30-е гг.) охватывала различные сферы. Экономическую: в стране поздно началась индустриализация и преобладало технически примитивное сельское хозяйство. Военную: Россия потерпела унизительные поражения в Крымской войне 1850-х гг., русско-японской войне 1904—1905 гг. и Первой мировой войне. Социальную: граждане разделялись на сословия, как в Западной Европе в средние века, а крепостное право отменили лишь в 1861 г. Наконец, культурную: в сравнении с Западной Европой уровень грамотности и образованности населения России был низок. Итак, Советский Союз преодолевал отсталость, проводя индустриализацию и модернизацию сельского хозяйства. Индустриализация, особенно развитие оборонной промышленности, создавала основу для военной модернизации. Страна энергично добивалась всеобщей грамотности и всеобщего семилетнего обучения. Ее граждане больше не разделялись на сословия, и Конституция 1936 г. гарантировала им равные права.

Для мифа «Долой отсталость» очень важным являлся контраст между «тогда» и «теперь». *Тогда* у детей рабочих и крестьян не было шансов получить образование; *теперь* они могут стать инженерами. *Тогда* крестьян эксплуатировали помещики; *теперь* помещиков нет, а крестьяне сообща владеют землей. *Тогда* рабочих притесняли хозяева; *теперь* рабочие сами стали хозяевами. *Тогда* народ морочили попы и одурманивал религиозный опиум; *теперь* наука и просвещение открывают ему глаза.

Отсталость представляла собой проблему для Советского Союза в целом, но при этом в одних регионах она явно была сильнее, чем в других. СССР был многонациональным государством, и «дружба народов», связывавшая различные этнические группы в его пределах, зачастую изображалась как отношения младших братьев со старшим — Советской Россией, обучающей их и ведущей за собой. Мусульмане советской Средней Азии и оленеводческие «малые народы» Севера, считавшиеся самыми отсталыми, служили типичными объектами советской цивилизующей миссии, несущей им русские коммунистические идеи[13]. Отсталость определялась не только национальностью. Крестьяне были отсталыми в сравнении с рабочими, женщины в целом — в сравнении с мужчинами. Советская цивилизующая миссия состояла в

том, чтобы повысить культурный уровень всех этих отсталых групп.

Последний из мифов, укоренившихся в советском мышлении, можно озаглавить словами популярной песни — «Если завтра война». В 1930-е гг. об этой угрозе ни на минуту не забывали ни простые люди, ни политические лидеры. Боязнь новой войны основывалась как на пережитом опыте, так и на идеологии. Опыт включал войну с Японией в 1904—1905 гг., Первую мировую войну (которая была прервана революцией и поэтому в народном сознании так и осталась как бы незаконченной) и гражданскую войну, во время которой многие иностранные державы поддержали белых своей интервенцией. Идеологическая предпосылка состояла в том, что капиталистические нации, окружающие Советский Союз, никогда не смирятся с существованием первого и единственного в мире социалистического государства. Капитализм и социализм представляют собой в корне противоположные принципы, которые не могут мирно сосуществовать. Капиталисты постараются нанести СССР военное поражение, как только представится удобный случай, подобно тому, как они пытались сделать это в гражданскую войну.

Таким образом, война — самый вероятный, пожалуй, даже неизбежный исход, последнее испытание прочности советского общества и преданности его граждан. Настоящее в таких условиях рисовалось всего лишь передышкой «перед началом новой борьбы с капитализмом»[14]. Вынесет ли Советский Союз этот «последний, решительный бой» (слова из «Интернационала», известные каждому советскому школьнику), зависело от того, насколько к тому времени будет построен социализм — измерявшийся самым конкретным образом, количеством новых домн, тракторных и танковых заводов, гидроэлектростанций, километрами железнодорожных путей.

Военный мотив постоянно муссировался в газетах, помещавших обстоятельные обзоры международного положения, делая при этом особое ударение на нацистский режим в Германии, японцев в Маньчжурии, вероятность захвата власти фашистами во Франции, а также гражданскую войну в Испании как на пример открытого противоборства «демократических» и «реакционных» сил. Угроза войны определяла государственную политику. Суть программы ускоренной индустриализации, как подчеркивал Сталин, заключалась в том, что без нее страна окажется беззащитна перед врагами и через десять лет «погибнет». Большой Террор, по словам пропагандистов того времени, имел целью очистить страну от предателей, наймитов врагов СССР, которые изменили бы в случае войны. Народ тоже не оставил эту тему своим вниманием: в обществе, жившем слухами, чаще всего появлялись слухи о войне и ее возможных последствиях.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КЛАССАХ

До сих пор почти ничего не было сказано о классах в марксистском понимании — как о социальных группах, объединенных общим сознанием и отношением к средствам производства. Это может показаться странным, тем более что речь идет о режиме, именовавшем себя «диктатурой пролетариата» и исповедовавшем марксистскую идеологию, основанную на учении о классах. Классовая терминология встречалась повсюду — «кулаки», «буржуазные специалисты», «классовые враги», «классовая борьба». Кроме того, целые поколения советских ученых пользовались классовой теорией как основой анализа. В советском языке термин «быт», обозначавший повседневную жизнь, редко употреблялся без определения классового характера: быт рабочего класса, крестьянский быт, быт кочевников и т.д. Даже в классическом американском труде, посвященном повседневной жизни в СССР и написанном с немарксистских позиций, используются стандартные классовые категории довоенной советской статистики: рабочие, крестьяне, интеллигенция[15]. Так почему же я осмелилась в данной книге игнорировать классы как основную категорию для анализа?

Для этого есть причина чисто практическая: меня интересуют опыт и практика, общие для всего городского населения в целом, а не для каких-то его частей. (Поэтому-то работа — та часть повседневной жизни, которая так сильно разнится в зависимости от принадлежности к той или иной профессиональной группе, — не занимает в данном исследовании большого места[16].) Какие же еще причины могут объяснить осторожное отношение к классам как объективной категории жизни в СССР?

Во-первых, «великая пролетарская революция» в октябре 1917 г. привела к парадоксальному результату, деклассировав советское общество, по крайней мере на некоторое время. Прежние привилегированные классы были экспроприированы. Миллионы других граждан потеряли свои корни и социальные ниши. Даже промышленный пролетариат, радость и гордость большевиков, распался во время гражданской войны, когда рабочие вернулись в родные деревни или ушли служить в Красную Армию[17]. Период нэпа дал возможность вновь образоваться рабочему классу, стали укрепляться и другие социальные структуры. Однако затем наступил перелом — первая пятилетка и коллективизация, — который вновь лишил почвы миллионы людей, «ликвидировал» целые классы, вызвал огромный приток крестьян в ряды городской рабочей силы и значительное продвижение наверх представителей старого пролетариата. По сути общество оказалось деклассировано второй раз — всего через десять лет после первого.

Во-вторых, приверженность большевиков к понятию класса и оперирование им в политических целях извратило его как социальную категорию. Для большевиков пролетарии были союзника-

ми, а представители буржуазии — врагами. Новая власть систематически проводила дискриминацию по классовому признаку во всех важных для повседневной жизни сферах: в образовании, правосудии, предоставлении жилья, распределении карточек и т.д. Даже избирательное право было сохранено лишь за выходцами из «трудящихся» классов. Молодой рабочий имел преимущественный доступ к высшему образованию, членству в партии и массу других привилегий, в то время как для сына дворянина или священника создавались всевозможные препятствия и ограничения. Само собой, в результате люди «плохого» социального происхождения чувствовали настоятельную необходимость скрывать свою классовую принадлежность и пытаться миновать препоны под видом пролетариев или крестьян-бедняков[18].

Партия, усложняя дело еще больше, именовала себя «авангардом пролетариата». Это повело к тому, что понятия «пролетарий» и «большевик» («коммунист»[19]) безнадежно перепутались. Слово «пролетарий» стало означать политическую лояльность и идеологическую верность, а не социальное положение. Соответственно слова «буржуа» и «мелкий буржуа» превратились во всеохватывающие термины, подразумевающие политическую ненадежность и идеологические уклоны.

Конечно, классы в советском обществе играли важную роль. Но не в том смысле, как можно было бы ожидать — например, как база для социально-политической организации или коллективных действий. Профсоюзы, основная форма классовой организации рабочих, были ослаблены за годы первой пятилетки, когда они практически потеряли право защищать интересы рабочих перед администрацией. В 1930-е гг. главная их роль заключалась в распределении различных льгот, таких как пенсии, больничные листы, отпуска, среди своих членов. Другие добровольные общественные организации в тот же период постепенно исчезли, были закрыты или перешли под жесткий контроль государства.

Главное свое значение в советском обществе классы имели для государственной системы классификации, определяющей права и обязанности различных групп граждан. Вот еще один парадокс: всячески подчеркивая идею классовой принадлежности, новый строй умудрился de facto вернуться к прежней, столь презираемой сословной системе, при которой твои права и привилегии зависят от того, кем ты официально считаешься — дворянином, купцом, представителем духовенства или крестьянином. В советских условиях «класс» (социальное положение) являлся атрибутом, определявшим отношение человека к государству. Социальное положение гражданина указывалось в его паспорте наряду с национальностью, возрастом и полом, подобно тому как записывали в паспорт сословную принадлежность при царизме. Крестьяне (колхозники) принадлежали к особому сталинскому «сословию», которому паспортов не давали, — хотя, в отличие от городских «сословий», его представители имели право торговать на колхозных

рынках. Представители нового «служилого дворянства» пользовались разнообразными привилегиями, включая доступ в закрытые распределители, дачи и служебные автомобили с шоферами[20].

Отношения между классами в сталинском обществе имели сравнительно небольшое значение. Главными были отношения с государством — в особенности с государством как распределителем товаров в системе экономики хронического дефицита. Это приводит нас к последнему парадоксу классовой идеи в сталинистском обществе. Согласно марксистской теории, главная классовая черта — это отношение к средствам производства: существуют классы собственников, наемных рабочих, чью собственность составляет только их труд, и т.д. Однако в СССР собственность на средства производства принадлежала государству. В зависимости от интерпретации это могло означать либо то, что все стали собственниками, либо то, что все превратились в пролетариат, эксплуатируемый собственником-государством. Но, так или иначе, производство больше не служило базисом классовой структуры в советском городском обществе. В действительности значимые социальные иерархии в СССР эпохи 1930-х гг. основывались не на производстве, а на потреблении[21]. «Классовый» статус в реальной жизни был связан с большим или меньшим доступом к жизненным благам, что, в свою очередь, зависело от степени обладания привилегиями, даруемыми государством.

* * *

Еще несколько слов, чтобы предупредить читателя относительно рамок исследования в данной книге: его темой является повседневная жизнь в России, а не во всем Советском Союзе, и рассматривается лишь период 1930-х гг., а не вся сталинская эпоха. Хотя, как я считаю, описанные здесь модели нередко можно будет обнаружить и в национальных регионах и республиках СССР, различия все же будут весьма существенны. То же можно сказать и о послевоенном периоде. Модели повседневной жизни в целом остались те же — и во многих отношениях сохранялись неизменными до распада Советского Союза, — но в то же время Вторая мировая война внесла существенные изменения, так что опыт 1930-х гг. нельзя просто экстраполировать на 1940-е и 1950-е. И наконец, следует отметить, что данное исследование посвящено городской, а не сельской жизни. Последняя рассматривается в моей книге «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня» (2001).

1. «ПАРТИЯ ВСЕГДА ПРАВА»

Нечасто книгу по истории повседневности начинают с главы о правительстве и бюрократии. Но в том и состоит одна из особенностей выбранной нами темы, что, как бы мы ни старались, государство никак не удастся исключить из рассмотрения. Пытаясь жить обычной жизнью, советские граждане то и дело сталкивались с государством[1] в том или ином из его многообразных обличий. Политические кампании коммунистов переворачивали вверх дном их жизнь; некомпетентные самодуры — крупные чиновники, мелкие служащие, продавцы, — работающие на государство, изо дня в день испытывали их терпение. Таковы были условия повседневной жизни повсюду в СССР, прожить вне их было невозможно. Поэтому наша история начинается с обзора сталинского режима, его институтов и практики, особенно стиля руководства и менталитета коммунистической партии.

К концу 1920-х гг., когда, как принято считать, начался сталинский период, советская власть существовала немногим более десятилетия. Ее лидеры все еще считали себя революционерами и вели себя соответственно. Они намеревались преобразовать и модернизировать российское общество, называя этот процесс «строительством социализма». Веря, что эти революционные преобразования в конечном счете совершаются в интересах народа, они стремились насильственно форсировать их даже в тех случаях, когда, как при проведении коллективизации, большинство населения открыто им противостояло. Народное сопротивление они объясняли отсталостью, страхами и предрассудками непросвещенных масс. Слишком велико было у коммунистов сознание их высокой миссии и интеллектуального превосходства, чтобы такая мелочь, как мнение большинства, могла их поколебать. В этом они походили на всех прочих революционеров, ибо какой же революционер, заслуживающий этого звания, согласится, что «воля народа» может идти вразрез с миссией, которую он призван выполнять во имя народа?

«Отсталость» — очень важное слово в лексиконе советских коммунистов: оно обозначало все, относившееся к старой России и нуждавшееся в изменении во имя культуры и прогресса. Религия, один из видов предрассудков, была признаком отсталости. Крестьянское сельское хозяйство было отсталым. Мелкая частная торговля тоже была признаком отсталости, не говоря уже о мелкобуржуазности — еще одно излюбленное бранное слово. Перед коммунистами стояла задача превратить отсталую, аграрную, мелкобуржуазную Россию в социалистического, урбанизированного, промышленного гиганта, обладающего современной технологией и грамотной рабочей силой.

Однако, при всей преданности партии идее модернизации, правление советских коммунистов в 1930-е гг. определенно стало приобретать некоторые неотрадиционалистские черты, которые в 1917 г. мало кто мог предвидеть. Яркий пример представляла собой эволюция «пролетарской» диктатуры партии к чему-то, близко напоминающему самодержавную власть Сталина, осуществлявшуюся с помощью коммунистической партии и НКВД. В отличие от нацистов, советские коммунисты не руководствовались идеей вождя в теории, однако постепенно все больше и больше воплощали ее в жизнь на практике. Кое-что в том явлении, которое Хрущев назовет позже «культом личности» Сталина, отражало свойственный современным Сталину фашистским диктаторам, Гитлеру и Муссолини, способ подавать себя, но во многих других отношениях этот культ — по крайней мере в восприятии российской общественности — имел больше общего с русской традицией поклонения «царю-батюшке», нежели с современными западноевропейскими веяниями. Образ Сталина — «отца народов» — в 1930-е гг. приобрел отчетливые патерналистские черты.

Патернализм не ограничивался личностью Сталина. Местные партийные руководители, стоявшие на более низких ступенях иерархии, тоже ввели его в обычай, получая и отвечая на множество смиренных просьб и ходатайств, авторы которых покорнейше взывали к их отеческой милости, зачастую в выражениях, до изумления традиционных. В официальной риторике все сильнее стала подчеркиваться покровительственная функция государства в отношении его наиболее слабых и неразвитых граждан: женщин, детей, крестьян и представителей «отсталых» народностей.

БОЙЦЫ-РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ

Сама себя партия называла авангардом. Согласно марксистской теории это означало авангард пролетариата, класса промышленных рабочих, от имени которых партия и установила революционную диктатуру в октябре 1917 г. Однако это понятие приобрело гораздо более широкий, чем просто классовый, смысл. Оно легло в основу осмысления и оправдания коммунистами своей руководящей роли в российском обществе. В 1930-е гг., когда прежняя революционная миссия все больше стала приобретать оттенки миссии цивилизующей, партия начала смотреть на себя не только как на политический, но и как на культурный авангард. Конечно,

для представителей старой интеллигенции, многие из которых считали большевиков невежественными варварами, это звучало не слишком убедительно, но большинство остального населения, по-видимому, признало претензии партии на культурное превосходство обоснованными. В 1936 г. Сталин придал новый вес понятию «культурный авангард», позаимствовав термин «интеллигенция» для обозначения новой советской элиты, основную часть которой составляли коммунистические администраторы[2].

Важным аспектом претензий партии на звание культурного авангарда было обладание эзотерическим знанием, то есть марксистско-ленинской идеологией. Знание основ исторического и диалектического материализма являлось необходимым для коммуниста. На практике это означало усвоение сжатого изложения Марксовой теории исторического развития, показывающей, что классовая борьба — движущая сила истории, что капитализм во всем мире в конечном итоге падет под ударом пролетарской революции, как произошло в России в 1917 г., и что революционная диктатура пролетариата со временем приведет общество к социализму. Для стороннего наблюдателя сокращенный марксизм советских курсов политграмоты может показаться грубым упрощением, сведенным к своего рода катехизису. Для посвященных же он был «научным» мировоззрением, позволявшим тем, кто овладел им, избавить себя и всех остальных от всяческих предрассудков и пережитков — и, между прочим, освоить агрессивный полемический стиль, характеризующийся неумеренным сарказмом по поводу мотивов и предполагаемой «классовой сущности» оппонентов. Самодовольная ограниченность и тавтологичность, наряду с полемическим задором, — вот наиболее яркие черты советского марксизма.

Членство в партии и образование (лучше всего — в сочетании друг с другом) являлись главными условиями продвижения в Советской России, поэтому честолюбивому человеку было весьма желательно, даже необходимо состоять в партии. В результате партия тратила массу усилий, стараясь отделить тех, кто был честолюбив в хорошем смысле слова, то есть готов взять на себя всю ответственность, налагаемую руководящей должностью, от «карьеристов», гнавшихся лишь за персональными привилегиями. В 1920-е и 1930-е гг. вступить в партию было нелегко, особенно специалистам и служащим. Почти весь этот период правила приема в партию, так же как и в высшие учебные заведения, решительно отдавали предпочтение выходцам из рабочих и беднейших крестьян. Вдобавок многим желавшим стать коммунистами не удавалось одолеть сложную процедуру приема, требовавшую предоставления рекомендаций, проверки социального происхождения кандидата, его политической грамотности и т.д. Так же обстояло дело и с комсомолом, и многие «истинно верующие» переживали, что не в состоянии в него вступить. Как замечает французский историк Николя Верт, «сложная процедура приема усиливала... в

глубине души ощущение своей принадлежности к миру избранных, к числу тех, кто шагает в ногу с Историей»[3].

Разумеется, состав партии в 1930-е гг. существенно изменился. В начале сталинского периода идеалом была *пролетарская* партия: всячески поощрялось вступление в нее заводских рабочих, служащим же и специалистам путь был закрыт. Массовый прием крестьян и рабочих от станка в годы первой пятилетки сильно расширил партийные ряды, однако вместе с тем принес в них много ненужного балласта. В 1933 г. прием в партию был временно прекращен, и в том же году прошли первые партийные «чистки». Во время Большого Террора партия лишилась многих своих членов; тогда же некоторые молодые коммунисты взлетели наверх с головокружительной скоростью, заняв места исключенных «врагов народа». Когда в конце десятилетия прием в партию был вновь открыт, исключительное внимание к пролетарскому происхождению почти исчезло. Теперь акцент делался на то, чтобы коммунистами становились «лучшие люди» советского общества; на практике это означало, что служащим и представителям интеллигенции отныне стало гораздо легче вступить в партию.

Можно отметить еще одну важную перемену. С начала 1930-х гг. в коммунистической партии не существовало больше организованной оппозиции и открытых дискуссий. В конце 1927 г. были исключены из партии лидеры левой оппозиции, и это настолько напугало «правую оппозицию» 1928—1929 гг., что она так по-настоящему и не сформировалась. Помимо нее возникали лишь несколько подпольных «оппозиционных» групп в зачаточном состоянии, с которыми тут же круто расправилось ОГПУ. Хотя некоторые известные бывшие оппозиционеры, публично покаявшись, в начале 30-х гг. ненадолго сохраняли за собой высокие посты, все они прекрасно понимали, что даже чисто дружеские встречи между ними могут быть истолкованы как «антисоветский сговор» и навлекут на них новую кару.

Соответственно были сведены на нет внутрипартийные дискуссии и прения. В 1920-е гг. партия обладала собственными интеллектуальными центрами (например, Комакадемия и Институт красной профессуры), где к марксизму относились серьезно и велись дебаты на сравнительно высоком интеллектуальном уровне[4]. Ведущие политики, такие как Бухарин и Сталин, имели своих учеников и последователей среди молодых интеллектуалов-коммунистов, ярко продемонстрировавших свою воинственность и радикализм во время Культурной Революции. Однако к середине 30-х гг. Культурная Революция уже закончилась, многие ее лидеры были дискредитированы, а Комакадемия закрыта. На том практически кончились в СССР всякие серьезные интеллектуально-политические дебаты в рамках марксизма. Не стало больше того острого интереса и увлеченности, с какими многие коммунисты и комсомольцы в 1920-е гг. следили за большой политикой и вели политические

споры; проявлять слишком пристальный интерес к политике и политической теории стало небезопасно.

«Армия бойцов-революционеров» — так назвал партию член Политбюро Лазарь Каганович на XVII съезде в 1934 г. Этот образ был по душе коммунистам, многие из которых до сих пор носили оружие, ностальгически вспоминали гражданскую войну и, подобно Сталину, одевались в полувоенный костюм — френч и сапоги. То была партия городских людей с сильным комплексом мачо: слова «борьба», «бой», «нападение» не сходили у них с языка. Все 1930-е гг. коммунисты жили в ожидании (неважно, оправданном или нет) нападения со стороны иностранных держав[5].

По мнению Сталина, опасность, в которой постоянно пребывал Советский Союз, требовала от него особого поведения при сношениях с внешним миром: напористого, уверенного в себе. Комментируя проект официального заявления, посвященного международным делам, он писал Молотову в 1933 г.: «Вышло хорошо. Уверенно-пренебрежительный тон в отношении "великих" держав, вера в свои силы, деликатно-простой плевок в котел хорохорящихся "держав", — очень хорошо. Пусть "кушают"»[6].

Сталин, мысливший категориями взаимоотношений великих держав, в 1930-е гг. был не слишком заинтересован в международной революции, чего нельзя было сказать о целом поколении молодежи, выросшей в 20-е и 30-е, для которой мировая революция являлась источником воодушевления, предметом самых горячих чаяний и была, как выразился в своих мемуарах Лев Копелев, неразрывно связана с мечтами о современной жизни и выходе в широкий мир:

«Мировая революция была абсолютно необходима, чтобы восторжествовала справедливость, были выпущены на свободу узники буржуазных тюрем, накормлены голодающие в Индии и Китае, возвращены земли, отнятые у немцев, и данцигский "коридор", а наша Бессарабия отобрана назад у Румынии... Но еще и для того, чтобы потом не стало границ, капиталистов и фашистов. И чтобы Москва, Харьков и Киев стали такими же огромными, такими же красивыми городами, как Берлин, Гамбург, Нью-Йорк, чтобы у нас тоже были небоскребы, улицы кишели автомобилями и велосипедами, чтобы все рабочие и крестьяне ходили в красивой одежде, в шляпах и при часах... И чтобы повсюду летали аэропланы и дирижабли»[7].

Для коммунистов копелевского поколения образование имело чрезвычайно важное значение: это был не только путь к личному успеху, но и долг перед партией. Коммунисты должны «постоянно учиться, особенно у масс», — говорил своим слушателям в Институте красной профессуры герой процесса о поджоге рейхстага Георгий Димитров[8]. В реальной жизни, однако, учеба в школе была куда важнее учебы у масс. Сеть партийных школ давала коммунистическим администраторам некую смесь общего и политического образования; кроме того, многих коммунистов «мобилизовали» в вузы для изучения технических дисциплин, особенно в годы первой пятилетки. (Так произошло в начале 1930-х гг. и с Хрущевым, и с Брежневым, и с Косыгиным.) Даже если член партии не находился официально на учебе в каком-либо учебном заведении, он был обязан «работать над собой» и повышать свой культурный уровень.

В низших партийных звеньях одной из примет хорошего коммуниста служило избавление от религиозных предрассудков. В то же время наиболее распространенная идеологическая провинность членов партии заключалась в том, что они позволяли своим женам или другим родственницам по-прежнему верить в Бога, крестить детей, ходить в церковь или держать дома иконы. Партийцев то и дело допрашивали на этот счет, диалоги происходили примерно так, как в приведенном ниже отрывке из стенограммы собрания одной местной партийной ячейки:

«— Крестили ли вы своих детей?

— Последней в моей семье крестили мою дочь в 1926 году.

— Когда вы порвали с религией?

— В 1923 году.

— Говорят, у вас дома еще есть иконы.

— Да, потому что теща не дает мне их убрать!»[9]

На первых местах в списке партийных ценностей стояли дисциплина и единство. Даже в 1920-е гг. о них говорили с каким-то почти мистическим благоговением: уже в 1924 г. в речи Троцкого, в которой он признает свое поражение в борьбе, шедшей внутри партийного руководства, встречаются слова «партия всегда права» и «никто из нас... не может быть правым против своей партии». Обвиняемый на одном из процессов эпохи Большого Террора в своем последнем слове заявил: «Позорный опыт моего падения показывает, что достаточно малейшего отрыва от партии, малейшей неискренности с партией, малейшего колебания в отношении руководства, в отношении Центрального Комитета, как ты оказываешься в лагере контрреволюции»[10]. Принцип демократического централизма означал, что любой коммунист обязан беспрекословно повиноваться любому решению высших партийных органов. Прежнее положение, требовавшее беспрекословного повиновения, лишь когда решение принято окончательно, потеряло свою силу, поскольку не стало этапа общепартийной дискуссии, предшествовавшего принятию решения.

Существовала официальная шкала наказаний для коммунистов, нарушивших партийную дисциплину, начинавшаяся с предупреждения и заканчивавшаяся, после разной степени порицаний, исключением — то есть устранением из общественной жизни и лишением таких привилегий, как доступ в закрытые распределители и клиники[11]. На практике эта шкала простиралась еще дальше. Уже в конце 1920-х гг. представителей левой оппозиции отправили в административную ссылку в отдаленные районы Советского Союза, а Троцкого фактически выслали из страны. Несколько лет

спустя, во время Большого Террора, обычным делом стал расстрел опальных членов партии как «врагов народа».

Бдительность — т.е. неусыпная подозрительность — являлась одной из важнейших составляющих коммунистического менталитета. По словам Димитрова, хороший коммунист должен был «постоянно проявлять величайшую бдительность по отношению к врагам и шпионам, тайно проникающим в наши ряды». Коммунист, который не был непрерывно начеку, т.е. не питал бесконечных подозрений относительно своих сограждан и даже товарищей по партии, не выполнял своего долга перед партией и впадал в «правый уклон». Враги были повсюду и, что самое ужасное, часто маскировались. Коммунист всегда должен был быть готов «разоблачить» тайных врагов и показать их «настоящее лицо»[12].

У коммунистов, как у масонов, было множество ритуалов. Они были братьями, и братство их в некотором смысле носило тайный характер. Статус обязывал коммунистов владеть эзотерическим языком. У них были свои особо почитаемые символы, как, например, красное знамя, своя история, в том числе и мартирология, которую должен был знать каждый коммунист. Имелся у них и свод сакральных текстов, включающий произведения Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина; кроме того, от них требовалось постоянно изучать новые добавления к этому своду в виде последних речей Сталина и важнейших резолюций Политбюро. Атмосфера тайны окружала партийную манеру общения обиняками, полностью понятными лишь посвященным, принятый в партии эзопов язык. Исключенный из партии оказывался изгнан из этого сообщества, отторгнут от общей цели; говоря словами Бухарина на процессе, он был «изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни»[13]. «Не доводите меня до отчаяния», — писал один коммунист, которому угрожало исключение при менее экстремальных обстоятельствах, и добавлял следующий патетический постскриптум:

«Сейчас весна, скоро майский праздник. Люди будут радоваться жизни, веселиться, я же буду в душе рыдать. Неужели все может вот так рухнуть? Разве я могу стать врагом партии, которая меня создала? Нет, это какая-то ошибка»[14].

Одним из главных ритуалов, демонстрирующих проявление бдительности, являлась чистка — периодическая проверка членов партии с целью удалить нежелательные элементы. В эпоху Культурной Революции такие чистки проходили и во всех правительственных учреждениях, внося оживление в повседневную бюрократическую рутину. Процедура начиналась с изложения лицом, проходящим чистку, своей биографии. Затем следовали вопросы от комиссии по чистке и присутствующих в зале. Вопросы могли касаться любого аспекта политической или частной жизни данного лица:

«Чем он занимался до 1917 года и в Октябрьские дни, был ли на фронте, арестовывался ли до революции? Имел ли расхождения с партией? Пьет ли?.. Что думает о Бухарине и правом уклоне, о кулаке, пятилетке, китайских событиях?.. Правда ли, что у него личный автомобиль и хорошенькая жена из актрис?.. Венчался ли в церкви? Крестил ли сына?.. За кого вышла замуж его сестра?»[15]

Елена Боннэр, жена диссидента Андрея Сахарова, приводит в своих мемуарах детские воспоминания о чистке в аппарате Коммунистического Интернационала, проходившей, по-видимому, в 1933 г. Ее отчим Геворк Алиханов работал в Коминтерне, а собрания по чистке несколько недель шли по вечерам после работы в «Красном уголке» гостиницы «Люкс», где жили семья Алихановых/Боннэр и другие работники Коминтерна. Елена вместе с другими детьми коминтерновцев подслушивала, прячась за занавесками.

«Видно было, что они нервничали... Людей спрашивали об их женах, иногда о детях. Как оказалось, некоторые били жен и пили много водки. Батаня [грозная бабушка Елены. — *Ш.Ф.*] сказала бы, что приличные люди таких вопросов не задают. Иногда тот, кого чистили, обещал больше не бить жену или не пить. Многие говорили о своих поступках, что "больше этого не будет" и что "они все осознали"».

Маленькой Елене это напомнило, как в школе учеников вызывали в учительскую, чтобы устроить головомойку и заставить просить прощения. «Но эти люди волновались больше, чем мы перед учителем. Некоторые чуть не плакали. Неприятно было на них смотреть»[16].

В устрашающем ритуале чистки было в то же время нечто от исповеди, и, когда он совершался над простыми людьми, их уводили от социально-политических тем к личным признаниям и откровениям. Однако то была исповедь особого рода: после нее не давали отпущения грехов. «Проходить чистку» означало без конца каяться и каяться в своих прегрешениях, особенно если ты принадлежал к оппозиции или имел плохое социальное происхождение, однако этот ритуал не освобождал тебя от их бремени. Ты «признавал свои ошибки», молил о прощении, и, если повезет, отделывался выговором. Но ошибки оставались при тебе, ибо в 1930-е гг. партию интересовало не твое «субъективное» отношение к своим грехам, а лишь наличие записи о них в твоем деле[17].

Для более широкой аудитории устраивались показательные процессы, тоже зачастую носившие характер публичной исповеди. Показательный процесс может быть определен как публичное театральное представление в форме судебного процесса, дидактическое по своим задачам, призванное не установить виновность подсудимого, а продемонстрировать общественности гнусность его преступлений. Такого рода агитационно-развлекательный жанр восходит ко временам гражданской войны, когда были очень по-

пулярны самодеятельные театры, возникавшие повсюду по инициативе с мест. В первые годы существования их представления часто принимали форму театрализованного процесса над какой-нибудь символической фигурой («кулаком», «хулиганом, избивающим жену»), хотя кое-где на местах, в качестве дисциплинарной меры, «судили» показательным судом и реальных правонарушителей, обвиняемых в хулиганстве или прогулах. Эти процессы еще не заканчивались вынесением настоящего приговора.

Первый организованный сверху показательный процесс бывших политических противников большевиков (правых эсеров) был проведен в 1923 г. Но лишь в конце 1920-х гг., во время Культурной Революции, показательные процессы, отличающиеся тщательно разработанным сценарием и усиленным освещением в прессе в расчете на всесоюзную аудиторию, стали мощным агитационным оружием ЦК. На шахтинском процессе (1928) и процессе «Промпартии» (1930) инженеры и прочие «буржуазные спецы» обвинялись в саботаже и контрреволюционном сговоре с иностранными державами[18]. Все подсудимые признали свою вину, добавив массу подробностей о своих чудовищных (и, как правило, полностью вымышленных) преступлениях, и все были приговорены к смертной казни либо значительным срокам заключения. По тому же образцу в основном были построены лучше известные «московские процессы» эпохи Большого Террора — процесс Зиновьева—Каменева в 1936 г., процесс Пятакова в 1937 г. и процесс Бухарина в 1938 г. — разве что на московских процессах обвинялись не буржуазные специалисты, а высокопоставленные коммунистические деятели.

Трудно ответить на вопрос, верили ли Сталин и другие коммунистические лидеры в буквальном смысле в существование тех заговоров, о которых говорилось на показательных процессах. В своей секретной переписке с различными должностными лицами по поводу процессов начала 1930-х гг. Сталин писал так, как будто *действительно* верил в это, однако в то же время в этих письмах можно усмотреть зашифрованные инструкции насчет того, каков должен быть сценарий процесса. Как пишет Терри Мартин, партийной верхушке обвинения, предъявляемые на процессах, скорее всего, казались правдой в психологическом, а не в буквальном смысле. Но они рассчитывали, что простой народ воспримет их буквально; часто так и случалось на самом деле, судя по откликам рабочих на шахтинский процесс, среди которых содержались призывы ужесточить наказание обвиняемым[19].

Конспирация

В 1926 г. один бывший чекист признался старому революционеру Виктору Сержу, что ему известно о существовании чудовищного заговора. Вот как передает этот разговор Серж:

«Тайна заключается в том, что кругом предательство. Еще в те годы, когда жив был Ленин, измена проникла в Центральный Комитет. Он знает имена, у него есть доказательства... С риском для жизни он передает в Центральный Комитет свои материалы, анализирующие гигантское преступление, которое он расследовал многие годы. Он шепчет имена иностранцев, самых влиятельных капиталистов, и другие, видимо, имеющие для него какое-то сокровенное значение... Я слежу за цепочкой его рассуждений с тайным трепетом, который всегда чувствуешь рядом с логично излагающим свои мысли безумцем... Но во всем, что он говорит, прослеживается одна идея, и это не бред сумасшедшего: "Мы не для того делали революцию, чтобы дойти то такого"»[20].

Этот человек, наверное, был сумасшедшим, но ход его мыслей весьма характерен для коммунистов. Их работе постоянно мешали заговоры разных лиц внутри и вне Советского Союза, питавших всепоглощающую ненависть к революции. По мнению вышеупомянутого чекиста, центр заговора находился в самом партийном руководстве; в этом его позиция мало чем отличалась от той, которую впоследствии заняли Сталин и Ежов в эпоху Большого Террора. Во всем остальном его сверхподозрительность представляла совершенно типичную картину для тех лет. Иностранные капиталисты заключили союз с вражескими силами внутри страны. Заговорщики маскируются; нужны самые решительные усилия, чтобы разоблачить их. И последнее (пожалуй, самое важное): эти заговорщики, питающие закоренелую ненависть к Советскому Союзу, *специально делают так, чтобы все шло неправильно*. Это наверняка заговор, иначе невозможно понять, почему революция оказалась не такой, как планировалась. *Кто-то* же должен быть в этом виноват[21].

У советской власти была своеобразная привычка самой создавать себе врагов, а потом подозревать их в заговоре против государства. Впервые она поступила так, объявив, что все представители определенных социальных классов и сословий — в первую очередь бывшие дворяне, представители буржуазии, священники и кулаки — по определению являются «классовыми врагами», обозленными потерей своих привилегий и готовыми ввязаться в контрреволюционный заговор, чтобы вернуть их. Следующим шагом по этому пути была предпринятая в конце 1920-х гг. «ликвидация как класса» определенных категорий классовых врагов, в частности кулаков и, в несколько меньшей степени, нэпманов и священников. Это означало экспроприацию жертв, лишение их возможности добывать средства к жизни привычным способом, нередко — арест и ссылку. К сожалению, опасность антигосударственных заговоров от этого не уменьшилась, а только возросла. Ибо, как понял (задним умом?) Сталин, представитель враждебного класса не станет лучше относиться к советской власти после ликвидации своего класса. Напротив, он будет полон гнева и возмущения. Раскулаченный — враг более отчаянный и непримири-

мый, чем кулак. Кроме того, он, скорее всего, сбежит в город и замаскируется, надев личину рабочего. Он станет *тайным* врагом, следовательно, еще более опасным как потенциальный конспиратор-заговорщик[22].

В советском мире конспираторами были не только враги. Как это ни поразительно, но прежнее, дореволюционное представление партии о себе как о «конспиративной» организации сохранялось (хотя и втайне) даже в 1930-е гг., от коммунистов постоянно требовали соблюдать «конспирацию» и «конспиративность», т.е. хранить в секрете партийные дела[23]. В прежние дни конспирация была необходима для борьбы против царизма; в послереволюционных условиях в воздухе повис щекотливый вопрос: «От кого теперь соблюдается конспирация?» Один из возможных ответов был: «От советского народа», — но коммунисты, как и любые другие правители, вряд ли могли признаться даже себе, что конспирируются от собственного народа; оставался еще один ответ: «От капиталистического окружения». Но, пожалуй, лучше всего можно понять любовь коммунистов к конспирации, если смотреть на партию их глазами, как на своего рода масонский орден, чья способность творить в мире добро зависит от того, насколько хорошо он сумеет защитить свою внутреннюю жизнь от недоброжелательного любопытства посторонних.

С начала 1930-х гг. все большее и большее количество партийных дел вершилось втайне. В конце 1920-х было введено правило рассылать документы ЦК и Политбюро местным партийным организациям, строго ограничивая круг лиц, которым позволялось их читать, а также требуя вернуть их через несколько дней (в конце 1938 г. прекратилось и это). На доступ к протоколам ЦКК налагались такие же ограничения: «абсолютно запрещено» было показывать их лицам, не входящим в утвержденный список допуска, снимать с них копии или цитировать на публике; протоколы тоже следовало возвращать по прочтении. Коммуниста, нарушившего правила секретности, даже если он сделал это в речи на заводском митинге, где предположительно собирались классовые союзники, могли обвинить в том, что он «предал партию рабочему классу»[24].

Секретность окутывала правительственную и партийную деятельность. Среди тем, попавших под грифы «совершенно секретно» и «секретно», были военные и мобилизационные планы, в том числе строительство оборонной промышленности; экспорт драгоценных металлов; важные изобретения; рапорты ОГПУ о настроениях среди населения и по другим вопросам; судебные дела по ст. 58 Уголовного кодекса, посвященной преступлениям против государства; административная ссылка, высылка и спецпоселения. Материалы о забастовках и акциях протеста рабочих тоже попали в разряд закрытых, хотя и получили низший уровень секретности — «не для публикации». Засекречены были также сообщения

о случаях чумы, холеры, тифа и других инфекционных заболеваний[25].

Одна из причин, почему секретность приобрела такое значение, как можно предположить, заключалась в том, что коммунистические правители делали вещи, которых стыдились или, по крайней мере, которые, по их мнению, трудно было бы понять окружающим. В первые годы революции большевики считали своим долгом *не* стыдиться практики террора, являвшегося, как они заявляли, необходимой и даже конструктивной частью революции: в дни своего радикализма, году в 1920-м, будущий правый уклонист Н.Бухарин называл его «методом создания коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи», а другой энтузиаст — «источником высокого нравственного подъема»[26]. Тем не менее, судя по тому, как большевики обрабатывали общественное мнение после подавления мятежа кронштадтских моряков в 1921 г., это событие глубоко смутило их и заставило стыдиться; борьба за коллективизацию и последовавший за ней голод вызвали у режима такую же реакцию. Прежнее вызывающее, непримиримое утверждение права революционного государства на насилие сменилось увертками, эвфемизмами и прямым отрицанием. В 1933 г. вошло в силу секретное распоряжение Политбюро, запрещающее публиковать сообщения о расстрелах без специального распоряжения[27].

Правда, в середине 1930-х гг. органы безопасности в определенных отношениях довольно широко рекламировалась, их руководителей прославляли как героев. Великие проекты НКВД, вроде строительства Беломорканала, восхвалялись за «перековку» работавших на них заключенных, офицеров НКВД чествовали и награждали орденами, пограничников ставили в пример советской молодежи. В конце 1937 г. с помпой было отмечено 20-летие НКВД, и казахский акын Джамбул назвал его главу Н.Ежова «пламенем, опалившим змеиные гнезда» и «пулей для всех скорпионов и змей»[28]. Но предполагаемый массовый рост органов безопасности и сети их осведомителей в 1930-е гг. был (и остался) государственной тайной; да и более земные деяния НКВД, такие как слежка, аресты, допросы, обычно считались грязным секретом и тщательно скрывались. Обычной практикой было требовать у человека, отпущенного после ареста или допроса, подписку о неразглашении того, что с ним происходило.

СИГНАЛЫ ОТ СТАЛИНА

Формально у коммунистической партии СССР не было руководителя. Был только Центральный Комитет, избираемый на периодических всесоюзных съездах делегатов от местных партийных организаций, и три постоянно работающих бюро ЦК, избираемых таким же образом: Политбюро, группа из семи — двенадца-

2 — 788

ти человек, ведавшая государственными и политическими делами, а также Оргбюро и Секретариат, занимавшиеся организационными и кадровыми вопросами. Однако в середине 1920-х гг., в ходе необъявленной войны, разразившейся после смерти Ленина между его преемниками, Сталин использовал пост секретаря партии, чтобы заполнить местные партийные организации и съезды своими сторонниками[29]. В 1930-е гг. Сталин по-прежнему находился в должности генерального секретаря партии, которую он занимал с 1922 г. и будет занимать до 1952-го, но уже не тратил время на работу с личными делами и кадровые перестановки, которые помогли ему прийти к власти. Теперь он был признан верховным главой партии, ее вождем. Он по-прежнему держал себя как простой, доступный человек (без высокомерия и показухи, свойственных Троцкому, его главному сопернику), но скромность его была особого рода: когда он тихо и незаметно входил в зал во время партийного съезда, все присутствовавшие вставали и стоя приветствовали его рукоплесканиями. Порой Сталин выражал недовольство собственным культом, однако терпел и, возможно, тайно поощрял его[30].

Старую гвардию коммунистов культ Сталина, вероятно, приводил в некоторое замешательство, но и в их глазах он постепенно становился харизматическим лидером, хотя и несколько иного рода, чем в глазах широкой публики. Последняя в 1930-е гг. представляла Сталина, как раньше — царей, в образе почти богоданного вождя, средоточия справедливости и милосердия, всемилостивого покровителя слабых; он часто фотографировался, отечески улыбаясь оробевшим крестьянкам и детям. Для партийной верхушки, напротив, Сталин был «хозяином», отличавшимся в первую очередь острым и трезвым умом, решительностью, невероятной работоспособностью, нелюбовью к пышной риторике и всякой показухе. Его помощники знали также, что он прекрасно помнит малейшие обиды и имеет склонность и огромный талант к политическим интригам[31].

В Политбюро сохранялась видимость собрания равных. Сталин обычно председательствовал, но предпочитал сидеть молча, покуривая трубку и давая остальным высказаться первыми. (Этим он подчеркивал отсутствие претензий, но и пользовался с выгодой для себя, заставляя других раньше него раскрывать свои карты.) В Политбюро случались споры, и даже весьма жаркие, когда пылкий грузин Серго Орджоникидзе давал волю своему темпераменту. Бывали и острые фракционные разногласия между членами Политбюро, обусловленные их ведомственными пристрастиями: Орджоникидзе, к примеру, защищал интересы тяжелой промышленности, Клим Ворошилов — вооруженных сил, Киров — Ленинграда. Но крайне редко кто-либо из членов Политбюро сознательно противоречил Сталину[32].

«Политбюро — это фикция», — сказал в начале 1930-х гг. один сведущий человек. Он имел в виду, что официальные заседания Политбюро — крупные мероприятия, на которых присутствовали не только члены Политбюро, но и члены ЦК, представители многих правительственных учреждений, избранные журналисты, — не то место, где реально делались дела. Серьезные вопросы решались более узкой группой лиц, подобранных Сталиным, которые собирались частным образом на какой-нибудь квартире или в кабинете Сталина в Кремле. В каждом конкретном случае в эту группу могли входить люди, не являвшиеся официально членами Политбюро, тогда как некоторые члены Политбюро, бывшие в немилости или считавшиеся не заслуживающими внимания (например, М.Калинин), туда не приглашались[33].

Внутри Политбюро существовал свой узкий круг, но даже его членам следовало остерегаться вызвать недовольство Сталина. В.Молотову, на протяжении почти всех 1930-х гг. второму человеку в руководстве и ближайшему сподвижнику Сталина, пришлось смириться с арестом нескольких доверенных помощников во время Большого Террора; в 1939 г. его жену Полину Жемчужину сняли с должности наркома рыбной промышленности, мотивируя это тем, что она «невольно облегчала» работу «враждебных шпионских элементов» в своем ведомстве. Угроза членам семей своих соратников была излюбленным приемом Сталина, позволявшим ему держать их под контролем. Брата Орджоникидзе арестовали в 1936 г. по подозрению в антисоветской деятельности. Жену Калинина арестовали как врага народа, в то время как он сам по-прежнему оставался председателем ВЦИК СССР; то же самое случилось после войны с женой Молотова. Михаил Каганович, возглавлявший советскую оборонную промышленность, брат Лазаря, члена Политбюро, оставшегося одним из ближайших сподвижников Сталина, был арестован и расстрелян в конце 1930-х гг. Дистанцию, отделявшую Сталина даже от самых близких товарищей по Политбюро, и меру страха, владевшего людьми в годы террора, убедительно показывает тот факт, что из четырех названных выше видных государственных деятелей (Молотов, Калинин, Орджоникидзе, Каганович), кажется, только Орджоникидзе выразил Сталину решительный протест и безапелляционно заявил о невиновности своего брата[34].

Это лишь один пример сталинской манеры держать своих соратников в подвешенном состоянии. Взглянуть на эту сторону его личности помогает также письмо, написанное им жене, Надежде Аллилуевой, когда он был на отдыхе в 1930 г. Она с некоторым раздражением спрашивала, почему он назвал ей одну дату своего возвращения с юга, а своим коллегам — другую. Он ответил, что именно ей дал верные сведения: «*В видах конспирации* я пустил слух через Поскребышева о том, что смогу приехать лишь в конце октября»[35].

Ни один член Политбюро не мог быть уверен, что не лишится вскоре милости Сталина, как случилось с Бухариным в конце 1920-х гг. и еще раз, с куда более катастрофическими последст-

виями, в 1936 г. Когда подобное происходило, об этом узнавали не прямо от Сталина, а по различным признакам потери данным лицом веса и влияния: его не приглашали на встречи в узком кругу, в «Правде» или «Известиях» появлялись задевающие его заметки, ему отказывали в обычных ходатайствах за своих протеже и подчиненных. В итоге впавший в немилость руководитель оказывался в положении прокаженного, брошенный недавними коллегам: почти все они следовали неписаному правилу, запрещавшему узнавать при встрече опального собрата и здороваться с ним на публике[36].

Под стать этой привычке Сталина выказывать свое расположение или немилость окольными путями было такое же отсутствие прямоты и ясности в формулировании политического курса. Это может показаться странным, поскольку, как известно, сталинский режим неукоснительно требовал исполнения директив центра, а как же их исполнять, если тебе толком не говорят, что делать? Однако факт есть факт: о важнейших изменениях в политике чаще всего «сигнализировали», а не сообщали в форме четкой и подробной директивы. Сигнал мог содержаться в речи или статье Сталина, в передовице «Правды», мог передаваться посредством показательного процесса или опалы высокопоставленного руководителя, имя которого было тесно связано с тем или иным правительственным курсом. Общим для всех этих сигналов было то, что они указывали на поворот курса в какой-либо области, не разъясняя точно, что означает новая политика и как ее проводить в жизнь.

В качестве примера можно привести кампанию коллективизации зимой 1929—1930 гг. В отличие от прежних крупных аграрных реформ в России, таких как отмена крепостного права в 1861 г. или столыпинские реформы начала XX в., в данном случае не было никаких развернутых инструкций по проведению коллективизации, и местные руководители, спрашивавшие их, получали выговор. Сигнал к радикальной смене политики в отношении деревни был дан в речи Сталина в Комакадемии в декабре 1929 г., хотя при этом не было сделано никаких конкретных указаний по коллективизации, кроме приказа «ликвидировать кулачество как класс». Ближе всего к четко сформулированному изложению принципов политики коллективизации было письмо Сталина в «Правду» «Головокружение от успехов», опубликованное 1 марта 1930 г., — но оно появилось лишь после двух ужасных месяцев сплошной коллективизации и отменяло большую часть того, что сделали местные руководители, не имевшие точных инструкций.

Еще один, не такой значительный пример — письмо Сталина в редакцию историко-партийного журнала «Пролетарская революция» в 1931 г., которое без конца цитируют как важнейшую декларацию политики в области культуры. Написанное в страстном полемическом стиле, оно в основном сводится к тому, что коммунистической интеллигенции, склонной к копанию в мелочах и групповщине, нужно навести порядок в своих делах, но что конкретно имеется в виду, если не считать отдельного, весьма тривиального случая, в связи с которым и было послано письмо, так и остается неясным. Практический политический смысл оно приобрело только после того, как в каждом культурном учреждении состоялись долгие, утомительные собрания, посвященные «извлечению организационных выводов из письма товарища Сталина», т.е. определению, кого подвергнуть разносу и наказать[37].

Есть разные объяснения такой удивительной скрытности. Во-первых, сталинский режим был великим мистификатором, использующим тайну для возвеличивания и освящения власти. Может быть, именно аура тайны и секретности, окутывавшая Кремль в 1930-е гг., больше всего отличала сталинский стиль руководства от ленинского. Во-вторых, режим работал с примитивным административным аппаратом, способным выполнять лишь несколько простых команд типа «стоп», «вперед», «быстрее», «тише», которые можно было адекватно передать с помощью сигналов. Кроме того, правовая компетентность самого режима была на низком уровне: в тех случаях, когда правительство пыталось давать детальные политические инструкции, его декреты и указы приходилось неоднократно разъяснять и дополнять, прежде чем содержавшаяся в них мысль удовлетворительно усваивалась[38].

Тут имелись свои политические выгоды, по крайней мере по мнению Сталина, с его византийским складом ума. Если новая политика проваливалась, как в случае с коллективизацией, сигналы легче было отрицать и перетолковывать, нежели четкие политические декларации. Сигналы обладали двусмысленностью, весьма полезной, если в отношении новой политики не было согласия в руководстве, если она нарушала существующие советские законы или суть ее была такова, что для режима было нежелательно, чтобы ее поняли иностранцы. Все три последних фактора сыграли свою роль, например, в политике 1929—1930 гг. в отношении церкви. Почти все 1920-е гг. советские законы и административная практика демонстрировали, по крайней мере в известных пределах, терпимость к религии и запрещали произвольное закрытие или разрушение действующих церквей. Значительная группа «мягких» коммунистических лидеров, в основном работавших в правительственных, а не в партийных органах, решительно поддерживала такой курс, как, разумеется, и международное общественное мнение. Но в 1929 г., с началом Культурной Революции и ростом воинствующего радикализма в партии и комсомоле, мощная «твердая линия» на массовое закрытие церквей и аресты священников получила перевес и, очевидно, завоевала одобрение Сталина. Секретные инструкции в духе «твердой линии» были разосланы местным партийным организациям, но не опубликованы[39]. Когда антирелигиозная кампания вызвала гнев сельского населения, не говоря уже о папе римском и западных деятелях

церкви, режим смог тут же откреститься от политики, которую он и так никогда открыто не поддерживал.

Двусмысленность и секретность могли принести политическую выгоду в подобных случаях, однако они наносили также огромный практический ущерб. В истории с церковью, например, занимавшиеся вопросами религии советские руководители горестно вопрошали, как им объяснить действия местных властей представителям церкви, если формально закон действительно на стороне последней. Они тщетно указывали, что инструкция, позволяющая бывшим священникам регистрироваться на бирже труда (и тем самым дающая им право на труд), приносит мало проку, пока она остается секретной и, следовательно, неизвестна администрации бирж труда[40].

Сочетание двусмысленных политических сигналов и культа секретности иногда приводило к самым нелепым результатам, когда, например, определенные категории должностных лиц не ставились в известность об инструкциях, имевших к ним непосредственное отношение, потому что инструкции были секретными. Вопиющий пример: театральное цензурное ведомство Главрепертком и Наркомат просвещения, возглавляемый А.В.Луначарским, потратили несколько недель на споры по поводу вызывавшей сомнения пьесы М.Булгакова «Дни Турбиных», несмотря на то что Политбюро дало Наркомату инструкцию разрешить постановку. Но «этот указ был секретным, известным лишь ключевым фигурам ведомства по делам искусств, и Луначарский не имел права разглашать его»[41]. Спустя несколько лет, после того как Сталин твердо выразил свои взгляды на культурную политику в частном письме, содержание которого широко, хотя и неофициально, распространилось в обществе, Луначарский, по слухам, умолял его позволить опубликовать письмо, *чтобы люди знали, какова на самом деле линия партии в области искусства*[42].

Некоторые сталинские сигналы, связанные с культурой, были еще менее явными, например, телефонные звонки писателям или другим деятелям культуры, содержание которых мгновенно становилось достоянием слухов в среде московской и ленинградской интеллигенции. Можно привести в пример его неожиданный звонок Булгакову в 1930 г. в ответ на булгаковское письмо, в котором тот жаловался на притеснения со стороны театральной администрации и цензуры. На первый взгляд целью звонка было ободрить Булгакова. В более широком смысле это был «сигнал» некоммунистической интеллигенции, что ее травлю организует не Сталин, а чиновники низшего звена и воинствующие активисты, не понимающие сталинской политики.

Этот случай особенно интересен, потому что органы безопасности (на тот момент — ГПУ) отследили эффективность звонка. В своем рапорте о последствиях звонка Сталина агент ГПУ отмечал, что он произвел огромное впечатление на литературно-художественную интеллигенцию. «Словно прорвалась плотина, и все вокруг увидали подлинное лицо тов. Сталина». Люди, по его словам, говорят о простоте и доступности Сталина. «О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова». Высказывается мнение, что Сталин не виноват во всем плохом, что происходит вокруг:

«Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу»[43].

Сигналы с личной подписью Сталина обычно знаменовали поворот к послаблению и терпимости, а не к усилению репрессий. Разумеется, не потому, что Сталин склонялся к «мягкой линии», а потому, что он предпочитал не связывать себя слишком тесно с политикой твердой линии, которая могла быть непопулярна в глазах общественного мнения внутри страны и за рубежом. Часто его сигналы несли скрытый смысл в духе «доброго царя»: «Царь милостив; во всех несправедливостях виноваты негодяи-бояре». Порой эта уловка, по всей видимости, срабатывала, но в других случаях народ встречал ее скептически. Когда Сталин осудил перегибы, допущенные местными руководителями при проведении коллективизации, в письме «Головокружение от успехов», напечатанном в «Правде» в 1930 г., первоначальная реакция в деревне была по большей части благоприятной. Однако после голода сталинские замашки «доброго царя» уже не работали в деревне и часто вызывали насмешки среди тех, для кого предназначались[44].

БЮРОКРАТЫ И НАЧАЛЬНИКИ

Никто не критиковал бюрократию больше, чем советские лидеры. Нападки Сталина на чиновников-коллективизаторов представляли собой образчик целого жанра критики бюрократии в верхах, и слово «бюрократия» в советском лексиконе всегда имело крайне уничижительное значение. Мечтой революционеров было общаться с народом напрямую, без посредников, следовать духу революции, а не букве закона. Поэтому в первые годы коммунистические лидеры питали сильные подозрения относительно пережитков царизма в государственной администрации и находили более удобным использовать для исполнения своей воли партийный аппарат, якобы менее бюрократический. К середине 1930-х гг. опасения по поводу пережитков царизма лишились почвы, но по-прежнему существовал обычай пригвождать бюрократов к позорному столбу на собраниях, посвященных «критике и самокритике», на предприятиях и в советской печати. Представителей общественности призывали присылать письма с подробным описанием случаев злоупотребления властью со стороны должностных лиц их районов. На тот факт, что провинившиеся чиновники теперь были

коммунистами, не обращали внимания: партийное руководство мало доверяло собственным бюрократическим кадрам и постоянно сокрушалось по поводу недостатка у них образования, здравого смысла и деловой этики.

Глупость, грубость, неумелость и продажность советских бюрократов служили главной мишенью для сатиры на страницах «Крокодила». Его фельетоны и карикатуры иллюстрировали разные методы, с помощью которых чиновники добывали себе и своим знакомым дефицитные товары и предметы роскоши, отказывая в них остальному населению[45]. Они показывали, как чиновники отсутствуют на рабочем месте, бьют баклуши, даже если присутствуют, не слушают граждан, отчаянно умоляющих выдать им драгоценные «бумажки», без которых в советской жизни были немыслимы простейшие операции вроде покупки железнодорожного билета. На красноречивой карикатуре «Бюрократ на трапеции» изображены два цирковых артиста, выступающих на арене. Один, представляющий злополучного гражданина, взвился в воздух с трапеции. Другой, бюрократ, должен, по идее, поймать его, но вместо этого сидит на своей трапеции, держа табличку с надписью: «Приходите завтра»[46].

Проблему осложняло то, что «сталинская революция» начала 1930-х гг. сильно расширила круг функций и обязанностей советской бюрократии. Частная торговля была упразднена; следовательно, пришлось почти с нуля создавать новую бюрократию в государственной торговле, не говоря уже о новых бюрократических структурах для управления карточной системой и создания предприятий общепита, которые должны были кормить людей, компенсируя им недостатки госторговли. Коллективизированное хозяйство требовало наличия многочисленной бюрократии для проведения сельскохозяйственных заготовок и присмотра за колхозами. Бытовые услуги, от шитья одежды до починки обуви, перешли в руки государства или кооперации (что было почти одно и то же). Кампания индустриализации в первую пятилетку значительно увеличила бюрократию в государственной промышленности, а сопровождавшие кампанию репрессии послужили росту органов безопасности. Введение в 1932 г. внутренних паспортов и городской прописки добавило в повседневную жизнь еще больше бюрократических напластований, так же как и требование, чтобы отделы кадров всех государственных учреждений заводили обширные досье на своих работников.

Эти новые бюрократы, выполняющие новые задачи, были неопытны по определению, а часто также малограмотны и неумелы. Они не могли рассчитывать на поддержку режима, еще до Большого Террора прославившегося обыкновением отрекаться от своих слуг и наказывать их за собственные грехи[47]. Простые граждане негодовали на них, завидовали им, боялись и презирали их — и то и дело писали на них доносы в вышестоящие инстанции. И несмотря на все это бюрократия процветала. В своем маленьком мирке бюрократ был королем.

«Маленькие сталины»

Сталин был не единственным советским лидером, имевшим свой культ. Как отметила недавно одна молодая британская исследовательница, он даже не был единственным, кого называли высокопарным словом «вождь» — титул, который часто приравнивают к нацистскому «фюрер»[48]. Не Сталин постепенно приобрел в те годы харизматическую ауру, а само положение лидера. Газеты писали о Политбюро «наши вожди» — во множественном числе. Некоторых членов Политбюро, таких как популярный руководитель промышленности Орджоникидзе, глава советского правительства Молотов и, в течение нескольких лет, глава НКВД Ежов, превозносили почти в таких же цветистых выражениях, как и Сталина. В 1936 г. один современник записал в дневнике, что в дни революционных праздников «портреты партийных руководителей носят, как когда-то иконы: круглый портрет в рамке прикреплен к шесту... точно так же, как делали раньше в церковные праздники»[49].

В честь Сталина Царицын на Волге стал Сталинградом, Юзовка в Донбассе — Сталино. Но и другие лидеры, живые и мертвые, удостаивались чести дать свое имя городу или району. Город Владикавказ стал Орджоникидзе, Самара — Куйбышевом, Пермь — Молотовом, а Луганск — Ворошиловградом, не говоря уже о переименованиях, которые оказались неудачными и которые впоследствии пришлось отменить (напр., Троцк, Зиновьевск и Рыково). Помимо того, существовал обычай называть в честь партийных руководителей колхозы и предприятия, как, скажем, метрополитен им. Кагановича в Москве. В 1935 г. и Орджоникидзе, и Каганович, и даже будущий «вредитель» Пятаков — все они обогнали Сталина по количеству промышленных предприятий, названных в их честь. Улицам тоже присваивали имена политических лидеров или известных деятелей культуры. Так, главная улица Москвы Тверская стала улицей Горького, Мясницкая — улицей Кирова, Большая Лубянка — улицей Дзержинского. В провинции происходило такое же переименование в честь местных партийных руководителей[50].

При случае Сталин или кто-либо еще давали понять, что все это принимает несколько чрезмерные формы. Например, Сталин воспротивился предложению переименовать в его честь Москву в Сталинодар. Однако чаще всего прославление вождей критиковалось в связи с опалой, постигавшей политического лидера, о котором в данном случае шла речь, либо в рамках общего порицания «маленьких сталиных» на периферии. Когда во время Большого Террора множество областных партийных руководителей попали в

немилость, их местные «культы личности» стали первейшей мишенью для нападок. В типичной для той эпохи заметке, направленной против начальника местной железной дороги, говорилось, что «на дороге процветает подхалимство и угодничество. Тов. Базеев поощряет подхалимов. На дороге уже так заведено: везде, где бы ни появился тов. Базеев, его встречают бурными аплодисментами и даже криками "ура"»[51].

Порой возникновение местных культов личности относили на счет отсталости населения и объявляли «вождизм» некоей национальной болезнью. Такого подхода придерживался, например, руководитель одной областной парторганизации, мягко критикуя подчиненного, возглавлявшего обком в Чувашии:

«Недавно т. Петров — секретарь Чувашского Обкома — прямо от души благодарил наш Обком партии за то, что мы их спасли от болезни вождизма. Вы знаете, что т. Петров — скромный человек, хороший большевик, хороший работник, популярный в своей организации. Но в Чувашии начали смотреть на т. Петрова, как на Калмыкова в Кабардино-Балкарии, как на некоторых других национальных вождей, тоже преувеличенных. В Чувашии некоторые товарищи думали: почему т. Петров не может быть Калмыковым? А когда создается такая атмосфера, то исполнителей не приходится ждать. Начали сочинять стихи, адреса, изобрели "шесть условий т. Петрова". (Смех.) Петров сначала морщился, говорил — зачем это? — а затем вроде привык...»[52]

Мемуаристка Евгения Гинзбург дает яркое описание метаморфозы, происшедшей с казанским партийным руководителем Михаилом Разумовым, старым большевиком безупречного пролетарского происхождения, с которым работал ее муж в предшествовавшие террору годы. В 1930 г. Разумов «занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножичком на бумажке колбасу». Однако к 1933 г. он получил звание «первого бригадира Татарстана», а когда край был награжден орденом Ленина за успехи в коллективизации, «портреты [Разумова] уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы»[53].

Разумеется, чтобы быть коммунистическим лидером, недостаточно, чтобы твой портрет носили по городу. Коммунистические лидеры изображали себя крутыми парнями, и в целом этот образ соответствовал действительности. Они культивировали непререкаемый командный стиль, отрывисто бросали приказы, требуя немедленного повиновения и не слушая никаких отговорок, и затверживали советскую версию символа веры — план любой ценой. Советоваться, долго раздумывать — значило проявить слабость; лидер должен был быть решительным.

В своих худших проявлениях такой стиль управления по большей части представлял собой шум, брань, запугивание. «Он очень груб с рядовыми коммунистами. Окрик — единственная форма

его обращения с людьми», — написано в критической заметке об одном партийном работнике из Ярославля. «Любит показать себя при посторонних», крича на людей и вышвыривая их из своего кабинета без всякой причины, гласит жалоба, направленная против заведующего отделом Ленинградского горкома партии. «Атмосфера мата висит в отделе. Недаром руководитель отдела не хочет принимать на техническую работу женщину»[54].

Идеальный руководитель 1930-х гг., смоделированный по образцу реальных директоров промышленности, героев первой пятилетки, строивших и возглавлявших советские металлургические и машиностроительные заводы, представлял собой отнюдь не тип кабинетного чиновника. Он не боялся месить грязь на стройке, был суров к себе и другим, если надо — безжалостен, неутомим и практичен. Перед директором стояла задача выжать из людей больше, чем они считали себя в состоянии дать, используя уговоры, запугивание, угрозы, арест — все, что угодно. Работа велась по большей части в форме «кампаний», т.е. коротких лихорадочных периодов, когда все силы отдавались выполнению отдельной задачи, вместо планомерной, изо дня в день наращивающей свою интенсивность деятельности. Это придавало жизни завода сходство с фронтовой, оправдывая еще одну военную метафору — «штурм». Именно штурм происходил в безумные дни в конце каждого месяца, когда каждое предприятие пыталось выполнить месячный план. Лучшие советские директора были рисковыми людьми; им ведь действительно, чтобы делать свое дело, постоянно приходилось нарушать правила и идти на риск, ибо обычные каналы и законные методы не могли обеспечить их деталями и сырьем, необходимыми для выполнения плана[55].

Среди высшего партийного руководства Орджоникидзе и Каганович, возглавлявшие соответственно тяжелую промышленность и железнодорожный транспорт, в наибольшей степени воплощали в себе потогонный, непререкаемый командный стиль. Орджоникидзе был «типичным администратором сталинского типа, энергичным, грубым, жестоким», как пишет российский историк. «Вполне он освоил лишь один метод руководства — нажим на подчиненных, постоянный контроль за "хозяйством", выдвижение руководителей, способных такими же способами обеспечить успех на местах». От работавших на него Орджоникидзе требовал самоотверженности, результатов и верности. Но, со своей стороны, предоставлял защиту, энергично вступаясь за «своих людей», если у них случались неприятности с партией, органами безопасности или другими контролирующими ведомствами. (После смерти Орджоникидзе, вероятно, покончившего с собой, в начале Большого Террора Сталин заметил, что подобная нерассуждающая лояльность к подчиненным и серьезное отношение к взятой на себя роли патрона были одним из его недостатков[56].)

Впрочем, покровительство было в обычае не у одного Орджоникидзе, а у всех советских лидеров, начиная со Сталина и закан-

чивая руководством местного уровня. Все они стремились, чтобы с ними работали «свои» — люди, лично преданные своему начальнику, связывавшие свои интересы с его интересами, полагавшиеся на него как на патрона и т.д. По мнению политолога Кена Джоуитта, советская система управления была персоналистской и «вотчинной», т.е. каждое учреждение напоминало феодальную вотчину, его статус и власть были неотделимы от статуса и власти возглавлявшего его человека. Начальники такого типа выступали в роли патронов для целой свиты политических клиентов, подчиненных и помощников, от которых они требовали верности в обмен на предоставляемое покровительство. Окруженный своим «семейством», местный босс мог надеяться свести к минимуму противодействие или критику своего управления. Он мог также надеяться, поскольку «семейство» контролировало поток информации, успешно скрыть от пристального взгляда центра местные проблемы и огрехи[57].

В центре прекрасно понимали, каковы функции подобных кругов взаимного покровительства. Местные партийные руководители, жаловался Сталин на пленуме ЦК в начале 1937 г., подбирают себе подчиненных не по объективным, а по личным мотивам — «знакомых, приятелей, земляков, лично преданных людей, мастеров по восхвалению своих шефов». Местные верхушки создают защищающие себя «семейства», члены которых «стараются жить в мире, не обижать друг друга, не выносить сора из избы, восхвалять друг друга и время от времени посылать в центр пустопорожние и тошнотворные рапорта об успехах». Если местного начальника переводили в другой район, он стремился взять с собой свиту или «хвост» из самых доверенных подчиненных и специалистов. В своей речи в Центральном Комитете Сталин назвал подобную практику бездумным, «обывательски-мещанским» подходом к кадровому вопросу, но в черновике речи он указал ее политическую подоплеку: «Что значит таскать с собой целую группу приятелей?.. Это значит, что ты получил некоторую независимость от местных организаций и, если хотите, некоторую независимость от ЦК»[58].

Сталинский вывод подтверждается нарисованной по материалам из архивов местного НКВД картиной того, как одно областное «семейство» на Урале обеспечивало верность своих членов и защищало свои интересы.

«Для обеспечения контроля клика использовала целый ряд тактических приемов, в основном в виде не слишком утонченных позитивных и негативных стимулов. Позитивные стимулы были в основном финансовыми. Членам клики и "особо важным членам [областного] партийного актива" обеспечивался в обмен на верность превосходный уровень жизни. Они получали большие квартиры, дачи, особый доступ к потребительским товарам и продуктам и весомую прибавку к зарплате... Негативные стимулы представляли собой обратную сторону медали. Тех, кто доставлял неприятности членам клики, снимали с должности, лишая тем самым связанных с ней привилегий. Партийные чистки [середины] 1930-х гг. ...были излюбленным средством удаления не вызывающих доверия коллег. Как правило, было нетрудно найти в прошлом врага что-нибудь компрометирующее и использовать это, чтобы вычистить его... После того как нарушители спокойствия были убраны, им тщательно подбиралась замена из числа близких друзей клики. Они скорее кооптировались, чем избирались пленумом обкома, как было заведено в 1920-е и в начале 1930-х гг.»[59].

«Мелкая опека» — советский термин того времени, служивший для обозначения микроадминистрирования, в частности бюрократической страсти контролировать даже мелочи повседневной жизни. В России это явление имело длительную историю, берущую свое начало как минимум в эпоху Петра Великого с его знаменитыми предписаниями, как дворянству одеваться и вести себя в общественных местах. Случалось, помещики XVIII века одевали своих крестьян в униформу, муштровали их и составляли для них подробнейший регламент поведения. В царствование Александра I образцом административной практики такого рода стали военные поселения генерала Аракчеева, где крестьяне-солдаты должны были соблюдать раз и навсегда установленные правила гигиены и благопристойного поведения[60].

Подобными примерами изобилует русская литература XIX века, например, произведения Н.Гоголя и М.Салтыкова-Щедрина, чья «История одного города» (1869—1870) представляет целую серию сатирических портретов чиновников, прибывающих в провинцию с разработанными до мельчайших деталей и совершенно нереалистичными проектами всеобщего усовершенствования. Критики «мелкой опеки» в СССР часто вспоминали чеховского Пришибеева, отставного унтер-офицера, «привыкшего командовать в казармах и в отставке державшего себя на тот же начальственный лад», который ходил по деревне и «приказывал, чтобы песни не пели и чтоб огней не жгли», потому что, дескать, нет на то специального разрешения[61].

Один из приведенных в «Крокодиле» примеров мелкой опеки представляет собой приказ (по всей видимости, подлинный), изданный директором одного крахмального завода по поводу стрижки и бритья:

«Ввиду открытия парикмахерской при заводе категорически запрещаю производить стрижку и бритье частным порядком. Обязываю коменданта завода Ботарева и лекпома Чикина наблюдать за этим и при обнаружении бритья на дому составлять акт и дело передавать в суд для привлечения к уголовной ответственности и взыскания штрафа. — Директор Каплан»[62].

Еще один пример такого бюрократического стиля дает Надежда Мандельштам, описывающая председателя колхоза, с которым она встретилась в середине 1930-х гг.:

«За три дня до нашего приезда Дорохов издал приказ поставить на каждое окно в каждой избе по два цветочных горшка. Приказы Дорохова сыпались как горох и были написаны на языке первых лет революции. Он с нами вместе обошел с десяток домов, проверяя, как выполнен цветочный приказ. Значение ему он придавал огромное: цветы выпивают влагу и служат "против ревматизмы". Бабы объясняли Дорохову, что ничего против цветов не имеют, но горшков нигде не достать и три дня слишком малый срок, чтобы вырастить даже лопух или крапиву. Дорохов негодовал, и только наше присутствие задержало суд и расправу»[63].

Дорохов преследовал цели культурно-утопические и расправлялся с ослушниками кулаками. Однако у других любителей микроадминистрирования были совершенно иные цели и методы наказания: они стремились изобрести проступки, которые дали бы им предлог для наложения штрафа, и штрафы эти частенько шли прямо в их карман. Крестьяне постоянно жаловались на подобные действия районных чиновников и председателей колхозов. По их словам, в одном из районов Воронежской области один председатель сельсовета за 1935 и 1936 гг. оштрафовал колхозников в общей сложности на сумму 60000 руб.: «Штрафы он налагал по личному усмотрению и по любому поводу: за невыход на работу, за непосещение занятий по ликвидации неграмотности, за "невежливые выражения", за непривязанных собак... Колхозника М.А.Горшкова оштрафовал на 25 руб. за то, что "в хате не мыты полы"»[64].

Постановлением сталинградского горсовета от 1938 г. людям запрещалось ездить на трамвае в грязной одежде под угрозой штрафа в 100 руб. Сообщавший об этом следователь отмечал: «На вопрос, почему включен такой пункт, я получил ответ, что мы, мол, этим толкаем человека на культурное отношение к себе». В Астрахани одного человека оштрафовали на 100 руб. за ношение шляпы. Приказ Наркомата коммунального хозяйства разрешал держать в квартирах в клетках только певчих птиц и запрещал хранить продукты в самом распространенном в российских городах того времени «холодильнике» — между оконными рамами[65].

Особенно сильной критике страсть местных властей к микроадминистрированию в повседневной жизни подвергалась в конце 1930-х гг., однако трудно определить, связано ли это с тем, что во время Большого Террора она дошла до предела. В мае 1938 г. всесоюзное совещание областных прокуроров осудило тенденцию районных и городских советов издавать обязательные постановления по самым тривиальным вопросам. Вот что рассказал на совещании белорусский прокурор, немало повеселив присутствующих:

«Туровский райисполком издал обязательное постановление, в котором запретил старикам и малолетним детям зажигать спички под страхом административной ответственности...

ВЫШИНСКИЙ: Даже на кухне?

ГОЛОСА С МЕСТА: Это из "Ревизора" Гоголя.

Речицкий горсовет издал обязательное постановление, в котором сказано, что все домовладельцы, руководители учреждений обязаны построить новые асфальтовые тротуары, обязаны красить дома, причем даже устанавливаются цвета окраски, например: по Советской улице — светло-зеленый, по Ленинской — светло-желтый, по Кооперативной — голубой, по всем остальным — темно-зеленый. За нарушение этого обязательного постановления штраф 100 руб.»[66].

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ

Актив (собирательное имя существительное, от которого произошло слово «активист») являлся своего рода группой застрельщиков решительных действий во всех советских структурах. Члены партии и комсомола были активистами почти по определению. В профсоюзах, на заводах, в конторах, университетах, на всех других предприятиях, во всех учреждениях и обществах люди делились на меньшинство активистов, чьей задачей было «призывать к действию, побуждать к бóльшим усилиям», и на остальных, служивших объектами активизации. Предполагалось, что коммунисты и комсомольцы должны быть активистами в любом учреждении или обществе, к которому они принадлежали. Однако и «беспартийным активистам» — энергичным или честолюбивым людям, желавшим работать вместе с партийными, — оставался простор для деятельности[67].

Кроме коммунистов, основными категориями активистов являлись комсомольцы, стахановцы, рабкоры и селькоры, служившие газетам внештатными помощниками, и члены движения общественниц. Быть активистом в первую очередь означало добровольно помогать партийной и советской администрации выполнять ее задачи, такие как набор учеников в школы, сбор государственных поставок в колхозах или повышение трудовой дисциплины на заводах. Естественно, этот аспект активизма был крайне непопулярен среди неактивного населения, которое зачастую относилось к активистам с той же неприязнью, с какой школьники относятся к учительским любимчикам.

Но были у активистов и иные функции. Активисты городского комсомола, гордившиеся своей боевитостью, играли важную роль в коллективизации и антирелигиозных кампаниях начала 1930-х гг., когда они ходили вооруженные, обмундированные почти по-военному, «в галифе, ботинках с обмотками, полувоенном кителе с ремнем и портупеей через плечо»[68]. В течение всего десятилетия они считали своей особой задачей бдительно следить за бюрократией и разоблачать злоупотребления, «невзирая на лица». Именно эти аспекты активизма воодушевляли и привлекали многих молодых людей. Функция надзора за бюрократией пользовалась также неко-

торым одобрением широких масс населения постольку, поскольку активисты представляли общественные интересы, нападая на непопулярных бюрократов. Парадокс активизма 1930-х гг. заключался в том, что он, с одной стороны, означал поддержку режима, а с другой — постоянную критику его доверенных лиц.

Критический аспект воплощен в образе Кати, скромной активистки из дальневосточного совхоза, чьи проблемы с начальником служат завязкой сюжета популярного фильма конца 1930-х гг. «Девушка с характером»:

«На экране появляется светловолосая девушка. Она произносит гневную, обличающую своего начальника — директора зерносовхоза — речь перед шумной, визгливой аудиторией своих питомцев — чернобурых лисиц. Таково первое знакомство зрителей с героиней фильма "Девушка с характером" — Катей Ивановой... Вместе с Катей мы негодуем на бюрократа Мешкова и с нетерпением ждем, чтобы его разоблачили»[69].

Районное начальство заодно с Мешковым, и Катины жалобы кладутся под сукно. Но «девушка с характером» отказывается признать свое поражение. Исполненная самых высоких чувств и юной отваги, она проделывает долгий путь до Москвы и находит справедливость. Для нее активизм означает *вызов власти* — но она бросает этот вызов, будучи уверенной, что в Кремле, на самом верху, такое поведение горячо приветствуют и именно его ждут от молодых советских патриотов.

Истории наподобие Катиной занимают центральное место в воспоминаниях бывших активистов, особенно комсомольцев, того поколения. Об этом свидетельствуют даже заявления беженцев и дезертиров, бывших комсомольцев, проинтервьюированных в Мюнхене вскоре после Второй мировой войны. Для них борьба против коррупции и обскурантизма местной власти осталась самым памятным моментом их комсомольской юности. Один респондент, бывший сельским учителем и комсомольским активистом в Казахстане, вспоминал, как сражался с кликами, «захватившими власть в колхозе и разбазаривавшими колхозное добро»; он нашел тогда союзников в политотделе местной МТС, контрольном органе, отчитывавшемся перед центром, и их «беспощадное отношение» к местным правонарушителям вызвало у него восхищение[70].

Другой респондент, киргиз, получив назначение в отдаленный район республики, пришел в ужас от коррупции и отсталости, с которыми там встретился, и стал активистом. «Единственными, кто пытался бороться с невежеством, были учителя, приехавшие с севера, и местные комсомольские вожаки». Впоследствии этот человек стал журналистом — «разгребателем грязи» в советском стиле и разоблачил одного местного начальника, плохо обращавшегося с женами и детьми. Его консервативный отец-киргиз обвинил его в том, что он занялся «низким ремеслом» доносчика, но сам он видел себя в героическом ореоле: «Моя комсомольская, журналистская совесть не позволила бы мне примириться со злом»[71].

Один из самых молодых мюнхенских респондентов, родившийся в 1921 г. в центре России, в Тверской области, вырос в благоговении перед городскими комсомольцами, «буквально покорившими деревню» во время коллективизации, ходившими в щеголеватой форме военного покроя и носившими наганы. «Они были бойцами, объявившими войну деревенской отсталости и невежеству». Он рассказал историю о том, как эти активисты прогнали секретаря сельсовета, мелкого бюрократа, который был «живым воплощением гоголевского чиновника [и] заставлял людей по три-четыре раза приходить в совет по самому простому делу». Этот респондент видел комсомол в совсем другом свете, нежели позднейшие послевоенные поколения, у которых даже памяти не осталось о его иконоборческом, воинственном духе. Задачей комсомола, говорил он интервьюерам в Мюнхене, было «бороться с любыми недостатками в жизни страны без оглядки наверх, дерзко заявлять требования и претензии молодежи»[72].

«Требования и претензии молодежи» играли очень важную роль в формировании активистского духа предвоенных лет. Еще один мюнхенский респондент пытался объяснить, почему он, молодой человек, выросший в этот период (он родился в 1914 г.), поддерживал советскую власть и хотел быть активистом:

«Несмотря на материальные трудности, как, например, нехватка продовольствия, особенно острая в то время, ни я, ни окружавшая меня молодежь не испытывали никаких антисоветских чувств. Мы просто находили оправдание всем трудностям в том героическом напряжении, которого требовало строительство нового мира... Атмосфера бесстрашной борьбы за общее дело — пуск завода — захватывала наше воображение, пробуждала в нас энтузиазм и как бы ставила нас на передовую, где о трудностях забывали или не обращали на них внимания».

Активизм, по мнению этого респондента, был тесно связан с молодостью:

«Конечно, только мы, молодое поколение, воспринимали действительность таким образом. Наши родители были полны глухого, но глубокого недовольства. Однако аргументы старших оказывали на нас мало действия, так как относились целиком к вещам материальным, а мы видели в официальном оправдании всех этих трудностей внешний идеализм, обладавший сильной притягательностью для молодых»[73].

Кое-кому молодежный активизм казался единственным, что могло спасти революцию. Один респондент чуть постарше (родившийся в 1904 г.) изложил свои убеждения, которые начиная с 1920-х гг. привели его к активизму:

«Не жажда почестей или наград заставляла меня работать без сна и отдыха и отдавать всю свою энергию партии и комсомолу... Я видел, что старшее поколение, изнуренное годами войны и послевоенной разрухи, больше не в состоянии выдержать трудности, связанные с построением социализма. Поэтому я пришел к вы-

воду, что успех в преобразовании страны полностью зависит от физических сил и воли таких людей, как я»[74].

Активисты готовы были встретить трудности и опасности. С одной стороны, опасность представляли местные начальники, разъяренные критикой и вмешательством в свои дела. Сельские корреспонденты, критиковавшие председателей колхозов и сельсоветов, были особенно уязвимы из-за своей физической изоляции. Один активист, сельский учитель в сибирской деревне, так описывал свою борьбу с продажным местным начальством:

«Пишу об отдельных фактах районному прокурору, пишу в Райком ВКП(б), в районную газету, но если бы вы знали, как пассивно относятся к этому районные организации, а вредители этим пользуются. А как они меня ненавидят, эти отдельные болтуны, стоящие у местной власти в качестве членов сельсовета, правления, они мстят мне как только могут. Морят меня с голода, не давая от колхоза никаких продуктов в то время, как сельсовет по 2–3 месяца не выплачивает зарплаты, в силу чего я не могу ничего купить на стороне... Но я не сдам "позицию". Измором они меня не возьмут»[75].

Люди, недовольные режимом и считавшие активистов его слугами, представляли другой источник опасности. Даже члены пионерской организации, филиала комсомола для детей 10–14 лет, могли стать мишенью для нападения. В Россошанском районе в Центральной России, оплоте религиозного сектантства и монархизма, пионеры постоянно вызывали раздражение у верующих, называвших «пионерский галстук "дьявольским силком"» и считавших, «что носить его грех». В 1935 г. группа взрослых верующих подкараулила нескольких пионеров, возвращавшихся в полночь из пионерского клуба:

«Сектанты, одетые во все белое, напали на пионеров, загнали их в овраг, не выпуская оттуда более получаса. Арепьев [глава сектантов] схватил пионера Лободу и сорвал с него одежду, а в других кидал камнями и пробил одному голову. Бросая камни, сектанты кричали: "Чертенята идоловы, я вам покажу, как носить галстуки"»[76].

На Урале рабочий-активист, начинающий писатель Григорий Быков был убит местными молодыми людьми, имеющими связи с кулаками, после того как принял участие в написании истории своего завода, разоблачая скрывающихся там классовых врагов. Подобные инциденты, о которых постоянно писали газеты, давали всем активистам ощутить себя отчаянными храбрецами, ведущими жизнь, полную опасностей, даже если в действительности их существование было довольно серым, и история Павлика Морозова, пионера-мученика, производила такой же эффект[77].

Активисты поддерживали режим. Несомненно, некоторые из них становились активистами из честолюбия, поскольку их преданность могла принести им почести и продвижение по службе. Именно поэтому в активистах часто видели привилегированных фаворитов режима. Однако в собственных глазах они были бойцами, людьми, не щадившими своей жизни в реально идущей борьбе за социализм. Они были воинствующими противниками «отсталости», означавшей в первую очередь веру в Бога, угнетение женщины и прочие традиционные порядки. Они были противниками «бюрократии», т.е. часто вступали в конфликт с местной администрацией. Москва в принципе одобряла такие стычки, однако на практике активисты не могли положиться на то, что Москва защитит их от мести местного начальства, так что представление об активизме как о смелом и рискованном деле не было лишено оснований.

* * *

Коммунисты считали себя авангардом, ведущим массы к социализму. Эту мобилизующую, наставляющую, воспитательную роль они понимали лучше всего и находили самой для себя подходящей. Она давала им ощущение культурного и политического превосходства, которое посторонним зачастую было трудно понять. Как и утверждение о благе конспирации, концепция авангардной роли шла из дореволюционного прошлого партии. Применяемая к иной ситуации, когда партия уже находилась у власти, она оказалась неадекватной сразу в нескольких отношениях. Во-первых, правящий авангард обнаружил, что массы отнюдь не всегда хотят идти туда, куда он их ведет. В реальной жизни лидерство несколько утратило свое очарование: руководитель становился похож не на командира, героически ведущего солдат в бой, а, скорее, на буксир, волокущий мертвый груз в гавань. Порой, чтобы все же заставить свои войска двигаться, командирам приходилось гнать их вперед под дулом пистолета.

Во-вторых, концепция авангардной, мобилизующей роли руководства мало помогала в деле повседневного управления страной. Тут требовалась администрация; а поскольку коммунисты презирали бюрократию, нетерпимо относились к закону и рутинным процедурам, их отношения с собственным административным аппаратом были весьма сложными. Бюрократия являлась для них в лучшем случае необходимым злом. Но это зло росло и росло по мере увеличения сил государства и его стремления все контролировать. После того как государство практически превратилось в монополиста в сфере городского производства и распределения, одной из важнейших его функций, имеющей наиболее непосредственное отношение к городскому населению, стало распределение потребительских товаров. Вплоть до конца 1920-х гг. коммунистов в этой области интересовало главным образом перераспределение, т.е. лишение тех, кто пользовался привилегиями при старом режиме, товаров и прибылей и передача их тем, кто подвергался эксплуатации. Теперь же, когда сталинская революция возвестила наступление эры дефицита, основной задачей бюрократии и предметом главной заботы партийных лидеров стало собственно распределение.

2. ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Айви Литвинова, жена будущего наркома иностранных дел М.Литвинова, вскоре по прибытии в Россию в тяжелое время в конце гражданской войны сделала ценное наблюдение. Она думала, писала она подруге в Англию, что в революционной России «идеи» — это все, а «вещи» — ничто, «потому что у всех будет все необходимое, без излишеств». Но, «гуляя по улицам Москвы и заглядывая в окна на первом этаже, я увидела беспорядочно набитые во все углы московские *вещи* и поняла, что они никогда еще столько не значили»[1]. Эта мысль крайне важна для понимания повседневной жизни в СССР 1930-х гг. *Вещи* имели в 30-е годы в Советском Союзе огромное значение, хотя бы потому, что их было так трудно достать.

Новая, крайне важная роль вещей и их распределения отразилась в повседневной речи. В 1930-е гг. люди не говорили «купить», говорили — «достать». Выражение «трудно достать» постоянно было в употреблении; большую популярность приобрел новый термин для обозначения всех тех вещей, которые трудно достать, — «дефицитные товары». На случай, если попадутся какие-нибудь из дефицитных товаров, люди ходили с сетками, прославившимися под названием «авоськи», в карманах. Завидя очередь, они пристраивались в нее и, лишь заняв свое место, спрашивали, за чем она стоит. Причем свой вопрос формулировали так: не «Что продают?», а «Что дают?» Однако поступление товаров по обычным каналам было столь ненадежным, что возник целый пласт лексики, описывающей альтернативные варианты. Товары могли быть проданы неофициально или из-под прилавка («налево»), если человек имел «знакомства и связи» с нужными людьми или «блат»[2].

1930-е гг. были для советского народа десятилетием огромных трудностей и лишений, гораздо хуже, чем 1920-е. В 1932—1933 гг. все основные хлебородные районы поразил голод, вдобавок еще в 1936 и 1939 гг. плохие урожаи вызвали большие перебои в продовольственном снабжении. Города наводнили новые пришельцы из деревень, жилья катастрофически не хватало, а карточная система грозила рухнуть. Для большей части городского населения вся жизнь вертелась вокруг бесконечной борьбы за самое необходимое — еду, одежду, крышу над головой.

С закрытием городского частного сектора в конце 20-х гг. и началом коллективизации наступила новая эра. Американский инженер, вернувшийся в Москву в июне 1930 г. после нескольких месяцев отсутствия, описывает драматические последствия нового экономического курса:

«Кажется, все магазины на улицах исчезли. Исчез открытый рынок. Исчезли нэпманы. В государственных магазинах в витринах красовались эффектные пустые коробки и прочее декоративное оформление. Но товары внутри отсутствовали»[3].

Уровень жизни в начале сталинского периода резко понизился и в городе, и в деревне. Голод 1932—1933 гг. унес по меньшей мере 3—4 млн жизней и на несколько лет повлиял на рождаемость. Хотя политика государства была направлена на то, чтобы оградить городское население и дать крестьянам принять на себя главный удар, горожане тоже пострадали: смертность росла, рождаемость падала, и потребление мяса и сала на человека в городе составляло в 1932 г. меньше трети от того, что было в 1928 г.[4].

В 1933 году, худшем за все десятилетие, средний женатый рабочий в Москве потреблял менее половины количества хлеба и муки, потреблявшегося таким же рабочим в Петербурге начала XX в., и меньше двух третей соответствующего количества сахара. В его рационе практически отсутствовали жиры, было очень мало молока и фруктов, а мяса и рыбы — всего лишь пятая часть от нормы потребления на рубеже столетия[5]. В 1935 г. положение несколько улучшилось, но неурожай 1936 г. породил новые проблемы: угрозу голода в отдельных сельских районах, бегство крестьян из колхозов и длинные очереди за хлебом в городах весной и летом 1937 г. Самый лучший урожай довоенного периода, надолго сохранившийся в народной памяти, был собран осенью 1937 г. Однако последние предвоенные годы принесли с собой новый виток дефицита и еще большее падение уровня жизни[6].

На протяжении того же периода городское население СССР росло рекордными темпами, что вызвало огромную нехватку жилья, перегруженность всех коммунальных служб и всякого рода неудобства. В 1926—1933 гг. городское население увеличилось на 15 млн чел. (почти на 60 %), а до 1939 г. к нему прибавились еще 16 млн. Число жителей Москвы подскочило с 2 до 3,6 млн чел., в Ленинграде оно выросло почти так же резко. Население Свердловска, промышленного города на Урале, составлявшее меньше 150 тыс. чел., увеличилось почти до полумиллиона чел., столь же впечатляющи были темпы прироста населения в Сталинграде, Новосибирске и других промышленных центрах. В таких городах, как Магнитогорск и Караганда, новый горнодобывающий центр, где широко использовался труд заключенных, кривая прироста населения поднялась с нулевой отметки в 1926 г. до уровня в сто с лишним тыс. чел. в 1939 г.[7]. Пятилетние планы

30-х гг. отдавали промышленному строительству безусловный приоритет перед жилищным. Большинство новых горожан оказались в общежитиях, бараках, а то и в землянках. По сравнению с ними даже печально известные коммуналки, где целая семья ютилась в одной комнате и не было никакой возможности уединиться, считались чуть ли не роскошью.

ДЕФИЦИТ

С переходом к центральному планированию в конце 1920-х гг. дефицит товаров стал неотъемлемой чертой советской экономики. Задним числом мы можем рассматривать его отчасти как структурную характеристику, продукт экономической системы с «мягким» бюджетным принуждением, стимулировавшей всех производителей накапливать запасы[8]. Но в 1930-е гг. мало кто так думал; дефицит считался временной проблемой, частью общей тактики затягивания поясов, одной из жертв, которых требовала индустриализация. Нехватки тех лет, в отличие от послесталинского периода, действительно были вызваны столько же недопроизводством потребительских товаров, сколько и системными проблемами распределения. В первую пятилетку (1929—1932 гг.) приоритет отдавался тяжелой промышленности, а производство потребительских товаров занимало хорошо если второе место. Коммунисты приписывали также нехватку продовольствия стремлению кулаков «припрятать» хлеб, а когда кулаков не стало, — объясняли ее антисоветским саботажем в цепи производства и распределения. Однако, какие бы рациональные объяснения ни давались дефициту, игнорировать его было невозможно. Он уже стал центральным фактом экономической и повседневной жизни.

Когда в 1929—1930 гг. впервые начались перебои с продовольствием и появились очереди за хлебом, население было встревожено и возмущено. Вот цитата из обзора читательских писем в «Правду», подготовленного для партийного руководства:

«В чем выражается недовольство? Во-первых, в том, что рабочий голодный, не употребляет никаких жиров, хлеб — суррогат, который невозможно кушать... Обычное явление, что жена рабочего стоит в очереди по целым дням, придет муж с работы, а обед не готов, и тут все ругань на советскую власть. В очередях шум, крик и драка, ругань по адресу советской власти»[9].

Скоро стало еще хуже. Зимой 1931 г. украинскую деревню поразил голод. Несмотря на молчание газет, весть о нем разлетелась мгновенно; в Киеве, Харькове и других городах приметы голода были налицо, вопреки всем усилиям властей ограничить передвижения по железной дороге и доступ в города. На следующий год голод охватил основные хлебородные районы центральной России, Северного Кавказа и Казахстана. Информацию о нем по-прежнему скрывали, и в декабре 1932 г. были введены внутренние паспорта в попытке поставить под контроль бегство голодающих крестьян в города. Нехватка хлеба периодически возникала и после того, как миновал голодный кризис. Даже в хорошие годы хлебные очереди в отдельных городах и районах принимали достаточно тревожные размеры, чтобы вопрос о них был вынесен на заседания Политбюро.

Наиболее серьезный и широкомасштабный рецидив хлебных очередей случился зимой и весной 1936—1937 гг., после неурожая 1936 г. Еще в ноябре сообщалось о нехватке хлеба в городах Воронежской области, вызванной якобы наплывом крестьян, приезжающих за хлебом в город, потому что в селах нет ни зернышка. В Западной Сибири той зимой люди стояли за хлебом с 2 часов ночи, местный мемуарист описал в своем дневнике огромные очереди в маленьком городке, с толкотней, давкой, истерическими припадками. Женщина из Вологды писала мужу: «Мы с мамой стояли с 4-х утра, и даже черного хлеба нам не досталось, потому что вообще никакого не привезли, и так почти по всему городу». Из Пензы мать писала дочери: «У нас ужасная паника с хлебом. Тысячи крестьян ночуют у хлебных ларьков, за 200 клм. приезжают в Пензу за хлебом, прямо неописуемый ужас... Был мороз, и 7 чел., идя с хлебом домой, замерзли. В магазине стекла перебили, дверь сломали». В деревне было еще хуже. «Мы стоим в очереди за хлебом с 12 часов ночи, а дают только по килограмму, даже если умираешь с голоду, — писала мужу женщина из ярославского колхоза. — Два дня ходим голодные... Все колхозники стоят за хлебом, и сцены бывают ужасные — люди давятся, многих зашибли. Пришли чего-нибудь, не то умрем с голоду»[10].

Перебои с хлебом возникли вновь по всей стране в 1939—1940 гг. «Иосиф Виссарионович, — писала Сталину домохозяйка с Волги, — что-то прямо страшное началось. Хлеба, и то, надо идти в 2 часа ночи стоять до 6 утра, и получишь 2 кг ржаного хлеба». Рабочий с Урала писал, что в его городе за хлебом нужно вставать в очередь в 1—2 часа ночи, а иногда и раньше, и стоять почти 12 часов. Из Алма-Аты в 1940 г. сообщали, что там «возле хлебных магазинов и ларьков целыми днями и даже ночами стоят огромнейшие очереди. Зачастую, проходя мимо этих очередей, можно слышать крики, шум, перебранку, слезы, а иногда и драки»[11].

Дефицит не ограничивался хлебом. Не лучше было положение с прочими основными продуктами питания, такими как мясо, молоко, масло, овощи, не говоря уже о столь необходимых вещах, как соль, мыло, керосин и спички. Рыба тоже исчезла, даже из районов с развитым рыбным промыслом. «Почему ж нет рыбы, дык я и сам не придумаю, — писал в 1940 г. один возмущенный гражданин А.Микояну, возглавлявшему Наркомат продовольствия. — Моря у нас есть и остались те же, какие были и прежде, но тогда ее было сколько хочешь и какой хочешь, а сейчас я даже представление потерял, какая она на вид»[12].

Даже водку в конце 1930-х гг. было трудно достать. Отчасти это явилось следствием недолгой кампании трезвости, выразившейся в принятии сухого закона в отдельных городах и рабочих поселках. Впрочем, движение за трезвость было обречено, поскольку существовала куда более настоятельная потребность в выкачивании средств на индустриализацию. В сентябре 1930 г. Сталин в записке Молотову подчеркивал необходимость повысить производство водки, чтобы оплатить увеличение военных расходов в связи с угрозой нападения Польши. За несколько лет государственное производство водки выросло настолько, что дало пятую часть всего государственного дохода; к середине десятилетия водка стала главным предметом торговли в государственных коммерческих магазинах[13].

Даже сильнее, чем основных продуктов питания, не хватало одежды, обуви и различных потребительских товаров — часто они были совершенно недоступны. Такое положение вещей отражало как приоритеты государственного производства, строго ориентированного на тяжелую промышленность, так и гибельные последствия уничтожения ремесел и кустарной промышленности в начале десятилетия. В 1920-е гг. кустари и ремесленники являлись либо единственными, либо основными производителями многих необходимых в быту предметов: гончарные изделия, корзины, самовары, овчинные тулупы и шапки — лишь малая часть обширного списка. Все эти товары стали в начале 1930-х гг. практически недоступны; в общественных столовых ложки, вилки, тарелки, чашки были в таком дефиците, что рабочие стояли за ними в очереди, так же как за едой; ножей обычно не было вообще. В течение всего десятилетия совершенно невозможно было достать такие простые предметы первой необходимости, как корыта, керосиновые лампы и котелки, потому что использовать цветные металлы для производства товаров народного потребления отныне запрещалось[14].

Постоянной темой жалоб служило плохое качество немногих доступных товаров. Одежда была скроена и сшита небрежно, поступало множество сообщений о таких вопиющих недостатках продающейся в государственных магазинах одежды, как, например, отсутствие рукавов. У кастрюль отваливались ручки, спички не желали зажигаться, в хлебе, испеченном из муки с примесями, попадались чужеродные предметы. Невозможно было починить одежду, обувь, домашнюю утварь, найти слесаря, чтобы сменить замок, или маляра — покрасить стену. В довершение всех трудностей, выпадающих на долю рядовых граждан, даже если они сами обладали необходимыми навыками, то, как правило, не могли достать сырье и материалы, чтобы что-то сделать или починить. В розничной торговле больше нельзя было купить ни краски, ни гвоздей, ни досок, ни чего-либо еще, необходимого для домашнего ремонта; в случае острой необходимости все это приходилось красть с государственного предприятия или стройки.

Обычно даже нитки, иголки, пуговицы и тому подобные вещи купить было невозможно. Продавать лен, пеньку, холст, пряжу населению запрещалось, поскольку всех этих материалов сильно не хватало[15].

Закон от 27 марта 1936 г., вновь легализовавший частную практику в таких сферах, как починка обуви, столярное и плотницкое дело, пошив одежды, парикмахерские услуги, стирка белья, металлоремонт, фотография, починка водопровода и обойные работы, лишь незначительно улучшил ситуацию. Частникам разрешили брать учеников, но они могли работать лишь на заказ, а не для продажи. Заказчик должен был приходить с собственным материалом (т.е., чтобы сшить костюм у портного, нужно было принести свою ткань, нитки и пуговицы). Другие виды кустарного промысла, в том числе почти все, связанные с производством продуктов питания, оставались под запретом. Хлебопекарное дело, изготовление колбас и пр. пищевых изделий были исключены из сферы законной частной трудовой деятельности; правда, крестьянам пока разрешалось торговать домашними пирогами в специально отведенных местах[16].

Одну из наиболее тяжких проблем для потребителя представляла обувь. Помимо катастрофы, постигшей все мелкое производство потребительских товаров, на производстве обуви сказался также острый дефицит кожи — следствие массового забоя скота во время коллективизации. В результате правительство в 1931 г. запретило *любое* кустарное изготовление обуви, полностью поставив потребителя в зависимость от государственной промышленности, выпускавшей обувь в недостаточном количестве и зачастую такого плохого качества, что она разваливалась, как только ее надевали. Любой русский, живший в 1930-е гг., имел в запасе массу жутких историй о том, как он пытался купить обувь или отдать в починку, как сам латал ее дома, как потерял ее или как ее у него украли (см., напр., знаменитый рассказ Зощенко «Калоша») и т.д. С детской обувью было еще труднее, чем со взрослой: когда в 1935 г. в Ярославле начался новый учебный год, в магазинах города не нашлось ни одной пары детской обуви[17].

Политбюро не раз решало, что нужно что-то сделать в области снабжения и распределения потребительских товаров. Но даже проявленный лично Сталиным интерес к данной проблеме не дал результатов[18]. В конце 1930-х гг., так же как и в начале, постоянно говорили об острой нехватке одежды, обуви, текстильной продукции: в Ленинграде собирались очереди по 6000 чел., по сообщениям НКВД, к одному обувному магазину в центре Ленинграда выстраивались такие длинные очереди, что они мешали уличному движению, а окна магазина были выбиты в давке. Жители Киева жаловались, что перед магазинами одежды всю ночь стоят в очереди тысячи человек. Утром милиция пропускала покупателей в магазин партиями по 5—10 чел., которые шли, «взяв-

шись за руки (чтобы никто не влез без очереди)... как заключенные»[19].

Раз существовал дефицит, должны были существовать и козлы отпущения. Нарком продовольствия А.Микоян в начале 1930-х гг. писал в ОГПУ, что подозревает «вредительство» в системе распределения: «Посылаем много, а товар не доходит». ОГПУ услужливо держало наготове список «контрреволюционных шаек», запекавших в хлеб дохлых мышей и подбрасывавших гайки в салат. В Москве в 1933 г. якобы бывшие кулаки «в пищу бросали мусор, гвозди, проволоку, битое стекло», стремясь покалечить рабочих. Поиск козлов отпущения, «вредителей», принял более широкие масштабы после перебоев с хлебом в 1936–1937 гг.: так, например, в Смоленске и Богучарах местных руководителей обвиняли в создании искусственного дефицита хлеба и сахара; в Иваново — в том, что они отравляли хлеб для рабочих; в Казани хлебные очереди объявляли результатом слухов, распускаемых контрреволюционерами[20]. На очередном витке острого дефицита, зимой 1939–1940 гг., подобные обвинения посыпались уже от общественности, а не от правительства, озабоченные граждане стали писать политическим лидерам, требуя найти и наказать «вредителей»[21].

Жилье

Несмотря на огромный прирост городского населения в СССР в 1930-е гг., жилищное строительство оставалось почти в таком же небрежении, как и производство потребительских товаров. До самого хрущевского периода не делалось ничего, чтобы как-то справиться с чудовищным перенаселением, более четверти века остававшимся характерным для советских городов. Между тем люди жили в коммунальных квартирах, где одна семья, как правило, занимала одну комнату, в общежитиях и бараках. Лишь малая, обладающая чрезвычайными привилегиями группа имела отдельные квартиры. Куда большее число людей устраивалось в коридорах и «углах» чужих квартир: у тех, кто проживал в коридорах и передних, обычно были кровати, а обитатели углов спали на полу в углу кухни или какого-нибудь другого места общего пользования.

Большинство жилых зданий в городе после революции перешло в собственность государства, и распоряжались эти жилым фондом горсоветы[22]. Начальство, ведавшее жилищными вопросами, определяло сколько площади должно приходиться на каждого жильца квартиры, и эти нормы жилплощади — пресловутые «квадратные метры» — навсегда запечатлелись в сердце каждого жителя большого города. В Москве в 1930 г. средняя норма жилплощади составляла 5,5 м^2 на человека, а в 1940 г. понизилась почти до 4 м^2. В новых и быстро индустриализирующихся городах положение было еще хуже: в Магнитогорске и Иркутске норма была чуть меньше 4 м^2, а в Красноярске в 1933 г. — всего 3,4 м^2 [23].

Городские жилотделы имели право выселять жильцов — например, тех, кто считался «классовыми врагами», — и подселять новых в уже занятые квартиры. Последний обычай, обозначавшийся эвфемизмом «уплотнение», был одним из самых страшных кошмаров для горожан в 1920-х — начале 1930-х гг. Квартира, занятая одной семьей, могла внезапно, по велению городского начальства, превратиться в многосемейную или коммунальную, причем новые жильцы, как правило, выходцы из низших классов, были совершенно незнакомы старым и зачастую несовместимы с ними. Раз топор был занесен, избежать удара было практически невозможно. Семья, первоначально занимавшая квартиру, не могла никуда переехать, как из-за жилищного дефицита, так и из-за отсутствия частного рынка найма жилья.

С конца 1932 г., после того как вновь были введены внутренние паспорта и городская прописка, жителям больших городов требовалось иметь вид на жительство, выдававшийся отделами органов внутренних дел. В домах с отдельными квартирами обязанность регистрировать жильцов была возложена на управдомов и правления кооперативов. Как и при старом режиме, управдомы и дворники, чьей основной функцией было поддержание порядка в здании и прилегающем дворе, находились в постоянной связи с органами внутренних дел, следили за жильцами и работали осведомителями[24].

В Москве и других крупных городах процветали всевозможные махинации с жильем: фиктивные браки и разводы, прописка чужих людей в качестве родственников, сдача внаем «коек и углов» по непомерным ценам (до 50% месячного заработка). Как сообщалось в 1933 г., «занятие [под жилье] кочегарок, сторожек, подвалов и лестничных клеток стало в Москве массовым явлением». Нехватка жилья приводила к тому, что разведенные супруги нередко оставались жить в одной квартире, не имея возможности разъехаться. Так, например, случилось с Лебедевыми, которых привязанность к роскошной квартире площадью почти 22 м^2 в центре Москвы заставила продолжать сожительство (вместе с их 18-летним сыном) в течение шести лет после развода, несмотря на столь плохие отношения, что их постоянно привлекали к суду за нанесение друг другу побоев. Порой физическое насилие заходило гораздо дальше. В Симферополе власти обнаружили в квартире семьи Диховых разлагающийся труп женщины. Она оказалась теткой Диховых, которую они убили, чтобы завладеть квартирой[25].

Жилищный кризис в Москве и Ленинграде был столь острым, что даже самые лучшие связи и социальный статус часто еще не гарантировали получения отдельной квартиры. Политики и правительственные чиновники утопали в просьбах и жалобах граждан

на отсутствие подходящего жилья. Тридцатишестилетний ленинградский рабочий, пять лет проживший в коридоре, писал Молотову, умоляя дать «комнату или маленькую квартирку, для построения в ней личной жизни», которая ему «как воздух необходима». Дети одной московской семьи из шести человек просили не вселять их в каморку под лестницей, без окон, общей площадью 6 $м^2$ (т.е. по 1 $м^2$ на человека)[26].

Обычный для русских городов сталинской эпохи тип жилья представляли собой коммунальные квартиры, по комнате на семью.

«Водопровода в комнате не было; простынями или занавесками выгораживались уголки, где спали и сидели два-три поколения; продукты зимой вывешивались в мешках за окно. Общие раковины, уборные, ванны и кухонные приспособления (обычно всего лишь примусы... горелки и краны с холодной водой) располагались либо на ничейной территории между жилыми комнатами, либо внизу, в неотапливаемых, завешанных бельем сенях»[27].

Термин «коммунальный» имеет некий идеологический оттенок, вызывая в воображении картину коллективного социалистического общежития. Однако реальность разительно отличалась от этой картины, и даже в теории было мало попыток подвести под данное понятие развернутую идеологическую базу. Правда, в годы гражданской войны, когда горсоветы впервые начали «уплотнять» квартиры, они выставляли как один из мотивов стремление уравнять уровень жизни рабочих и буржуазии; коммунисты часто с удовольствием наблюдали отчаяние респектабельных буржуазных семей, вынужденных пускать в свою квартиру грязных пролетариев. В течение недолгого периода Культурной Революции в конце 1920-х — начале 1930-х гг. радикальные архитекторы предпочитали коммунальные квартиры по идеологическим соображениям и строили новое жилье для рабочих с общими кухнями и ванными. В Магнитогорске, например, первые капитальные жилые дома были построены по проекту, который не только заставлял семьи пользоваться общими ванными и уборными, но еще и первоначально не предусматривал кухонь — поскольку предполагалось, что все будут питаться в общественных столовых[28]. Однако, за исключением новых промышленных городов, подобных Магнитогорску, большинство коммуналок 1930-х гг. были не построены, а переделаны из старых отдельных квартир, и такая переделка в основном объяснялась вполне практическими причинами: нехваткой жилья.

В действительности, судя по большинству рассказов, коммунальные квартиры отнюдь не способствовали воспитанию духа коллективизма и привычек общинного быта у жильцов; фактически они делали прямо противоположное. Каждая семья ревниво охраняла личное имущество, например, кастрюли, сковородки, тарелки, хранившиеся в кухне — месте общего пользования. Строжайшим образом проводились демаркационные линии. Зависть и

алчность процветали в замкнутом мирке коммуналки, где зачастую площадь комнат и размеры занимающих их семей не соответствовали друг другу, и семьи, живущие в больших комнатах, вызывали глубокое негодование тех, кто жил в маленьких. Это негодование послужило источником множества доносов и судебных исков, целью которых было увеличить жизненное пространство доносчика или истца за счет соседа.

Одна затянувшаяся склока такого рода описана в жалобе московской учительницы, муж которой был приговорен к 8 годам лишения свободы за контрреволюционную агитацию. Их семья (родители и двое сыновей) почти два десятка лет прожила в большой — 42 $м^2$ — комнате в московской коммуналке. «На протяжении всех этих лет наша комната была яблоком раздора для всех жильцов нашей квартиры», — писала учительница. Враждебно настроенные соседи преследовали их всеми возможными способами, в том числе писали доносы в разные местные инстанции. В результате семью сначала лишили прав, потом не выдали паспортов и, наконец, после ареста главы семьи — выселили[29].

Жизнь в коммуналке, бок о бок с людьми разного происхождения, с самыми разными биографиями, чужими друг другу, но обязанными сообща пользоваться квартирными удобствами и содержать их в чистоте, без права на уединение, постоянно на глазах у соседей, крайне изматывала большинство жильцов психически. Неудивительно, что сатирик М.Зощенко в своем знаменитом рассказе о нравах коммуналки назвал ее обитателей «нервными людьми». Перечень мрачных сторон жизни коммунальной квартиры содержался в правительственном постановлении 1935 г., осуждающем «хулиганское поведение» в квартире, в том числе «устройство... систематических попоек, сопровождающихся шумом, драками и площадной бранью, нанесение побоев (в частности женщинам и детям), оскорблений, угрозы расправиться, пользуясь своим служебным или партийным положением, развратное поведение, национальную травлю, издевательство над личностью, учинение разных пакостей (выбрасывание чужих вещей из кухни и других мест общего пользования, порча пищи, изготовляемой другими жильцами, чужих вещей и продуктов и т.п.)»[30].

«В каждой квартире был свой сумасшедший, так же как свой пьяница или пьяницы, свой смутьян или смутьяны, свой доносчик и т.д.», — рассказывал ветеран коммуналок. Наиболее распространенной формой сумасшествия была мания преследования: к примеру, «одна соседка была убеждена, что остальные подмешивают ей в суп толченое стекло, что ее хотят отравить»[31]. Жизнь в коммуналке безусловно обостряла душевное заболевание, создавая кошмарные условия и для больного, и для его соседей. Женщина по фамилии Богданова, 52 лет, одинокая, проживавшая в хорошей 20-метровой комнате в коммуналке в Ленинграде, долгие годы вела войну с соседями, пуская в ход бесчисленные доносы и

судебные иски. Она утверждала, что ее соседи кулаки, растратчики, спекулянты. Соседи уверяли, что она сумасшедшая, НКВД, постоянно привлекаемый к разбору их склок, и врачи придерживались того же мнения. И несмотря на это, власти считали невозможным выселить Богданову, поскольку она отказывалась переехать в другую квартиру, а «крайне нервное состояние» не позволяло перевезти ее силой[32].

Наряду со всеми этими ужасными историями нельзя не привести воспоминания меньшинства о духе взаимовыручки, царившем среди их соседей по коммуналке, живших как бы одной большой семьей. В одной московской коммуналке, например, все соседи дружили, помогали друг другу, не запирали дверей днем и смотрели сквозь пальцы на жену «врага народа», нелегально поселившуюся вместе с маленьким сыном в комнате своей сестры[33]. Большинство добрых воспоминаний о коммуналке, в том числе и упомянутое выше, относятся к воспоминаниям детских лет: дети, у которых частнособственнические инстинкты были менее развиты, чем у их родителей, часто радовались, что с ними живут их сверстники и им есть с кем играть, и любили наблюдать за поведением множества столь непохожих друг на друга взрослых.

В новых индустриальных городах характерной приметой жилищной ситуации — и вообще городского коммунального хозяйства — было то, что жилье и прочие коммунальные услуги предоставлялись предприятиями, а не местными советами, как было принято в других местах. Таким образом, неотъемлемой чертой жизни в СССР стали «ведомственные городки», где завод не только давал работу, но и контролировал жилищные условия. В Магнитогорске 82 % жилплощади принадлежало главному промышленному объекту города — Магнитогорскому металлургическому комбинату. Даже в Москве ведомственное жилье получило в 1930-е гг. широкое распространение[34].

Обычно оно имело вид бараков или общежитий. На одной крупной промышленной новостройке в Сибири в начале 1930-х гг. в бараках жили 95 % рабочих. В Магнитогорске в 1938 г. бараки составляли только 47 % имевшегося жилья, однако к этому следует прибавить 18 % землянок, крытых дерном, соломой и обрезками металла, построенных самими жильцами[35]. Одноэтажные бараки, состоявшие из больших комнат с рядами железных коек или поделенные на маленькие комнатки, как правило, служили жильем для холостых рабочих в новых промышленных городах и представляли обычную картину на окраинах старых; женатым рабочим с семьями тоже порой приходилось жить в них, несмотря на отсутствие уединения. В общежития обычно селили студентов, а также молодых неженатых квалифицированных рабочих и служащих.

Джон Скотт так описывает сравнительно приличный барак в Магнитогорске — низкое деревянное беленое здание, «двойные стены проложены соломой. Крыша, крытая толем, по весне протекала. В бараке было тридцать комнат. В каждой жильцы установили маленькую кирпичную или железную печку, так что, пока были дрова или уголь, комнаты можно было отапливать. Коридор с низким потолком освещался одной маленькой электрической лампочкой». В комнате на двух человек «размером шесть на десять футов имелось одно маленькое окошко, которое заклеивали газетами, чтобы не дуло. Там стояли небольшой стол, маленькая кирпичная печка и трехногий табурет. Две железные койки были узкими и шаткими. На них не было пружинной сетки, только толстые доски лежали на железном каркасе». В бараках не было ванных, водопровода, по-видимому, тоже. «Кухня имелась, но в ней жила одна семья, поэтому все готовили на своих печках»[36].

Скотта, как иностранца, хотя и рабочего, поселили в барак лучше обычного. Весь Магнитогорск был полон бараков, «одноэтажных строений, тянувшихся рядами, насколько хватало глаз, и не имевших никаких характерных отличительных примет. "Идешь домой, ищешь, ищешь, — растерянно говорил один местный житель. — Все бараки на одно лицо, своего никак не найдешь"». В таких новых городах бараки обычно были поделены на большие общие спальни, где находились «нары для сна, печь для обогрева, стол посередине, зачастую не хватало даже столов и стульев», как рассказывали о сибирском Кузнецке. Мужчины и женщины, как правило, жили в разных бараках или, по крайней мере, в разных общих комнатах. В самых больших бараках, на 100 человек, часто проживали 200 и больше, на кроватях спали посменно. Такое перенаселение не было чем-то из ряда вон выходящим. В одном московском бараке, принадлежавшем крупному электрическому заводу, в 1932 г. обитали 550 чел., мужчин и женщин: «На каждого приходилось по 2 квадратных метра, места настолько не хватало, что 50 человек спали на полу, а некоторые пользовались койками с соломенными матрацами по очереди»[37].

Рабочие и студенческие общежития были устроены по образцу бараков: большие комнаты (отдельно для мужчин и для женщин), скудно обставленные железными койками и тумбочками, с единственной лампочкой посередине. Даже на таком элитном московском заводе, как «Серп и молот», 60 % рабочих в 1937 г. жили в общежитиях того или иного рода. Обследование рабочих общежитий в Новосибирске в 1938 г. выявило плачевное состояние некоторых из них. В двухэтажных деревянных общежитиях строительных рабочих не было ни электричества, ни какого-либо другого освещения, а строительное управление не снабжало их ни топливом, ни керосином. Среди жильцов были одинокие женщины, которых в отчете рекомендовалось немедленно переселить, поскольку в общежитии «бытовое разложение рабочих имеется (пьянство и т.д.)». Впрочем, в других местах условия оказались лучше. Женщины-работницы, в основном комсомолки, жили в относительном комфорте, в общежитии, обставленном кроватями, столами и стульями, с электричеством, хотя и без водопровода[38].

Жалкие условия жизни в бараках и общежитиях вызывали недовольство, и во второй половине 1930-х гг. развернулась кампания за их улучшение. Общественницы приносили туда занавески и прочие приятные мелочи. Предприятиям дали указание поделить большие комнаты в общежитиях и бараках, чтобы живущие там семьи могли хоть как-то уединиться. Уральский машиностроительный завод в Свердловске рапортовал в 1935 г., что уже переделал почти все свои большие бараки в маленькие отдельные комнаты; год спустя Сталинский металлургический завод сообщал, что все 247 рабочих семей, живущих в «общих комнатах» в его бараках, скоро получат отдельные комнаты. В Магнитогорске этот процесс к 1938 г. был уже почти завершен. Но эпоха бараков так быстро не закончилась, даже в Москве, не говоря уже о новых промышленных городах Урала и Сибири. Несмотря на постановление Моссовета 1934 г., запрещавшее дальнейшее строительство бараков в городе, к 5000 уже имеющихся московских бараков в 1938 г. добавились 225 новых[39].

НЕВЗГОДЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

В жизни советского города 1930-х гг. все шло кувырком. В старых городах коммунальные службы: общественный транспорт, дорожное хозяйство, электро- и водоснабжение — выбивались из сил под гнетом внезапного прироста населения, повышающихся запросов промышленности и скудного бюджета. Новым промышленным городам приходилось еще хуже, поскольку там коммунальное хозяйство начиналось с нуля. «Физический облик городов ужасен, — писал американский инженер, работавший в Советском Союзе в начале 1930-х гг. — Вонь, грязь, разруха поражают чувства на каждом шагу»[40].

Москва являлась витриной Советского Союза. Сооружение первых линий московского метро, с эскалаторами и фресками на стенах подземных станций-дворцов, было гордостью страны; даже Сталин с друзьями прокатился по ним в ночь после их открытия в начале 1930-х гг.[41]. В Москве ходили трамваи, троллейбусы и автобусы. Более двух третей ее жителей пользовались канализацией и водопроводом еще в начале десятилетия, а к концу его — почти три четверти. Разумеется, большинство жило в домах без ванных и мылось где-то раз в неделю в общественных банях — но, по крайней мере, город был сравнительно хорошо обеспечен банями, в отличие от многих других[42].

За пределами Москвы жизнь мгновенно менялась к худшему. Даже Подмосковье было плохо обеспечено коммунальными службами: в Люберцах, райцентре Московской области, при населении 65000 чел. не имелось ни одной бани, в Орехово-Зуево, образцово-показательном рабочем поселке с яслями, клубом и аптекой, отсутствовали уличное освещение и водопровод. В Воронеже

новые дома для рабочих до 1937 г. строили без водопровода и канализации. В городах Сибири большинство населения обходилось без водопровода, канализации и центрального отопления. Сталинград, с населением, приближающимся к полумиллиону, еще и в 1938 г. не имел канализации. В Новосибирске в 1929 г. были системы канализации и водоснабжения ограниченных размеров и на 150000 с лишним чел. населения — только три бани[43].

Днепропетровск, быстро растущий, благоустроенный промышленный город на Украине, с населением почти 400000 чел., расположенный в центре плодородного сельскохозяйственного региона, в 1933 г. не имел канализации, а в его рабочих поселках отсутствовали мощеные улицы, общественный транспорт, электричество и водопровод. Вода нормировалась и продавалась в бараках по рублю за ведро. Во всем городе не хватало энергии — зимой приходилось отключать почти все фонари на главной улице — несмотря на соседство с крупной Днепровской гидроэлектростанцией. Секретарь парторганизации города отправил в центр в 1933 г. отчаянное послание, в котором просил средств на городское благоустройство, указывая на серьезное ухудшение ситуации в области здравоохранения: в городе свирепствовала малярия, тем летом было зарегистрировано 26000 случаев заболевания, тогда как в предыдущем году — 10000[44].

Новые индустриальные города располагали еще меньшими удобствами. Верхушка Ленинского горсовета в Сибири в слезном письме вышестоящему руководству нарисовала мрачную картину своего города:

«Гор. Ленинск-Кузнецкий с населением 80 тыс. чел. ...крайне отстал в области культуры и благоустройства... Из 80 км. улиц города замощена только одна улица и та не полностью. Весной и осенью из-за отсутствия благоустроенных дорог, переходов, тротуаров — грязь достигает таких размеров, что рабочие с большим трудом попадают на работу и обратно домой, а в школах срываются занятия. Не в лучшем состоянии положение с освещением улиц. Освещен только центр на протяжении всего 3-х километров, остальная часть города, не говоря уже об окраинах, находится в темноте»[45].

Магнитогорск, образцово-показательный новый индустриальный город, во многих отношениях тоже витрина, располагал лишь одной мощеной улицей длиной 15 км и весьма скудным уличным освещением. «Большая часть города пользовалась выгребными ямами, содержимое которых опорожнялось в цистерны, прицепленные к грузовикам»; даже в относительно элитном Кировском районе много лет не было приличной канализации. Городскую систему водоснабжения загрязняли промышленные отходы. Большинство магнитогорских рабочих жили в поселках на окраинах города, состоявших из «времянок, выстроившихся вдоль единственной грунтовой дороги... покрытой огромными лужами грязной

3 — 788

воды, кучами отбросов и многочисленными распахнутыми нужниками»[46].

Жители и гости Москвы и Ленинграда оставили яркие описания тамошних трамваев и невероятной давки в них. Существовали строгие правила, требовавшие, чтобы пассажиры входили через заднюю дверь, а выходили через переднюю, заставляя тем самым пассажиров постоянно продвигаться вперед. Зачастую толпа не позволяла человеку выйти на своей остановке. График движения был весьма непостоянен: иногда трамваи просто не ходили; в Ленинграде можно было видеть «дикие трамваи» (т.е. незапланированные, с самозваными водителями и кондукторами), которые курсировали по рельсам, нелегально сажали пассажиров и прикарманивали плату за проезд[47].

В провинциальных городах, где мощеные улицы в конце десятилетия оставались относительной редкостью, количество общественного транспорта любого рода было минимальным. В Сталинграде в 1938 г. имелся трамвайный парк с 67 км путей, но не было автобусов. Псков, с населением 60000 чел., в 1939 г. не располагал ни трамвайным парком, ни мощеными улицами: весь городской транспорт состоял из двух автобусов. В Пензе тоже не было трамваев до Второй мировой войны, хотя пустить их планировали еще в 1912 г.; там городской транспорт в 1940 г. состоял из 21 автобуса. Магнитогорск обзавелся коротким трамвайным маршрутом в 1935 г., но в конце десятилетия там все еще ходили только 8 автобусов, которые представители заводской администрации использовали, чтобы «объезжать город и окраины и подвозить своих рабочих, где бы те ни жили»[48].

По улицам многих советских городов в 1930-е гг. опасно было ходить. Наиболее дурной славой пользовались новые индустриальные города и рабочие поселки в старых. Здесь пьянство, скопление беспокойных одиноких мужчин, недостаточные силы органов правопорядка, плохие жизненные условия, немощеные и неосвещенные улицы — все вместе способствовало созданию атмосферы дикости и беззакония. Грабежи, убийства, пьяные драки и нападения на прохожих ни с того ни с сего были обычным делом. На рабочих местах и в бараках в многонациональной среде часто вспыхивали национальные конфликты. Власти относили все эти проблемы на счет рабочих-крестьян, недавно прибывших из деревни, часто имевших темное прошлое или являвшихся «деклассированными элементами»[49].

Разрушительное, антиобщественное поведение в СССР называли «хулиганством». Этот термин имел сложную историю и менявшееся значение, в 1920-е и в начале 1930-х гг. он был связан с подрывающим порядок, непочтительным, антиобщественным поведением, чаще всего характерным для молодых мужчин. Все оттенки этого понятия были зафиксированы в перечне «хулиганских» действий, приведенном в 1934 г. в одном юридическом журнале: оскорбления, драки на кулаках, битье окон, стрельба на улицах,

приставание к прохожим, срыв культурных мероприятий в клубе, битье тарелок в столовой, нарушение сна граждан драками и шумом в позднее ночное время[50].

Вспышка хулиганства в первой половине 1930-х гг. вызвала тревогу общественности. В Орле хулиганы так терроризировали население, что рабочие перестали ходить на работу; в Омске «рабочих вечерней смены обязали ночевать на заводе, чтобы не подвергаться риску быть избитыми и ограбленными». В Надеждинске на Урале граждане «буквально терроризировались хулиганством не только ночью, но даже и днем. Хулиганские действия выражались в бесцельных приставаниях, в стрельбе на улицах, в нанесении оскорблений, побоев, битье окон и т.д. Хулиганы целыми шайками заходили в клуб, срывали все культурные мероприятия, проводимые клубом, заходили в рабочие общежития, подымали там бесцельный шум, а иногда и драку, мешая нормальному отдыху рабочих»[51].

Местом действия хулиганов часто становились парки. Парк и клуб одного фабричного поселка на Верхней Волге, с населением 7000 чел., описывались как настоящая вотчина хулиганов:

«При входе в парк и в самом парке можно в любом количестве купить вина всех сортов. Неудивительно, что пьянство и хулиганство в поселке приняли большие размеры. Хулиганы большей частью остаются безнаказанными и все более наглеют. Недавно они нанесли ранения начальнику производства химического завода т. Давыдову, избили шофера Суворева и других граждан».

Хулиганы сорвали торжественное открытие хабаровского Парка культуры и отдыха. Парк был плохо освещен, и с наступлением темноты «хулиганы начали свои "гастроли"... бесцеремонно толкают женщин в спину, срывают с них головные уборы, матерятся, поднимают драки на танцовальной площадке и в аллеях»[52].

Преступность процветала также в поездах и на железнодорожных вокзалах и станциях. Банды грабителей нападали на пассажиров в пригородных и дальних поездах в Ленинградской области: их называли «бандитами», термином более суровым, чем «хулиган», и приговаривали к смертной казни. На станциях всегда толпился народ — люди, пытающиеся купить билеты, приезжие, которым негде остановиться, спекулянты, карманники и т.п. Об одном вокзале в Ленинградской области писали, что он «напоминает скорее ночлежку, чем благоустроенный узловой железнодорожный пункт. В помещении для пассажиров подозрительные люди живут по 3—4 дня, часто валяются пьяные, спекулянты торгуют папиросами, шатаются какие-то темные личности. В буфете постоянное пьянство и невообразимая грязь». На новосибирском вокзале достать билет можно было единственным способом — у шайки перекупщиков, возглавлявшейся «профессором»: «среднего роста, кличка "Иван Иванович", в белой соломенной шляпе, с трубкой во рту»[53].

ИСКУССТВО ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ

Объявив в конце 20-х гг. частное предпринимательство вне закона, государство стало главным, а нередко и единственным распределителем различных благ и товаров. Все основные социальные блага, такие как жилье, медицинское обслуживание, высшее образование и путевки в дома отдыха предоставлялись государственными ведомствами[54]. Чтобы получить их, граждане должны были подать заявление в соответствующую инстанцию. Там их претензии оценивали, исходя из различных критериев, в том числе классового происхождения заявителя: пролетарии относились к высшей категории, «классово чуждые» лишенцы — к низшей. Почти всегда составлялись длинные списки очередников, потому что требуемых благ не хватало. Оказавшись, наконец, первым в списке, гражданин, в принципе, должен был получить квартиру необходимого размера или путевку в дом отдыха. Квартиры и путевки доставались не бесплатно, однако плата за них была невысока. Легального частного рынка для большинства социальных благ не существовало[55].

В сфере торговли — т.е. распределения продовольствия, одежды и других потребительских товаров — ситуация была несколько сложнее. Государство не являлось единственным легальным распределителем, поскольку крестьянам с 1932 г. разрешили торговать своей продукцией на колхозных рынках. Кроме того, существование «коммерческих» магазинов с высокими ценами, хотя они и принадлежали государству, тоже вносило некий квазирыночный элемент. Тем не менее и в этой сфере государство было почти монополистом.

Учитывая размеры поставленной задачи — заменить частную торговлю — и тот факт, что она решалась в спешке, без заранее продуманного плана, в период общего кризиса и перелома, трудно удивляться тому, что новая система распределения постоянно давала сбои. И все же масштабы сбоев и влияние их на повседневную жизнь горожан поразительны. Только коллективизация превзошла эту катастрофу по своему размаху и далеко идущим последствиям. Разумеется, горожане, как правило, не умирали с голоду из-за новой системы торговли, не подвергались арестам и высылке, как крестьяне в ходе коллективизации. И тем не менее, в конце 1920-х гг. условия жизни в городе внезапно и резко ухудшились, что вызвало огромные тяготы и неудобства для населения. Хотя в середине 1930-х гг. положение несколько улучшилось, распределение потребительских товаров все следующие полвека оставалось главной проблемой советской экономики.

Имея некоторые идеи относительно торговли, например — что основанный на прибыли капиталистический рынок есть зло, а перепродажа товаров с наценкой — преступление («спекуляция»), советские политические лидеры мало задумывались о том, что такое, собственно, «социалистическая торговля». Они вовсе

не предвидели, что их система породит хронический дефицит, как утверждал позже венгерский экономист Янош Корнаи; напротив, они ждали, что она породит изобилие. Точно так же они не представляли, что, создавая государственную монополию на распределение, отдают центральную распределительную функцию на откуп государственной бюрократии, что оказало столь глубокое воздействие на взаимоотношения между государством и обществом и социальное расслоение. Как марксисты, советские лидеры считали главным производство, а не распределение. У многих из них сохранялось ощущение, будто торговля, даже государственная, это грязное занятие, — а формальные и неформальные системы распределения, появившиеся в 1930-е гг., только подтверждали такую точку зрения[56].

Первоначально основными аспектами новой системы торговли были нормирование по карточкам и так называемое «закрытое распределение». При нормировании по карточкам определенное ограниченное количество товара отпускалось по предъявлении, наряду с оплатой, специальной карточки. При закрытом распределении товары распределялись по месту работы через закрытые магазины, куда допускались только работники данного предприятия или учреждения либо лица из особого списка. В дальнейшем, как можно видеть, это положило начало системе иерархически дифференцированного доступа к потребительским товарам, ставшей неотъемлемой чертой советской торговли и источником расслоения советского общества.

И карточки, и закрытое распределение являлись результатом импровизации перед лицом экономического кризиса, а не продуманной политикой, принятой по идеологическим соображениям. Правда, некоторые пламенные теоретики марксизма вытащили на свет старые доводы времен гражданской войны, будто карточки — это как раз такая форма распределения, которая приличествует социализму. Однако партийному руководству такие рассуждения были не слишком по вкусу. Они чувствовали, что карточки — это нечто такое, чего следует стыдиться, свидетельство экономического кризиса и бедности государства. Когда в конце 1920-х гг. карточки появились вновь, это произошло по инициативе на местах, а не по решению центра. Отмена хлебных карточек в начале 1935 г. была представлена общественности как большой шаг на пути к социализму и хорошей жизни, хотя фактически она вела к падению реальных доходов и многих низкооплачиваемых рабочих возмущали происходящие перемены. На закрытых заседаниях Политбюро Сталин особенно настаивал на том, как важно отменить карточки[57].

Несмотря на отсутствие энтузиазма по поводу карточек у высшего руководства, к ним прибегали столь часто, что эту меру можно рассматривать как неизбежную при сталинском распределении. Карточная система была введена в России во время Первой мировой войны и существовала всю гражданскую войну. Она

вновь официально действовала с 1929 по 1935 и с 1941 по 1947 г. — в общем почти половину сталинского периода. Даже когда карточная система отменялась, местные власти могли произвольно ввести ее у себя без санкции центра, как только возникали проблемы со снабжением. В конце 1930-х гг. и карточки, и закрытое распределение потихоньку опять распространились по всей стране в результате несанкционированной инициативы властей на местах. Когда товаров действительно не хватало, карточки казались им — а зачастую и местному населению — самым простым способом справиться с проблемой. Закрытое распределение привлекало местную верхушку (но не население) тем, что гарантировало ей привилегированный доступ к дефицитным товарам.

Карточная система была в первую очередь городским явлением; она стихийно сложилась в городах СССР в 1928—1929 гг., начиная с Одессы и других украинских городов, в ответ на перебои снабжения, вызванные трудностями при проведении хлебозаготовок. Вначале она касалась всех основных продуктов питания, затем стала охватывать и наиболее распространенные промышленные товары, например верхнюю одежду и обувь[58].

Как и в годы гражданской войны, карточная система времен первой пятилетки носила характер откровенной социальной дискриминации. Высшую категорию составляли промышленные рабочие, низшую — торговцы, в том числе бывшие, сменившие род занятий за последний год, священники, кабатчики и прочие классово чуждые элементы, которым вообще не давали карточек[59]. Тут действовал тот же принцип «пролетарского приоритета», который применялся и в других областях (при приеме в высшие учебные заведения, предоставлении жилья) в рамках общей советской политики выдвижения пролетариата. Однако на практике распределение товаров по карточкам шло по более сложной схеме. Во-первых, принцип «пролетарского приоритета» оказался нарушен, когда различные категории работников умственного труда, например профессора и инженеры, обрели равные права с рабочими. Во-вторых, уровень государственного снабжения вообще и нормирования по карточкам в частности существенно варьировал в зависимости от региона, ведомства, отрасли промышленности или предприятия[60].

Однако самым важным фактором, подрывающим принцип «пролетарского приоритета», стало закрытое распределение. Это означало распределение нормированных товаров по месту работы через закрытые магазины и столовые, доступные только рабочим, зарегистрированным на данном предприятии[61]. Закрытое распределение развивалось одновременно с карточной системой, сосуществуя с сетью «открытого распределения», состоящей из общедоступных государственных магазинов, и за период первой пятилетки система закрытого распределения охватила промышленных рабочих, железнодорожников, рабочих лесозаготовок, персонал совхозов, служащих государственных учреждений и многие другие

категории — в начале 1932 г. общее число закрытых магазинов достигло 40000, составив почти третью часть городских розничных торговых точек. Концентрация снабжения по месту работы усилилась с развитием сети заводских столовых, где рабочие получали днем горячее питание. За годы первой пятилетки их число возросло пятикратно, дойдя до 30000. В июле 1933 г. они обслуживали две трети жителей Москвы и 58 % жителей Ленинграда[62].

Закрытое распределение задумывалось для защиты трудящегося населения от худших последствий дефицита и связи нормирования товаров с занятостью. Но у него быстро появилась другая функция (подробнее описанная в гл. 4) — обеспечение привилегированного снабжения определенных категорий привилегированных лиц. Для различных элитных категорий чиновников и специалистов были созданы специальные закрытые распределители, снабжающие их товарами гораздо более высокого качества, чем те, что имелись в обычных закрытых магазинах и заводских столовых. У иностранцев, работавших в Советском Союзе, была собственная система закрытого распределения, называвшаяся Инснаб[63].

В 1935 г. закрытое распределение официально отменили. Однако спустя шесть месяцев инспекторы из Наркомата внешней торговли отмечали, что «некоторые магазины бронируют товары для отдельных групп покупателей, возрождая различные формы закрытого снабжения». Несмотря на то что нарком торговли И.Вейцер запретил подобную практику, она продолжала существовать, будучи выгодна местной верхушке, которой обеспечивала привилегированный доступ к товарам. Когда в конце десятилетия вновь возник острый дефицит, число точек закрытого распределения тут же умножилось. Так, например, с появлением больших хлебных очередей в Кустанае, Алма-Ате и других провинциальных городах в конце 1939 г. местные власти создали закрытые магазины, куда допускались только представители «номенклатуры». В учреждениях и на предприятиях по всей стране функционировали закрытые буфеты для сотрудников[64].

Для государственных и кооперативных магазинов в 1930-е гг. характерны были низкие цены и длинные очереди, и в них постоянно кончался товар. Но если у вас были деньги, вы могли найти другие варианты. Легальную альтернативу представляли колхозные рынки, магазины Торгсина и государственные «коммерческие» магазины.

Колхозные рынки являлись преемниками крестьянских рынков, существовавших в российских городах веками. В период нэпа их терпели, но многие из них, подобно московской Сухаревке, приобрели весьма скверную репутацию и в первую пятилетку были прикрыты местными властями. Однако в мае 1932 г. законность их существования была признана в правительственном указе, регулирующем их деятельность. Этот указ вызвала к жизни настоятельная необходимость оживить поток продукции из

деревни в город, грозивший совершенно иссякнуть. Одна из его особенностей заключалась в том, что он вновь давал право вести торговлю крестьянам и сельским кустарям — но никому больше. Любого горожанина, занявшегося торговлей, клеймили кличкой «спекулянт», и местным властям строго-настрого наказывали «не допускать открытия магазинов и лавок частными торговцами и всячески искоренять перекупщиков и спекулянтов, пытающихся нажиться за счет рабочих и крестьян»[65].

На практике советской власти так и не удалось избавить от «перекупщиков и спекулянтов» колхозные рынки, ставшие основным средоточием деятельности черного рынка и всевозможных темных делишек. Несмотря на то что борьба против «спекуляции» никогда не кончалась, власти довольно терпимо относились к горожанам, пытавшимся сбыть с рук поношенную одежду или личные вещи, а то и продать небольшое количество новых товаров (купленных либо изготовленных самолично). Рынки стали фактически оазисами частной торговли в советской экономике[66].

Цены колхозного рынка, свободно колебавшиеся, а не устанавливаемые государством, всегда были выше, чем в обычных государственных магазинах, а иногда даже выше, чем в коммерческих магазинах, о которых речь пойдет ниже. В 1932 г. мясо на московских рынках стоило 10—11 рублей килограмм, тогда как в обычных магазинах — 2 рубля; картошка — 1 рубль килограмм (в магазине — 18 копеек)[67]. В середине 1930-х гг. разница цен несколько сгладилась, но все же оставалась значительной и всегда готова была возрасти при малейших перебоях в снабжении. Большинству рядовых наемных работников колхозный рынок был не по карману, и они ходили туда только по особым случаям.

Такую же аномалию весьма недолгое время представляли собой магазины Торгсина, с 1930 по 1936 г. торговавшие дефицитными товарами за иностранную валюту, золото, серебро и прочие ценности. Предтечи позднейших валютных магазинов в СССР, магазины Торгсина отличались от них тем, что были открыты для любого гражданина, имевшего подходящую валюту. Цель их была проста: пополнить советские запасы твердой валюты, чтобы дать стране возможность импортировать больше техники для индустриализации. Цены Торгсина были невысоки (ниже «коммерческих» и цен колхозного рынка), но советскому гражданину покупки в Торгсине обходились дорого, ибо ему приходилось жертвовать либо остатками фамильного серебра, либо дедовскими золотыми часами, а то и собственным обручальным кольцом. Некоторые из центральных магазинов Торгсина, особенно московский магазин на улице Горького, возникший на месте прославленного елисеевского гастронома, отличались роскошной обстановкой и пышным убранством. В годы голода, как писал шокированный иностранный журналист, «люди целыми группами [стояли] перед витринами, с завистью разглядывая возвышавшиеся там пирамиды фруктов; со вкусом расставленные и развешанные ботинки и пальто; масло, белый хлеб и другие деликатесы, им недоступные»[68].

«Коммерческими» первоначально назывались государственные магазины, в которых по более высоким ценам продавались товары без карточек. Как признанные торговые учреждения они появились в конце 1929 г.; сначала там торговали одеждой, хлопчатобумажными и шерстяными тканями, но скоро ассортимент расширился, стал включать как шикарные деликатесы вроде копченой рыбы и икры, так и более насущные товары: водку, сигареты, основные продукты питания. В период карточной системы коммерческие цены, как правило, вдвое-вчетверо превышали цены на товары, отпускаемые по карточкам. Так, например, в 1931 г. туфли, стоившие в обычном магазине 11—12 руб. (если бы вам удалось их там найти!), в коммерческом стоили 30—40 руб.; брюки в обычном магазине продавались за 9 руб., в коммерческом — за 17 руб. Сыр в коммерческом магазине был дороже вдвое, сахар — более чем в восемь раз. В 1932 г. коммерческие магазины дали десятую часть всего розничного оборота. К 1934 г., после значительного уменьшения разницы между коммерческими и обычными ценами, их доля возросла до одной четвертой части[69].

С отменой карточек в 1935 г. сеть коммерческих магазинов расширилась. Во многих городах открылись магазины мод, специализированные магазины, торговавшие промышленными товарами более высокого качества и по более высоким ценам, чем в обычных государственных магазинах. Новый нарком торговли И.Вейцер проповедовал философию «советской свободной торговли», предполагавшую ориентацию на покупателя и соревнование между магазинами в рамках структуры госторговли. В третьей четверти 1930-х гг. в системе торговли несомненно произошли значительные улучшения, в основном благодаря существенному увеличению государственных инвестиций, размеры которых во вторую пятилетку (1933—1937) были втрое больше, чем в первую[70].

Однако плодами этих улучшений по большей части могли пользоваться лишь наиболее обеспеченные слои населения. Дальнейшее сокращение разницы между коммерческими и обычными государственными ценами происходило в такой же мере за счет повышения обычных цен, как и за счет снижения коммерческих. Если в начале 1930-х гг. граждан на всех уровнях советского общества тяготил в основном острый дефицит, то начиная с середины десятилетия от малообеспеченных групп населения не менее часто слышались жалобы на то, что их реальный доход слишком низок и потому товары все равно недоступны. «Я не могу позволить себе покупать продукты в коммерческих магазинах, все очень дорого, ходишь-бродишь, как тень, и только худеешь и слабеешь», — писал властям в 1935 г. один ленинградский рабочий. Когда в январе 1939 г. базовые государственные цены на одежду и другие промышленные товары удвоились (крупнейшее одномо-

ментное повышение цен за десятилетие), НКВД отмечал сильнейший ропот среди городского населения и множество жалоб на то, что привилегированная верхушка равнодушна к мучениям рядовых граждан, а Молотов, обещавший, что цены больше не вырастут, обманул народ[71].

Спекуляция

Как мы видели, получить товары любого рода, от туфель до квартир, по официальным государственным каналам распределения было крайне трудно. Во-первых, товаров просто не хватало. Во-вторых, ведомства, распределявшие их, делали это исключительно неэффективно и были насквозь коррумпированы. В государственных магазинах были длинные очереди и зачастую пустые прилавки. Составлявшиеся местными властями списки очередников на жилье достигали таких размеров, а неформальные методы, помогавшие обойти их, процветали настолько, что фактически никто не мог дождаться своей очереди, не принимая каких-то дополнительных мер.

В результате огромное значение приобрело неофициальное распределение — т.е. распределение в обход формальной бюрократической системы. В сталинскую эпоху в СССР буйным цветом расцвела «вторая экономика» (хотя сам этот термин — более позднего происхождения); она существовала столько же времени, сколько и «первая», и фактически может считаться преемницей частного сектора 1920-х гг., несмотря на свой переход с легального, хотя и еле терпимого государством, на нелегальное положение. Подобно частному сектору времен нэпа, вторая экономика сталинской эпохи по сути распределяла товары, произведенные государством и принадлежащие ему, а продукция, произведенная частным образом, играла в ней явно второстепенную роль. Утечка товаров происходила в любом звене системы производства и распределения, на любом этапе пути от заводского цеха до сельского кооперативного магазинчика. Любой работник системы торговли какого угодно уровня мог быть тем или иным образом причастен к этому, потому-то данный род занятий, хотя и обеспечивал уровень жизни выше среднего, считался сомнительным и не давал высокого социального статуса.

Как указывали Дж.Берлинер и другие экономисты, сталинская первая экономика не могла бы функционировать без второй, поскольку вся промышленность опиралась на практику более-менее незаконного добывания необходимого сырья и оборудования, и промышленные предприятия содержали для этой цели целую армию искушенных во второй экономике агентов — «толкачей»[72]. То, что верно для промышленности, a fortiori было верно и для рядовых граждан. Каждому случалось покупать продукты или одежду у спекулянтов или доставать квартиру, железнодорожный билет, путевку в дом отдыха «по блату», хотя одни чаще прибегали к услугам второй экономики и лучше умели делать это, чем другие.

Советское руководство огульно называло «спекуляцией» любое приобретение товаров для перепродажи по более высокой цене и рассматривало подобные действия как преступление. Эту сторону советского менталитета можно объяснить марксистской идеологией (хотя очень немногие марксисты вне России столь страстно и категорически выступали против торговли), однако она, по-видимому, имеет и национальные русские корни[73]. Как бы то ни было, и спекуляция, и моральное осуждение ее крайне прочно утвердились в Советской России.

Кто такие были «спекулянты»? Среди них можно было встретить и преуспевающих дельцов преступного мира, ведущих роскошную жизнь и имеющих связи во многих городах, и задавленных бедностью старух, покупающих утром в магазине колбасу или чулки, чтобы несколько часов спустя с небольшой наценкой перепродать их на улице. Некоторые спекулянты в прежние времена занимались легальной торговлей: например, человек по фамилии Жидовецкий, осужденный к восьми годам заключения за спекуляцию в 1935 г., скупал в Москве отрезы шерстяных тканей и возил их для перепродажи в Киев. Другие, подобно Тимофею Дроботу, осужденному в Поволжье за спекуляцию к пяти годам в 1937 г., раньше были крестьянами, которых раскулачивание вырвало из родной почвы и заставило влачить существование отщепенцев, еле сводящих концы с концами[74].

Среди громких дел о спекуляции, описанных в газетах, самое крупное и сложное связано с деятельностью группы людей, якобы бывших кулаков и частных торговцев, развернувшей весьма приличных масштабов торговлю лавровым листом, содой, перцем, чаем и кофе, используя связи и точки в ряде волжских и уральских городов, а также в Москве и Ленинграде. Один из участников группы в момент ареста вез 70000 рублей, другой, как говорили, сколотил на этом деле в общей сложности свыше 1,5 млн рублей. Кустари из Дагестана Нажмудин Шамсудинов и Магомет Магомадов находились на низшей ступени по сравнению с бакалейной шайкой, но и у них были при себе 18000 руб., когда их арестовали за нарушение общественного порядка в ресторане в Грозном, столице Чечни, а кроме того, они только что отослали домой еще 7000 руб.[75].

Многие провинциальные спекулянты, чтобы приобрести товар, просто садились на поезд до лучше снабжаемых Москвы или Ленинграда и покупали его там в магазинах. Группа из 22 спекулянтов, в 1936 г. представшая перед судом в Воронеже, использовала этот метод, открыв легальную мастерскую по пошиву одежды для прикрытия перепродажи полученных таким образом товаров, среди которых на момент ареста группы находились 1677 м ткани,

44 платья, а также 2 велосипеда, множество пар обуви, грампластинки и какой-то резиновый клей[76].

Однако в хорошо поставленном, с размахом ведущемся деле использовались более эффективные методы получения товара, нежели обычное приобретение его в государственных магазинах в числе других покупателей. Крупные дельцы зачастую имели «связи» с директорами магазинов и складскими работниками (или являлись директорами магазинов сами) и систематически забирали товар с заднего хода. Директор магазина и другие торговые работники могли участвовать в деле непосредственно, как, например, коммерческий директор ленинградского магазина одежды, которого судили за то, что он возглавлял шайку спекулянтов, получавшую товар прямо со склада магазина. Впрочем, в данном магазине не один коммерческий директор был связан со спекулянтами. Один из продавцов и начальник отдела пожарной охраны, например, заранее давали знать профессиональным спекулянтам, когда поступит товар, и пропускали их без очереди, зарабатывая на этом каждый раз по 40—50 руб.[77].

Подобные случаи иллюстрирует серия из трех карикатур под общим заголовком «Фокусник», напечатанная в «Крокодиле». На первом рисунке изображен открытый ларек, полный товаров, на втором — ларек закрыт на ночь, на третьем — он же на следующее утро, открытый и пустой. «На ваших глазах я запер ларек на ночь на замок, — говорит фокусник. — Наутро я его открываю. Алле гоп!.. А ларек совершенно пуст. Ничего фантастического: исключительно ловкость рук и очень много мошенства»[78].

Любой, кто работал в торговле, считалось в народе, имел то или иное отношение ко второй экономике или по крайней мере злоупотреблял своим преимущественным доступом к товарам. Подобное мнение отражено во многих шутках «Крокодила». На одной карикатуре, например, мать говорит дочери: «Все равно, милочка. Партейный ли у тебя будет или беспартейный, лишь бы в ЗРК служил». На другой — работник кооперативного магазина в смятении взирает на поступившую партию рубашек: «Что делать? Как распределить? Получил 12 рубашек, а членов семьи у меня только 8»[79]. Неудивительно, что работников кооперативных магазинов часто судили за спекуляцию.

Нередко со спекуляцией была связана также работа проводника на железной дороге. Например, проводник Сталинской ж.-д. в Донбассе закупал обувь и различные промышленные товары в Москве, Киеве и Харькове и распродавал их в пути. Другой проводник «забирал в области ткани у людей, работавших на текстильных фабриках. Он ездил также поездом в Шепетовку, расположенную вблизи границы, и доставал там товары, переправленные контрабандой через русско-польскую границу». Возможными спекулянтами считались работники бань и шоферы (которые

могли использовать служебные машины, чтобы ездить по колхозам и скупать их продукцию для продажи в городе). Мелкой спекуляцией занимались многие домохозяйки, отстаивавшие очереди в государственных магазинах и закупавшие такие товары, как одежда и текстиль, для продажи на рынке или соседям. Так, например, по словам газет, домохозяйка Остроумова регулярно спекулировала тканями. За один раз она покупала лишь 3—4 м, но при аресте в ее квартире в чемодане обнаружили 400 м ткани[80].

Квартира часто служила местом перепродажи товаров[81]. Соседи, зная, что некое лицо (обычно женщина) имеет определенный товар или может достать его, наведывались вечерком посмотреть, что у нее есть. Подобные сделки, как и многие другие операции в сфере «второй экономики», рассматривались с совершенно противоположных позиций их участниками, видевшими в них дружескую услугу, и государством, считавшим их преступлением. Популярностью у спекулянтов пользовались также железнодорожные вокзалы и магазины, перед которыми уличные разносчики сбывали товары, купленные ранее внутри.

Но главным местом спекуляции был, по-видимому, колхозный рынок. Здесь нелегально или полулегально торговали всевозможными вещами: сельскохозяйственной продукцией, купленной у крестьян посредниками, промышленными товарами, украденными или приобретенными со складов магазинов, поношенной одеждой, даже карточками и фальшивыми паспортами. Закон разрешал крестьянам продавать на рынке их собственную продукцию, но запрещал другим лицам делать это вместо них, хотя зачастую для крестьян это было удобнее, чем торчать целый день на рынке. Репортаж из Днепропетровска так описывает этот процесс:

«Часто на дороге к базару колхозников встречает перекупщик. — Что везешь? — Огурцы. Названа цена, и огурцы, собранные с индивидуального огорода колхозника, закуплены перекупщиком оптом и на рынке продаются по повышенной цене.

Многие перекупщики известны, но они часто находятся под покровительством сборщиков базарных налогов»[82].

В принципе, любое частное лицо не имело права продавать на колхозном рынке промышленные товары, за исключением сельских кустарей, торгующих своей продукцией. Однако добиться соблюдения этого правила было крайне трудно, отчасти потому, что государственные производители использовали рынки для сбыта своих изделий крестьянам. Такая практика призвана была поощрить крестьян везти на рынок сельскохозяйственную продукцию, но в то же время она давала спекулянтам возможность скупать промтовары и перепродавать их с наценкой. По сообщениям газет, в 1936 г. в Москве на Ярославском и Дубининском рынках спекулянты, «как москвичи, так и приезжие», вовсю торговали резиновыми тапочками, галошами, туфлями, готовым платьем и грампластинками[83].

ЗНАКОМСТВА И СВЯЗИ

Обеспокоенный житель Новгорода Петр Гатцук писал в 1940 г. А.Вышинскому, заместителю председателя СНК, порицая такое явление, как блат:

«В русском языке появилось слово "блат". Я не могу перевести его вам буквально, наверное, оно происходит от какого-то иностранного слова. Но и на русском я его хорошо понимаю и могу дать точное толкование. В переводе на русский язык слово "блат" означает обман, мошенничество, воровство, спекуляцию, халатность и т.д. А что значит, если мы встречаем выражение: "У меня есть блат" [?] Это значит, что у меня есть тесная связь с обманщиком, спекулянтом, вором, мошенником, паразитом и т.п.».

Гражданин, не имеющий блата, утверждал Гатцук, фактически лишен прав:

«Не иметь блата — то же самое, что не иметь гражданских прав, то же, что быть лишенным всех прав... Придешь с какой-нибудь просьбой — все будут глухи, слепы и немы. Если нужно... что-то купить в магазине — нужен блат. Если пассажиру трудно или вовсе невозможно достать билет — по блату это легко и просто. Если нет квартиры, нечего ходить в жилотдел, в прокуратуру — немного блата, и сразу получишь квартиру»[84].

Блат подрывает принцип планового распределения в социалистической экономике, он «чужд и враждебен нашему обществу», заключал Гатцук. К сожалению, в данный момент он не карается по закону. Гатцук предлагал объявить его уголовным преступлением, влекущим за собой особые санкции (Вышинский, юрист по образованию, или кто-то из его канцелярии подчеркнул этот пассаж).

Гатцук был не одинок, считая, что без блата жизнь в СССР невозможна. «Ключевым словом, самым важным в языке, было слово "блат", — писал о позднем сталинском периоде британский журналист Эдвард Крэнкшо. — Без соответствующего блата было невозможно достать билет на поезд из Киева в Харьков, найти жилье в Москве или Ленинграде, купить лампы для приемника, найти мастера починить крышу, взять интервью у правительственного чиновника... Многие годы [блат] был *единственным* способом получить необходимое»[85].

Не только Гатцук рассматривал блат как нечто патологическое, совершенно не соответствующее российскому обществу и чуждое ему. В 1935 г. авторитетный советский словарь отнес слово «блат» к «воровскому жаргону», употребляемому преступниками, добавляя при этом, что новый разговорный вульгаризм «по блату» означает «незаконными средствами»[86]. Респонденты послевоенного Гарвардского проекта интервью с беженцами, по мере возможности дистанцируясь и от слова, и от обозначаемой им практики, говорили, что «блат» — это «советское ругательство», «слово народного происхождения, никогда не встречающееся в литературе», «слово, порожденное ненормальным образом жизни», и извинялись за его употребление («Простите, но придется прибегнуть к советскому жаргону...»). «Блат» — то же самое, что взяточничество, говорили некоторые; «блат» — это протекция или покровительство. Эвфемизмов для обозначения блата было в избытке: «блат значит знакомство»; «блат... в приличном обществе называли "буква з" (от слова "знакомые")»; блат еще называли «зис», сокращение от «знакомства и связи»[87].

Блат можно определить как систему взаимоотношений, связанных с обменом товарами и одолжениями, равноправных и неиерархических, в отличие от отношений покровительства. По мнению участников этих отношений, они основывались на дружбе, хотя деньги порой и переходили при этом из рук в руки. Таким образом, с их точки зрения, русская пословица «рука руку моет» являла собой грубую пародию на подлинное личное уважение и теплые чувства, ассоциировавшиеся у них с «блатными» делами. Гораздо лучшее представление о блате давала (как считали участники таких отношений) другая пословица, приведенная одним из респондентов Гарвардского проекта: «Как говорят в Советском Союзе: "Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей"»[88].

Лишь малая часть респондентов Гарвардского проекта проявляла желание распространяться о собственных «блатных» делах[89], и, делая это, они всегда говорили именно о дружбе и подчеркивали человеческий фактор «блатных» отношений. «Друзья» много значат в Советском Союзе, говорила одна женщина, явно широко пользовавшаяся блатом, потому что они помогают друг другу. Отвечая на гипотетический вопрос, что бы она стала делать, если бы у нее были проблемы, она нарисовала картину связанного горячей взаимной поддержкой сообщества родных, друзей и соседей: «У моих родных... были друзья, которые могли бы мне помочь... Один... был начальником большого треста. Он часто помогал и сам обратился бы к нам, если бы ему была нужна помощь. Он был нашим соседом... Один мой родственник был главным инженером на заводе. Он всегда мог помочь, если его попросить»[90].

Бывший инженер, ставший по сути настоящим специалистом по блату, будучи снабженцем сахарного треста, постоянно употреблял слово «друг»: «Я легко завожу друзей, а в России без друзей ничего не сделаешь. Я дружил с несколькими видными коммунистами. Один из них посоветовал мне поехать в Москву, где у него был друг, которого только что сделали начальником строительства новых сахарных заводов... Я пошел к нему поговорить, и за всемогущим стаканчиком водки мы подружились». Он завязывал дружбу не только со своими начальниками, но и с чиновниками по снабжению в провинции, с которыми имел дело: «Я пригласил директора пообедать со мной, напоил его водкой. Мы стали хорошими друзьями... Мой начальник очень ценил эту мою

способность заводить друзей и доставать необходимые материалы»[91].

Выпивка являлась важной стороной «блатных» взаимоотношений среди мужчин. Для респондента, чьи слова процитированы выше, выпивка и установление дружеских отношений были неразрывно связаны; кроме того, выпивка, по крайней мере иногда, явно способствовала разговору «по душам», как, например, при его первой встрече со своим будущим начальником в сахарном тресте, когда тот пытался выведать, насколько он разбирается в своей работе, и признался, что «еще пару лет назад даже не знал, из чего делают сахар». Правда, порой этот респондент говорил о выпивке больше как о средстве достижения цели: «обычно это срабатывает», — заметил он вскользь, описывая одни такие дружеские посиделки с водкой. Другие респонденты также утверждали, что лучший способ добиться чего-то или решить проблему — принести бутылку водки тому, кто может помочь. Однако водка была не просто подношением, ее следовало выпить вместе, прежде чем дело будет улажено, — отсюда выражение «собутыльники», характерное для «блатных» взаимоотношений[92].

Некоторые люди были специалистами по блату. Можно решить любую проблему, говорил один гарвардский респондент, если знаком с «профессиональными "блатниками"», «людьми, которые имеют связи в верхах и знают советскую систему. Они знают, кому можно дать взятку или поднести подарок, и какой именно подарок». Другой тип «блатного» профессионализма запечатлен в рассказе о поездке по снабженческим делам (основанном на реальном опыте одного польского еврея, сосланного в Казахстан во время войны), где представлены наброски портретов целого ряда профессионалов-«блатников» в сфере промышленности, милых и щедрых людей, являвшихся, по определению автора, «членами... невидимого подпольного сообщества тех, чьи должности дают им возможность обмениваться услугами с другими членами»[93].

Профессиональные «блатники» послужили темой юмористического стихотворения популярного поэта В.Лебедева-Кумача, напечатанного в 1933 г. в «Крокодиле» и озаглавленного каламбуром «Блат-нот» — имелся в виду особый блокнот, куда заносят номера телефонов и адреса «блатных» знакомых в придачу с таинственными зашифрованными записями вроде следующих: «Приятель Петра (санаторий)», «Сергей (пластинки, патефон)», «Ник.Ник. (насчет харчей)». «Тайный код» указывал владельцу «блат-нота», где лучше получить квалифицированную помощь в том или ином деле («Только позвони — и через минуту на проводе "Ник.Ник." Он достанет тебе все, что нужно»). Единственная проблема, говорилось в конце стихотворения, заключается в том, что связь с этими темными личностями может в конце концов привести тебя на допрос в прокуратуру[94].

Снабженец сахарного треста, чьи слова несколько раз цитировались выше, принадлежал именно к категории профессионалов-«блатников». Как и многие другие, он наслаждался своей работой: «Я любил свою работу. Она хорошо оплачивалась, у меня был большой блат, я ездил по всему Советскому Союзу — суточные и командировочные удостоверения приходились весьма кстати, — а кроме того, я получал удовлетворение от достигнутого, потому что я добивался успеха там, где другие терпели неудачу». Удовольствие от своего труда было характерно для виртуозов блата, непрофессионалов, для которых блат являлся призванием души. Один такой виртуоз представлял собой весьма примечательную личность: ссыльный из Ленинграда, работавший счетоводом в колхозе, он был мастером на все руки (искусно плотничал, мастерил ящики и бочонки), но считал себя представителем интеллигенции. Летом он пускал жильцов и особенно подружился с директором большого ленинградского гаража, с которым ходил на охоту и поддерживал регулярные «блатные» взаимоотношения (дерево из леса обменивалось на муку и сахар из города). «Моего отца ценили, — вспоминал его сын. — Он хорошо работал, а кроме того, мог очень много сделать. Он помогал многим людям, любил устраивать дела по блату и умел это делать»[95].

Блат вовсе не являлся прерогативой профессионалов и виртуозов. Кое-кто из респондентов Гарвардского проекта полагал, что «блатные» отношения возможны только для людей более или менее состоятельных: «Знаете, никто не станет помогать бедному человеку. Ему нечего предложить взамен. Блат обычно означает, что и вы, в свою очередь, должны для кого-то что-то сделать». Однако те, кто делал подобные заявления, отрицая наличие у себя «блатных» связей по той причине, что они, дескать, были для этого слишком незначительными людьми, зачастую в другом месте своего интервью рассказывали какие-то эпизоды из собственной жизни, когда и они по сути пользовались блатом (устраиваясь на работу или продвигаясь по службе благодаря личным связям)[96]. Из этих и других данных, по всей видимости, следует, что принцип взаимности мог толковаться весьма широко: если вы просто нравились кому-то, это уже могло стать основой для «блатных» взаимоотношений.

Сделки по блату в жизни гарвардских респондентов, о которых они рассказывали (как правило, не употребляя при этом слово «блат»), преследовали множество целей: например, получение прописки или фальшивых документов, лучшего места работы, материалов для строительства дачи. Огромное количество этих «блатных» операций было связано с приобретением одежды и обуви («У меня... была подруга, работавшая в универмаге, и я доставала одежду через нее», «Я знал одного человека, работавшего на обувной фабрике, приятеля моей жены; поэтому мне удавалось доставать обувь хорошего качества по дешевке»). По словам одного респондента, отец которого работал в кооперативном

магазине, его семья обладала такими обширными «блатными» связями, что «у нас всегда все было. Костюмы были очень дороги, хотя можно было достать и по государственным ценам. Нам приходилось стоять в очереди только за обувью, потому что у нас не было друзей, которые работали бы в обувных магазинах»[97].

Тема блата на удивление часто возникала в «Крокодиле», помещавшем на своих страницах карикатуры, изображавшие процедуры поступления в университет, получения медицинских справок, мест в хороших домах отдыха и ресторанах. «Что это ты, приятель, так часто болеешь? — Я знаком с доктором», — можно прочесть под одной из карикатур. На другой изображены отдыхающий и доктор, беседующие на балконе шикарного дома отдыха. «Я здесь уже месяц и еще ни разу не видел директора», — говорит отдыхающий. «Как, вы его не знаете? Как же вы тогда получили комнату?»[98]

Одна из карикатур «Крокодила» иллюстрирует присущую неформальным советским механизмам распределения тенденцию превращать любые официальные бюрократические отношения в личные. Она озаглавлена «Хорошее воспитание» и изображает директора магазина, учтиво беседующего с покупателем. На них смотрят кассирша и еще одна женщина. «Вежливый человек наш директор, — говорит кассирша. — Когда ткань отпускает, каждого покупателя называет по имени и отчеству». — «Неужели он всех покупателей знает?» — «Конечно. Кого он не знает, тому и не отпустит»[99].

* * *

Личные связи смягчали суровые условия жизни в СССР, по крайней мере для некоторых его граждан. Кроме того, они ставили под сомнение значение великой сталинской перестройки экономики, создавая вторую экономику, основанную на покровительстве и личных контактах, параллельно первой, социалистической, основанной на государственной собственности и центральном планировании. Из-за острого дефицита товаров эта вторая экономика, по-видимому, имела в жизни рядовых людей даже большее значение, чем частный сектор во времена нэпа, как это ни покажется парадоксально.

Правда, даже для людей со связями неудобства стали неизбежной нормой советской жизни. Горожане тратили долгие часы в очередях за хлебом и другими вещами первой необходимости. Путь на работу и с работы становился пыткой: в больших городах люди с хозяйственными сумками старались втиснуться в набитые битком, тряские автобусы и трамваи, в маленьких — брели по немощеным улицам, зимой засыпанным снегом, весной и осенью покрытым лужами, больше напоминающими моря. Многие из маленьких радостей жизни, таких как кафе и магазинчики по соседству, исчезли вместе с концом нэпа; при новой централизованной

системе государственной торговли зачастую приходилось ехать в центр города, чтобы починить обувь. Дома, в коммуналках и бараках, жизнь проходила в тягостной скученности, была лишена комфорта, и ее часто отравляли склоки с соседями. Дополнительным источником дискомфорта и раздражения служила «непрерывная рабочая неделя», упразднившая отдых по воскресеньям и нередко приводившая к тому, что у всех членов семьи были разные выходные дни[100].

Разумеется, все эти трудности, дефицит, неудобства были явлениями переходного периода — но так ли это? По мере того как шли 1930-е гг., особенно когда в конце десятилетия уровень жизни снова понизился, многие люди должны были задаться этим вопросом. Правда, в середине 1930-х кривая пошла вверх, и последующий спад мог объясняться близкой угрозой войны. Кроме того, лишениям настоящего всегда можно было противопоставить видение изобильного социалистического будущего (об этом пойдет речь в следующей главе). По словам одного гарвардского респондента, он «думал, что все трудности связаны с жертвами, которые необходимы для строительства социализма, и что после того, как социалистическое общество будет построено, жизнь станет лучше»[101].

3. ДВОРЦЫ ИЗ СЛИВОВОЙ КОСТОЧКИ

Жил да был один факир восточный...
Бросит в землю косточку от сливы,
Утром глядь — дворец стоит красивый.
Детский стишок[1].

То была эпоха утопий. Политические лидеры предавались утопическим иллюзиям, так же как многие рядовые граждане, особенно среди молодого поколения. В век скептицизма трудно постичь дух того времени, ибо утопизм, как и революция, не поддается доводам рассудка. Как мог кто-то серьезно верить в светлое будущее, совершенно отличное от печального прошлого и сумбурного настоящего? Трудность понимания еще увеличивается из-за огромной дистанции между утопической мечтой и советской реальностью. Появляется соблазн отмахнуться от этой мечты как от обычного обмана и камуфляжа неприглядной действительности, тем более что утопическая риторика, среди всего прочего, в самом деле служила советской власти для этих целей. Но, изучая повседневный сталинизм, отмахиваться от нее никак нельзя. Она не только была составляющей сталинизма, причем очень важной составляющей, но и частью повседневного опыта каждого человека в 30-е гг. Советский гражданин мог верить или не верить в светлое будущее, но не мог не знать, что таковое ему обещано[2].

Утопической мечтой 1930-х гг. было преобразование мира природы и человека с помощью индустриализации и современных технологий. Такое преобразование именовалось «строительством социализма», но, когда дело коснулось социальных отношений и структур, оказалось, что в этой мечте очень мало кардинально нового. Когда читаешь журнал М.Горького «Наши достижения», основанный специально для того, чтобы оповещать общественность о советских преобразовательных подвигах, она предстает почти имперской мечтой, сосредоточенной на овладении географическим пространством и окружающей средой да на цивилизующей миссии в отношении отсталых жителей Советского Союза. «Широка страна моя родная», — гласит знаменитая первая строчка популярнейшей советской песни. И это была не простая констатация

факта или похвальба, а утверждение основополагающей ценности — величины[3].

Ленин однажды сказал, взглянув на карту России: «К северу от Вологды, к юго-востоку от... Саратова, к югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств, и на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и настоящая дикость». Если бы Ленин был еще жив, писал автор одной передовицы в начале 1930-х гг., и посмотрел на карту Советского Союза, он увидел бы совсем другую картину. «К северу от Вологды мы построили могучую промышленность по добыче сельскохозяйственного удобрения, выстроили новый город — Хибиногорск. К востоку от Москвы, в древнем купеческом Нижнем Новгороде, мы воздвигли гигантский Автозавод. К югу от Саратова нами построен мощный Сталинградский тракторный гигант», — далее следует исчерпывающий перечень советских промышленных строек[4].

Ключом к преобразованию являлась современная промышленность. «Настало время взять в свои руки все богатства своей страны, — провозглашал автор передовицы. — Настало время железными руками машин заново перестраивать свое отечество... одеть всю страну, от Архангельска до Ташкента, от Ленинграда до Владивостока, в железную броню индустриальных гигантов... всю страну опутать сетями электрических проводов»[5]. Лишь появление современной промышленности на этих бескрайних пространствах может спасти их обитателей от колониального угнетения царских времен и дать им de facto, а не только de jure, равенство с центром России[6].

Журнал Горького читал сравнительно ограниченный круг людей, отчасти потому, что, как он заявлял, нехватка бумаги заставляла ограничивать тиражи (даже «Нашим достижениям» приходилось упоминать о «наших недостатках»). Однако самая широкая публика знала популярные песни, передававшие ту же мысль. «Мы покоряем пространство и время, — трубил «Марш веселых ребят», — мы — молодые хозяева земли». Еще одна известная песня — тоже, кстати, марш, под названием «Все выше, и выше, и выше» — провозглашала: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»[7].

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО МИРА

Мы наш, мы новый мир построим.
Интернационал.

Поколение, выросшее в 1930-е гг., запечатлело эти слова в своем сердце. Большинство воспоминаний об этом периоде, в том числе и многие, написанные в эмиграции, рассказывают об идеа-

лизме и оптимизме молодых, об их вере в то, что они участвуют в историческом процессе преобразований, об их энтузиазме по отношению к так называемому «строительству социализма», духе приключений, который они в него вносили, горячем стремлении (по крайней мере на словах) ехать первопроходцами на дальние стройки вроде Магнитогорска или Комсомольска-на-Амуре. Террор не вписывался в эту картину. Алексей Аджубей, зять Н.Хрущева и редактор «Известий», в 1937 г. был школьником. Он вспоминал:

«В то время для нас существовала только Испания, бои с фашистами. В моду вошли шапочки-испанки — синие с красным кантом пилотки, а также большие береты, которые мы лихо сдвигали набок... Для мальчишек и девчонок того времени мир делился только на "белых" и "красных". Нам и в голову не приходило раздумывать, на чьей быть стороне. В этом красном мире жили и совершали подвиги полярные исследователи, челюскинцы, папанинцы»[8].

Еще одну грань того времени показала Раиса Орлова, современница Аджубея, прошедшая, однако, иной жизненный путь, путь диссидентства и эмиграции в послесталинский период. Вспоминая свою юность в 1930-е гг., она писала:

«Я была неколебимо уверена: здесь, в этих старых стенах, лишь подготовка к жизни. А сама жизнь начнется в новом, сверкающем белом доме: там я буду по утрам делать зарядку, там будет идеальный порядок, там и начнутся героические свершения.

Большинство моих сверстников... все равно жили начерно, временно, наспех. Скорее, скорее к великой цели, и все начнется по-настоящему.

Необходимо и возможно было изменить все: улицы, дома, города, социальный порядок, человеческие души. И не так уж это было трудно: сначала бескорыстные энтузиасты рисуют план на бумаге; потом сносят старое (приговаривая при этом: "Не разбив яиц, яичницу не сделаешь"); потом очищают землю от обломков и на расчищенной площадке воздвигают фаланстер»[9].

То была эпоха великого «Генерального плана реконструкции города Москвы», который должен был послужить образцом для городского планирования по всей стране и помочь предъявить восхищенным взглядам иностранцев и советских граждан модель социалистической столицы. Повсюду были планы, чертежи, макеты: в фильме «Чабарда!», снятом в 1931 г. грузинским режиссером М.Чиаурели, долго, с любовью демонстрируется подробный макет будущего города с соответствующими комментариями («Здесь будет школа!»). В середине 1930-х гг. была пущена первая линия московского метро, и граждан поражали его люстры, длинные эскалаторы и просторные станции. Появились новые монументальные здания: гостиница «Москва» возле самой Красной площади, рассчитанная на 1200 номеров, показалась преисполненному благоговения провинциалу «сказочным дворцом»[10].

Дворцы вообще были в духе той эпохи. Существовали дворцы культуры, дворцы спорта, дворцы труда — как правило, большие, пышно декорированные, внушительные здания, под стать своим названиям. Одним из самых амбициозных проектов Генерального плана был проект сооружения гигантского Дворца Советов, увенчанного статуей Ленина, на месте храма Христа Спасителя, снесенного в начале 1930-х гг. Этот дворец так никогда и не был построен из-за проблем с грунтовыми водами в том месте, что дало пищу множеству слухов о каре за дьявольское деяние, но его образ был знаком людям лучше большинства реальных зданий. В фильме А.Медведкина «Новая Москва» (1939) Дворец Советов (непостроенный) высился на заднем плане реальных московских уличных сцен — триумф социалистического реализма, для которого будущее и настоящее неразличимы[11].

Генеральный план требовал расширения улицы Горького (бывшей Тверской) и создания у домов по обеим ее сторонам однотипных фасадов в стиле «сталинского барокко». Дом на Тверской, где жила юная Орлова, еле избежал сноса. По соседству, как записал в своем дневнике один москвич, случилось «небывалое дело»: «Огромный дом Моссовета передвигается вглубь на 14 метров» для расширения улицы; кроме того, было расширено и само здание, приобретшее два новых этажа и две лишние колонны на своем классическом фасаде[12].

Однако в глубине, за этим новым миром, оставался старый. Его пороки, особенно экономическая и культурная отсталость, остро давали себя чувствовать, и их следовало преодолеть, чтобы Советский Союз мог достичь своей заветной цели — «догнать и перегнать» капиталистический Запад. «До тех пор не построишь в этой стране социализма, — сказал как-то Ленин, — пока страшная вековая пропасть еще отделяет маленькую индустриальную и культурную ее частичку от дикой, патриархальной, веками угнетаемой, бывшей в рабстве и разграблении колониальной ее части»[13].

В 1930-е гг. произошли большие перемены. В конце 1920-х в городах жило менее одной пятой населения страны. К концу 1930-х эта цифра выросла до одной трети. Общее количество наемных работников и работников на окладе в конце 1920-х гг. составляло 11 млн чел. из 150-миллионного населения. Эта цифра за десять лет утроилась. Школьников в конце 1920-х гг. тоже было 11 млн чел., из них 3 млн чел. учились в средней школе. Десятилетие спустя в школу ходили 30 млн детей, из них в среднюю — 18 млн. Согласно переписи 1926 г., лишь 57 % всего населения Советского Союза в возрасте от 9 до 49 лет было тогда грамотным, хотя основные очаги неграмотности представляли собой сельские районы России и республики Средней Азии, а в городах доля грамотных составляла 81 %. В 1939 г. грамотными были те же 81 %, но уже от *всего* населения СССР[14].

Таковы некоторые из тех достижений, о которых трубили горьковский журнал и ему подобные. Это в самом деле была эпоха достижений, но в то же время и эпоха хвастовства, шумихи и беззастенчивого преувеличения всего достигнутого. Для документального подтверждения достижений издавались статистические справочники, нередко не только на русском, но и на иностранных языках. (Данные, не соответствующие поставленной цели, туда не попадали.) Советская печать превозносила до небес новые гидроэлектростанции и доменные печи («крупнейшие в мире!»), современные технологии в промышленности и сельском хозяйстве, летчиков, ставящих рекорды по дальним перелетам, и полярных исследователей, выживших в жесточайших условиях Арктики, устройство детских садов и эмансипацию женщин, школы ликбеза и количество обучающихся там русских старух-крестьянок и недавних кочевников-казахов, скрипачей и шахматистов, выигрывавших международные соревнования, — словом, всех и все, что подтверждало обоснованность притязаний СССР на то, чтобы догнать и перегнать Запад. Журналисты жадно ловили и мгновенно распространяли среди широкой публики одобрительные замечания любого знаменитого иностранца, которого удавалось уговорить посетить их страну. Постоянная Сельскохозяйственная выставка (позже переименованная в Выставку достижений народного хозяйства), открывшаяся в Москве в 1939 г., являлась своего рода советской Всемирной выставкой и привлекала 20000–30000 посетителей в день[15].

Этот поток самовосхваления предназначался как для зарубежной, так и для внутренней аудитории. Но Советский Союз попрежнему чувствовал себя, как в осаде, во враждебном окружении капиталистических держав. Ему было необходимо догнать и перегнать Запад хотя бы для того, чтобы не быть уничтоженным им. Отсталость России по сравнению с Западом была ее ахиллесовой пятой: как сказал в 1931 г. Сталин, «мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»[16].

Боязнь войны постоянно ощущалась в СССР на протяжении 1930-х гг.; эта тень омрачала видение светлого будущего. Популярная песня «Если завтра война» открыто говорит об угрозе, тот же мотив в менее явной форме снова и снова возникает в произведениях советской массовой культуры в самом различном контексте:

> «Если враг нашу радость живую
> Отнять захочет в упорном бою,
> Тогда мы песню споем боевую
> И станем грудью за Родину свою!»
> («Марш веселых ребят»);
>
> «Когда настанет час бить врагов,
> От всех границ ты их отбивай!»
> («Спортивный марш»).

Даже песня «Жить стало лучше», созданная на основе канонического высказывания Сталина, содержала упоминание об угрозе войны:

> «Знай, Ворошилов, мы все начеку,
> Пяди одной не уступим врагу»[17].

Эту готовность и даже желание сражаться прекрасно отражает напечатанная в журнале «Наши достижения» фотография юных пионеров, тренирующихся на стрельбище. Подпись под снимком гласит: «Каждый помнит сталинские слова: "Чужой земли не хотим, но..." И при этом "но" каждый крепче сжимает ружье»[18].

ГЕРОИ

> Когда страна прикажет быть героем, —
> У нас героем становится любой.
> *Марш веселых ребят* (1934)[19].

Судя по этой песне, то была эпоха героизма, когда героями становились самые обычные люди. Начало новой эры возвестил первый пятилетний план, заставивший страну совершать сверхъестественные усилия, чтобы преобразовать себя. Героическая эпоха требовала героических личностей и подвигов и прославилась ими. Согласно ницшеанской формулировке М.Горького, советский человек стал Человеком с большой буквы (у Ницше это «сверхчеловек»). Свободный от бремени рабского сознания, воспитанного эксплуатацией и лишениями в прошлом, современный герой был «большим, дерзким, сильным». Он противопоставлял силу человеческой воли силам природы в «величественной и трагичной» борьбе. Его задачей было не только понять этот мир, но и освоить его[20].

Слово «герой» в 1930-е гг. встречалось повсеместно, так называли летчиков — рекордсменов дальних перелетов, полярников, пограничников, стахановцев и всевозможных Героев Труда. Политические лидеры тоже выступали в роли героев, совершающих подвиги: в поэмах народных сказителей Ворошилов представал «сказочным богатырем» на коне, Сталин — «героем Иосифом свет Виссарионовичем». Советского героя часто именовали «богатырем», используя старинное слово из русских былин, и наделяли его теми же качествами: дерзостью, отвагой и величием духа[21].

Квинтэссенцию «богатырей» представляли собой полярники, дерзавшие мериться силами со стихией в самых неблагоприятных природных условиях, и летчики, в буквальном смысле слова отрывавшиеся от земли, чтобы совершать свои подвиги. Энтузиазм по поводу покорения Арктики начался, когда экспедиция на «Челюскине» во главе с О.Шмидтом отправилась в 1933 г. на разведку северного морского пути и застряла во льдах. Спасательная операция с участием советских летчиков продолжалась несколько

недель и получила широчайшую известность. Даже дети в глухих деревушках слышали о ней и были захвачены развертывающейся драмой. По возвращении полярников и их спасителей ожидали торжественные чествования, объятия Сталина и других членов Политбюро и звание Героев Советского Союза. Несмотря на действовавший в то время мораторий на прием в партию, четверо летчиков, участвовавших в спасательной операции, стали членами коммунистической партии по специальному решению ЦК. Отто Шмидт, бородатый гигант двухметрового роста, пользовался особой любовью карикатуристов; один из них изобразил его в виде нового Петра Великого, шагающего гигантскими шагами по российским просторам[22].

Шумиха вокруг челюскинской эпопеи задавала тон весь остаток десятилетия. В заголовках первенствовали летчики-рекордсмены, дети по всему Советскому Союзу мечтали стать летчиками. Имена Михаила Бабушкина, Валерия Чкалова, Михаила Громова, Георгия Байдукова и других были в СССР известны всем (по крайней мере всем, кто читал газеты). Их называли «сталинскими орлами», «сталинскими богатырями»; Сталин и прочие представители партийного руководства делали все возможное, чтобы извлечь выгоду из их популярности. Когда летчики отправлялись в очередной дальний полет, члены Политбюро всегда оказывались тут как тут, чтобы проводить их; когда они с триумфом возвращались, Сталин и его коллеги ждали на аэродроме, желая их обнять. Сталин играл роль «отца» летчиков, и некоторые из них действительно называли его отцом. В ряде случаев, когда пилоты погибали, пытаясь установить новый рекорд, Политбюро объявляло национальный траур. В 1938 г., когда самолет Бабушкина разбился и все, находившиеся на борту, погибли, им по приказу Политбюро были устроены государственные похороны, и урна с прахом летчиков была выставлена в зале на Красной площади, чтобы общественность могла отдать им последний долг[23].

Пресса, тщательно контролируемая и поощряемая партийным руководством, внесла большой вклад в превращение летчиков и полярников в знаменитостей. Однако в реакции публики не может быть сомнений: эти люди получали огромное количество писем от почитателей, с ними носились, где бы они ни появлялись. Один москвич записал в своем дневнике: «Сегодня встречали на Белорусском вокзале героев полета на Северный полюс — Чкалова, Байдукова, Белякова. Платформы и площади забиты народом. Героев приветствовали очень бурно. Вся Тверская улица тоже забита. Их автомашины, отправляющиеся в Кремль, шли вдоль живого коридора»[24]. Народные баллады с особой любовью прославляли «Бороду-До-Колен» (Отто Шмидта) и оплакивали героическую гибель Чкалова и Полины Осипенко[25].

В изобилии появились фильмы и пьесы об этих национальных героях. Прославлению экспедиции челюскинцев был посвящен фильм «Семеро смелых» (1936), она же легла в основу сюжета

пьесы «Не сдадимся», написанной одним из участников экспедиции Сергеем Семеновым, главной темой которой был коллективный героизм перед лицом враждебных сил природы[26]. На экран вышел целый ряд фильмов о летчиках: «Летчики» (1935), «Отчизна зовет» (1936), «Повесть о героях авиации» («Крылья», 1938), «Брат героя» (1940), «Валерий Чкалов» (1941). Последний, демонстрировавшийся и в Соединенных Штатах под названием «Крылья победы», был снят по сценарию Байдукова, второго пилота покойного Чкалова[27]. Фильмы о летчиках постепенно превратились в гимны советской военной авиации, подчеркивая роль летчиков как защитников родной страны.

Советские подростки, когда их спрашивали о любимых героях, выделяли три «родовых» типа героев — летчики, полярники, пограничники, называли они также и отдельные имена. Молодые рабочие автозавода в 1937 г. на вопрос о своих жизненных планах точно так же отвечали, что хотели бы стать летчиками (в том числе и военными) или служить в пограничных войсках. Среди конкретных имен, названных первой группой, были имена партийных и военных лидеров (Сталин, Ворошилов, Буденный), героев гражданской войны (Чапаев и Щорс — герои популярных фильмов того периода), летчиков (Чкалов), полярников (норвежский исследователь Севера Фритьоф Нансен), ученых (Константин Циолковский, пионер ракетостроения, выдвинувший идею полетов в космос), стахановцев, шахматистов и футболистов клуба «Динамо»[28].

Павлик Морозов, легендарный пионер, донесший властям на своего отца, якобы прятавшего зерно, и затем убитый озлобленными родственниками[29], тоже входил в 1937 г. в список героев советской молодежи. Фигура одиозная для русской интеллигенции времен заката СССР, для многих молодых людей 1930-х гг. он был настоящим героем, символизирующим юную отвагу, готовность к самопожертвованию и протест против неправедной власти, будь то власть родителей или других взрослых[30].

В пьесе «Доносчик», написанной в середине 1930-х гг. для Московского детского театра Натальи Сац, развивалась та же тема. Судя по рецензиям на постановку Детского театра, нравственная идея «Доносчика» была та же, что и в американском фильме «В порту», снятом лет десять спустя, в котором герой принимает мучительное решение донести на хозяйничающую в доках банду (в том числе на своих родственников и друзей)[31]. В обоих случаях донос представлен трудным, даже героическим поступком, ибо донести — означает пойти наперекор мнению окружающих во имя более широкого и абстрактного понятия общественного блага:

«Перед нами мальчишки, обучающиеся ремеслу в обувной мастерской... Еще недавно они были "беспризорниками", бездомными бродяжками. Некоторые из них увлеклись своей работой, начинают любить ее. Другие отказываются повиноваться. И вот в мас-

терской начинают случаться кражи. Приятели не хотят выдавать вора. Доносить? Никогда в жизни! Они выше этого. Но правильно ли будет с их стороны поставить под удар саму цель и смысл существования их мастерской?»[32]

Излюбленным мотивом был героизм «маленького человека». Персонажи горьковских «Рассказов о героях» (1931) были самыми рядовыми людьми — сельскими учителями, рабочими корреспондентами, изобретателями-рационализаторами, организаторами читален, всевозможными активистами. Газеты печатали множество заметок о выдающихся достижениях простых людей, их лица, серьезные или улыбающиеся, смотрели с фотографий на первых страницах. В начале 1930-х гг. в роли героических «маленьких людей» выступали заводские и колхозные «ударники». Затем, в середине десятилетия, новый размах прославлению простого человека придало стахановское движение. Стахановцы — получившие свое название по фамилии передовика-шахтера из Донбасса Алексея Стаханова — должны были не только перевыполнять нормы, но и рационализировать производство. Это движение зародилось в промышленности, но скоро стахановцы и стахановки появились и в колхозах, и даже в такой малообещающей сфере, как советская торговля[33].

Наиболее видные стахановцы получили новый социальный статус, войдя в группу «знатных людей». Это были рядовые граждане — рабочие, колхозники, продавщицы, учителя и т.д., — внезапно ставшие героями и героинями на страницах газет. Теоретически их выбирали благодаря их достижениям, однако на практике куда большую роль зачастую могло сыграть покровительство местного партийного секретаря или определенного журналиста[34]. Фотографии стахановцев печатались в газетах; журналисты брали у них интервью, прося рассказать о своих взглядах и достижениях; их выбирали делегатами на съезды стахановцев и учили произносить речи; некоторые счастливчики даже встречались со Сталиным и фотографировались вместе с ним.

Стахановцы и другие «знатные люди» служили живым примером того, что маленькие люди в Советском Союзе имели вес, что даже самый простой и незаметный человек имел шанс прославиться хотя бы на день. «Я... вышла в герои вместе со всем народом», — скромно писала трактористка-стахановка Паша Ангелина[35]. Однако представительская функция — это еще не все. Стахановцев превозносили за их *личные* достижения и поощряли проявлять свою индивидуальность и потенциал лидера. Стать знаменитым стахановцем означало стать личностью, ценность которой оказывалась куда больше, чем можно было мечтать:

«Я сама — старая кадровая работница Донбасса, работала в шахте лебедчицей. *Кто меня знал тогда? Кто меня видел тогда?* А теперь меня знают очень многие, и не только в Донбассе, но и за его пределами»[36].

Теоретически звание стахановца действовало по принципу «героя дня», на практике, однако, некоторые самые удачливые стахановцы, вроде самого Стаханова или Паши Ангелиной, стали профессиональными знаменитостями по сути навсегда: их выбирали депутатами Верховного Совета, они писали книги о своей жизни, присутствовали на официальных торжественных мероприятиях и потеряли всякую связь с прежним местом работы и прежней социальной средой. Кое-кто из этих стахановцев высокого полета, особенно женщины, по-видимому, завязали весьма тесные личные отношения с советскими лидерами и журналистами высшего уровня, уйдя из поля зрения своих первых покровителей[37]. Кажется, даже Сталин питал настоящую симпатию к некоторым из самых знаменитых стахановок, например к украинкам Марии Демченко и Паше Ангелиной; на самых лучших и «человечных» своих фотографиях этого периода он снят именно в их обществе.

В свою очередь, стахановцы неустанно и преданно помогали создавать культ Сталина. Вот как Паша Ангелина описывала радость, которую она испытала, впервые увидев Сталина на съезде стахановцев в Кремле: «Я словно перенеслась в новый, сказочный мир. Нет, не "словно". Передо мной действительно открылся новый мир счастья, разума, и в этот новый мир привел меня великий Сталин». Еще ярче описание реакции старой крестьянки, сидевшей рядом с ней. Сбросив платок, так что заблестели серебром седые волосы, с горящими восторгом глазами, та тихонько шептала: «Наш дорогой, наш родной отец Сталин!.. Низкий тебе поклон от всего нашего села, от детей наших, внуков и правнуков... Ох, народушко, мой родной! Глядите на наше солнце, на наше счастье!»[38]

ПЕРЕДЕЛКА ЧЕЛОВЕКА

«Товарищи, мне от роду 45 лет, но я живу только 18 лет», — сказал пожилой рабочий на съезде стахановцев в 1935 г. Образ революции 1917 г. как второго рождения был излюбленным в советской риторике. То и дело кто-нибудь говорил, что «заново родился» или после революции, или в результате какого-то последующего события, например коллективизации. Были и какие-то отдельные случаи, знаменовавшие переход человека от старой жизни к новой. «Крокодил» напечатал в одном из номеров лукавую карикатуру, на которой этой цели послужил прыжок с парашютом — весьма популярный в середине 1930-х гг. вид спорта. На рисунке изображена традиционная картина заснеженной зимней деревни, крестьяне в санях, церковь с колокольней, — но колокольня теперь приспособлена под вышку для прыжков с парашютом. Под рисунком подпись: «Вот в этой церкви меня дважды

крестили: в первый раз, когда был младенцем, а во второй совсем недавно — я тут же получил воздушное крещение»[39].

Впрочем, обычно средством для переделки человека служил труд, а не прыжки с парашютом. Труд в советских условиях считался преобразующей силой, поскольку был коллективным и вдохновлялся сознанием общей цели. При старом режиме труд лишал сил и изматывал душу; при социализме он наполнял жизнь смыслом. Один человек писал Горькому о своей работе на новой стройке: «И случилось так, что я, лишенец, обиженный человек, понял здесь, среди этих разношерстных людей единого духа, как велико и захватывает наслаждение узнавать жизнь и участвовать в переустройстве ее»[40].

Для советского мировоззрения была очень важна идея возможности переделки человека. В первую очередь она была связана с уверенностью, что преступление — это социальная болезнь, продукт пагубной среды. Вся советская криминология 1920-х — начала 1930-х гг. была подчинена этой мудрой мысли, хотя в конце концов ее магическая власть стала слабеть по мере того, как все труднее становилось объяснять все криминальные проступки трудностями переходного периода или «пережитками» прошлого. В более широком смысле идея переделки человека являлась частью общей идеи преобразования — краеугольного камня советской программы. Как выразился Бухарин, «пластичность организма — молча подразумеваемая теоретическая предпосылка наших действий», ибо, не будь ее, зачем было затевать революцию? «Если бы мы стояли на той точке зрения, что расовые или национальные особенности настолько устойчивые величины, что изменять их нужно тысячелетиями, тогда, конечно, вся наша работа была бы абсурдной, потому что она строилась бы на песке»[41].

Тема переделки человека в 1930-е гг. пользовалась популярностью в самых разных контекстах, но самыми популярными были рассказы о переделке или «перековке» уголовников и малолетних правонарушителей с помощью труда и включения в рабочий коллектив. Газеты пестрели подобными историями исправления преступников, особенно в первой половине десятилетия, их интенсивно распространяли не только среди отечественной, но и среди зарубежной аудитории. Что касается отечественного читателя, он вовсе не считал эти истории чистой воды пропагандой — они до чрезвычайной степени волновали воображение общественности. Даже в лагерях Гулага, где теме перековки уделяли усиленное внимание, она, кажется, вызывала некоторое подлинное воодушевление[42].

Повестям об исправлении, столь популярным в 1920-х и 1930-х гг., была свойственна привлекательность двоякого рода: они представляли собой авантюрные истории наподобие рассказов о бандитах, которые очень любила публика в дореволюционной России, и в то же время психологические драмы о том, как несчастный одинокий человек наконец находит свое счастье в коллективе. Типичный герой в прежней жизни обычно был отщепенцем — закоренелым преступником, малолетним правонарушителем или даже сыном ссыльного кулака, пытающимся начать новую жизнь в ссылке. Новый советский человек рождался в этих историях, сбрасывая с себя всю грязь и пороки прежней жизни, так же как герой принадлежащего другой культуре мифа об исправлении, водяное дитя Чарльза Кингсли, сбрасывает покрытую сажей кожу, приобретенную за время своего жалкого существования в качестве трубочиста[43].

Одно из классических советских произведений на тему переделки человека — «Беломорско-Балтийский канал», знаменитый (или, скорее, печально знаменитый) коллективный труд, среди авторов которого были М.Горький и целая плеяда литературных звезд, в том числе сатирик М.Зощенко. В основу книги легли впечатления от поездки писателей в 1933 г. на строительство Беломорско-Балтийского канала, которым руководило ОГПУ, используя на нем труд заключенных. Основываясь на интервью с заключенными и лагерной администрацией, а также на письменных источниках вроде лагерной газеты «Перековка», писатели изобразили процесс превращения заключенных в хороших советских граждан. Это было откровенно пропагандистское произведение: сама поездка могла состояться не иначе как в результате политического решения, принятого в верхах, книга посвящалась XVII съезду партии, ее тут же перевели на английский язык и пустили в самое широкое обращение с помощью Левого книжного клуба и других «попутнических» каналов. Тем не менее, эта книга небезынтересна в литературном отношении, и в ней встречаются захватывающие истории[44].

Одна из самых интересных — история Анны Янковской, бывшей профессиональной воровки со множеством судимостей, которую отправили на Беломорканал в 1932 г. По словам Анны, сначала она не поверила обещаниям НКВД, что заключенных будут не наказывать, а перевоспитывать. Она считала физический труд невыносимо тяжелым и поначалу отказывалась работать. Лагерная воспитательница, сама из бывших заключенных, разговаривала с ней о жизни четыре часа, пока, в конце концов, Анна не расплакалась. Это был решающий момент — она открыла для себя, что здесь впервые что-то значит как личность. После этого Анна стала работать и смогла начать новую жизнь[45].

Другая история касается совершенно иной категории заключенных, ее герой — буржуазный инженер, осужденный за вредительство и саботаж, т.е. политический узник такого же типа, как обвиняемые на шахтинском процессе 1928 г. Его фамилия Магнитов. Вот как передает эту повесть К.Кларк:

«Авторы рассказывают, как у Магнитова, после того как он начал работать на канале, ускорились пульс, мыслительные процессы и нервные реакции. "Он берет новый темп, и в этом участвуют и его разум, и воля, и дыхание". После столь радикальной

перемены инженеру трудно связать свое прежнее "я" с его нынешней версией. Авторы говорят: "Инженер Магнитов думает о прежнем инженере Магнитове, и для него это уже совершенно чужой человек. Магнитов называет этого человека "он"»[46].

Излюбленной драматической темой была переделка малолетних правонарушителей. После гражданской войны бездомные дети, скапливающиеся в городах и на железнодорожных станциях, образующие банды с собственным жаргоном и собственными способами выживания, стали характерной чертой советского ландшафта. В 1920-е гг. их число несколько сократилось, но после коллективизации и голода вновь возросло. Чтобы убрать их с улиц и подготовить к взрослой жизни, были устроены сиротские приюты, получившие эвфемистическое название «детские дома», но путь к исправлению часто бывал тернист. Некоторых правонарушителей отправляли в трудовые колонии, находившиеся в ведении ОГПУ, и в ряде таких колоний директорами и учителями работали преданные делу идеалисты. Фильм «Путевка в жизнь» (1931) — один из первых звуковых фильмов в СССР — снят про настоящую колонию ОГПУ для малолетних правонарушителей в Подмосковье, и в нем играют воспитанники колонии. Как и в более позднем американском фильме «Джунгли перед классной доской», основной силой, способствующей исправлению детей, там является харизматическая личность учителя[47].

В литературе той же теме была посвящена «Педагогическая поэма» А.Макаренко. Автор, начинавший свою карьеру с руководства колонией для правонарушителей под начальством ОГПУ и добившийся литературного успеха в середине 1930-х гг. под покровительством Горького, написал книгу на основе собственного опыта воспитательной работы. В «Педагогической поэме» изображен типичный процесс преображения юных правонарушителей, которые попадают в колонию не по своей воле и поначалу не желают подчиняться ее правилам, но затем под давлением коллектива отрекаются от прошлой жизни и становятся настоящими членами коммуны. Там есть харизматический лидер, прототипом которого послужил сам Макаренко, но он остается на заднем плане. Именно коллектив борется со своими заблудшими овцами и в конце концов добивается их преображения[48].

Тема исправления часто поднималась в газетах 1930-х гг. В пример можно привести историю реабилитации уголовника со стажем Сергея Иванова, преображение которого описано в статье «Известий» как мучительная внутренняя борьба — «сложный и мучительный для него процесс внутренней переделки и возвращения к жизни». Иванов был карманником, вся жизнь которого проходила то в тюрьме, то в порочном кругу пьянства, наркотиков, проституток и насилия. Когда он сидел в тюрьме в середине 1920-х гг., один из его уголовных дружков убил его жену, а его дочь отправили в детский дом. Несколько лет спустя Иванов очутился в трудовой коммуне НКВД на Урале, и началось его моральное возрождение. Подобно инженеру Магнитову, «навсегда порвав с прошлым, к тому времени он стал уже другим, обновленным человеком». Поддерживаемый коллективом, он долго искал и наконец нашел свою дочь[49].

«Известия» также напечатали восторженный очерк о Матвее Погребинском, создателе трудовой коммуны НКВД в Болшево, предназначенной для перевоспитания воров-рецидивистов, где не было ни охранников, ни заборов. Эта коммуна в 1930-е гг. стала непременным пунктом маршрута экскурсий для иностранных гостей. В очерке делалось ударение на упорной борьбе Погребинского за душу каждого отдельного бывшего преступника. Победа давалась нелегко даже такому опытному воспитателю, как Погребинский. Часто требовалось три года усиленной работы, прежде чем преступник был готов окончательно порвать с прежней средой и признать, что он обязан верностью не ей, а советскому обществу[50].

Поразительную форму приняло исправление преступников в начале 1937 г. благодаря инициативе Льва Шейнина, загадочной фигуры, сочетавшей повседневную работу старшего следователя Генеральной прокуратуры, заместителя А.Вышинского с писательским и журналистским творчеством в часы досуга. Шейнин опубликовал в «Известиях» статью «Явка с повинной», в которой заявил, что уголовники всех мастей, от карманников до убийц, все чаще являются в милицию с повинной и признаются в своих преступлениях. Он процитировал два письма, полученные Генеральной прокуратурой от раскаивающихся воров-рецидивистов. Одно из писем написал вор Иван Фролов, матерый преступник, который начал презирать свою прошлую жизнь и просил послать его куда-нибудь трудиться, «чтобы быть полезным для советского общества». В своей статье Шейнин звал Фролова прийти в Генеральную прокуратуру и там обсудить его дело. Придет ли он? «Я знаю, что он придет, — заканчивал Шейнин. — Он придет потому, что рядом с ним бурлит наша жизнь, все увереннее возникают новые человеческие отношения. И это сильнее страха перед возможным наказанием, сильнее навыков и пережитков. Сильнее всего»[51].

На следующий день более дюжины рецидивистов — колоритных личностей с кличками Таракан, Турман, Костя Граф и т.п. — явились в прокуратуру, спрашивая Шейнина. Они заявляли, что желают завязать с прошлым и просили помочь им начать новую жизнь. Поздним вечером состоялась встреча в редакции «Известий», на этот раз в присутствии Генерального прокурора А.Вышинского. Он обещал, что никого из них не будут преследовать, всем дадут работу и необходимые для новой жизни документы. Костя Граф, неформальный лидер группы, специализировавшийся на виртуозных кражах в международных спальных вагонах поездов дальнего следования, принял эти гарантии от лица своих товарищей. Таракан и Турман сочинили воззвание ко всем уголовникам, все еще ведущим преступную жизнь, настойчиво требуя,

чтобы те последовали их примеру: «Поймите наконец, что нам протягивает Советский Союз пролетарскую руку и желает вытащить из помойной ямы. Бросьте сомнения и недоверие»[52].

«Эти люди искренно хотят, буквально жаждут, новой жизни», — рассказывал Вышинский корреспонденту «Известий» через несколько дней. В Ленинграде, в провинции уголовники приходили в милицию или прокуратуру с повинной и просили работу и документы. В Москве этот поток тоже продолжался. У некоторых были особые требования относительно трудоустройства. Например, один мошенник (по своей специальности на данный момент) явился к Шейнину, читая монолог из «Отелло» в подкрепление своей просьбы послать его на курсы актеров. («Он был направлен в Комитет по делам искусств, — сообщал Шейнин. — Его там проверяли и нашли, что у него действительно большие способности. Он зачислен в ГИТИС».) Через несколько недель первая партия раскаявшихся в разных направлениях уезжала из Москвы, чтобы начать новую жизнь. Их провожал Костя Граф, оказавшийся топографом таким же искусным, как и жуликом, и в результате прикомандированный к новой арктической экспедиции. Дальнейшая судьба перевоспитавшихся воров неизвестна, но есть одно сообщение, что по крайней мере Костя Граф несколько лет преуспевал[53].

Несомненно, реальность, скрывавшаяся за подобными историями об исправлении, как и за их завершением, была сложнее того, что попадало в печать. Однако, по-видимому, и в реальной жизни уголовное прошлое, особенно в ранней юности, действительно не являлось несмываемым пятном в биографии человека. Если он был в 1920-е гг. беспризорником, попал в детский дом и там научился ремеслу, это вовсе не препятствовало его дальнейшим успехам; напротив, подобные страницы весьма часто встречаются в биографиях людей, выдвинувшихся в конце 1930-х гг.[54].

И все же в одном отношении риторика по поводу перековки была колоссальным надувательством. Это касается заявлений, что любому человеку, независимо от его прошлого, открыт путь к исправлению, даже такому, как инженер Магнитов, осужденный за политическое преступление. Как раз это было неправдой, как мы увидим в последней главе. Пятно социального происхождения смыть было невозможно, как невозможно добиться отпущения политических грехов в строгом смысле слова, например, принадлежности к оппозиции. Даже Макаренко, великий пропагандист гуманного перевоспитания, в произведении, написанном во время Большого Террора, вывел героя, оказавшегося неисправимым («не сознательного вредителя, а некоторым образом паразита по природе»)[55]. Конечно, кто-то мог бы сказать вместе с Бухариным, что если люди способны быть паразитами по природе, то само дело революции бессмысленно. Но Макаренко уловил дух времени. Люди с запятнанным социальным происхождением или политической биографией почти автоматически исключались из числа

подлежащих исправлению. Чтобы тебя сочли достойным перековки, ты должен был совершить настоящее преступление.

ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Культуру требовалось осваивать точно так же, как целинные земли или иностранные технологии. Но *что такое* культура? В 1920-е гг. по этому поводу среди коммунистической интеллигенции велись жаркие споры. Одни подчеркивали классовый характер культуры и поэтому хотели уничтожить «буржуазную» культуру и создать новую «пролетарскую». Другие, включая Ленина и Луначарского, считали, что культура имеет надклассовое значение и, кроме того, что в России ее слишком мало. Сторонники «пролетарской» точки зрения ненадолго получили перевес в годы Культурной Революции, но вскоре были дискредитированы. Восторжествовало мнение, что культура — нечто исключительно ценное и внеклассовое. Однако при этом все как бы молчаливо соглашались с тем, что не следует слишком глубоко вникать в смысл слова «культура». Культурное, как и непристойное, — это нечто такое, что каждый узнает, если увидит. Прибегая к тавтологии, можно сказать, что это комплекс привычек поведения, отношения к окружающему миру и знаний, которые есть у «культурных» людей и отсутствуют у «отсталых». Позитивная ценность культуры, как и ее природа, представлялись самоочевидными[56].

На практике мы можем выделить несколько уровней культуры, которые предстояло освоить людям в СССР. На первом уровне находились культура личной гигиены — привычка мыться с мылом, чистить зубы и не плевать на пол — и элементарная грамотность, все еще отсутствовавшая у значительной части населения Советского Союза. В результате задача советской цивилизующей миссии формулировалась в тех же самых выражениях, что и задача миссии европейских наций в отношении отсталых туземных народов, хотя следует отметить, что в СССР к «отсталым элементам» относились и российские крестьяне. Второй уровень культуры, требовавший знания таких вещей, как правила поведения за столом, в общественных местах, обращения с женщиной и основы коммунистической идеологии, считался обязательным для каждого городского жителя. Третий, содержавший элементы явления, получившего когда-то название «буржуазной» или «мещанской» культуры, представлял собой культуру этикета: хорошие манеры, правильная речь, опрятная, соответствующая случаю одежда, некоторая способность разбираться в таких высококультурных предметах, как литература, музыка и балет. Предполагалось, что таков должен быть уровень культуры правящего класса, представителей новой советской элиты.

Газеты и журналы регулярно рассказывали об успехах в освоении первого уровня культуры, впрочем, в качестве докумен-

тальных свидетельств реальной жизни их сообщения не всегда следует воспринимать так уж буквально. В 1934 г. «культурная экспедиция» в Чувашию — воспитательно-пропагандистская акция, в которой наряду с учителями и врачами принимали участие журналисты и фотографы, — по возвращении принесла чудесную новость о приобщении колхозников к культуре в виде полотенец, мыла, носовых платков и зубных щеток. До недавнего времени люди пользовались мылом только по большим праздникам; теперь с мылом моются в 87% колхозных дворов, и у 55% колхозников имеются личные полотенца. В прошлом мылись редко; теперь подавляющее большинство семей колхозников моются по меньшей мере раз в две недели. «Носовой платок раньше — свадебный подарок, предмет праздничного обряда»; теперь же у четвертой части колхозников есть носовые платки. В одной деревне в каждом десятом доме даже пользовались одеколоном[57].

Совсем другие сообщения приходили с дальнего Севера, где охотники и оленеводы из «малых народов» весьма упорно сопротивлялись введению русских норм элементарной культуры. «Почему вы, русские, не даете нам жить по-нашему? — спрашивала хантыйская женщина юную русскую студентку из числа советских «миссионеров» на севере. — Зачем детей в школу берут и учат их там все свое хантэйское ломать, забывать?» Местные дети, которых забирали в русские интернаты, сопротивлялись приобщению к культуре по-своему. По словам одного историка, они «бойкотировали определенные продукты, отказывались решать математические задачи, в которых действовали вымышленные лица, тайком разговаривали с духами, страдали депрессией и продолжали "плевать на пол, за печку и под кровать"»[58].

Главными признаками второго уровня культуры, приличествующего городскому рабочему классу, были привычки спать на простынях, носить нижнее белье, есть ножом и вилкой, мыть руки перед едой, читать газеты, не бить жену и детей и не напиваться до такой степени, чтобы пришлось прогуливать работу. Страницы «Крокодила» свидетельствуют, что этими правилами все еще часто пренебрегали. На одной карикатуре изображены два человека, обедающие в столовой (где в первые годы, как мы помним, нередко не хватало посуды и приборов). Подпись: «Приятно, что в столовой у нас появились вилки и ножи. Теперь рук мыть не надо»[59].

На этом уровне культуры требовалось, чтобы дети спали отдельно от родителей, имели собственные полотенца и зубные щетки и свой уголок, чтобы делать уроки[60]. Добиться этого в переполненных коммунальных квартирах было нелегко, в бараках — еще труднее, так что рабочие семьи, которым это все же удавалось, справедливо могли гордиться. Вот как рассказывала о своих культурных достижениях Зиновьева, жена рабочего-стахановца, отвечая на вопросы местных политических лидеров на одном из совещаний:

«ЗИНОВЬЕВА. ...У меня две девочки, и обе ходят в школу. У одной девочки отметки "хорошо" и "отлично", у второй — "хорошо". Одеваю я их чисто. За хорошее воспитание детей, за уют в детской комнате от школы я получила премию.

ХОРОШКО. У детей отдельная комната?

ЗИНОВЬЕВА. Комнаты и кровати отдельные.

Вл.ИВАНОВ. Зубы чистят?

ЗИНОВЬЕВА. Зубы чистят, полотенца отдельные имеют, коньки, лыжи, — все есть.

Вл.ИВАНОВ. Лучше живут, чем ты когда-то жила?

ЗИНОВЬЕВА. Ну, как же, — никто над ними не издевается, никто не бьет»[61]. Культура второго уровня включала также умение, выражаясь словами С.Коткина, «говорить на большевистском языке», т.е. знание советских обычаев и ритуалов, правил ведения собраний и языка газет. Культурный человек не только не плевал на пол — он также умел выступать с речами, вносить предложения на собрании, понимал такие выражения, как «классовая борьба» или «социалистическое соревнование», и разбирался в международном положении[62].

Этот аспект культуры — развитие «сознательности», как говорили большевики, — проявлялся по-разному. В наименее политизированной форме он выражался в приобретении городской уверенности в себе, как описывала молодая работница:

«Я сильно изменилась, после того как вступила в комсомол; стала взрослее. Раньше я была тихоней, а теперь, когда приезжаю в деревню, слышу, как ребята говорят: "Маруся Рогачева вправду повзрослела. Москва ее многому научила. Раньше слово боялась сказать"»[63].

Примеры с более ярко выраженной политической окраской — стахановец Александр Бусыгин, медленно, строчка за строчкой одолевавший новое священное писание сталинизма, «Краткий курс истории ВКП(б)», «с чувством, что учишься думать по-большевистски», и решение одной из Марусиных подруг по работе Прасковьи Комаровой вступить в партию ради дальнейшего совершенствования. Как писала Прасковья, став активисткой, она «поняла, что партия — это авангард рабочего класса. Я подумала: "Зачем же мне отставать?" — и в 1931 году мы с мужем вместе вступили в партию»[64].

У стахановцев к приобретению культурных навыков было особое отношение, поскольку от них требовалось служить примером и в этой области, так же как на производстве. Если они не слишком хорошо умели читать и писать, то обязаны были исправить это упущение. Они должны были «работать над собой», как делал Бусыгин, читая «Краткий курс». Если же они пренебрегали своим долгом, то супруги наставляли их на путь истинный: жена одного стахановца рассказывала, как заставила своего мужа ходить на курсы ликбеза, пристыдив его и объяснив, что это его долг как профорга; другая женщина, муж которой читал неохотно

и с трудом, сумела пробудить в нем интерес к учебе, прочитав ему вслух пламенную автобиографическую повесть Н.Островского «Как закалялась сталь». Стахановские супружеские пары должны были «вместе ходить в театр и на концерты и брать... книги в библиотеке»[65].

Представителям новой элиты — многие из них лишь недавно поднялись наверх из среды рабочих и крестьян — приходилось овладевать теми же культурными навыками второго уровня, но с них спрашивали больше. Если рабочий одолевал наряду с «Кратким курсом» «Войну и мир», то для него это было огромным достижением, достойным всяческих похвал; если жена директора не знала Пушкина и ни разу не видела «Лебединое озеро» — это был позор. Читать классиков русской литературы XIX в., быть в курсе новостей и современных событий в мире культуры, ходить в театры, обучать детей игре на фортепиано — таковы проявления культурности, которых требовали от людей, занимавших административные посты, и высококвалифицированных специалистов.

В некоторых отношениях к управленческому слою предъявлялись еще более высокие требования. С середины 1930-х гг. они должны были одеваться не так, как простые рабочие на заводе. «Белый воротничок и чистая кофточка — это также необходимый рабочий инструмент, который влияет на выполнение плана, на качество продукции», — наставлял Орджоникидзе директоров и инженеров, работавших в тяжелой промышленности. Он также велел им регулярно бриться и приказал вешать на заводах у входа зеркала, чтобы работники могли проверить, как они выглядят[66]. Помимо этих признаков своего статуса управленцам необходимо было приобрести организационные навыки, которые они применяли не только на рабочем месте, но и в быту. Недавно назначенный начальник цеха на шарикоподшипниковом заводе рассказывал, как он справляется с такой ответственной работой: он вставал в 6 ч 15 мин и начинал день с зарядки; после 11-часового рабочего дня он еще находил время для культурного досуга — посещений театра и кино, катания на автомобиле. Старался следить за новинками технической литературы по своей специальности и читать художественную литературу. Ему помогали методический склад характера и способность четко придерживаться заведенного распорядка[67].

У женщин на этом уровне были иные культурные императивы, чем у мужчин, поскольку, за исключением небольшой (но всячески превозносимой) группы женщин — администраторов и специалистов, большинство из них являлись домохозяйками. На них лежала обязанность создать «культурную» домашнюю обстановку, где глава семьи мог расслабиться, придя со своей ответственной работы. В этом контексте «культурность» означала знание правил приличия, вкус, умение создать уют, хорошо организовать домашнее хозяйство. Домашняя жизнь должна была следовать определенным образцам; в квартире необходимы были «белоснежные»

занавески, скатерти без единого пятнышка, лампы с абажурами, дающие «мягкий свет». Поскольку обязанность делать покупки по хозяйству лежала на женщинах, они должны были быть разборчивыми покупательницами, знать, где лучше приобретать те или иные товары, и разбираться в их качестве[68].

Свою сноровку в устройстве домашнего быта жены руководящих работников должны были использовать для того, чтобы сделать культурнее жизнь вне дома. Это являлось основной задачей движения общественниц (о нем пойдет речь в гл. 6), в функциях которого было много общего с функциями «буржуазной» филантропии. Женщины задались целью украсить общественные места.

«Женские руки сшили десятки тысяч салфеточек, дорожек, ковриков, гардин, абажуров, украсивших красноармейские казармы. Они любовно оборудовали кубрики подводников. Гвоздика и астра вытеснили в Забайкалье бурьян и крапиву... Жены командиров Амурской речной флотилии устроили 68 тысяч клумб, посадили 70 тысяч деревьев»[69].

Культурные требования третьего уровня включали умение одеваться для официальных торжественных мероприятий, вести себя на светских приемах и принимать гостей. По мнению одного стороннего наблюдателя, необразованного еврея-часовщика, именно эти формы светской жизни явственно отличали «интеллигенцию», под которой он понимал высший класс вообще, от низших классов. «Интеллигенция — образованная, культурная, устраивает вечера, — говорил он. — У крестьян и рабочих нет танцев, нет вечеров, ничего нет культурного». Коммунистов этот человек относил к категории особо культурных людей: «Партиец — самый передовой, самый культурный, потому что его воспитывает партия. Партиец, прежде чем взять сигарету, разрешения спросит, а беспартийный схватит без спросу»[70].

Увы, в советском обществе множество людей, даже в высшем эшелоне, все еще хватали без спросу, бранились и плевали на пол. «Каким культурным стал Иван Степанович! — написано в «Крокодиле» под карикатурой, озаглавленной «Хороший тон». — Он ругается теперь со всеми только на вы». На карикатуре с тем же заголовком, напечатанной несколько месяцев спустя, изображены мужчина в вечернем костюме (очевидно, недавний выдвиженец) и модно причесанная женщина в кафе. Они поднимаются уходить, и тут оказывается, что кресло мужчины и стол перед ним усыпаны окурками. Мужчина, явно всей душой стремящийся к культуре, но имеющий о ней довольно смутное представление, самодовольно говорит своей спутнице: «Я не так воспитан, чтобы бросать окурки на пол»[71].

Смена имен

Культурному человеку нужно было культурное имя. Что под этим подразумевалось, в разное время понимали по-разному. В

1920-е гг. в большой моде были революционные имена: Электрон, Эдисон, Баррикада, Искра (от названия дореволюционной большевистской газеты), Ким (сокращенное «Коммунистический Интернационал Молодежи») и т.п. В 1930-е такие имена уже встречались реже, за исключением нескольких производных от имени Ленина, как, например, Владлен (Влад-имир Лен-ин) или прелестное женское имя Нинель. Некоторые называли дочерей Сталинами или Сталинками, но это все же было не слишком распространено, и повального стремления называть мальчиков Иосифами не замечалось[72].

Перемену имени регистрировали в загсе, отделе записи актов гражданского состояния — рождений, смертей и браков; несколько лет подряд газета «Известия» регулярно печатала списки сменивших имя. Просматривая их, мы обнаружим, что, как всегда, некоторые люди отказывались от неблагозвучных или чем-то не устраивавших их фамилий, выбирая взамен фамилии, связанные с литературой или наукой, — Свиньин становился Некрасовым, Кобылин — Пушкиным, Копейкин — Физматовым (производное от «физика и математика»). Смена национальных имен встречалась реже. В отличие от последнего периода царизма, в середине 1930-х гг. мало кто отказывался от иностранного имени (некоторые, наоборот, брали себе такое имя), национальное, скажем, татарское, имя на русское тоже меняли нечасто. Исключение составляли евреи; многие еврейские имена, служившие как бы напоминанием о черте оседлости, заменялись на русские: Израиль на Леонида, Сарра на Раису, Мендель и Моисей на Михаила, Абрам на Аркадия. Во время Большого Террора люди меняли фамилии, совпадавшие с фамилиями печально прославившихся «врагов народа» и потому опасные. Например, в 1938 г. поменяли свои фамилии некая Бухарина и некая Троцкая[73].

Но чаще всего люди в середине 1930-х гг. меняли старомодные деревенские имена на современные, городские, «культурные». По каким именно признакам имя считалось «культурным», точно определить трудно, однако значительное число наиболее излюбленных имен в прошлом веке пользовались популярностью среди российского дворянства и потому часто встречаются в литературной классике, например в романах Толстого. Легче установить причины, по которым имя переставало нравиться: общий налет «отсталости» или устойчивые ассоциации с недворянскими сословиями имперской России — крестьянами, купцами, мещанами, духовенством (отказ от еврейских имен часто объяснялся теми же мотивами).

Мужчины отказывались от таких «крестьянских» имен, как Кузьма, Никита, Фрол, Макар, Тит и Фома, а также от имен, ассоциировавшихся с духовенством, например — Тихон, Варфоломей, Мефодий, Митрофан. Они превращались в современных культурных людей с именами Константин, Анатолий, Геннадий, Виктор, Владимир, Александр, Николай, Юрий, Валентин, Сергей, Михаил. Женщины не желали зваться Прасковьями, Агафьями, Феклами, Матренами или Марфами и становились Людмилами, Галинами, Натальями, Нинами и Светланами.

Некоторые местные руководители и средства массовой информации порой призывали граждан «отряхнуть прах» и, дабы идти в ногу с современностью, избавиться от старых крестьянских имен («Иваны исчезают»). Но подобная модернизация имен все же выглядит скорее следствием духа времени, а не директив из Кремля. Зав. отделом пропаганды ЦК считал вульгарным и пошлым побуждать людей менять старомодные имена[74]. Тем не менее, совершенно очевидно, что для многих это был важный атрибут перехода от деревенской жизни к городской, от прежнего, ограниченного рамками сословия и традиции индивида к представителю современного гражданства.

Смена мест

«Представляю себе, как поразилась бы "мадам Матильда", узнав, что я, ученица — худенькая модисточка Женька, — стала Евгенией Федоровной, техническим директором.

Вроде чеховского Ваньки Жукова училась я у "Матильды": и самовар ставила, и пол подметала, и к заказчикам бегала... "Мадам Матильда", она же Матрена Антоновна, держала меня в ежовых рукавицах и нередко била.

А теперь я технический директор большой швейной фабрики»[75].

История успехов Евгении Федоровны была для 1930-х гг. самой обычной, так же как и ее гордость своими достижениями. То была счастливая эпоха для людей энергичных и честолюбивых, особенно хорошего, т.е. рабоче-крестьянского, происхождения. Во-первых, экономика стремительно развивалась, создавая все больше рабочих мест для администраторов и специалистов. Во-вторых, существовала правительственная политика «выдвижения» молодых рабочих и крестьян в вузы и на руководящие должности, особенно интенсивно программа «пролетарского выдвижения» проводилась в годы первой пятилетки. Плодом этой программы стала целая когорта инженеров, управленцев и партийных чиновников — выходцев из низов, чувствовавших себя «молодыми хозяевами» Советского Союза и всегда готовых благодарить Сталина и революцию за выпавшую им удачу[76].

Миф, подобный американскому мифу о пути «из хижины в Белый Дом», в равной степени пользовался успехом в СССР. Его классическим воплощением может служить фильм «Член правительства» (1939), в котором прослеживается жизненный путь женщины, ставшей из простой крестьянки председателем колхоза, стахановкой, депутатом местного совета и, наконец, — депутатом Верховного Совета, высшего органа государственной власти страны. А.Л.Капустина, реальная женщина с такой же биографией,

как у героини фильма, уверенно заявляя, что такое возможно только в СССР, выражала общее убеждение, бытовавшее среди советских граждан.

«Я была 7 ноября в нашей Ленинградской области на празднике. На трибуне встретилась с иностранными рабочими и через переводчиков беседовала с ними. Я рассказала им, что в нашей стране женщины широко вовлечены в управление государством, что я, простая в прошлом, забитая деревенская женщина, являюсь членом союзного правительства. Они так удивлялись, что записали мой адрес, посмотрели мой документ, увидели мой значок и, наконец убедившись, покачали головой. Да, товарищи, для них это чудо, ибо там этого быть не может»[77].

Разумеется, должность Капустиной как члена правительства была по сути декоративной, давала ей престиж и привилегии, но никакой политической или административной власти. Однако были люди, и немало, которых восхождение привело к власти в настоящем смысле этого слова. Л.Брежнев и большая часть его долговечного Политбюро 1970-х — 1980-х гг. являлись выдвиженцами 1930-х гг., большинство из них вышли из рабочих; то же относится и к предшественнику Брежнева Н.Хрущеву. Даже М.Горбачев относился к этой категории, хотя он принадлежал к послевоенному поколению и происходил из крестьян[78].

Карьере «брежневского поколения» способствовала не только программа «пролетарского выдвижения», но и Большой Террор 1937—1938 гг., убравший целый слой высших должностных лиц и партийных руководителей. Вот несколько примеров, которые могут послужить иллюстрацией к вышесказанному. Г.Ф.Александров, 1909 года рождения, был сыном рабочего, умершего, когда мальчику было десять. Некоторое время он жил беспризорником, прежде чем попал в детский дом и выучился на металлурга. В 18 лет он вступил в партию, а несколько лет спустя был направлен в Московский университет. В 29 лет — защитил докторскую диссертацию и стал профессором истории философии; в 1940-е гг. он был зав. отделом агитации и пропаганды ЦК. С.В.Кафтанов, коллега Александрова по аппарату ЦК в 1940-е гг. и первый заместитель министра культуры в 1950-е, подростком работал на шахте, а в химико-технологический институт им. Менделеева попал через комсомол и профтехучилище[79].

Среди тех, кто занимал в конце 1930-х гг. высшие посты в промышленности, были Р.В.Белан с «Запорожстали» и В.К.Львов с Лениградского Путиловского завода. Львов родился в 1900 г. в семье бондаря, рано осиротел и еще ребенком стал батрачить. Во время революции вступил в Красную гвардию, затем — в Красную Армию и служил командиром в пограничных войсках, когда попал в избранную группу выдвиженцев («партийных тысячников») и был направлен в институт учиться на инженера. Белан, сын бедных крестьян, в 13 лет вступил в комсомол в своей деревне, воевал на гражданской войне. Когда война окончилась, его направили на рабфак Киевского политехнического института, и в 1931 г. он окончил институт с дипломом инженера-металлурга[80].

Истории этих головокружительных успехов являлись лишь верхушкой айсберга. По всему Советскому Союзу, на всех уровнях люди меняли свой социальный статус — крестьяне переселялись в город и становились рабочими, рабочие занимали должности технических специалистов или уходили на партийную работу, бывшие школьные учителя становились университетскими профессорами. Везде не хватало квалифицированных работников; везде царили неопытность, некомпетентность и текучка кадров. Стахановское движение стало главным средством продвижения наверх, хотя вряд ли это было его целью с самого начала. После нескольких лет сверхпроизводительного труда на заводе или в совхозе стахановцы вроде самого Стаханова, Александра Бусыгина, Марии Демченко, Паши Ангелиной и пр. требовали вознаграждения и уходили учиться в вузы, становясь инженерами, директорами промышленных предприятий и агрономами[81].

Выдвиженчество было столь неотъемлемой чертой советской жизни, что стандартные анкеты, заполнявшиеся при вступлении членами профсоюза, содержали такую загадочную графу (пункт 8): «Год ухода с производства или оставления сельского хозяйства». Здесь в сокращенном виде наличествовали два вопроса, которые легко расшифровывались советскими гражданами того времени и в той или иной степени справедливо могли быть заданы большинству из них. Первый вопрос полностью звучал так: «Если вы перестали быть рабочим на производстве и перешли на административную должность, когда это произошло?» Второй вопрос имел тот же смысл и относился к крестьянам, оставлявшим деревню и находившим работу в городе[82].

Конечно, выдвижение не обязательно приводило к успеху. Некоторые выдвиженцы умоляли освободить их от работы, к которой они были неспособны, — как, например, один бывший пастух, 31 года от роду, выдвинутый в 1937 г. в председатели райисполкома, которого довели чуть не до безумия напряженная атмосфера эпохи террора и издевательства собственных избирателей. Другие цеплялись за свою должность, но их ошибки в работе дорого обходились не только им самим, но и всем окружающим[83]. Упасть можно было быстрее, чем поднимался, а это означало тюремный срок или (во время Большого Террора) 20 лет в Гулаге. Поэтому-то кое-кто считал более благоразумным *не* откликаться на песню сладкоголосых сирен выдвиженчества.

В некоторых случаях «выдвижение» означало направление на учебу и лишь потом — занятие более высокой должности, но часто происходил обратный процесс. Чрезвычайно выросло число всевозможных вечерних школ и курсов. Каждый год огромное количество взрослых людей посещали курсы, чтобы научиться грамоте, усовершенствоваться в искусстве чтения и письма, обучить-

ся основным навыкам какого-либо ремесла, повысить квалификацию и сдать «техминимум», подготовиться к поступлению в техникум или институт. Даже колхозники соперничали друг с другом за право поехать в райцентр на месячные курсы животноводов или бухгалтеров или научиться водить трактор. Существовала сеть специальных партшкол, где коммунистические чиновники получали некую смесь общего образования и идеологического натаскивания; «промакадемии» наподобие той, в которой учился Хрущев, давали избранным членам этой же группы инженерные знания (хотя и несколько более низкого уровня, чем обычные технические вузы). К директорам предприятий и рабочим-стахановцам, слишком занятым, чтобы ходить на курсы, прикрепляли учителей, занимавшихся с ними по вечерам на дому.

Евгения Федоровна, модистка, превратившаяся в технического директора, была одной из многих выдвиженцев, не имевших формального образования, но горячо стремившихся получить его. «От неграмотной Женьки я прошла большой путь к культурной советской женщине, — писала она. — И сейчас дома упорно учусь. Но этого мало. Хочется окончить втуз»[84]. Об этом заветном желании — «хочу учиться» — твердили все, от директора до домохозяйки. Во время проводившегося в 1937 г. опроса почти половина молодых рабочих Автозавода им. Сталина обоего пола заявляли, что «продолжить образование» — главный пункт их программы-минимум, и более одной восьмой всей этой группы собирались поступить в вуз в ближайшие два-три года[85].

«В Москве я загорелась желанием учиться, — вспоминает женщина крестьянского происхождения, вырванная из родной почвы коллективизацией. — Чему и где — неважно; я хотела учиться». Судя по ее рассказу, у нее не было четко сформулированных амбиций или интеллектуальных запросов, просто она понимала, что образование — это билет в приличную жизнь: «У нас на работе говорили: "Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек". Без высшего образования я не могла получать приличную зарплату»[86].

Даже в свободное время, после работы и учебы, советские граждане были заняты самосовершенствованием. Каждый, кто бывал в СССР в 1930-е гг., отмечал среди его населения страстную любовь к чтению и тягу к знаниям. Пушкинский юбилей в 1937 г. стал национальным праздником, в свет выходили объемистые издания русской литературной классики XIX века. Популярный еженедельник «Огонек» в 1936 г. вел постоянную рубрику «Культурный ли вы человек?», дававшую читателям возможность проверить свои знания. Культурный советский человек должен был знать названия пяти пьес Шекспира, пяти марок советских автомобилей, четырех рек в Африке, трех типов военных самолетов, двух поэм Генриха Гейне, двух советских ледоколов, имена семерых стахановцев и двух представителей утопической социальной мысли[87].

Стахановка Паша Ангелина была среди тех, кто не только поступил в институт, но и, как явствует из написанного ею, получила общие знания, позволяющие справиться с огоньковскими викторинами. К 40-м годам (по-видимому, в результате чтения журналов «Америка» и «Британский союзник» во время войны) она уже достаточно знала о жизни за рубежом, чтобы понимать (в отличие от многих своих современников), что продвижение из низов не является чисто советским феноменом:

«В этих заграничных журналах нередко встречаются описания "головокружительных карьер", "исключительных" биографий. Помню, например, восторженное жизнеописание одного господина, который, по словам журнала, "вышел из народа". Он был простым разносчиком, а потом нажил миллионы, стал владельцем многих газет, произведен в лорды».

В чем же, спрашивает Ангелина, разница между блестящей карьерой лорда Бивербрука и ее собственной? Ответ, который она дает, заключает в себе важнейшую составляющую менталитета людей той эпохи, особенно представителей когорты пролетарских выдвиженцев, — убеждение, что в Советском Союзе продвижение наверх не означает отделение от народа и не подразумевает существования иерархической социальной структуры, при которой одни имеют привилегии перед другими. Уникальность советского опыта, по словам Ангелиной, состоит в следующем: «Мой подъем не есть исключение. И если тот господин, как справедливо сказано в журнале, "поднялся из народа", "вышел из народа" в лорды, то я поднялась вместе со всем народом»[88].

4. СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Из всего, что входило в понятие «сказку сделать былью», один аспект был особенно дорог советским гражданам: обещание грядущего изобилия при социализме. Это был поистине экскурс в мир русских сказок, волшебный антураж которых включал некую скатерть-самобранку[1]. Если эту скатерть расстелить, на ней сама собой появлялась гора яств и напитков. Может быть, именно надежда на будущее изобилие помогала людям легче переносить всевозможный дефицит в настоящем. Так или иначе, в середине 1930-х гг. еда, напитки, потребительские товары прославлялись с жаром, которому могла бы позавидовать Мэдисон-авеню.

На тот момент товаров все еще не хватало, а имеющиеся были низкого качества. Тем не менее, скатерть-самобранка уже лежала на некоторых столах. В основном ее счастливыми обладателями были коммунистические чиновники и некоторая часть интеллигенции; Троцкий, былой революционный вождь, ныне пребывающий в изгнании за рубежом, усматривал в появлении нового привилегированного класса еще одно свидетельство измены Сталина делу революции[2]. Однако внутри страны отношение к этому факту было гораздо сложнее. Ведь доступ к скатерти-самобранке имели не только чиновники и представители интеллигенции, но и стахановцы — рядовые граждане, чьи выдающиеся достижения принесли им эту награду. Согласно бытующей в СССР системе понятий первоочередным доступом к дефицитным товарам и услугам пользовалась не элита общества, а его авангард. То, что авангард имел сегодня, остальные члены общества могли надеяться получить завтра.

ОБРАЗЫ ИЗОБИЛИЯ

«Жить стало лучше, товарищи;
жить стало веселее».
Сталин, 1935[3]

Эта фраза, без конца повторявшаяся советской пропагандой, была одним из самых популярных лозунгов 1930-х гг. Ее носили на плакатах демонстранты, помещали в виде «шапки» в новогодних выпусках газет, писали на транспарантах в парках и исправительно-трудовых лагерях, цитировали в речах, пели в песне, исполнявшейся ансамблем Красной Армии, — а порой ее сердито передразнивали те, чья жизнь не становилась лучше[4]. Запечатленную в этой фразе смену ориентации, которую один американский социолог назвал «великим отступлением», в самом начале 1935 г. возвестила пропагандистская кампания по случаю отмены хлебных карточек, объявившая о конце лишений и наступлении эпохи достатка[5].

Новая ориентация подразумевала несколько важных моментов. Первый, наиболее очевидный, — она обещала, что в магазинах будет больше товаров. Это означало фундаментальный поворот от антипотребительского подхода прошлых лет к тому, чтобы вновь (весьма неожиданно, если принять во внимание марксистскую идеологию) начать ценить по достоинству предметы потребления. Второй момент — переход от пуританского аскетизма, характерного для эпохи Культурной Революции, к терпимости в отношении людей, наслаждающихся жизнью. Отныне поощрялись все виды массового досуга: карнавалы, парки культуры и отдыха, маскарады, танцы, даже джаз. Для элиты тоже открывались новые возможности и привилегии.

Публичное смакование жизненных благ в рекламе середины 1930-х гг. превратилось в какую-то потребительскую вакханалию. На первом месте стояли еда и напитки. Вот как в газете описывается ассортимент товаров только что открывшегося коммерческого гастронома (бывшего Елисеевского, совсем недавно — магазина Торгсина) на улице Горького:

«В гастрономическом отделе — 38 сортов колбасы, из них 20 новых сортов, нигде до сих пор не продававшихся. В этом же отделе будут продаваться три сорта сыра, выпущенных по специальному заказу магазина, — камамбер, бри и лимбургский. В кондитерском отделе 200 сортов конфет и печений.

В булочном отделе до 50 сортов хлебных изделий... Мясо хранится в остекленных холодильных шкафах. В рыбном отделе бассейны с живыми зеркальными карпами, лещами, щуками, карасями. По выбору покупателей рыба вылавливается из бассейнов с помощью сачков»[6].

А.Микоян, на протяжении всех 1930-х гг. отвечавший за снабжение, немало сделал для развития такой тенденции. Особый энтузиазм вызывали у него некоторые товары, например мороженое и сосиски. Это была новая продукция либо продукция, изготовленная по новой технологии, и Микоян всячески старался приучить к ней массового городского потребителя. Он подчеркивал, что эти товары являются неотъемлемой принадлежностью образа довольства и достатка, а также современности. Сосиски, новый для русских вид колбасных изделий, пришедший из Германии, по словам Микояна, были некогда «признаком буржуазного изобилия и благополучия». Теперь они доступны для масс. Производи-

мые в массовом порядке машинным способом, они превосходят изделия, изготавливаемые по старинке вручную. Микоян был также энтузиастом мороженого, «очень вкусного и питательного» продукта, в особенности такого, какое производится в массовом порядке с помощью машинной технологии в Соединенных Штатах. Оно тоже когда-то было предметом буржуазной роскоши, его ели по праздникам, но отныне оно будет доступно советским гражданам каждый день. В СССР импортированы новейшие аппараты по производству мороженого, и скоро в продажу поступит самый экзотический ассортимент: даже в провинции можно будет купить шоколадные эскимо и помпу (что это за сорт, не удалось установить), сливочное, вишневое, малиновое мороженое[7].

Покровительство Микояна простиралось также на напитки, в особенности шипучие. «Какая же это будет веселая жизнь, если не будет хватать хорошего пива и хорошего ликера?» — вопрошал он. Позор, что Советский Союз так отстает от Европы в виноградарстве и виноделии; даже Румыния его опережает. «Шампанское — признак материального благополучия, признак зажиточности». На Западе только капиталистическая буржуазия может им наслаждаться. В СССР оно теперь доступно многим, если не всем: «Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают очень много денег, много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся». Следует резко повысить производство, чтобы удовлетворить их растущие запросы, заключал Микоян[8].

Новая продукция часто рекламировалась в прессе, невзирая на общее сокращение газетных рекламных объявлений в конце 1920-х гг. Эти объявления были предназначены не столько для сбыта товаров — как правило, рекламируемой в них продукции не было в магазинах, — сколько для воспитания публики. Знания о потребительских товарах, так же как хороший вкус, входили в понятие культурности, которой требовали от советских граждан, особенно женщин, признанных экспертов в сфере потребления. Одной из функций советской «культурной торговли» было распространение этих знаний с помощью рекламных объявлений, советов продавцов покупателям, покупательских совещаний и выставок[9]. На торговых выставках, организуемых в крупных городах СССР, демонстрировались товары, совершенно недоступные рядовому покупателю: стиральные машины, фотоаппараты, автомобили. («Все это очень хорошо, — сказал один раздраженный посетитель после осмотра выставки, — только в магазинах нет, и не найдешь»[10].)

О дидактической функции рекламы явственно свидетельствует реклама кетчупа, еще одного нового микояновского продукта, изготавливаемого по американскому образцу. «Знаете ли вы, что такое кетчуп?» — вопрошал заголовок одного рекламного объявления. И далее пояснялось: «В Америке на каждом столике ресторана и у каждой хозяйки в буфете стоит бутылка кетчупа. Кетчуп — самая лучшая, острая и ароматная приправа к мясным, рыбным, овощным и другим блюдам. Требуйте кетчуп заводов Главконсерва в фирменных магазинах Союзконсервсбыта и в других продуктовых магазинах», — заканчивалось объявление на неоправданно оптимистической ноте (возможно, просто повторяя традиционную для американской рекламы фразу)[11].

Одеколон тоже относился к товарам, пользовавшимся особым вниманием воспитательной рекламы в 1930-е гг. «Одеколон прочно вошел в обиход советской женщины, — заявлялось в специальном материале, посвященном парфюмерии, в популярном иллюстрированном еженедельнике. — Десятки тысяч флаконов одеколона требуют ежедневно парикмахерские Советского Союза». На сопровождающей текст фотографии парикмахер щедро обрызгивает одеколоном волосы клиентки[12]. Как ни удивительно, рекламировались даже противозачаточные средства, которые в действительности было практически невозможно достать[13].

Одежда и текстиль пользовались столь же нежным вниманием, как продукты и напитки. «Хорошо одевается Москва» — под таким заголовком в 1934 г. в рабочей газете была опубликована статья, якобы написанная портным:

«Сравнивая майские праздники, могу утверждать, что *никогда еще Москва не была так нарядна, как в этом году*. Редко, редко можно было в первомайские дни встретить человека, костюм которого не подошел бы для свадьбы или вечеринки. Твердый крахмальный воротничок был в рабочих колоннах демонстрантов рядовым явлением. На женщинах — хорошие костюмы из бостона, шевиота и тонкого сукна. Нарядные и хорошо сшитые платья из шелка или шерстяной материи»[14].

Коммунистические лидеры внесли свою лепту в пропаганду образа хорошо одетого человека, частично отказавшись от военного стиля, вытеснившего в 1920-е гг. гражданский костюм. По рассказам одних, честь подобного переворота принадлежит Молотову, другие отдают пальму первенства комсомольскому лидеру Александру Косареву, который «однажды провозгласил новый лозунг: "Трудиться производительно, отдыхать культурно". После этого он стал всегда носить европейский костюм». Как бы то ни было, совершенно ясно, что это был коллективный проект, осуществляемый партийной верхушкой. На фотографиях, украшающих первые полосы советских газет летом 1935 г., члены Политбюро на параде физкультурников красуются в подобающих случаю легких белых пиджаках[15].

Женщин-коммунисток, в начале 1930-х гг. все еще тяготевших к одежде делового стиля, как можно больше напоминающего мужской, заставляли произвести такие же коррективы. Одна большевичка из старой гвардии, где-то в середине 30-х приглашенная в Кремль на банкет по случаю Международного женского дня, вспоминала, как в последнюю минуту им дали инструкции, «чтобы все наши деятельницы женского движения явились на

банкет не нигилистками в строгих английских костюмах, с кофточкой и галстуком, а выглядели женщинами, и чтобы наряд был соответствующий. Наши активистки носились по Москве как угорелые, приводили себя в предписанный Сталиным вид»[16].

О перемене нравов ясно свидетельствует история Кости Зайцева, шахтера-угольщика и комсомольского активиста с юга. Во времена нэпа Зайцев купил у старого аристократа шелковый пиджак с синими атласными отворотами и по вечерам гулял в нем по степи. За это он получил резкий выговор от комсомольской ячейки, обвинявшей его в буржуазном разложении. Однако в 1934 г. он не только спокойно носил пиджак и галстук, но и являлся обладателем «пары превосходных костюмов, дорогих часов, охотничьего ружья, велосипеда, фотоаппарата, радиоприемника». Он приобрел для своей комнаты турецкий ковер, покрасил стены и потолок. В комнате у него стояла «изящная этажерка с десятками разных книг». Отныне это свидетельствовало не о буржуазном разложении, а о культуре, составлявшей необходимый аспект процесса самосовершенствования Зайцева. «Зайцев готовится стать инженером», — сообщал журнал[17].

Развлечения

«Красная Россия становится розовой», — писал в конце 1938 г. московский корреспондент «Балтимор сан»[18]. В элитных кругах снова вошли в обиход предметы роскоши вроде шелковых чулок, долгое время считавшихся «буржуазными». Модным стал теннис; бешеным успехом пользовались джаз и фокстрот. Партийный максимум на оклады был отменен. Наступила la vie en rose* по-советски. Впрочем, некоторым она казалась обуржуазиванием или «вторым нэпом».

Одной из примет времени стало возрождение в 1934 г. московских ресторанов. Перед этим четыре года длилась мертвая полоса, когда рестораны были открыты только для иностранцев, плата в них принималась в твердой валюте, а ОГПУ с глубоким подозрением относилось к любому советскому гражданину, вздумавшему туда пойти. Теперь же все, кому это было по карману, могли отправиться в гостиницу «Метрополь», где «нежная молодая стерлядь плавала в бассейне прямо в центре зала» и играла джаз чешская группа Антонина Зиглера, или в «Националь» — послушать советских джазменов А.Цфасмана и Л.Утесова, или в гостиницу «Прага» на Арбате, где выступали цыганские певицы и танцовщицы. Рестораны пользовались особой любовью в театральной среде и у прочих представителей «новой элиты», для рядовых граждан цены в них, разумеется, были недоступны. Их существование нисколько не скрывалось. «Прага», например, рекламировала свою «первоклассную кухню» («ежедневно блины, расстегаи, пельмени»), цыганских певиц и «танцы среди публики со световыми эффектами» в московской вечерней газете[19].

Не только представители элиты выиграли от смягчения нравов и пропаганды культуры досуга в середине 1930-х гг. Новым проводником культуры в массы было звуковое кино, и вторая половина 30-х годов стала великой эпохой для советской музыкальной комедии. Веселые, динамичные развлекательные фильмы с зажигательной музыкой в джазовой обработке: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» (1940) — завоевали огромную популярность. Существовали даже амбициозные планы (так и не реализованные) построить на юге «советский Голливуд». Танцы тоже были в моде как у элиты, так и у масс. В городах как грибы вырастали танцевальные школы, и молодая работница, описывая свои достижения в области культурного развития, помимо посещения курсов ликбеза упоминала также о том, что они вместе с ее мужем-стахановцем учатся танцевать[20].

В этот же период после нескольких лет запрета вернулось традиционное празднование Нового года — с елкой и дедом Морозом. В 1936 г., по рассказам газет, состоялся грандиозный праздник. «Никогда еще не было такого веселья» — под таким заголовком был напечатан репортаж из Ленинграда:

«Прекрасно одетые рабочие, работницы, дети собрались в залитые светом разукрашенные дома культуры, клубы и школы... Пышные залы Александровского дворца в Детском селе впервые открылись для шумного бала, где хозяевами были передовые рабочие и инженеры завода "Красный треугольник". Игры, танцы, фейерверки, катанье на тройках с бубенцами — никогда еще детскосельский парк не был так оживлен. До зари звучит музыка, и всюду раздаются песни веселья и радости»[21].

Одним из видов новой культуры досуга стали автопробеги на длинные дистанции (как тот, что играет столь важную роль в сатирическом романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок»), велосипедные и мотоциклетные гонки: в 1934 г. появился звуковой документальный фильм о «героическом автопробеге» от Москвы до Каракумов и обратно, рассказывающий, как его участники (и съемочная группа) выдержали шесть с половиной дней «в безводной пустыне»[22]. В 1930-е гг. стремительно выросла популярность футбола как зрелищного вида спорта; прямой официальной пропаганды футбола не было, однако в Лужниках открылся новый современный стадион, а команды получали щедрую материальную поддержку от профсоюзов, органов внутренних дел и армии[23]. Очень популярны были также авиационные праздники.

В области любительского спорта больше всего славились прыжки с парашютом и гимнастика. С парашютом прыгали везде: на авиационных праздниках (там свое искусство демонстрировали

* Жизнь в розовом цвете (*фр.*).

профессионалы), на военизированных учениях в рамках программы «Готов к труду и обороне», парашютные вышки стояли в парках культуры и отдыха, парашютисты красовались на фотографиях и рисунках в журналах и газетах, стахановцы рассказывали о прыжках в своих биографиях. Несомненно, этот вид спорта символизировал отвагу советского человека и господство СССР в воздухе (или, если посмотреть под другим углом, — склонность советских людей к риску, как на уровне правительства, так и в народе). Гимнастика, именуемая физической культурой, тоже оказалась на виду из-за увлечения массовыми демонстрациями, проводившимися летом на Красной площади и везде, где только можно, давая фотографам и художникам редкую возможность запечатлеть человеческое тело. «Физкультура — ура-ура!» — пели спортсмены слова весьма популярного «Спортивного марша»[24].

Открывшиеся во многих городах Советского Союза «парки культуры и отдыха» предназначались для того, чтобы предложить массам новые формы культурного досуга. В парках можно было покататься на лошадях, имелись аттракционы, танцплощадки, павильоны, киоски. Образцом служил Парк культуры и отдыха им. Горького в Москве, спроектированный и управлявшийся американкой Бетти Глен. На открытие зимнего сезона 1935 г. на воротах парка вывесили транспарант со сталинским лозунгом «Жить стало лучше, жить стало веселее», и в первые же три часа туда пришли 10000 чел. Все гости из-за рубежа посещали ПКиО и затем описывали свои впечатления, кто-то акцентировал внимание на развлекательном аспекте (чертово колесо, кегельбаны, танцплощадки, кино), кто-то — на воспитательном: чтение газет, агитационные уголки и т.д. (Почти все упоминали вышку для прыжков с парашютом[25].)

Первомайский репортаж о Парке культуры в советской газете сосредоточен на основе основ — еде и питье:

«Трудно рассказать, как веселилась Москва в радостные дни первомайского праздника. Не расскажешь всего о саде изобилия, выросшем подле здания манежа, о том саде, где на деревьях росли сосиски и колбаса... где пенящаяся кружка пива соседствовала с великолепной полтавской колбасой, с розовой ветчиной, с истекающим слезой швейцарским сыром, с беломраморным свиным салом. Прогулявшись раз по этой площадке, можно нагнать сокрушительный аппетит»[26].

Лето стало временем карнавалов на новый лад. Все еще пользовались популярностью, хотя и не играли уже такой роли, как во второй половине 1920-х гг., парады, высмеивающие врагов революции и советской власти. В 18-ю годовщину революции 3000 18-летних юношей и девушек с крупнейших заводов Москвы участвовали в «карнавале счастливой юности»; каждому району дали свою тему, и он должен был обеспечить костюмы и декорации. Сокольническая комсомольская организация для оформления своей колонны, которая должна была высмеивать все, относящееся к прошлому, пригласила знаменитых карикатуристов Кукрыниксов. Шествие открывали боги, ангелы и святые, за ними — Адам и Ева. Далее на грузовиках следовали монахи, буржуи, романовские придворные, а позади «важно шествовали» страусы, ослы и медведи, представлявшие «генералов, графов и т.д.»[27].

Для первого ночного карнавала, состоявшегося в июле 1935 г. в Парке культуры, обязательно требовались костюмы и маски: после карнавального шествия лучший костюм получал денежный приз. Газетные сообщения, описывая разнообразие костюмов — пушкинские Онегин и Татьяна, Чарли Чаплин, Мать из романа Горького, маркизы XVIII века, тореадоры, Марк Антоний и т.д., — не отрицали, что маска предоставляет и некоторые романтические возможности. Подчеркнутое внимание уделялось смеху: по словам «Крокодила», среди лозунгов, предложенных «энтузиастами-одиночками», были и такие: «Кто не хохочет, тот не закусывает», «Смеши отстающего!»[28].

Несмотря на элементы спонтанности и схожесть с прежней формой народного празднества, карнавалы середины 1930-х гг. проводились по тщательно разработанному сценарию и ставились ведущими театральными деятелями; налицо было намерение создать новую традицию: «Это карнавальное веселье должно войти в традицию Советского Союза, подобно красочным национальным торжествам Франции и Италии»[29]. В воспоминаниях некоторых зарубежных гостей, так же как в газетных репортажах, подчеркивались радостное возбуждение и веселье карнавальной толпы. Находились и такие, кто писал об этом с меньшей уверенностью. «Несомненно, они "наслаждаются скорбя", — заметила одна посетительница Парка культуры из Австралии. — Среди многих тысяч находившихся там людей нам редко встречались улыбающиеся, хотя предполагалось, что они развлекаются»[30].

ПРИВИЛЕГИИ

Изобилие должно было наступить в будущем; в настоящем же царил дефицит. В наихудшие времена, в годы первой пятилетки, дефицит, естественно, заставил власть принять особые меры, чтобы прокормить саму себя, так же как она делала, хотя и не с такой систематичностью, в гражданскую войну. Коммунистическое руководство в Советском Союзе стало в буквальном смысле слова привилегированным классом.

Но привилегиями пользовались не только коммунисты. Их получила и интеллигенция, по крайней мере главные ее представители. Начало этому тоже было положено в эпоху гражданской войны, когда по настоянию А.М.Горького были установлены специальные пайки для членов Академии наук и прочих лиц, считавшихся хранителями культурного наследия. В 1920-е гг. интеллигенция представляла собой в материальном отношении относи-

тельно привилегированную группу. В 1930-е ее привилегированный статус приобрел несколько иной оттенок. Он гораздо сильнее бросался в глаза, особенно по контрасту с предшествовавшим периодом Культурной Революции, когда с «буржуазными специалистами» обходились весьма круто. В первой половине 1930-х гг. совершился поворот на 180 градусов; как отмечал один эмигрантский журнал, политическое руководство со всей очевидностью стало практиковать новый подход к интеллигенции: «За ней ухаживают, ее обхаживают, ее подкупают. Она нужна»[31].

Одними из первых среди интеллигенции особые привилегии получили инженеры — что вполне понятно, учитывая их весомый вклад в проведение индустриализации. Удивительнее тот факт, что наряду с ними подобной чести удостоились писатели, композиторы, архитекторы, художники, театральные деятели и прочие представители «творческой интеллигенции». Неумеренные почести, посыпавшиеся на писателей в связи с проведением Первого съезда ССП в 1934 г., задали новый тон в отношении к ним, сочетавший подчеркнутое уважение к высокой культуре со скрытым намеком на то, что интеллигенция обязана служить делу Советов[32].

Пресса, обычно умалчивавшая о привилегиях коммунистической номенклатуры, нередко с гордостью объявляла о привилегиях интеллигенции. Возможно, такая стратегия была призвана отвлечь от коммунистов внимание возмущенной общественности. Хотя особого результата она, по-видимому, не принесла[33], тем не менее в народном сознании отложилось мнение, что некоторые представители творческой интеллигенции в СССР пользуются просто сказочными привилегиями. По слухам, дошедшим, кажется, до ушей каждого советского гражданина, романист А.Н.Толстой (аристократ по происхождению), М.Горький, авиаконструктор А.П.Туполев, джазмен Л.Утесов и популярный композитор И.Дунаевский были миллионерами, и советская власть позволяла им иметь неисчерпаемые банковские счета[34].

В сталинской России привилегии были связаны больше с доступом к товарам, услугам, возможностью получить жилье и т.д., чем с собственностью. Ключевым фактором, обусловившим в 1930-е гг. возникновение и институционализацию иерархии доступа к благам, являлся дефицит, в особенности структуры, порожденные крайне острым дефицитом в начале десятилетия. В тот критический период были введены не только карточки, имевшие свою иерархическую систему подразделения, но и различные формы «закрытого распределения» товаров для особых категорий лиц. Делалось все это не по идеологическим (идеология того времени была уравнительной и воинствующей), а по чисто практическим причинам: на всех просто не хватало.

Привилегии в продуктовом снабжении выражались в различных формах: особые пайки, особые элитные закрытые магазины, особые столовые на работе. Начиная со второй половины 1920-х гг.

высокопоставленные партийные и правительственные чиновники получали особые пайки. Как вспоминает Е.Боннэр, ее родители — коммунисты, занимавшие высокие посты (отчим в Коминтерне, мать — в Московском комитете партии), находились на разных ступеньках лестницы:

«Я помню пайки. Папин паек — то ли два раза в месяц, то ли чаще — приносили домой. Я не знаю, платили ли за него. В нем было масло, сыр, конфеты, какие-то консервы. Кроме этого, постоянного пайка, были еще большие предпраздничные. Там была икра, разные балычки, шоколад и тоже сыр и масло. За маминым пайком надо было ходить — недалеко, на Петровку. Там, в доме на углу Рахмановского переулка была столовая МК (Московского комитета партии), и раз в неделю давался паек. Часто за ним ходила я, там деньги платили. В нем тоже было масло и еще что-то, но он был значительно проще папиного»[35].

В то же самое время интеллигенции вернули «академические» пайки; первыми их получили члены Академии наук, затем в 1932 г. 400 «академических пайков» выделили писателям, позднее еще 200 — артистам[36].

Особые магазины для элиты в первой половине 1930-х гг. были известны под сокращенным названием горт (Государственное объединение розничной торговли). Доступом в них пользовалась привилегированная группа, включавшая администраторов, работающих в центральных правительственных, партийных, промышленных, профсоюзных, плановых и издательских учреждениях, а также экономистов, инженеров и других специалистов, работающих на государство. Эти магазины торговали основными продуктами питания, «деликатесами» вроде колбасы, яиц и сухофруктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, например мылом. Е.Боннер вспоминала, что первые ножи из нержавеющей стали, которые ей довелось увидеть, ее семья купила именно там. У ГПУ (так же как у армии) были свои спецмагазины, и московский спецмагазин ГПУ прославился как «лучший во всем Советском Союзе»[37].

Сеть специальных магазинов распространялась и на провинцию, но качество даже элитного снабжения там обычно было хуже, чем в столице. Инженеры и директора крупных промышленных предприятий и новостроек снабжались через особую сеть закрытых магазинов: в 1932 г., говорят, по стране насчитывалось 700 закрытых распределителей для инженеров и директоров[38]. Вне сферы промышленности и других специальных систем, например военной и ОГПУ, областное и районное начальство имело свои закрытые магазины, доступные лицам определенного ранга. Работники сельсоветов не доросли до того, чтобы попасть в закрытый магазин, даже если таковой имелся в их местности, и один из них в письме Калинину с горечью жаловался на такую дискриминацию:

«Были в горт завезены хромовые сапоги по 40 руб. пара, я просил уступить мне одну пару, но нет, не дали, ведь они по 40 руб., это подходяще для партактива и что несмотря на то, что партактивисты имеют по паре, а некоторые и по 2 пары сапог, все же взяли себе еще по паре, а мне, не имеющему никакой обуви, было отказано и предоставлено право брать ботинки на резиновом ходу за 45 руб.»[39].

Эта жалоба высвечивает одну из самых странных черт советского закрытого распределения — товары в спецмагазине стоили *дешевле*, чем в обычном. Как правило, чем труднее было получить доступ в магазин, тем ниже в нем были цены.

Из-за нехватки продуктов и проблем с распределением большинство людей в первой половине 1930-х гг. обедали на работе в столовых. Дифференциация в рамках системы общепита в той или иной форме существовала повсюду, а в крупных учреждениях иерархия (признаками которой служили количество и качество еды, а также само помещение столовой) была довольно сложной. На некоторых заводах в придачу к столовой для рядовых рабочих и служащих имелась еще одна столовая для главной администрации, другая — для среднего звена и третья — для ударников. В других местах ударники ели вместе с остальными рабочими, но получали дополнительные карточки и, следовательно, имели право на двойную или тройную порцию. Иностранцы, сталкивавшиеся с подобной практикой, часто чувствовали себя неловко и даже приходили в негодование. «Пожалуй, нигде, кроме восточных стран, деление общества на классы не сочли бы возможным демонстрировать столь открыто, как в России», — замечал финский коммунист Арво Туоминен, описывая обеденную иерархию начала 1930-х гг. Когда Туоминен, работавший в Коминтерне, решил вместе со своими помощниками поесть в коминтерновской столовой, «это всем показалось неприличным. Укоризненные взгляды говорили: тебе здесь не место, отправляйся к членам своей касты!»[40]

В предыдущей главе мы уже отмечали существовавшую среди руководства на местах тенденцию сохранять для себя закрытые распределители, даже когда центр в законодательном порядке указывал, что дальнейшей необходимости в них нет. Если закрытого распределителя не было, начальники (и их жены) неофициально устанавливали правила особого доступа к товарам, поступавшим в местные магазины для распределения среди всего населения. Так, например, один магазин в Западной области получил партию текстильной продукции для отправки на село, — но на следующее утро местный комитет партии попросил директора магазина отложить 1000 метров ткани для своих работников, которые «не имеют возможности и времени стоять в очереди». То же самое происходило на Дальнем Востоке. «К празднику 1 мая в сельпо завезено вино, — писал обиженный местный житель. — Грешным делом я попросил поллитра, мне сказали нет, нельзя,

это для партактива, им оставили бочку». Обычай «пропускать номенклатуру вперед» был так силен, что один районный отдел здравоохранения в Сибири объявлял о получении местной аптекой партии особых медикаментов «для защиты ответственных сельскохозяйственных работников от укусов малярийных комаров»[41].

Чиновники также вовсю пользовались прерогативой развлекаться за государственный счет. Правда, подобные действия периодически подвергались осуждению, как показывает разгромная статья, напечатанная в 1937 г. областной газетой:

«Вино лилось рекой. Некоторые, как, например, заведующий горкомхозом Конюшенко, напились до бесчувствия. Этот банкет обошелся государству в 2300 руб., которые президиум райисполкома обязал райфо уплатить магазину "Бакалея"».

По словам этой статьи, несколько раньше в том же году председатель райисполкома устроил банкет у себя на квартире, оплатив еду и напитки из бюджета школьного строительства[42].

Элита пользовалась привилегиями и в отношении других дефицитных благ, таких как жилье, дачи, дома отдыха. В 1920-е гг. специального жилья для руководящих работников строилось мало, и представителей партийной и правительственной верхушки довольно бессистемно селили в кремлевских апартаментах или гостиницах: «Метрополе», «Национале», «Люксе». В 1928 г. началось строительство первого многоквартирного дома специально для высшего руководства. Это был Дом правительства (увековеченный в романе Ю.Трифонова «Дом на набережной», рассказывающем об эпохе Большого Террора), выросший прямо напротив храма Христа Спасителя и наискосок от Кремля на другом берегу Москвы-реки. В здании насчитывалось 506 просторных, полностью меблированных квартир с телефонами, горячей водой и множеством удобств[43].

В первой половине 1930-х гг. элиту стали обеспечивать новым жильем, превращая уже существующие здания в специальные кооперативы для работников определенных правительственных учреждений: ЦК, ОГПУ, армии, Наркомата иностранных дел, Наркомата тяжелой промышленности. Получил свой кооператив в центре и Союз писателей, так же как ученые, композиторы, артисты и авиаконструкторы; у инженеров были свои жилищные кооперативы в различных центральных районах. Актерам Московского художественного театра достался дом по соседству с улицей Горького, в доме 25 по улице Горького большинство квартир заняла труппа Большого театра. Богатый, имеющий сильных покровителей театр им. Вахтангова ухитрился на свои доходы построить в Москве два благоустроенных пятиэтажных дома. Было признано, что определенные представители интеллигенции имеют особые профессиональные нужды, требующие большей жилой площади (в квадратных метрах), чем у рядовых граждан. По поводу данной привилегии велись жаркие споры, но в конце концов с

1933 г. ее получили ученые и писатели; два года спустя она была распространена также на художников и скульпторов[44].

В начале 1930-х гг. был разработан специальный план строительства многоквартирных домов для инженеров. Согласно этому плану, принятому в 1932 г., в течение двух лет в 67 городах должны были быть построены свыше 10000 квартир для инженеров и других специалистов; в Москве планировалось строительство 10 новых домов, в общей сложности на 3000 квартир. В Магнитогорске инженерам и директорам предприятий особенно повезло — они унаследовали жилье, выстроенное для иностранных специалистов в пригороде Березки. Там были не многоквартирные корпуса, а отдельные двухэтажные домики с собственным садом — для Советского Союза тех лет почти немыслимая роскошь[45].

Некоторые элитные квартиры были действительно роскошны, многие же по своим размерам и имеющимся удобствам оставались весьма скромными. Кроме того, их везде не хватало, а в столице особенно, и многие люди, которые по занимаемой должности и даваемым ею правам могли быть причислены к элите, по-прежнему жили в коммуналках. Но даже те, чьи жилищные условия не соответствовали принятым стандартам, обычно держали домработницу. Как правило, это считалось позволительным, если жена работала. «У нас была домработница — даже две, пока дочка была маленькой, — рассказывал интервьюерам Гарвардского проекта заводской снабженец. — Они обходятся дешево, но заполучить их трудно. Нужно поехать в колхоз, подобрать там девушку — любая мечтает сбежать в город от тяжелой колхозной работы, — а потом договориться с председателем. Он, конечно, терпеть не может терять работников, но, если у вас есть блат, свою домработницу вы получите». В финансовом отношении для снабженца это было чрезвычайно выгодно: его жена (в придачу к его собственному доходу) работала машинисткой и зарабатывала 300 руб. в месяц; при этом они «платили... домработнице 18 рублей в месяц плюс стол и жилье. Она спала на кухне»[46].

В 30-е гг., в отличие от 20-х, вопрос о домработницах мало обсуждался в печати, а об их эксплуатации нанимателями — еще меньше. Некоторые потихоньку жаловались на произвол нанимателей («это еще хуже бывших "барынь" — жены инженеров, врачей и "ответственных" работников»), превращавших их в рабынь и заставлявших, из-за жилищного кризиса, мириться с нечеловеческими условиями: «В большинстве [домработницы] не имеют кровати, ибо их негде поставить. Спят в "ванной", "под столом" или "на стульях". Не дай бог заболеть домработнице — преклонить голову негде»[47].

Даже убежденные коммунисты не видели ничего дурного в том, чтобы пользоваться услугами домработницы. Джон Скотт, американец, трудившийся рабочим в Магнитогорске и женатый на русской, завел прислугу после рождения их первого ребенка. Его

жену Машу, учительницу, невзирая на крестьянское происхождение и твердые коммунистические убеждения, это ничуть не смущало. Как женщина эмансипированная, она была решительно настроена против домашней работы и считала вполне приличным и необходимым, чтобы ею занимался вместо нее кто-то менее образованный[48].

В конце 1930-х гг. табу на публичное обсуждение вопроса о домработницах было отчасти снято, и «Крокодил» напечатал целую серию шуток и карикатур на эту тему. Шутливые «Советы молодым хозяйкам» рекомендовали (видимо, с известной долей ехидства) лучший способ найти в Москве домработницу: доехать на 16-м трамвае до Красной Пресни, зайти на текстильный комбинат и выбрать одну из работниц прядильного цеха. В другом номере помещались карикатуры, высмеивающие ответственных работников, доверяющих прислуге ходить за всеми покупками и информировать их о проблемах повседневной жизни, о которых сами они имеют мало понятия[49].

Еще одну важную форму привилегий представляли собой дачи и путевки в элитные дома отдыха и санатории[50]. В Казани тон задавал первый секретарь Разумов, построивший себе дачу по образцу усадьбы «Ливадия», превращенной в роскошный дом отдыха для партийных работников. Вслед за тем руководство горсовета принялось строить целый дачный поселок — используя, как стали утверждать впоследствии, деньги, незаконно позаимствованные из других статей бюджета (на общественный транспорт и канализацию, на озеленение) и выделенные руководителями местной промышленности из свободных фондов, — для местных «шишек», которые «подбирались... весьма тщательно»[51]. И это был отнюдь не единичный случай. Глава ОГПУ Генрих Ягода оказался в рядах целой армии московских партийных руководителей высшего ранга, которые «понастроили себе грандиозные дачи-дворцы в 15—20 и больше комнат, где они роскошествовали и транжирили народные деньги». (Судя по неодобрительному тону этой цитаты, руководитель, подвергшийся политической опале, автоматически лишался привилегии иметь дачу, так же как и многих других[52].)

Писателям особенно повезло с дачами. Решение Политбюро построить для писателей новый дачный поселок в Переделкино под Москвой, куда можно было доехать на электричке, являлось одним из наиболее ярких показателей нового писательского статуса. Бюджет строительства составил 6 млн руб. Поселок состоял из 30 дач, по 4—5 комнат каждая, которые правление Союза писателей отдало в бессрочное пользование известным писателям и их семьям. В это избранное литературное созвездие входили Борис Пастернак, Исаак Бабель и Илья Эренбург[53].

Некоторые дачи представляли собой кооперативную собственность, их можно было покупать и продавать, как правило, по очень высоким ценам. Можно было и построить собственную

дачу, правда, для этого требовались не только большие деньги, но и большой блат, чтобы получить необходимые разрешения и стройматериалы. Дочь врача, работавшего в Наркомате здравоохранения, рассказывала, как ее отец начал строить дачу вместе со своим шофером, имевшим обширные блатные связи, и бухгалтером. Трудности преследовали их всю дорогу («по словам отца, это должно было стоить всего 2000 рублей, но в конце концов обошлось нам в 12000, пришлось продать большой ковер, картину Шишкина и две итальянские гравюры»), но в 1937 г. дача была наконец построена — кирпичный дом с душем и баней, с центральным отоплением, в котором можно было жить круглый год, разделенный на три квартиры, каждая с отдельной кухней, гостиной и спальней[54].

В Крыму находились многие элитные дома отдыха и санатории, куда съезжались люди со всего Советского Союза. Поэт Осип Мандельштам и его жена, попав в дом отдыха в Сухуми, оказались среди представителей высшей политической элиты страны, включая жену будущего главы НКВД Н.И.Ежова. Ближе к Москве особенно высоко ценился санаторий в Барвихе. Наталья Сац, режиссер Московского детского театра и жена наркома торговли И.Я.Вейцера, провела там неделю перед тем, как ее внезапно арестовали как «врага народа»[55].

Некоторые культурные учреждения имели собственные дома отдыха. Ю.Елагин, в 1930-е гг. — музыкант Театра им. Вахтангова, вспоминает идиллические дни, проведенные вахтанговцами — актерами и музыкантами — в принадлежащем театру доме отдыха, в старой помещичьей усадьбе, полностью реставрированной, с «целой флотилией наших вахтанговских, только что купленных в Москве лодок» и столовой, снабжавшейся по правительственным нормам. У Академии наук с 1920-х гг. были свои дома отдыха и санатории, в том числе Узкое под Москвой и Гаспра в Крыму. Организационный комитет Союза советских писателей получил дома отдыха в Крыму и других местах еще до официального появления на свет этой организации[56].

Детям элиты обеспечивался отдых в специальных летних лагерях, дифференцировавшихся, как обычно в Советском Союзе, в зависимости от ранга и ведомственной принадлежности родителей. Е.Гинзбург, принадлежавшая к казанской политической элите, отправила сына на зимние каникулы в правительственный дом отдыха, где отдыхали «"ответственные дети", делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. "Линкольнщики" и "бьюишники" котировались высоко, "фордошников" третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это». Е.Боннэр в детстве проводила лето в лагерях от Коминтерна, где работал ее отец, или от МК партии, где работала мать. Она побывала также в Крыму, в знаменитом «Артеке», куда съезжались со всей страны ребята, отобранные за те или иные выдающиеся достижения, и (разумеется!) дети элиты, чьи родители могли нажать на нужные пружины[57].

Начиная с определенного уровня чиновников, как правило, на работу и с работы возил личный шофер. Зачастую правительственными автомобилями и их шоферами пользовались и в нерабочее время, хотя официально такая практика не была санкционирована. Как довелось узнать сыну Гинзбург, марка автомобиля зависела от ранга чиновника. Наталья Сац вспоминает, как ее муж, нарком, обещал, что «сейчас же вышлет за мной машину... Мне по службе тоже полагалась машина, но муж называл ее "керосинкой на колесах" и всячески от нее оберегал»[58].

Личные автомобили были редкостью, но все же встречались. В 1937 г., когда правительство попыталось ограничить число владельцев автомобилей, в Москве насчитывалось как минимум 400 личных машин. Иногда автомобили давали в качестве призов и премий выдающимся ученым, передовым руководителям, стахановцам и т.п. Какие еще существовали пути их легального приобретения, неясно. Что же касается ремонта, технического обслуживания, запчастей — все это можно было получить только в гараже какого-нибудь учреждения (а частным лицам, как подчеркивалось в правительственном постановлении 1937 г., закон этого не позволял). Однако, невзирая на трудности, сопряженные с владением автомобилем, должностные лица вовсю использовали свои связи, чтобы получать изготовленные на заказ машины прямо с завода. Говорят, иностранные марки, приобретаемые в экспериментальных целях, как правило, исчезали из цехов, оказываясь в руках разных чиновников, так или иначе связанных с автомобильной промышленностью[59].

Денежный оклад в советском обществе всегда играл для статуса и благосостояния его членов гораздо меньшую роль, чем приоритетный доступ к товарам и услугам. Тем не менее, привилегии правящего класса отражались и в официальных ставках заработной платы. До 1934 г. существовал «партмаксимум» на зарплату коммунистам. После его отмены Политбюро санкционировало ряд повышений заработной платы партийным и комсомольским работникам, доведя, например, к октябрю 1938 г. оклад секретарей обкомов до 2000 руб. в месяц. Согласно одному сообщению, в тот же период настолько резко повысились оклады служащих НКВД, что они превзошли в этом отношении всех прочих должностных лиц одинакового с ними уровня, в том числе и партийных работников. В 1938 г. правительство установило для «особо ценных специалистов», работающих в различных государственных органах, «персональные оклады» в размере до 1,5 основного оклада[60].

Деятели культуры, объединенные в союзы, — писатели, композиторы, архитекторы, художники — пользовались редкостной привилегией: для них существовали специальные фонды, оказывавшие материальную помощь членам союзов. Эти фонды помогали получить жилье, платили командировочные, пособия по болез-

ни и нетрудоспособности, давали путевки в санатории и дома отдыха и даже ссуды. Первым (в июне 1934 г.) был создан фонд Союза писателей — Литфонд, вслед за ним (в октябре 1934 г.) — фонд архитекторов. В 1939 и 1940 гг. появились соответственно фонды музыкантов и художников[61].

Привилегии стахановцев

Выражение: «Стахановцы пользовались привилегиями» — почти тавтология. Такова и была функция стахановцев как избранных представителей простого народа — служить наглядным примером людей, пользующихся привилегиями. Они получали тот же самый набор благ, что и политическая и культурная элита (дополнительные пайки, жилье, специальные дома отдыха, первоочередной доступ к товарам и даже автомобили)[62]. Вдобавок стахановцев часто непосредственно премировали разными потребительскими товарами, от швейных машинок и отрезов ткани до патефонов и автомобилей. Важной частью ритуала съездов стахановцев, особенно стахановцев-крестьян, было оглашение счастливыми ударниками списка полученных ими в качестве премии товаров:

«Получила в премию кровать, патефон и другие необходимые культурные предметы...

Все, что на мне надето, я получила в премию за хорошую работу в колхозе. Помимо платья и обуви я получила швейную машину в Нальчике...

За уборочную я премирована шелковым платьем стоимостью в 250 руб.»[63].

Стахановцы-рабочие не видели необходимости объявлять во всеуслышание о своих премиях, зато это всегда делали газеты, печатавшие о них статьи:

«Алексей Тищенко... приехал с женой Зоей в Магнитогорск в 1933 г., и все их пожитки умещались в одном самодельном чемоданчике. К 1936 г. супруги обзавелись мебелью, в том числе тахтой и гардеробом, и одеждой, включая два пальто, несколько платьев, костюмы, обувь... Его премировали охотничьим ружьем, патефоном, деньгами и мотоциклом»[64].

Одна ленинградская швея-стахановка, по словам газет, получила часы, вазу, будильник, скатерть, электрический самовар, утюг, патефон, пластинки, труды Ленина и Сталина и еще 122 книги. А вот как описывалась пара знаменитых стахановцев, явившихся на новогодний бал 1936 г. в одежде, полученной в качестве премии: «Он был одет в черный бостоновый костюм, плотно облегавший его стройную фигуру, она — в крепдешиновое платье и черные лаковые туфли, отделанные белой лайкой»[65].

Назначение подобных материальных вознаграждений состояло не только в том, чтобы сделать стахановцев богаче и счастливее, но и в том, чтобы сделать их культурнее. Часто культурная со-

ставляющая была неотъемлемым свойством вручаемого предмета. «Я могу вам сообщить, что я теперь не живу в старой глинобитной избе, а я получила в премию дом европейского типа. *Я культурно живу...*» — рассказывала на съезде стахановка-таджичка. Кровати, патефоны, швейные машинки, часы, радиоприемники — все эти товары призваны были помочь своим обладателям преодолеть «азиатскую» отсталость и приобщиться к современности и культуре «европейского типа»[66].

В других случаях как бы молчаливо подразумевалась своего рода сделка: взамен предоставляемых товаров и услуг стахановцы обязывались стать более образованными и культурными. Подобную ситуацию наглядно иллюстрирует отзыв некоего профсоюзного руководителя о стахановце с Горьковского автозавода Александре Бусыгине и его жене. С одной стороны, руководитель перечисляет все материальные привилегии, предоставленные Бусыгину: он получил новую квартиру, хлеб ему стали доставлять на дом, после того как его жена пожаловалась на очереди в хлебном ларьке, и т.д. С другой стороны — подчеркивает принятое Бусыгиными обязательство повысить свой культурный уровень, как того требует их новый статус передовиков. В особенности много предстоит сделать для этого неграмотной жене Бусыгина. «К жене Бусыгина прикрепили учителя, а ей нужно сейчас из детских яслей прикрепить опытного детского врача, чтобы он научил ее, как культурно воспитывать ребенка, и тогда у ней хватит времени для учебы»[67].

Что думали о привилегиях в СССР

Кажется, никто из тех, кто в 1930-е гг. пользовался в Советском Союзе привилегиями, не считал себя представителем привилегированного высшего класса. Молодые администраторы, выдвинувшиеся из рядов рабочего класса, были убеждены, что в душе остаются пролетариями. Старая интеллигенция, при старом режиме постоянно отвергавшая идею, будто она представляет собой элиту, и теперь продолжала в том же духе: после Культурной Революции в сознании этой группы настолько прочно укоренилась мысль об особых гонениях на нее со стороны государства, что признать свое привилегированное положение она никак не могла. Эмигрант-социалист пришел к выводу, что всю интеллигенцию в СССР покупают[68], но сами представители советской интеллигенции никогда не делали подобных обобщений, хотя нередко обвиняли отдельных своих собратьев в том, что они продались режиму.

Коммунистов с хорошей памятью и чуткой совестью привилегии порой смущали. В 1920-е гг. в коммунистических кругах тревожились по поводу «перерождения» партии, стоящей у власти, и потери ею революционного духа. Троцкий в эмиграции развил эту мысль, написав в своей книге «Преданная революция», что в

СССР зарождается новый привилегированный класс. Его критические высказывания, наверное, задели бы чувствительную струнку в душе коммунистов старой гвардии, если бы они прочли эту книгу, чего им, разумеется, не довелось сделать. Для партии в целом, однако, данный вопрос был менее болезненным, чем можно было бы ожидать. Многие коммунисты явно считали, что нуждаются в особых условиях жизни и заслуживают их.

Среди советских коммунистов 1930-х гг. было распространено, пользуясь словами Пьера Бурдье, «искаженное восприятие» (misrecognition) привилегий[69]. Такое бывает в тех случаях, когда некая группа, совершая нечто сомнительное или постыдное, не только дает своим действиям другое название, но и мысленно подводит под них новую базу. Мемуары жены высокопоставленного комсомольского функционера, написанные полвека спустя, дают представление о том, как работал механизм искаженного восприятия привилегий в СССР:

«Мы пользовались, как сейчас говорят, привилегиями. Были спецзаказы, которые выдавались на ул. Кирова, где теперь книжный магазин. Мы были оторваны от чаяний народа, и нам казалось, что так и надо. А потом, как я рассуждала: "Васильковский [муж], ответственный человек, работает много, часто допоздна, себя не жалеет, прославляет Родину". Конечно, на работу за ним машина приезжала. Жили мы на Сретенке, в доме для иностранных специалистов. Большие комнаты, библиотека, мебель, которую просто дали со склада. Своего — ничего, все казенное... Гришка получал партмаксимум, по-моему, 1200 рублей... Я получала 560 рублей. Чтоб мы жили очень шикарно — не скажу»[70].

Тот факт, что жизненные блага — машина, квартира, дача — были не своими, а казенными, играл важную роль, помогая коммунистической номенклатуре избегать отождествления себя с новым дворянством или правящим классом. Совсем напротив, у них же нет ничего своего! Даже мебель казенная, не подобранная самими хозяевами, а просто выданная со склада, на каждом предмете, как вспоминает Е.Боннэр, прибита «двумя маленькими гвоздиками золотая овальная, как яичко, пластиночка с номером». Представителям элиты, не имеющим личной собственности, легко давалось равнодушие к материальной стороне жизни. Как саркастически говорится в одной статье, недоброжелательно описывающей роскошь, царившую на даче у членов казанского руководства, «завтраки, обеды, ужины, закуски и выпивка, постельное белье — все отпускалось бесплатно; гостеприимные хозяева, добрые за счет государства, были лишены каких бы то ни было материальных расчетов»[71].

Луиса Фишера, американского корреспондента, симпатизировавшего Советскому Союзу, тревожили признаки появления привилегий. «Может быть, фактически рождается новый класс», — с беспокойством писал он в 1935 г. Но затем вспомнил излюбленный в СССР довод, что привилегии — временное явление, шаг по пути к всеобщему обогащению:

«Недавнее улучшение снабжения товарами и расширение льгот придали... особое значение привилегиям... Но дальнейший прогресс в этой области практически перечеркнет многие привилегии: когда жилья будет достаточно, получение квартиры перестанет быть привилегией. Привилегии — результат дефицита. *В то же время они знаменуют начало конца дефицита и, тем самым, начало собственного конца*»[72].

Советский писатель Павел Нилин, говоря о недавно появившемся у рабочих вкусе к хорошим вещам, задается вопросом, можно ли их назвать роскошью. Ответ следует отрицательный. Роскошь, как «авторитетно разъясняет» Большая советская энциклопедия, понятие относительное. «С ростом производительных сил предметы роскоши могут стать предметами необходимости» — именно это и происходит в Советском Союзе[73].

Сталин внес свою лепту в создание искаженного восприятия, употребляя слово «интеллигенция» по отношению к советской элите в целом и тем самым наделяя коммунистических чиновников таким же культурным превосходством, каким обладали академики и писатели. Объединение правящей и культурной элит в одно понятие было не просто словесным жонглированием, в нем выражалась важная черта умонастроений, царящих в СССР в 1930-е гг. Социальная иерархия превращалась в *культурную*. Таким образом, советская интеллигенция (в широком понимании Сталина) получала привилегии не в качестве правящего класса или элитарной группы, а потому, что она являлась самой культурной, передовой группой в отсталом обществе. Она пользовалась привилегиями в качестве культурного авангарда — так же как и стахановцы, чье приобщение к привилегиям демонстрировало, что последние не обусловливаются элитарным статусом. Рабочие и крестьяне, пополнившие ряды интеллигенции в результате пролетарского выдвижения, представляли еще одну грань образа авангарда, ибо они, подобно стахановцам, являлись передовым отрядом на пути масс к культуре. «Мы же рабочие, — говорит жена директора в одном романе эпохи позднего сталинизма, напрочь игнорируя и нынешний род занятий своего супруга, и буржуазный образ их жизни, которым только что хвасталась, — у нас с государством одна дорога. Оно было бедное, и мы были бедные, оно богаче стало, и мы приободрились»[74].

Разумеется, подобные доводы убеждали не всех. Вне привилегированных кругов искаженное восприятие было не слишком распространено, и народ всюду роптал по поводу привилегий. «Коммунисты в Москве живут как бары, ходят в соболях и с тростями в серебряной оправе». «Кто хорошо живет? Только ответработники да спекулянты». В некоторых критических высказываниях, о которых сообщали органы внутренних дел, содержалась мысль о возникновении нового привилегированного класса. Так, например, в Наркомате земледелия вызвала возмущение установка в столо-

вой отдельных столов для получающих дополнительные пайки. Согласно рапорту НКВД, люди говорили: «Вот цель уничтожения уравниловки. Создать классы: коммунистов (или прежних дворян) и нас, смертных»[75].

Во время Большого Террора, как мы увидим в гл. 8, режим, эксплуатируя народную нелюбовь к привилегиям, изображал опальных коммунистических лидеров кровопийцами, злоупотребляющими властью и развращенными хорошей жизнью. В подобных обвинениях можно было бы усмотреть одно лишь циничное вранье, однако существуют свидетельства обратного. В.Молотов, ближайший соратник Сталина в 1930-е гг., судя по его позднейшим воспоминаниям, действительно считал, что многих высокопоставленных коммунистов, ставших жертвами террора, разложила власть и развратили привилегии. Неопубликованная резолюция Политбюро 1938 г. о злоупотреблении привилегиями показывает, что таково было не только его личное, но и коллективное мнение. Некоторые опальные партийные руководители, отмечалось в резолюции, «понастроили себе грандиозные дачи-дворцы... где они роскошествовали и транжирили народные деньги, демонстрируя этим свое полное бытовое разложение и перерождение». Более того, продолжала резолюция, «желание иметь такие дачи-дворцы все еще живо, и даже растет в некоторых кругах» партийно-правительственного руководства. Борясь с этой тенденцией, Политбюро распорядилось, чтобы дачи имели не больше семи-восьми комнат, и приказало конфисковать дачи, превышающие норму, и превращать их в правительственные дома отдыха[76].

Привилегии стахановцев часто вызывали сильное возмущение у остальных рабочих. Стахановцев считали людьми, которые «наживаются за счет других рабочих» и «отбирают кусок хлеба у трудящихся женщин»[77]. Иногда их избивали, портили им станки.

«На "Красной Заре" 17 октября во время беседы о Стахановском движении среди работниц мотального отдела — работница Павлова подала заявление о переходе с 12 бобин на 16. После перерыва работница Смирнова повесила на машину Павловой грязную тряпку и сказала: "Вот тебе премия за твою активность в переходе на уплотненную работу!"»

Власти любили объяснять антистахановские выпады «отсталостью», но случай со Смирновой путал все карты, поскольку она не была новичком из деревни:

«Смирнова — старая производственница, чистая пролетарка. Фабком ведет сейчас работу, чтобы выяснить, кто же фактически руководил Смирновой и что вызвало ее на такое выступление»[78].

ЗНАКИ СТАТУСА

В 1934 г. одна подмосковная шахта решила построить для своих лучших рабочих фантастическое общежитие. Как сообщал

журнал «Наши достижения», там должны были лежать восточные ковры и висеть люстры. А самое поразительное — предполагалось поставить у входа в общежитие привратника, одетого в форму с золотым шитьем[79].

Было в форменной одежде что-то глубоко притягательное и для советского руководства, и для простых граждан. В этом отношении середина 1930-х гг. стала началом новой эпохи. Революция сперва отменила все звания, ранги и форменную одежду, объявив их совершенно необязательными и даже нелепыми знаками статуса, типичными для самодержавия. Эполеты, знаки различия, даже сами военные звания почти на два десятилетия были изгнаны из Красной Армии: офицеры подразделялись просто на «старших командиров» и «младших командиров». Исчезла студенческая униформа. Гражданскую табель о рангах отменили, а вместе с ней и форму, которую носили чиновники различных министерств. В 1920-е гг. кое-где еще можно было увидеть прежнюю инженерную форму, в том числе «фуражку с профессиональной эмблемой: молоточком и гаечным ключом», но во время Культурной Революции от нее торжественно отреклись. Один ленинградец вспоминал, как по улицам города носили «горящее чучело, одетое в форму», а германский корреспондент сообщал из Москвы, что «вечером шумная демонстрация сожгла фуражку техника, знаменуя ниспровержение "касты инженеров"»[80].

В середине 1930-х гг. все резко переменилось. Чины, звания и форменная одежда были восстановлены и зачастую сильно напоминали прежние, времен царизма. В 1934 г. правительственная комиссия рекомендовала в придачу к железнодорожникам и милиционерам одеть в особую форму служащих по ведомству гражданской авиации, полярных исследований, лесному ведомству, руководящий состав на водном транспорте и рыболовных судах. Форма должна была носить знаки различия в виде полукружий, кружков, пятиугольников и звездочек и состоять из шинели и френча с портупеей. У руководящего состава (в ранге, соответствующем офицерскому) к портупее прикреплялся один погон[81].

Крутой поворот середины тридцатых объясняли общим процессом «обуржуазивания» сталинского режима и отказа от революционных идеалов[82]. Может быть, это и верно, однако следует помнить, что современники событий часто видят их иначе, чем последующие поколения. Коммунисты, выдвинувшиеся из низов, в особенности склонны были считать введение знаков различия, сделанных по образцу регалий старого режима, просто еще одним доказательством того факта, что революция окончательно восторжествовала: теперь им досталось то, что когда-то было у прежних начальников. Очевидно, подмосковные шахтеры то же самое чувствовали по отношению к своему внушительному швейцару, чья униформа совершенно явно была скопирована со старорежимной ливреи и именно по этой причине приносила им глубокое удовлетворение.

Следует, однако, отметить, что притягательность форменной одежды не была связана исключительно с ее функцией обозначения того или иного статуса. Возвращение во второй половине десятилетия школьной формы — мера весьма популярная — не имело к социальному статусу никакого отношения, поскольку все дети учились в одинаковых государственных школах и единственное различие, которое демонстрировала форма, было различие между мальчиками и девочками. Однако, как сообщали «Известия», вопрос о школьной форме дебатировался «почти в каждой семье». Государственная комиссия предложила для старшеклассниц платья «цвета электрик», но у многих были другие идеи на этот счет. С энтузиазмом обсуждались сравнительные достоинства фуражек и беретов, длинных брюк и «спортивных брюк-гольф». Некоторым идея о введении школьной формы нравилась тем, что она *уменьшала* социальное неравенство в школе. Форма ассоциировалась с порядком и благопристойностью, с воспитанием чувства ответственности и гордости за свой коллектив[84].

Так или иначе, новый курс середины 1930-х гг. знаменовал начало процесса восстановления званий и форменной одежды, преобразившего внешний облик советских вооруженных сил и гражданских служащих. Первой стала Красная Армия, где звания майора, полковника и маршала были введены вновь в 1935 г. Пятерым военачальникам, в том числе наркому обороны К.Е.Ворошилову и М.Н.Тухачевскому, немедленно присвоили звание маршала[84]. В то же время появилась и новая форма, с эполетами и знаками различия, наводившими на воспоминания о царской армии. Коммунист, присутствовавший при первой публичной демонстрации новой формы во время ноябрьского парада на Красной площади, записал в своем дневнике:

«Принимал парад Ворошилов на великолепном коне в новой маршальской форме. На мавзолее вместе с членами Политбюро стояли первые пять маршалов... Войска тоже в новой форме. У всех введены погоны, их не было 18 лет. У низшего комсостава: ефрейторов, сержантов, старшин опять введены лычки-нашивки, у офицеров — золотые погоны»[85].

Хотя Советский Союз не зашел так далеко, как старый режим, при котором каждый гражданский служащий имел свой чин и форму, указывающую на принадлежность к тому или иному ведомству, он все же сделал немало шагов в этом направлении. НКВД обзавелся своей чиновной иерархией со званиями военного типа, от сержанта и младшего лейтенанта до Генерального комиссара государственной безопасности; его работники носили знаки различия и форму с синими брюками «такого же цвета, как у жандармов в царской России», по словам Роберта Такера. Во время войны впервые звания военного типа были введены в прокуратуре. В тот же период оделись в форму советские дипломаты[86].

Наука — одна из немногих областей, в которых ни революция, ни даже Культурная Революция конца 1920-х гг. не разрушили традиционную иерархию. На вершине пирамиды стояли члены Академии наук, всегда носившие звание «академиков», за ними следовали члены-корреспонденты. Статус академика присваивался не по назначению властей, а в результате выборов, проводимых среди действительных членов Академии, эта традиция пережила все наскоки коммунистических воителей. Культурная Революция, с особенной тяжестью обрушившаяся на университеты, временно покончила с традиционной иерархией академических степеней и званий, но законами 1932 и 1937 гг. они были восстановлены[87].

Сфера культуры в 1930-е гг. обзавелась целой кучей новых званий и почестей. Данное явление имело довольно мало отношения к традициям царских времен, оно, скорее, отражало претензии советской власти на обладание высокой культурой и начавшееся незадолго перед тем сближение ее со старой интеллигенцией. В середине 1920-х гг. было введено звание «заслуженного артиста (деятеля искусств, деятеля науки)». Несколько лет спустя добавился более высокий титул «народного артиста РСФСР (или УССР, или УзССР)», но оба титула тогда еще даровались весьма скупо. Только в середине 1930-х гг., после учреждения еще более высокого звания «народного артиста Советского Союза», менее высокие стали раздавать щедрой рукой[88].

В последние годы десятилетия режим становился все щедрее (чтобы не сказать — расточительнее) в присуждении титулов и почетных наград заслуженным представителям артистического, педагогического и научного сообществ. После фестиваля узбекской культуры, прошедшего в Москве в 1937 г., тринадцать узбекских музыкантов и артистов получили орден Трудового Красного Знамени, и двадцать пять — орден «Знак Почета». В начале 1939 г. Советское правительство только одним указом наградило орденами 172 писателей. Месяц спустя московская киностудия «Мосфильм» получила орден Ленина (который присваивался как отдельным лицам, так и организациям), звания и награды разной степени достались 139 работникам «Мосфильма», участвовавшим в создании кинофильмов «Александр Невский», «Волга-Волга», «Чапаев» и других нашумевших мосфильмовских картин[89].

Новой ступенькой лестницы почетных наград в сфере культуры стала Сталинская премия, учрежденная в 1939 г. Она присваивалась за выдающиеся достижения в области искусства, литературы и науки. Согласно первоначальной формуле, должно было присуждаться 92 премии ежегодно, в придачу к золотой медали выдавалась денежная сумма от 25 до 100 тыс. руб. Звание «лауреат Сталинской премии», учрежденное правительственным указом от 26 марта 1941 г., произносилось с куда большим благоговением, нежели «заслуженный деятель науки» или «народный ар-

тист». Это был советский эквивалент звания Нобелевского лауреата[90].

Интеллигенция отнюдь не обладала монополией на ордена и звания. Орден Ленина, орден Красного Знамени, такие звания, как «Герой Труда», даровались весьма широкому кругу лиц, в том числе заслуженным «простым людям» вроде стахановцев или рабочих и крестьянских делегатов съездов Верховного Совета. Эти награды имели большой общественный вес: на всех публичных мероприятиях об их обладателях обязательно говорили с присовокуплением титула, как об академиках и профессорах («партию Татьяны исполняет заслуженная артистка РСФСР Алексеева»). Имели они, кроме того, и немалую практическую ценность. Герои Труда — имевшие по меньшей мере 35-летний стаж работы в промышленности, науке, правительственных органах или государственных учреждениях — получали пенсию в размере трех четвертей полного оклада. За ордена полагалась небольшая ежемесячная надбавка — 25 руб. за орден Ленина, 10 руб. за «Знак Почета» — плюс освобождение от некоторых налогов и снижение квартирной платы на 10—50%. Орденоносцы и лица, имеющие звания «народного артиста», «заслуженного артиста» и т.п., тоже имели право на особую пенсию. В обществе, где право первого доступа решало все, обладатели званий и орденов пользовались приоритетом при получении железнодорожных билетов, комнат в домах отдыха и массы других вещей[91].

ПАТРОНЫ И КЛИЕНТЫ

«Полезно иметь тестя — военного командира или влиятельного коммуниста, тещу — сестру высокопоставленного сановника» (92).

При всей внешней бюрократизации жизни в СССР, многие дела там улаживались на личной основе. Это в равной мере относится к государственным учреждениям, про которые шутили, что единственный способ увидеть важного чиновника — сказать, будто у вас к нему личное дело[93]; к сфере снабжения, где получить нужный товар легче всего было с помощью личных связей, по блату; даже к привилегиям, ибо таких жизненных благ, как дача или квартира в министерском доме, всегда крайне не хватало, и одной только принадлежности к группе избранных было недостаточно, чтобы завоевать желанный приз. Чтобы получить привилегии, нужен был контакт с кем-то выше рангом; короче, нужен был патрон.

Отношения покровительства пронизывали все советское общество. Не всем выпадало счастье иметь покровителей, но все так или иначе сталкивались с этим явлением, хотя бы как проигравшие в соревновании с человеком, имеющим «протекцию». О покровительстве, как и о блате, нередко говорили эвфемизмами, делая упор на дружеские отношения между клиентом и патроном. Для описания их взаимодействия друг с другом часто употреблялись глаголы «помогать», «поддерживать», «выручать». В письменных обращениях к патрону у него просили «совета» и «помощи»[94].

Для простого человека, не имеющего особых связей, наиболее вероятным кандидатом в патроны являлся его начальник или секретарь местной парторганизации. Колхознику мог покровительствовать (или не покровительствовать) председатель, как в примере, приведенном одним из респондентов Гарвардского проекта: «У бухгалтера нашего колхоза... были очень хорошие отношения с председателем нашего колхоза. У него была протекция... Если бухгалтер ремонтировал дом, ему по протекции председателя доставались лучшие материалы». Журналисту мог покровительствовать редактор газеты, рабочему — директор завода, партийный секретарь или «приятель в отделе кадров». Для того чтобы приобрести славу стахановца, патрон (как правило, секретарь местной парторганизации) был совершенно необходим[95].

Интеллигенция — точнее, «творческая интеллигенция»: писатели, артисты, ученые — в том, что касалось покровительства, находилась на особом положении. Во-первых, ее патроны находились исключительно высоко, часто на уровне Политбюро. Наверное, не было ни одного члена Политбюро, который не имел бы своей клиентелы среди интеллигенции, поскольку без нее он не мог претендовать на репутацию культурного человека, столь дорогую сердцу членов Политбюро, так же как и более простых смертных. Во-вторых, сама система привилегий для интеллигенции, описанная выше в этой главе, требовала сети покровителей, чтобы раздавать эти привилегии. И наконец, нужно сказать, что представители творческой интеллигенции, имеющей за плечами многовековой опыт взаимоотношений с царственными и аристократическими покровителями, в качестве клиентов проявляли такое рвение и нюх, как практически никакая другая социальная группа.

Надежда Мандельштам, жена поэта Осипа Мандельштама, описывала, как ей впервые довелось четко осознать существование системы покровительства:

«В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож, куда мы попали по недосмотру Лакобы, со мной разговорилась жена Ежова: "К нам ходит Пильняк, — сказала она. — А к кому ходите вы?" Я с негодованием передала этот разговор О.М., но он успокоил меня: "Все "ходят". Видно, иначе нельзя. И мы "ходим". К Николаю Ивановичу"»[96].

«Николай Иванович» — это Бухарин, партийная звезда, клонившаяся тогда к закату. Ежов был звездой восходящей — заведующий отделом кадров ЦК, через несколько лет печально прославившийся как глава органов внутренних дел времен Большого Террора. Ежовы, как явствует из замечания его жены, активно

искали друзей (клиентов) среди интеллигенции, которые делали бы им честь. Писатель Борис Пильняк был не единственной их добычей. Михаил Кольцов, знаменитый публицист и редактор журналов «Крокодил» и «Огонек», тоже попал в орбиту Ежовых во второй половине 1930-х гг. Жена Ежова Евгения, сама журналистка, имела множество друзей в мире культуры, а писатель Исаак Бабель был не только ее другом, но и бывшим любовником[97].

Должно быть, многие представители интеллигенции узнали бы отражение собственных грез в нарисованной М.Булгаковым воображаемой картине того, как сам Сталин берет его под свое покровительство:

«Мотоциклетка — дззз!!! И уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода.

Миша останавливается в дверях, отвешивает поклон.

СТАЛИН. Что это такое? Почему босой?

БУЛГАКОВ (разводя горестно руками). Да что уж... нет у меня сапог...

СТАЛИН. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему!»[98]

В реальной жизни личные встречи клиентов из интеллигенции со Сталиным или другими высокопоставленными патронами случались сравнительно редко. По обычной схеме патрона умоляли о помощи в письме (всегда передаваемом с оказией лично в руки) и получали ответ (если повезло и патрон был в состоянии помочь) в виде телефонного звонка[99].

Политические патроны могли помочь клиентам из интеллигенции разными путями. Они могли посодействовать им в получении дефицитных благ, например квартир или мест в элитных домах отдыха. Могли защитить клиента, впавшего в немилость (хотя это, конечно, не всегда было возможно: в эпоху Большого Террора подобная защита стала весьма трудным и опасным делом). Наконец, они могли вмешиваться в профессиональные споры, принимая сторону своего клиента. Именно об этой услуге часто просили клиенты, что влекло за собой гораздо более широкое вмешательство «государства» и «партии» в культурные дела, чем могло бы быть в другом случае.

Покровительство являлось одним из важнейших механизмов распределения дефицитных благ. Архив В.М.Молотова, главы советского правительства, завален просьбами о таких благах, особенно о жилье. Писатели, музыканты, ученые, артисты и художники — все обращались к Молотову, называя его в своих письмах по имени и отчеству и переводя свои притязания на личную почву, как и подобало клиенту, пишущему патрону. Молодой писатель Павел Нилин, мысли которого об относительной природе роскоши уже цитировались в этой главе, был одним из тех, чье обращение к Молотову оказалось успешным (он получил одно-

комнатную квартиру площадью 18 квадратных метров — вдвое больше старой). Писатель А.Н.Толстой, легендарный владелец «неисчерпаемого счета в банке», получил дачу не то в восемь, не то в десять комнат, правда, просил одиннадцать[100].

Просьбы защитить от клеветы и нападок тоже часто встречаются в почте Молотова. Беспартийный ученый молил о защите от травли со стороны влиятельного коллеги-коммуниста; историк просил пресечь клеветнические слухи, будто он дружил с троцкистом; поэт жаловался на разгромную рецензию на свое произведение в «Правде»[101]. Другие руководители тоже получали подобные просьбы от своих клиентов. Актриса, у которой муж попал в беду, обратилась за помощью к Я.Агранову, занимавшему высокий пост в НКВД. Композитор Дмитрий Шостакович, оказавшись в немилости из-за своей оперы «Леди Макбет Мценского уезда», естественно, попросил о заступничестве своего друга и патрона маршала Тухачевского[102].

Клиенты часто просили патронов вмешаться в профессиональные споры. Война Т.Д.Лысенко с генетиками, например, вызвала множество подобных обращений с обеих сторон. Физика тоже являлась темой жалоб и контржалоб. Так, например, группа философов-коммунистов стремилась заручиться поддержкой Молотова в полемической атаке на «идеализм» в физике, предпринятой ими на страницах своего журнала, а П.Л.Капица в то же время писал Сталину и Молотову письма в защиту «идеалистов», называя статью в журнале «безграмотной с научной точки зрения» и критикуя мнение, что «если... в физике ты не материалист... то ты враг народа». Художники, писатели и артисты в равной мере были склонны привлекать своих патронов к разрешению профессиональных разногласий[103].

Некоторые ведущие деятели культуры и науки, как, например, П.Л.Капица и С.И.Вавилов в области естественных наук, в своих отношениях с высокопоставленными патронами выступали представителями целой группы клиентов. Они брали на себя функцию посредников в силу профессиональных заслуг и положения (президенты Академии наук, секретари профессиональных союзов, директора научно-исследовательских институтов наделялись этой функцией автоматически) и прочных связей с различными государственными лидерами. Порой посредничество имело целью представление профессиональных интересов той или иной группы, например, когда секретарь Союза писателей А.А.Фадеев в письме Молотову выражал общее недовольство литературного сообщества тем, что нет Сталинской премии по литературе (этот недочет быстро исправили), и поднимал другие вопросы профессионального характера, в том числе о гонорарах и налогообложении писательских доходов. Иногда оно было связано с защитой подчиненных, например, когда начальник конструкторского бюро писал председателю Ленисполкома, заступаясь за инженеров, которым грозила высылка как «социально чуждым»[104].

Многие «посреднические» действия вызывались арестами среди профессионального сообщества, представляемого посредником. Капица, к примеру, дважды обращался к Сталину по поводу ареста и заключения физика Л.Д.Ландау. Сергей Вавилов в 1944 г. писал Берии, пытаясь добиться освобождения из тюрьмы молодого астронома. М.Горький прославился своим заступничеством за представителей петроградской интеллигенции во время гражданской войны и в 1930-е гг. продолжал свое дело. Режиссер Вс.Мейерхольд нередко обращался к своим патронам Енукидзе и Ягоде, заступаясь за арестованных друзей и знакомых из театральной среды[105].

Ю.Елагин рассказывает в своих мемуарах историю эпической «битвы патронов» между двумя театральными деятелями с хорошими связями — администратором Театра им. Вахтангова Л.П.Руслановым и главным режиссером Московского театра Красной Армии А.Д.Поповым. Русланов и Попов жили в одном доме, и свара началась после того, как Попов повесил на свой балкон ящики с цветами, в которых Русланов усмотрел потенциальную опасность для прохожих. Используя свои связи, он добился от начальника районного отдела милиции приказа убрать ящики с балкона; Попов сделал козырной ход, получив у начальника городского отдела милиции разрешение оставить цветы. Русланов отправился к начальнику милиции всего Советского Союза; Попов ответил на это письмом от Ворошилова, приказывавшего прекратить травить его из-за ящиков с цветами. Но Русланов все-таки победил: он дошел до Калинина и получил распоряжение убрать злополучные ящики[106].

Апокрифическая или нет, эта история является прекрасной иллюстрацией того, какие иерархии покровительства мог задействовать упорный, имеющий хорошие связи клиент. У Театра им. Вахтангова, по словам Елагина, в период, предшествующий 1937 г., имелся свой круг патронов среднего уровня, «всегда готовых сделать все возможное для нашего театра», куда входили М.Горький, Енукидзе и Агранов (заместитель начальника ОГПУ). Но существовали и более высокопоставленные лица, например Ворошилов и Молотов, которых можно было призвать на помощь в экстренных случаях[107].

Выгоды для советских клиентов от отношений с патронами очевидны, а какие выгоды доставались патронам? По-видимому, те же самые, что воодушевляли патронов во все века: вера, что покровительство искусствам бросает отблеск славы и на мецената, удовольствие от светских контактов с представителями культурного бомонда, наслаждение лестью, вменявшейся в обязанность клиентам. «Ворошилов любил немножко, так сказать, мецената изображать, покровителя художников и прочее», по словам Молотова, отмечавшего, что Ворошилова связывали с некоторыми из его клиентов, например с художником Александром Герасимовым, настоящие дружеские отношения. И.М.Гронскому, сыну крепостного крестьянина, ставшему главным редактором «Известий» и патроном группы художников-реалистов старой школы, неискреннее восхищение «старых прославленных мастеров живописи» льстило и одновременно приводило его в смущение. Благодарным клиентам были свойственны неумеренные восхваления политиков с подчеркиванием их эрудиции в области культуры. Так, например, писательница Галина Серебрякова, соседка по даче многих представителей политического руководства, писала о члене Политбюро В.В.Куйбышеве, что он «человек многогранный, большой знаток живописи и литературы, обаятельный, необыкновенно простой и скромный в обращении», и особенно вспоминала, какое эстетическое наслаждение он получал, любуясь красивым закатом[108].

Конечно, в положении патрона и клиента таились свои опасности. Клиент восхвалял великодушие своего патрона, — но неискренние восторги в адрес местного руководителя могли спровоцировать обвинение последнего в том, что он насаждает свой «культ личности», а Сталин, как известно, очень болезненно относился к попыткам подчиненных обзавестись собственными приверженцами. Ему не нравилась дружба Ворошилова с Герасимовым и другими художниками; по словам Молотова, он видел опасность в тесных личных контактах политических и культурных кругов, потому что «художники — они-то ротозеи. Они сами невредные, но вокруг них всякой шантрапы полосатой полно. И используют эту связь — с подчиненными Ворошилова, с его домашними». Покровительство Гронского художникам-реалистам, упомянутое выше, доставило ему неприятности. На следующий день после того, как группа «клиентов» торжественно проводила его домой в знак признательности за выступление на собрании художников, ему позвонил Сталин с неожиданным вопросом (в котором Гронский уловил завуалированную угрозу): «Что вчера была за демонстрация?»[109]

Для клиентов тоже существовала опасность. Покровительство Ежова, разумеется, аукнулось впоследствии его клиентам, большинство которых пострадали во время Большого Террора после его падения. Покровительство Бухарина после его объявления правым уклонистом разрушило карьеру целой когорты молодых ученых-коммунистов. Такое случалось и на более скромном уровне. Как выразился один журналист — респондент Гарвардского проекта: «Протекция — дело опасное... Если у тебя есть друг, это хорошо, но если завтра его арестуют — это будет плохо. Потому что, если друг арестован, у тебя тоже начнутся неприятности. Органы будут интересоваться не только им, но и его друзьями. Когда арестовали Ягоду, взяли и тех, с кем он был связан... Если работаешь в газете и редактор тебе протежирует — это хорошо, но только не надолго»[110].

Покровительство существует во всех обществах. Отличительная черта покровительства в СССР в сталинскую эпоху — то, что государство являлось монопольным распределителем в условиях

дефицита всех товаров и услуг. Монополия государства означала, что главной функцией советской бюрократии стало *распределение*. Дефицит означал связь доступа к товарам и услугам с приоритетами и привилегиями. Существовали формальные правила, определявшие приоритеты, но с их помощью нельзя было решать конкретные вопросы, поскольку избранная приоритетная группа всегда превышала сумму имеющихся благ. И тогда в дело вступало покровительство (и его ближайший родственник блат). Окончательное решение было за бюрократами — но принимали они его не на формально-законных, а на личных основаниях. Представители интеллигенции, как правило, больше полагались на покровительство, чем на блат, поскольку имели более тесные личные связи с коммунистическим высшим обществом, чем большинство остальных граждан. Привилегированный статус интеллигенции как группы в целом не наделял привилегиями автоматически каждого ее отдельного представителя. Отдельные представители интеллигенции реализовали свои притязания на привилегии тем же способом, что и желающие стать стахановцами, — подыскивая патрона-спонсора.

5. УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

Мы уже видели, какую власть имел миф о «перековке» — о том, что будто бы в советском обществе каждый человек, независимо от совершенных им преступлений и недостатков происхождения, поддается переделке. Однако в действительности все было иначе. Если пятно преступного прошлого в некоторых случаях еще можно было смыть, пятна другого рода оставались практически навечно. Клеймо «плохого» социального происхождения упорно не желало исчезать, даже когда власть сама пыталась в середине 1930-х гг. упразднить его. Клеймо сомнительного политического прошлого — принадлежности к другим политическим партиям до революции, к оппозициям внутри большевистской партии, дурной славы «врага народа» во время Большого Террора — тоже было неустранимо.

В советском обществе было много изгоев. В 1920-е гг. к ним относились священники и бывшие священники, представители дореволюционного дворянства, бывшие капиталисты и нэпманы, кулаки и «раскулаченные». Большинство этих людей заклеймили официально, лишив права голоса. В 1930-е гг. ряды изгоев пополнил быстро растущий контингент административных ссыльных и политических узников. Семьи всех этих людей обычно разделяли их участь. Вместе с кулаками ссылали их жен, детей и престарелых родителей; сыновей и дочерей священников не принимали в вузы; в эпоху Большого Террора существовали специальные лагеря для «жен изменников родины».

Новая советская Конституция 1936 г. провозгласила новую классовую политику, но отнюдь не уничтожила тенденцию искать козлов отпущения, клеймить их и превращать в парий, глубоко укоренившуюся в советском обществе со времен революции. Большой Террор, последовавший фактически сразу за принятием Конституции, сильно расширил круг заклейменных и усилил паническую злобу, с какой другие граждане кидались доносить на них.

От коммунистов, сбившихся с пути и оказавшихся в оппозиции, часто требовали сделать публичное признание и покаяться в совершенных ошибках, но признание их не спасало. Иногда раскаявшимся оппозиционерам разрешали вернуться в партию, но положение их после этого было неустойчиво и по большей части

через несколько лет их снова исключали. Точно так же и нежелательное социальное происхождение невозможно было зачеркнуть заверениями в лояльности и отречением от своего класса или своих родителей. Правда, местное руководство иногда поощряло священников устраивать эффектное зрелище публичного сложения с себя духовного сана. Но клеймо на них все же оставалось, поскольку они редко могли найти себе другое занятие, если не скрывали своего прошлого.

Так как возможность снять клеймо законными или другими общепринятыми способами представлялась столь редко, естественным выходом для человека с темным пятном в биографии было постараться скрыть его. Это значило — создать себе новое социальное лицо — уловка, которая была призвана обмануть других, но которую в конце концов и сам обманщик зачастую начинал принимать совершенно всерьез. Сокрытие социального происхождения было очень распространено, но считалось серьезным преступлением и не сходило с рук вечно. Чем отчаяннее люди пытались утаить порочащие их факты, с тем большим рвением другие граждане стремились их «разоблачить». Разоблачение скрытых врагов вменялось в обязанность каждому коммунисту и комсомольцу. Но коммунисты отнюдь не являлись единственными разоблачителями, а преданность советской власти представляла лишь один из многих возможных мотивов доноса на того или иного человека. Доносы в Советском Союзе служили множеству *личных* целей: если ты доносил на личного врага или нежеланного соседа, что он — тайный троцкист или бывший помещик, скрывающий свое классовое лицо, то вполне мог рассчитывать, что государство заплатит тебе по счетам.

ИЗГОИ

В основе советской системы представительства были советы, революционные органы, от имени которых большевики захватили власть. И в 1917 г., и в своем прежнем воплощении в 1905 г. советы являлись классовым институтом, т.е. представляли не все общество в целом, а только «рабочих», или «рабочих и солдат», или «рабочих и крестьян». Придя к власти, большевики расширили классовую базу советов, включив в нее служащих, домохозяек и другие категории, не допускавшиеся прежде к выборам в советы. Однако советы по-прежнему остались классовым институтом в том отношении, что в них не допускались эксплуататоры и лица, не занимающиеся общественно-полезным трудом, а голоса городского населения имели перевес над голосами сельского[1].

По Конституции РСФСР 1918 г. следующие категории граждан не могли избирать и быть избранными в советы:

— лица, эксплуатирующие наемный труд с целью извлечения прибыли (сюда относились кулаки, городские предприниматели и

кустари) и живущие на нетрудовые доходы (проценты с капитала, прибыль с предприятий, плату за аренду собственности и т.д.);

— частные торговцы и посредники;

— монахи и священнослужители всех религий;

— бывшие служащие и агенты царской полиции, тайной полиции и жандармского корпуса;

— члены бывшей императорской семьи, дома Романовых[2].

Лица, лишенные избирательных прав, составляли ядро более широкой группы под общим названием «чуждые элементы» или «социально-чуждые». В нее входили всевозможные представители бывших привилегированных слоев — дворянства, буржуазии, царского чиновничества и т.д., получивших общее прозвище «бывшие» (как ci-devants эпохи Французской революции), а также другие лица с подозрительными социальными или политическими связями[3]. На деле и сама группа лишенцев была шире и менее четко очерчена, чем оговаривалось в Конституции. Во-первых, сразу последовали дополнения, распространяющие лишение прав на должностных лиц императорского и белых правительств, офицеров белых армий, лиц, бывших при старом режиме помещиками и капиталистами, не говоря уже о тех, «кто не лоялен к советской власти»[4]. Во-вторых, местные советы, составляя списки лишенцев по районам, зачастую толковали закон на свой лад и включали в эти списки любого, кто казался им «классовым врагом»[5].

Само по себе право голоса имело чисто символическое значение, однако в 1920-е гг. была установлена целая система классово-дискриминационного законодательства, направленная на то, чтобы дать как можно более широкие возможности пролетариату и отнять их у буржуазии. При приеме в институты и техникумы практиковался «соцотбор» (т.е. пролетарское выдвижение). Жилищные и налоговые ведомства, комиссии по распределению пайков проводили ту же дискриминационную политику, даже суды должны были следовать принципам «классового правосудия», жестоко карая «социально-чуждых» и оказывая всяческое снисхождение пролетариату. Социально-чуждых не принимали в партию и комсомол, а зачастую и на работу в государственные учреждения. Из всего этого следует, что лишенцы теряли не только право голоса, но и массу других прав и возможностей[6].

В глазах большевистских интеллигентов классовая принадлежность представляла собой сложное понятие, несводимое целиком к классовому происхождению. Однако в партии в целом преобладал «генеалогический» подход. Если твой отец до революции был помещиком или кулаком, ты носил то же клеймо, невзирая на свое социальное положение или политические убеждения. Если ты священник, клеймо переходило и на твоих детей, пусть даже они отреклись от тебя и клянутся в преданности делу революции[7].

Классовая война

В конце 1920-х гг. коммунисты считали, будто им угрожают поднимающие голову классовые враги: прежняя буржуазия, новая буржуазия — нэпманы, — кулаки, даже «буржуазная интеллигенция». Однако, по всем признакам, в действительности дело обстояло совсем наоборот. Это партия пошла в атаку на классовых врагов, совсем как в годы гражданской войны. Бизнес нэпманов прикрыли. Кулаков обвиняли в утаивании зерна, запрещали им вступать в колхозы и, в конце концов, объявили их «ликвидацию как класса», что означало экспроприацию, выселение из дома, а зачастую — ссылку или заключение в лагерь. В то же самое время подверглась нападению и церковь, огромное число священников было арестовано, церквей — закрыто. Интеллигенции тоже приходилось туго: ее травили борцы за Культурную Революцию и в любой момент могли обвинить в нелояльности и даже в измене[8].

Все свидетельствовало о том, что для всех, кто носил клеймо плохого социального происхождения, наступили тяжелые времена. Во время выборов в советы 1929 г., проходивших под девизом классовой войны, избирательных прав было лишено больше людей, чем когда-либо прежде[9]. В 1929 и 1930 гг. в государственных учреждениях прошли чистки с целью удаления лишенцев и других социально-чуждых; этот процесс часто сопровождался унизительным публичным перекрестным допросом вычищаемого. Сочувственно настроенный репортер описывает, как проходил чистку один работник налогового ведомства:

«Маленький, чисто выбритый старичок, получивший воспитание в "добропорядочной" генеральской семье и в царском министерстве финансов: он держится на трибуне с достоинством. 12 лет октябрьской революции дали очень немного этому человеку. Сегодня с трибуны он заявляет о своем понимании чистки: — Если я не нужен, не гожусь, скажите — я уйду. Но зачем же меня пачкать?»[10]

Детей лишенцев исключали из школ; как с горечью записал в своем дневнике писатель М.Пришвин, практиковался даже «классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъясненных лишенцами)». Лишенцам становилось все труднее найти или сохранить работу; карточек после введения карточной системы им не давали, и они вынуждены были покупать продукты по коммерческим ценам. Летом 1929 г. у «нетрудовых элементов» отрезали телефон под тем предлогом, что сеть перегружена. Осенью Моссовет начал выселять «нетрудящихся» из муниципальных квартир, хотя даже в партии некоторые критически настроенные люди считали, что это незаконно[11].

Наступление на классовых врагов, по-видимому, пользовалось более прочной поддержкой на низших партийных уровнях, а не среди высшего руководства. И главу советского правительства А.Рыкова, и других членов Политбюро, вскоре снятых с должности за правый уклон, и официального главу государства М.Калинина мучили серьезные сомнения. А.Енукидзе, еще один государственный руководитель высокого ранга, прославившийся щедрым покровительством по отношению к «бывшим», возмущался, так же как и руководящие работники российских и украинских органов просвещения, в том числе вдова Ленина Надежда Крупская[12].

Но общее партийное мнение было против них. В конфиденциальном письме о бедственном положении священников Калинин жаловался товарищу по Политбюро Серго Орджоникидзе, что местные власти творят «совершенный произвол» над священниками и другими лишенцами и игнорируют их законные права:

«Все усилия местных властей направлены на то, чтобы "раскулачить" служителей церкви наравне с кулаками. Это незаконное "раскулачивание" проводится под маской налогообложения. Служителей церкви стараются обложить всеми возможными налогами и на такие суммы, что они не в состоянии выполнить предъявляемые к ним требования, и тогда все их имущество конфискуют, даже необходимые в хозяйстве предметы, и семью выселяют... Духовенство и членов их семей, независимо от пола, возраста и состояния здоровья, отправляют работать на лесоповал. Порой преследования представителей духовенства буквально превращаются в издевательство. Например, в Барнаульском районе были случаи, когда служителей церкви заставляли чистить свинарники, конюшни, уборные и т.д.»[13]

В записке Сталину, очевидно от Енукидзе, положение лишенцев представлено отчаянным — им часто запрещают работать, не дают карточек, их детей исключают из школы, а в деревне их нередко лишают крыши над головой. В канцелярию Калинина потоком хлынули протесты. Только за первые два месяца 1930 г. от граждан РСФСР было получено 17000 жалоб на необоснованное лишение избирательных прав (за те же месяцы 1926 г. — меньше 500). В большинстве из них основной упор делался не на само лишение прав, а на сопутствующие карательные меры: выселение из квартир, исключение из профсоюзов и учебных заведений, увольнение с работы, обложение специальными налогами, раскулачивание и т.д.[14].

Несмотря на то что Енукидзе и Калинин выступали против лишения людей права на труд, правительство фактически именно так и поступило, распорядившись секретным постановлением в августе 1930 г. не давать лишенцам и другим служащим, потерявшим работу в результате недавних чисток, пособия по безработице и не регистрировать их на бирже труда. «Их следует отправлять на лесозаготовки, торфоразработки, на уборку снега, и только в такие места, где испытывают острую нехватку рабочей силы», — гласило постановление[15].

Наркоматы просвещения России и Украины обнаружили, что местные власти просто-напросто игнорируют их инструкции, запрещающие проводить чистки в школах[16]. Один местный совет

(которому несомненно придала храбрости как активная поддержка со стороны местной парторганизации, так и молчаливая — со стороны ЦК) даже писал в центр о том, насколько целесообразно было исключение 86 студентов, из которых почти половина имела родителей-лишенцев, и разъяснял, почему предложил ослушаться распоряжений правительства РСФСР:

«Все они являются сыновьями крепких потомственных кулаков, и у некоторых родители сосланы на Соловки... Разжигание национализма, процветание различного рода парнографии (sic!), дезорганизация ученической жизни, в подавляющем большинстве случаев исходило от этих кулацких сынков... Все эти 38 человек, при нахождении в школах, скрывали свое социальное положение, фиктивно числились бедняками, середняками, а некоторые даже батраками... между тем, как дети рабочих, бедняков и батраков не могут туда попасть, из-за отсутствия свободных вакантных мест»[17].

Введение декабрьским законом 1932 г. внутренних паспортов навлекло новые несчастья на городских лишенцев и других социально-чуждых. До этого паспорта считались символом старорежимного деспотизма. Но теперь советская власть оказалась в отчаянной ситуации: голод в деревне вызвал массовое бегство в города, грозившее совершенно подорвать карточную систему. Кроме того, сама логика действий режима, например практика ссылки и административной высылки (о чем речь пойдет ниже), казалось, требовала создания паспортной системы, которая ограничила бы передвижение населения. Как во времена царизма, в советских паспортах указывались не только имя, пол, возраст и национальность владельца, но и его социальное положение. Паспортизации сопутствовало введение системы городской прописки, при которой жить в городе имел право только тот, кто был там надлежащим образом прописан[18].

Реально паспорта появились в начале 1933 г. В Москве и Ленинграде, первыми подвергшихся паспортизации, эта операция послужила поводом для чистки всего городского населения. Тех, кто не выдерживал проверку ОГПУ, в первую очередь беглых кулаков и лишенцев, лишали прав на жительство и выгоняли из города. Комиссия Политбюро сделала все возможное, чтобы четко определить, кому не следует выдавать паспорта. Бывшие кулаки и раскулаченные подлежали изгнанию, невзирая на нынешний род занятий. Под удар попала также более широкая группа недавних выходцев из деревни, особенно тех, кто не имел квалификации, постоянного занятия или места жительства, и тех, кто приехал в город «исключительно в целях личного устройства». Священники тоже попали в этот список, кроме тех, кто служил в действующих церквях (число которых сильно уменьшилось после антирелигиозной кампании 1930 г.) или был «на иждивении крупных специалистов» — инженеров, профессоров и т.п. Далее шла общая категория «паразитов»: профессиональные игроки, торговцы наркотиками, содержатели борделей и т.п. Наконец, преступники, осужденные за тяжкие преступления, такие как бандитизм, контрабанда, спекуляция валютой, подлежали высылке наряду с теми, кто осуждался или подвергался административному наказанию за политические преступления[19].

Несмотря на все усилия комиссии, критерии и категории, как всегда, оказались весьма расплывчатыми. Как можно определить, кто из крестьянских иммигрантов прибыл в город «исключительно в целях личного устройства»? Насколько «крупным» должен быть специалист, чтобы спасти от изгнания своего престарелого отца-священника? Дополнительное затруднение представляло то обстоятельство, что лица, родившиеся и постоянно проживающие в Москве и Ленинграде, по идее, имели право на получение паспорта[20], но оставалось неясным, является ли это право безусловным. Следует ли давать паспорт и прописку коренному ленинградцу, оказавшемуся содержателем публичного дома? Как быть с москвичом-священником, церковь которого закрыли во время Культурной Революции? Ничего не говорилось о семьях тех, кто попал в черный список. Следует ли их тоже высылать из города? Если следует, то что понимать под семьей? Наконец, в правилах, установленных комиссией Политбюро, не говорилось прямо, что лишение избирательных прав само по себе может быть основанием для отказа в выдаче паспорта: недосмотр ли это или дело каждого лишенца нужно рассматривать отдельно?

Председатель комиссии Енукидзе предпочитал гораздо более узкие критерии для высылки из города, чем другие члены комиссии, не говоря уже о работниках ОГПУ, отвечавших за проведение паспортизации на местах. Местные должностные лица, как правило, автоматически отказывали в выдаче паспортов лишенцам, членам их семей и вообще всем, в ком интуитивно чувствовали «социально-чуждых». По словам одного из подчиненных Енукидзе, работники ОГПУ, ведавшие паспортизацией, давали своим людям устные инструкции не выдавать паспорта «классовым врагам» и «бывшим», не обращая внимание на распоряжение, гласившее, что одно только социальное происхождение не является основанием для отказа[21].

Не успели паспортные отделы ОГПУ начать работу, как центральные правительственные органы и городские советы оказались засыпаны жалобами тех, кого необоснованно лишили паспортов. Как с неудовольствием сообщали из секретариата Калинина, «не выдаются на практике паспорта трудящимся, многим молодым рабочим, специалистам и служащим, даже комсомольцам и членам ВКП(б) только за то, что они по своему происхождению дети бывших дворян, торговцев, духовенства и т.п.»[22].

26-летнему Михаилу Звереву, помощнику бухгалтера на одной московской фабрике, отказали в выдаче паспорта на том основании, что его отец был священником, хотя младший Зверев с 1929 по 1931 г. служил в Красной Армии и давно не поддерживал кон-

тактов с отцом. Н.Гельд-Фишман отказали на том основании, что ее первый муж был расстрелян в 1930 г. (подробности не уточнялись), хотя она вышла замуж второй раз еще в 1923 г. Пункт о «недавно прибывших» вызывал всевозможные недоразумения. Два брата и сестра Коротковы, бывшие беспризорники, родились в Москве. Государство отправило их в Воронеж учиться на ткачей, потом они работали сначала на воронежской фабрике, а после ее закрытия — на московском текстильном комбинате. Им отказали в выдаче паспортов как недавно приехавшим в Москву. Был еще более нелепый случай: юноше, направленному из Ташкента на учебу в Ленинградскую консерваторию, — одному из сотен студентов, посылаемых в столицу из национальных республик в рамках программ выдвижения национальных кадров, — не выдали паспорт на том основании, что он не ленинградец[23].

Как всегда, практика ходатайств и покровительства приходила на помощь, смягчая на деле суровость закона. Во всех случаях, описанных выше, были поданы письменные и устные ходатайства в секретариат Калинина, и результатом подобных ходатайств нередко становилась отмена первоначального решения. Система покровительства действовала еще эффективнее. Один мемуарист рассказывает, как графу Николаю Шереметеву удалось избежать кары за свое дворянское происхождение. Его жена, актриса Вахтанговского театра, неизменно выручала его из беды, обращаясь к одному из своих могущественных патронов:

«...ОГПУ арестовывало Николая Петровича десять раз. И ни разу не сидел он в тюрьме больше, чем десять дней... Никак не могли советские власти примириться с тем, что живой граф Шереметев ходит на свободе по улицам пролетарской столицы. Но связи Цецилии Львовны были сильнее советских законов».

Эти связи продолжали действовать и в напряженный период паспортизации — хотя молодого чекиста, выдававшего Шереметеву паспорт, так обозлил тот факт, что в верхах защищают классового врага, что он швырнул документ ему под ноги, прошипев: «Бери, бери паспорт, барское отродье»[24].

ССЫЛКА И ВЫСЫЛКА

При царском режиме административная ссылка в отдаленные районы страны была признанной мерой наказания. После революции систематическое ее применение не практиковалось вплоть до конца 1920-х гг., когда высылке подверглись члены левой оппозиции (в том числе сам Троцкий, высланный в Алма-Ату, а через год вообще из Советского Союза), члены неких «контрреволюционных организаций и групп» и бывшие помещики, все еще жившие в своих поместьях[25]. Но все эти операции были ничтожны по своим масштабам по сравнению с массовой ссылкой кулаков, начавшейся вместе с коллективизацией в 1930 г. За 1930—1931 гг.

из сельской местности были высланы почти 400000 семей, или около 2 млн чел. Высылка кулаков производилась еще раз в 1932—1933 гг., правда, в меньших масштабах[26].

Вопрос «Кто такой кулак?» всесторонне обсуждался в печати[27]. Теоретически кулаками являлись зажиточные крестьяне, эксплуатировавшие других крестьян. На практике «эксплуатация» оказывалась весьма зыбким понятием, особенно если крестьяне, которым грозило быть записанными в кулаки, могли прочесть, какие при этом применяются критерии, и принять меры, чтобы не соответствовать им. Помимо этого, с точки зрения бедняка, кулак мог выглядеть благодетелем, источником ссуд и помощи в трудные времена, а вовсе не эксплуататором. Дополнительная сложность заключалась в том, что социально-экономические положение многих крестьянских дворов относительно друг друга изменилось после революции. Семьи, считавшиеся среди местных крестьян по-настоящему кулацкими, после 1917 г. утратили большую часть своего благосостояния, а бывшие некогда бедняцкими — стали процветать благодаря своим связям с советской властью. И все-таки именно первую, а не вторую группу режим стремился лишить каких бы то ни было надежд. Многие сельские активисты считали, что после революции кулаков следует рассматривать не столько как экономическую, сколько как психологическую категорию озлобленных и антисоветски настроенных *бывших* эксплуататоров на селе.

Кампанию раскулачивания инициировал в декабре 1929 г. Сталин, призвавший к «ликвидации кулачества как класса». У крестьян, попавших в разряд кулаков, отбирали землю, скот, инвентарь и выселяли их из домов; многих ОГПУ высылало в отдаленные районы[28]. Формальные критерии редко принимались во внимание. Главное значение имело то, кого местные власти и прибывшие им в помощь активисты-коллективизаторы *считали* кулаком. Часто это были зажиточные крестьяне, особенно принадлежавшие к сельской верхушке и не слишком расположенные к советской власти, но и смутьяны всякого рода тоже входили в группу риска. Любой, кто по каким-либо причинам, был непопулярен в деревне, мог быть заклеймен как кулак. Там, где внутри деревни существовало разделение по национальному или религиозному признаку (например, на русских и украинцев или православных и староверов), одна национальная или религиозная группа могла приклеить ярлык «кулаков» другой.

Даже коммунистов несколько смущало бессистемное расширение понятия «кулак» в ходе раскулачивания. Для обозначения лиц, которые заслуживали той же участи, что и кулаки, но по своему экономическому положению не могли считаться настоящими кулаками, стали использовать понятие «подкулачник». Некий коммунист из глубинки, конфиденциально сообщавший главе партийной организации Западной Сибири, что в ряде колхозов его района власть оказалась в руках кулаков, специально добавлял в

скобках, что использует это слово «в буквальном, а не в переносном смысле», т.е. имеет в виду настоящих кулаков[29].

После раскулачивания умы коммунистов начало занимать понятие «бывший кулак». С одной стороны, идентифицировать кулаков стало легче: любой раскулаченный относился к ним по определению. Но с другой стороны — гораздо труднее, потому что многие крестьяне, потенциально принадлежавшие к группе кулаков, бежали, не дожидаясь ареста или ссылки. Теперь эти люди маскировались, надевая новые социальные личины; вот почему для режима было так важно обнаружить и изгнать их при проведении паспортизации городов. Но, конечно, многие скрытые кулаки, а еще больше детей кулаков, которых, по идее, ждала печальная участь родителей, все же ускользнули от преследования властей. В последующих главах мы встретим множество примеров того, как коммунисты опасались этих тайных врагов.

Между тем, на сосланных, большинство которых отправляли на Север, Урал, в Сибирь и на Дальний Восток работать на новостройках вроде Магнитогорска или осваивать целинные и залежные земли, ставилось новое клеймо[30]. Поскольку ссылка была административной, а не уголовной мерой наказания, ее сроки и условия не были определены. Ясно было одно: сосланные кулаки составляют теперь особую в правовом отношении категорию населения, подвергающуюся различным ограничениям и поражению в правах. Во-первых, они носили название «спецпереселенцев», затем — «трудпоселенцев»[31]. Через несколько лет в их ряды влились другие «социально-опасные» лица — «кулаки, бывшие торговцы, бывшие помещики и т.д.», отбывшие срок в тюрьме или Гулаге, которых ОГПУ, по вполне понятным причинам, не желало отпускать по домам[32].

Срок кулацкой ссылки, как оказалось, не имел четко установленных пределов[33]. Естественно, политика режима в этой области была несколько противоречивой. После введения паспортного режима ссыльным, так же как высланным и лишенцам, паспортов не выдавали. Затем майским постановлением 1934 г. правительство вернуло гражданские права, включая право голоса, тем, кто «социально-полезным трудом» доказал свою ценность для общества. Можно было бы предположить, что в число гражданских прав входит и свобода передвижения, но в январе 1935 г., отвечая на запрос главы НКВД Ягоды, Сталин подтвердил, что в случае с сосланными кулаками это не так. Неделю спустя появилось публичное разъяснение по данному вопросу — и все равно весной на съезде колхозников по крайней мере один член партийного руководства проявлял признаки сомнения в справедливости такого решения[34].

Несмотря на это, ссыльные все же надеялись вернуться домой. Когда была принята новая Конституция, многие увидели в ней амнистию для себя и ходатайствовали об освобождении, но тщетно. Многие другие из года в год бежали из ссылки — по словам

одного российского историка, между 1932 и 1940 гг. бежало более 600000 чел., из них две трети, свыше 400000 чел., успешно. На 1 октября 1941 г. остающихся в ссылке кулаков и членов их семей насчитывалось чуть меньше 900000 чел. Ссылка несколько поредела во время Второй мировой войны: многих ссыльных-мужчин призвали в армию, что, как правило, автоматически означало отмену ссылки для их семей. Но только после смерти Сталина все кулаки, сосланные более двадцати лет назад, были официально освобождены[35].

Жили сосланные кулаки обычно в специальных поселениях. Для работавших в промышленности (примерно половина всей группы) условия труда в смысле заработка, возможностей роста, премий и льгот не слишком отличались от условий, которыми пользовались вольнонаемные работники, разве что ссыльных не принимали в профсоюзы и, по-видимому, не платили им пенсию. В 1938 г. НКВД забирал 5 % заработка у ссыльных наемных работников на административные расходы по содержанию спецпоселений. Как мы уже видели, в начале 1935 г. сосланным кулакам, зарекомендовавшим себя хорошим поведением, вернули право голоса. В 1937 г. это право было публично подтверждено в отношении всех спецпереселенцев[36].

До 1938 г. дети спецпереселенцев были так же ограничены в передвижениях, как и их родители. Однако они имели право на образование и в случае поступления в вуз должны были получить паспорт и разрешение на отъезд. С этого момента они по закону больше не относились к категории спецпереселенцев. Начиная с осени 1938 г. все дети спецпереселенцев стали получать паспорта по достижении 16-летнего возраста и были затем вольны покинуть поселение[37].

Подавляющее большинство спецпереселенцев составляли кулаки. Но производились и другие массовые депортации, правда, в меньших масштабах. Наиболее важные из них — депортации по национальному признаку, начавшиеся в середине десятилетия, и высылка из Ленинграда после убийства Кирова в декабре 1934 г. Депортации по национальному признаку, странным образом идущие вразрез с генеральным курсом советской национальной политики на воспитание национального самосознания и самоопределение наций, затрагивали представителей национальных «диаспор» — людей, могущих иметь связи с каким-либо зарубежным государством, наподобие финнов и корейцев. НКВД транспортировал их точно так же, как кулаков несколькими годами раньше, во внутренние районы страны и поселял там. Эти депортации явились печальными предвестниками более широко известных депортаций народов 1940-х гг. (например, поволжских немцев и чеченцев). Практика ссылки по национальному признаку, несмотря на отсутствие широкой огласки и сравнительно малые масштабы, оставила глубокий след в народном сознании, по крайней мере в Ленинградской области, где один человек с финской фамилией при

проведении переписи 1939 г. отказался отвечать на вопросы, заметив: «Я знаю, зачем проводится перепись населения. Это делается для того, чтобы выявить финнов и эстонцев, а потом отсюда выселить»[38].

Главными жертвами высылки ленинградцев после убийства Кирова были «бывшие» и экс-оппозиционеры. Считалось, что обе эти категории в каком-то смысле несут ответственность за убийство (ряд оппозиционеров, в том числе Зиновьева и Каменева, действительно расстреляли за это преступление после первого московского показательного процесса 1936 г.), хотя конкретных доказательств их причастности не было, и возможно даже, что время их высылки совпало с убийством Кирова отчасти случайно. Решение выслать из Ленинграда в провинцию 2000 бывших коммунистов в служебных документах мотивировалось результатами проведенной недавно партийной чистки[39]. Высылку свыше тысячи ленинградских «бывших» краткое официальное объявление называло наказанием «за нарушение правил проживания и закона о паспортной системе». Однако в народе считали, что это «облава на обычных подозреваемых» после убийства Кирова; ходил даже слух, будто НКВД составляет списки, пользуясь дореволюционным справочником «Весь Петербург», в котором, как правило, указывались сословие и чин именитых граждан[40].

Среди высланных из Ленинграда были «бывший барон Типольт, устроился бухгалтером на мелькомбинат, генерал Тюфяев, учитель географии, бывший шеф полиции Комендантов, техник на заводе, генерал Спасский, продавец табачного киоска». В сети попадалась и менее крупная рыба, вроде человека, работавшего в царском министерстве юстиции писарем, приказ о высылке которого был отменен только после четырех лет ходатайств. Ленинградские комиссионки были завалены мебелью, распродававшейся высланными. Ленинградцев обычно отправляли не в спецпоселения, как кулаков, а в административную ссылку в индивидуальном порядке, и некоторым впоследствии удавалось с помощью ходатайств и связей вернуться в город. Однако получение обратно своей квартиры представляло для вернувшихся почти неразрешимую проблему. Хотя их право на жилплощадь признавалось официально, на практике в их квартирах уже жили новые жильцы, выселить которых было крайне трудно[41].

Ссылка являлась еще более крайней формой изгания из общества, нежели лишение прав. Друзья и соседи должны были порвать с сосланным все отношения; в противном случае их могли обвинить в «поддерживании связей» с антисоветскими элементами. Когда группа рабочих электростанции собрала деньги и вещи, чтобы передать через родных посылку сосланному товарищу, это было расценено как контрреволюционная инициатива, подлежащая расследованию НКВД[42]. Свободным жителям тех мест, куда отправляли ссыльных, рекомендовали держаться от них подальше.

Облава на маргиналов

Советская власть, кажется, считала себя вправе хватать какую-то часть населения и перебрасывать ее, куда заблагорассудится, как поступали при старом режиме помещики со своими крепостными. Массовые ссылки — не единственное тому доказательство. В придачу к ним режим украдкой и с некоторыми колебаниями практиковал своего рода социальную чистку, убирая «выродков», подонков городского общества, чье присутствие считалось тлетворным и разлагающим, насильственно помещая их в трудовые лагеря или отправляя в провинцию. Такие маргиналы получили общее название «социально-чуждые и социально-опасные элементы», процесс их удаления из общества начался в конце 1920-х гг. и достиг пика во время Большого Террора[43].

Одну из категорий жертв этого процесса представляли проститутки. Начиная с лета 1929 г. власти имели законное право отлавливать проституток или женщин, «стоящих на грани проституции», в бараках, ресторанах, на вокзалах и в ночлежках и высылать из города[44]. Точно так же обходились с нищими и всякого рода бродягами, например бродячими лудильщиками и портными. Нищих власти с легкостью подводили под определение «церковных агитаторов», бродячие лудильщики и портные считались распространителями контрреволюционной пропаганды[45].

Изгнание маргиналов из крупных городов приобрело новый размах в 1933 г. после установления в Москве и Ленинграде паспортного режима. В Ленинграде, как сообщает российский историк, поднялась «волна репрессий» против «паразитического элемента»; борьба с проституцией вовсю продолжалась и следующие два года — за 1934—1935 гг. были задержаны 18000 женщин. Большинство из них отправлялись в колонии и лагеря в Ленинградской области. Летом 1933 г. была проведена облава на «социально разложившиеся элементы», главным образом на преступников-рецидивистов, в Москве и Ленинграде. Из-за «разлагающего влияния», которое они оказывали на окружающих, их отправляли в лагеря, а не на «полусвободное поселение». Приблизительно в то же время в Московской области выловили 5000 цыган «без определенного места жительства» и услали их, вместе с 338 лошадьми и 2 коровами, в сибирский город Томск для помещения в трудпоселения. Эту цыганскую операцию можно было бы рассматривать как одну из первых депортаций по национальному признаку, но представляется более вероятным, что власти руководствовались иными соображениями. Режим прилагал все усилия, чтобы перевести на оседлое положение «отсталые» кочевые народы, в том числе и цыган, а репутация цыган как воров и мошенников, несомненно, заставляла местное начальство видеть в них разложившиеся элементы и нарушителей общественного порядка. В 1937—1938 гг., во время Большого Террора, новый контингент цыган попал в облаву и был отправлен на восток[46].

Облавы на преступников и маргиналов и переселение их по указанной выше схеме много раз повторялись в провинции. Томск, принявший московских цыган, в 1934 г. горько жаловался, что на улицах полно преступников и малолетних правонарушителей, в большинстве своем свезенных местными властями из других районов области и брошенных на произвол судьбы. «В результате, — сообщал председатель горисполкома, — улицы г. Томска, рынки, станции, магазины и учреждения за последнее время наводнены группами взрослых и беспризорных подростков-рецидивистов, творящих всякие безобразия и терроризующих население»[47].

Пожалуй, самый примечательный эпизод десятилетия — лишь недавно всплывший на свет после открытия советских архивов — связан с крупной операцией по облаве на социальных маргиналов во время Большого Террора, закончившейся массовыми казнями и массовыми же высылками. Данный эпизод, пока сравнительно мало подвергавшийся анализу, показывает, что советский режим приблизился к нацистскому подходу к «социальной чистке» (правда, без расистского оттенка) больше, чем считалось до сих пор. 2 июля 1937 г. Политбюро секретным распоряжением объявило облаву на преступников-рецидивистов, нарушителей общественного порядка и лиц, нелегально вернувшихся из ссылки; некоторых из них следовало немедленно расстреливать без суда и следствия, других — отправлять в Гулаг. Каждый регион Советского Союза получил определенный план; по всему Советскому Союзу цифра подлежащих расстрелу составляла 70000 чел. (в том числе 10000 «социально опасных элементов», уже находящихся в Гулаге), отправке в Гулаг — почти 200000 чел.[48].

Главный удар направлялся против кулаков, бежавших из ссылки (напомним, что, по данным НКВД, таковых было около 400000 чел.), которые именовались «главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений» в промышленности, на железных дорогах, в совхозах и колхозах. Подобный народ больше всего скапливался на окраинах крупных промышленных городов. Детализируя распоряжение Политбюро, Ежов определил в дополнение к беглым кулакам еще три большие группы. Первая состояла из «в прошлом репрессированных церковников и сектантов». Это, пожалуй, самая крупная категория жертв данной операции в сельской местности. Вторая группа — контрреволюционеры, лица, принимавшие участие в вооруженных восстаниях против советской власти или бывшие членами антибольшевистских политических партий. Третью группу составляли «уголовники (бандиты, грабители, воры-рецидивисты, контрабандисты-профессионалы, конокрады), ведущие преступную деятельность и связанные с преступной средой»[49].

Результаты операции можно проследить по тому, как резко выросло в последующие полтора года число заключенных Гулага, отнесенных к категории «социально-вредных и социально-опасных». В начале 1937 г. таких заключенных уже было свыше 100000 чел. Два года спустя их число выросло почти до 300000 чел., составив около четверти всех обитателей Гулага[50].

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ПРОШЛОГО

Одним из способов, которыми люди пытались снять с себя клеймо, было отречение. Обычно оно не достигало цели, поскольку социальное происхождение считалось «объективным» пороком, от которого невозможно избавиться, даже изменившись по внутренней сути. Тем не менее, в начале 1930-х гг. власти порой требовали его от детей кулаков и священников, как во времена Большого Террора — от детей «врагов народа», а иногда с ним выступали по собственной инициативе. Две кулацкие дочки много лет спустя вспоминали, как им пришлось заявить, что они отреклись от родителей и не поддерживают с ними связи. Учитель по имени Юрий Михайлович поместил в «Известиях» краткое объявление: «Отрекаюсь от своего отца, священника». Жена священника с Нижней Волги попыталась отречься от мужа, после того как его «раскулачили», утверждая, что сын обратил ее на путь служения делу советской власти и внушил ей ненависть к капитализму. «С нынешнего дня, когда в результате раскулачивания не имею положительно никакого имущества — раз и навсегда отрекаюсь от старого, ненужного и вредного взгляда. С нынешнего дня я развожусь со своим мужем...» Письмо было подписано: «Гражданка Сигаева Доминика». (Почти наверняка это пламенное заявление не вызвало никакого отклика, поскольку власти с особым подозрением относились к разводам, в результате раскулачивания, полагая, что их мотивом служит стремление защитить семейное добро[51].)

Больше всего советская власть была заинтересована в том, чтобы отрекались от своего сана священники. Подобное отречение, сделанное публично, являлось эффектным подтверждением провозглашаемого в СССР положения, что религия — надувательство, разоблаченное современной наукой. В эпоху Культурной Революции в местной печати время от времени появлялись в виде писем в редакцию подписанные священниками заявления об отречении от своего сана «в ответ на социалистическое строительство»[52]. Вот типичный пример подобного политического спектакля, разыгранного однажды в воскресный день в 1929 г. в одном из католических костелов Минской области:

«В тот день, когда верующие собрались на религиозную процессию в честь "наместника бога", они с ужасом узнали из уст ксендза, что религия обман, что он больше не желает быть орудием в руках контрреволюционеров. Тут же [ксендз] сбросил с себя облачение и под вопли и причитания фанатичных старух покинул костел»[53].

По сообщениям НКВД, в связи с принятием сталинской Конституции 1936 г. поднялась настоящая волна отречений священников. Где-то священник (на сей раз православный) публично заявил в церкви о своем разочаровании в религии, уверяя, будто теперь верит, что природу объяснила наука, а не бог. Где-то — псаломщик объявил о своем отречении от веры через местную газету; впоследствии он поступил в фармацевтическое училище[54].

Сильно мешало отречению священников от сана то обстоятельство, что бывшим священникам было крайне трудно найти работу. Многие, многие молодые священники оставили бы церковь, если бы эту проблему можно было преодолеть, с грустью писал в 1937 г. один советский чиновник. Не только сами священники, но и работники Союза воинствующих безбожников — профессиональные пропагандисты атеизма — предпочли бы, чтобы процесс отречения от сана протекал более гладко. «У нас есть попы, которые три года тому назад сняли сан, и их не берут даже на биржу... Мы должны дать людям, отказавшимся от религии и желающим идти с нами, возможность работать хотя бы на черной работе». Союз действительно был завален письмами от священников, оставивших церковь, которые не могли найти работу[55].

Одним из немногих средств, имеющихся в распоряжении жертв лишения прав, ссылки и высылки, были ходатайства. Архив секретариата Калинина полон подобных ходатайств; в начале 1930 г. каждый день приходило по 350 жалоб с требованием восстановления в правах от лиц, лишенных избирательных прав местными советами в одной только РСФСР[56]. В ведомстве Калинина с сочувствием относились к жаловавшимся и регулярно готовили записки по поводу местных «перегибов» в лишении прав для рассылки местным советам и центральному руководству. Среди примеров лиц, неправильно лишенных права голоса, фигурировали женщины, получающие алименты (которых на местах сочли «живущими на нетрудовые доходы»), толстовцы, меннониты, эпилептики и обычные нарушители спокойствия (которые «много говорят на собрании, активно критикуя работу» сельсовета). Двадцатилетняя девушка из Пензы жаловалась, что ее лишили прав «как монашку», потому что она до сих пор не замужем[57].

Американский историк Гольфо Алексопулос, проводившая не так давно исследование ходатайств лишенцев, так классифицировала аргументы, выдвигавшиеся теми, кто добивался восстановления в правах. Одни упирали на то, что являются настоящими советскими людьми, подчеркивая пользу, приносимую ими обществу. Так, один ссыльный «трудпоселенец» писал: «Я ударно трудился, а сейчас тружусь по-стахановски, многие нормы на строительстве перевыполняю в три раза». Молодой человек, ходатайствующий за мать, указывал: «Я являюсь ученым, изобретателем, имею награды и премии». Другие подчеркивали свою беспомощность и нищету, называли себя «сиротами, не имеющими куска хлеба», плакались: «Я практически неграмотна, никакой радости

в жизни не видела», — и умоляли, как в одном ходатайстве, адресованном лично Калинину, не дать им погибнуть «хотя бы ради детей»[58]. Практически никто из лишенцев, занимавшихся торговлей (что служило главным основанием для лишения прав людей этого сорта), не взывал к справедливости. Они жаловались, что их отнесли не к той категории, уверяли, будто они занялись торговлей по случаю или вследствие отчаянной нужды[59].

Ходатайства представляли собой лотерею. Мы знаем, что довольно многие принесли желаемый результат, но нет никакой возможности установить, какова их доля от общего числа. Некоторые категории жертв, например священники, кажется, сравнительно редко ходатайствовали о восстановлении в правах, по-видимому, зная, что шансы на успех невелики. Другие, например вдовы и мелкие торговцы, фигурируют в списках лиц, чьи жалобы были удовлетворены, на первом месте.

Писать жалобы или подавать ходатайства за себя лично было делом обычным, а вот ходатайства за кого-то другого, не являющегося членом семьи, встречались редко, еще реже — протесты против практики наклеивания ярлыков в принципе. Однако из этого правила, как из всех других, были свои исключения.

Женщина, подписавшаяся девичьей фамилией, жаловалась в Наркомат земледелия на исключение из колхоза, последовавшее на том основании, что отец ее мужа до революции был торговцем. В первую очередь ее возмущало, что на жалобу ее мужа по этому поводу ответили, тогда как ее прежнюю жалобу проигнорировали, очевидно, полагая, что они с мужем — одно целое. Она возражала против такой постановки вопроса (совершенно справедливо, с точки зрения закона), поскольку членом колхоза считалось отдельное лицо, достигшее совершеннолетия, а не двор. По существу дела она высказывалась столь же решительно, обращая внимание на сам принцип: «Нельзя так далеко распространять ответственность за социальное происхождение, ибо к свекру Василию Гавриловичу, умершему в 1922 г., которого я и не знала, я никакого отношения не имела и его идеологией не могла быть зараженной»[60].

69-летняя Александра Елагина, бывшая революционерка, член организации «Народная воля» в 1880-х гг., вышла еще дальше за обычные рамки и написала Молотову, протестуя по поводу участи «бывших», которые отбыли ссылку, но которым, «несмотря на все декреты и распоряжения правительства, мешают... служить и учиться и жить в тех местах, где есть родные и жилище, например в Москве, Ленинграде...»[61]

Еще одна жалоба принципиального характера относится к экспроприации евреев — мелких торговцев и кустарей в ходе кампании против частного предпринимательства и нэпманов, развернувшейся в конце эпохи нэпа. Письмо было подписано «Абрам Гершберг, рабочий», и его автор заявлял, что ему, как активисту, пришлось наблюдать и даже участвовать в экспроприациях в Киев-

ской области. По сути оно представляло собой обличение антисемитизма. «Когда я указал на неправильное действие бригады в отношении к мелкому торговцу, кустарю-еврею, то мои товарищи не стеснялись, в шутливом тоне хотя бы, выражаться "жид за жидом тянет"». Жалуясь, что эти евреи были лишены всех прав, а также «последней подушки и рубахи», автор просил амнистировать их и разрешить им «работать по специальности, как, например, счетоводы, бухгалтера, продавцы, мельники, маслобойщики». Кто он такой в действительности, осталось тайной, поскольку проведенное расследование показало, что по указанному в письме адресу человека с таким именем не существовало[62].

Сын за отца не отвечает

Политика навешивания социальных ярлыков в ходе 1930-х гг. претерпела изменения, хотя практика большинства партийных и государственных органов изменялась гораздо медленнее и существовали признаки полемики по поводу смены курса в высших политических кругах[63]. Еще в феврале 1934 г. Молотов говорил на VII съезде Советов, что ограничение избирательных прав — «временная мера», необходимая только до тех пор, пока старые эксплуататорские классы представляют угрозу. На данный момент, сказал он, лишены прав всего лишь около двух миллионов человек, а скоро эта категория может полностью исчезнуть[64].

Первый шаг в этом направлении касался детей лишенцев, а не их родителей. В конце 1935 г., слушая речь стахановца, заявившего, что ему не давали хода из-за раскулаченного отца, Сталин бросил реплику: «Сын за отца не отвечает»[65]. Сам он к этой теме больше не возвращался, но его мысль развили другие. Комиссия советского контроля приказала государственным учреждениям и руководству промышленности прекратить увольнять людей или отказывать им в приеме на работу «по таким мотивам, как социальное происхождение, судимость в прошлом, осуждение родителей или родственников и т.п.». Член комиссии А.А.Сольц подчеркивал, как важно снять с человека клеймо прошлого, «чтобы человек мог забыть свое социальное происхождение и судимость. Родившийся от кулака не виноват в этом, т.к. он не выбирал своих родителей. Поэтому и говорят сейчас: не преследуйте за происхождение»[66].

Не все принимали эти обещания за чистую монету. Один респондент Гарвардского проекта, вспоминая сталинское заявление, что «сын за отца не отвечает», добавил: «Но меня это не касалось, я был и остался сыном кулака». Другая респондентка, у которой отец был когда-то помещиком, рассказывала, как у нее в техникуме устроили собрание для обсуждения значения нового сталинского лозунга: «Оратор сказал, что, поскольку дети не должны больше страдать за грехи отцов, те, кто скрывал свое социальное происхождение, могут не бояться говорить. Всех студентов, скрывших социальное происхождение, призывали выйти на трибуну и рассказать об этом». Царившая тогда атмосфера вселяла страх, и эта респондентка, почуяв ловушку, промолчала. Один из немногих студентов, откликнувшихся на призыв, вскоре, по ее словам, исчез из техникума[67].

Возможно, местные власти, а то и сам Сталин, намеревались использовать обещание снять клеймо прошлого, чтобы выявить тех, кто что-либо скрывал. Так или иначе, официальный курс, как и обещал Молотов, менялся, хотя и не все шло гладко. Комиссия, работавшая над проектом новой Конституции Советского государства, билась над вопросом, насколько далеко следует заходить, освобождая «классово-чуждых» от клейма. В одиннадцатом часу, при невыясненных обстоятельствах (не исключается, что имело место вмешательство с самого верха), из проекта Конституции были убраны все социальные мотивы лишения избирательных прав[68].

Новая Конституция — принятая после общенародного обсуждения опубликованного проекта — постановила, что все граждане СССР, достигшие 18-летнего возраста, «независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности», имеют право избирать и быть избранными в Советы (ст. 135). Комментируя итоги всенародного обсуждения, Сталин отверг поправку, предлагавшую «лишить избирательных прав служителей культа, бывших белогвардейцев, всех бывших людей и лиц, не занимающихся общеполезным трудом». «Советская власть, — сказал он, — лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не на веки вечные, а временно, до известного периода». Теперь, когда прежние эксплуататорские классы ликвидированы, советский строй должен быть достаточно прочен, чтобы устранить эти ограничения. В конце концов, заявил Сталин, «не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны Советской власти» (не была ли эта похвала хуже брани?)[69].

Неоднозначность сталинских замечаний отразилась как на общественном мнении, так и на претворении в жизнь новой политики. «Я никак не допускаю, чтобы быть избирателями или быть избранными могли священники... — писал Р.Беляев из Калининской области. — По-моему, священник, это — не трудящийся, а паразит». «Будет очень плохо тем, которые были активистами во время раскулачивания и ликвидации кулачества, — писал колхозник К.Порхоменко. — Кулак сейчас, если станет во власть, он может очень зажимать всех людей, активистов, потому что у кулаков и сегодня еще имеется большая ненависть»[70].

Политбюро официально постановило весной 1937 г., что «лишение избирательных прав граждан СССР по мотивам социального происхождения» должно быть прекращено[71], однако и общест-

венность, и должностные лица встретили это положение со смешанными чувствами. Большой Террор уже набирал обороты, и различие между прежними «классовыми врагами» и новыми «врагами народа» отнюдь не было ясным[72]. В делах 1937 г. об исключении из комсомола в Западной (Смоленской) области вновь и вновь фигурирует вопрос о социальном происхождении, хотя при рассмотрении апелляций на следующий год лица, исключенные на этом основании, как правило, были восстановлены. То же самое относится и к смоленской партийной организации в эпоху Большого Террора, где постоянно звучали пламенные обвинения в чуждом социальном происхождении или связях с лицами чуждого социального происхождения[73]. Людей по-прежнему — или даже сильнее прежнего — подвергали дискриминации из-за их социальных корней. Так, например, секретарь партийного комитета сибирского города Сталинска в августе 1937 г. не колеблясь заявил, что некий Шевченко «не был включен в список делегатов на Всекузбасский слет стахановцев потому, что его отец бывший кулак, лишенный избирательных прав»[74].

Даже в 1939 г. работник ленинградского НКВД рекомендовал уволить учительниц — дочерей священников, дворян и царских чиновников — как «социально-чуждые элементы», «засоряющие» школу, в которой они работали. Но времена действительно изменились: заведующий местным отделом народного образования имел смелость оспорить рекомендации офицера НКВД и представление о социальном происхождении как единственном критерии ценности работника; он выразил собственное мнение, заявив, что послужной список и педагогическая квалификация учительниц не дают оснований для увольнения[75].

ЖИЗНЬ В МАСКЕ

Утаивание тех или иных фактов было естественным условием жизни в СССР. Власти считали всех, кто скрывал свое прошлое, тайными врагами, но это вовсе не обязательно соответствовало действительности. Любой, имевший порочащее его прошлое, был в той или иной мере вынужден скрывать его, невзирая на свои политические симпатии, чтобы не прослыть врагом. Люди, скрывавшие прошлое, «маскировались», как говорили в СССР. А раз они маскировались, их необходимо было «разоблачать».

Многим приходилось вести двойную жизнь. Это можно истолковать как существование у одного человека двух лиц: одного «придуманного» — для окружающих, другого «настоящего» — для себя. Но в действительности дело обстояло не так просто. Кто-то, в духе социалистического реализма проецируя будущее на настоящее, страстно желал в действительности стать тем человеком, каким он старался выглядеть в глазах окружающих. Кто-то так хорошо играл свою роль, предназначенную для широкой публики, что полностью сживался с ней («я... начал чувствовать себя именно тем, кем притворялся»[76]). А кто-то мог и возненавидеть свое «настоящее» я, считать его неким кошмарным двойником, которого следует прятать от дневного света[77].

Карикатурист в «Крокодиле» изобразил этот дуализм, поместив рядом с письменными ответами некоего гражданина на вопросы анкеты рисунки, рассказывающие о нем совершенно другое. В анкете на вопрос: «Социальное положение до 1917 г.?» — следует ответ: «Служащий». А на рисунке — агент царской полиции. «Участвовал ли в гражданской войне?» — «Да». А рисунок показывает, что это было участие на стороне белых. «Имеете ли вы специальное образование?» — «Имею диплом инженера-технолога». А над этим ответом рисунок, изображающий человека, подделывающего диплом[78]. С точки зрения «Крокодила», отвечающий на анкету просто обманывал окружающих. В действительности же для кого-то это мог быть способ переделать себя, превратиться в нового советского человека.

Для того, кто был отмечен социальным клеймом, первым шагом на пути к новой жизни часто становилось бегство. В начале десятилетия уже раскулаченные и боявшиеся раскулачивания крестьяне бежали из своих сел, отправляясь работать в город или на стройку. Власти сурово осуждали подобное «самораскулачивание», но помешать ему было крайне трудно. Нэпманы, подвергшиеся экспроприации в конце нэпа, действовали так же: экспроприированные минские и могилевские торговцы в 1930 г. сбегали в Москву и Ленинград, лавочники из Поволжья переезжали в Ташкент[79].

Следующий шаг — справить новые документы. Пока не появились паспорта, одним из основных личных документов служила справка из сельсовета, удостоверяющая социальное происхождение ее предъявителя (для крестьян эти справки так и остались основным документом). Многие члены кулацких семей получали нужные бумаги с помощью взятки или «собутыльничества» с председателем местного совета. Другие крали бланки и печати из соответствующих учреждений и делали себе документы сами. В городах полезными документами являлись карточки, профсоюзные и партийные билеты, и существовал целый бойкий рынок, торгующий этими бумагами, как настоящими, так и поддельными. На карикатуре, посвященной проверке партийных документов в 1935 г., изображено, как комиссия рассматривает партбилет некоего члена партии. Подпись: «— У вас в билете неразборчиво написана фамилия. — Пардон, в таком случае могу предложить мой другой партбилет. Там как будто разборчивее»[80].

До паспортизации порой даже не было необходимости покупать удостоверение личности. «Просто теряешь документы, просишь выдать новые и при этом устно заявляешь, кто были твои отец и мать», — говорил один респондент Гарвардского проекта, вспоминая операцию, проделанную им в 1929 или 1930 году.

Местом рождения часто указывали Киев, где во время гражданской войны погибли все архивы. Некоторые вообще не могли припомнить, чтобы смена биографии представляла для них какую-то проблему: «Устраиваясь на работу, я ни разу не призналась [в своем происхождении]... Я носила другую фамилию, моего мужа. Пользовалась фамилией мужа, и дети тоже. Поэтому я ни разу не призналась в своем прошлом»[81].

Даже паспорт можно было купить. По сообщению газеты в 1935 г., в одном мордовском селе купить паспорт было настолько легко, что сорок местных семей лишенцев не давали себе труда ходатайствовать о восстановлении в правах:

«— Сколько у вас лишенцев восстановлено в правах к моменту выборов в советы? — спрашиваем мы председателя сельсовета Лосева. — Ни одного! К нам таких ходатайств не поступало... И верно, зачем хлопотать, обивать пороги сельсовета, когда в Торбеевском районе безо всяких мытарств можно дешево купить... гражданские права! Цены на паспорта стоят невысокие — от 50 до 80 руб. Многие лишенцы приобрели по нескольку паспортов»[82].

Менее дерзкими способами приобретения новой биографии являлись усыновление и брак. Среди лишенцев бытовал распространенный обычай отсылать детей к незапятнанным родственникам[83]. Брак и повторный брак, когда умышленно, а когда — нет, выполняли ту же функцию. Женщина дворянского происхождения, у которой первый муж умер в начале 1920-х гг., во второй раз вышла замуж за токаря, тем самым улучшив свое социальное положение; дочь богатого фабриканта вышла замуж за выдвиженца из бедной крестьянской семьи, и, по словам ее сына, «замужество спасло ее от неприятностей». Дочь кулака вспоминала: «Мой первый брак был своего рода камуфляжем. Мне негде было жить. А мой муж был из бедноты. Он был комсомольцем... Брак с ним служил мне прикрытием. И к тому же у нас была своя комнатка. Ложась спать, я думала про себя: господи, я сплю в собственной кровати...»[84]

Иногда новую жизнь строили соединенными усилиями всей семьи, используя множество разных уловок. Раскулаченная семья Твардовских, разделенная в процессе высылки, приняла все меры, чтобы не потерять связь друг с другом и вновь воссоединиться (за исключением самого знаменитого ее члена, поэта А.Твардовского, который избежал высылки и, стремясь защитить себя, скрывал положение своей семьи). Семья Силаевых из Западной Сибири разделялась несколько раз после того, как зажиточный крестьянин Василий Силаев переехал в Новосибирск, спасаясь от раскулачивания, но все эти переезды и разделы (в тех случаях, когда не были просто вынужденными) совершались только для того, чтобы сохранить семью и кое-что из имущества. Для этой цели Силаев официально развелся с женой, переведя на ее имя два дома, и уехал в другой город; продав дома, она присоединилась к нему. Их сын, служащий в конторе в Новосибирске, наведывался в родную деревню хлопотать о восстановлении отца в правах[85].

Часто семьи обнаруживали, что рассеяние — единственный способ выжить. «Наше социальное происхождение висело на мне, на моих братьях и сестрах, как клеймо. И все они, один за другим, уехали из Аханска... Ну, а тогда, знаете, дело было поставлено так, что мы даже не должны были переписываться с родителями. Это было все равно что иметь связь с "чуждым элементом". Но мы, конечно, с ними переписывались и изредка навещали, но это было очень трудно»[86].

Иногда «разоблачение» лиц, скрывающих свое прошлое, наступало в результате расследования органов внутренних дел. Но очень часто эту работу брали на себя газеты, или сограждане, или и те и другие вместе. Для журналистов, постоянно гоняющихся за «сенсацией», истории о разоблачениях представляли ярчайший человеческий материал и давали простор для исследования. Весной 1935 г. одна ленинградская газета, например, опубликовала серию разоблачительных статей о скрытых классовых врагах в больницах и школах Ленинградской области. Эти опусы, типичные для своего жанра, приписывают всем, скрывающим социальное происхождение, самые низменные мотивы и пестрят эмоционально окрашенными словечками типа «убежище», «притаившийся» и, разумеется, «враг»:

«Там [в районной больнице] нашел себе убежище сын священника, бывший белый офицер Троицкий. Заведующий хозяйством считает этого притаившегося врага "незаменимым счетоводом". Регистратор Заболотская, медицинская сестра Апашникова и дезинфектор Шестипоров — тоже дети попов. Переменив свою профессию монашки на санитарку, Васильева также пристроилась в этой больнице. Ее примеру последовала и монашка Ларькина... Бывший монах Родин устроился лекпомом и даже заменяет врача по оказанию квартирной помощи»[87].

Среда социально-чуждых находилась под особым подозрением; в разоблачительных историях использовалась любая возможность, чтобы связать социальное клеймо и политические уклоны, намекая на причинно-следственную связь этих явлений:

«Отец Бочарова был урядником. Со своими родственниками — дьячками, попами и кулаками Бочаров держит тесную связь. В 1929 г. его исключали из партии, как чуждый элемент, но затем почему-то восстановили. Будучи студентом Московского университета, Бочаров активно участвовал в троцкистско-зиновьевской оппозиции. Во время партийной чистки 1930 г. он это скрыл до тех пор, пока не был разоблачен»[88].

Опасность для жизни людей плохого социального происхождения повсеместно представляли доносы соседей, коллег, соучеников. На дочь кулака, удочеренную и воспитывавшуюся дядей и тетей, написали донос из деревни в ее комсомольскую организа-

6*

цию. Позже на нее снова донесли в письме в газету; публикация этого письма привела к ее увольнению с работы и разрыву с женихом-коммунистом, которому поставили ультиматум в партийной организации[89]. Эти доносы, по-видимому, были вызваны обычной злобой без особых мотивов, но многие другие преследовали более конкретные, своекорыстные цели: например, избавиться от нежелательных соседей по коммуналке. Жертва доноса последнего типа, сын священника, с горечью жаловался на преследования со стороны соседей, которые хотели «заставить меня с семьей всеми правдами и неправдами уехать — бежать, и тогда жилплощадь перейдет к ним». «Я знаю, что основанием им служит мое происхождение», — писал он. Из-за доносов он три раза терял работу и временно лишился карточек. В 1933 г. такие же доносы посылали в паспортные комиссии, чтобы не дать соседям получить паспорт и московскую прописку[90].

Некоторые писали доносы из чувства долга, как сибирский коммунист, донесший на своего тестя, беглого кулака, когда тот в 1930 г. попытался найти убежище в его квартире. Другими, как представляется, двигали настоящий страх и ненависть к классовым врагам: таков, например, случай, когда два рабочих, каждый по отдельности, написали доносы на одного и того же инженера, который, по их словам, при старом режиме порол матросов и арестовывал рабочих и только прикидывался лояльным к советской власти («я его поведение с 1905 г. знаю как свои пять пальцев»). Возможно, теми же чувствами, приправленными жаждой расправы, руководствовались рабочие одного завода в Грозном после инцидента, когда двум токарям-стахановцам испортили станки. Они «разоблачили и выгнали из цеха бежавшего с Камчатки кулака Круглова и бывшего жандарма Степанчука. После этого стахановцы завода "Красный Молот" разоблачили еще 14 лишенцев, пробравшихся на завод»[91].

В советской жизни бывало много ситуаций, когда доносы поощрялись и даже вменялись в обязанность, например, во время чисток и собраний, посвященных «критике и самокритике» на заводах и в учреждениях. Порой люди даже доносили сами на себя. Так случилось, например, в Западной области на собрании районной партийной организации (одном из многих «самокритичных» собраний, прокатившихся по области в связи с началом Большого Террора), где под воздействием общей атмосферы заместитель председателя райисполкома удивил собравшихся внезапным заявлением: «Я обманул партию при поступлении в ВКП(б) и во время проверки и обмена партдокументов, скрыв свое социальное происхождение. Мой отец был стражником, а не служащим»[92].

Разоблачение могло быть стратегическим ходом в бюрократическом конфликте. Правда, редко какая-нибудь организация заходила так далеко, как одно государственное учреждение, проведшее в 1935 г. частное расследование социального происхождения всех жильцов двух московских многоквартирных домов. Дома

подлежали сносу, а на их месте должны были построить новое здание для упомянутого учреждения, и по закону оно было обязано найти жилье прежним обитателям. Расследование выявило среди последних поразительное количество темных личностей: не менее тридцати семи социально-чуждых, в том числе беглые кулаки, бывшие дворяне, бывшие купцы, люди, имеющие родственников в ссылке или в тюрьме, скупщики краденого и спекулянты самыми разными вещами, от автозапчастей и жилплощади до сыра домашнего изготовления. Установив подобный социальный профиль жильцов, учреждение передало информацию в московские органы внутренних дел, заявив при этом, что, поскольку дома населены социально-чуждыми, которые вообще не имеют права жить в Москве, от него вряд ли можно требовать переселения их на новые квартиры[93].

Можно ли было скрывать неблагоприятное социальное происхождение достаточно долго? Этот вопрос задавали послевоенным беженцам интервьюеры Гарвардского проекта, он же звучал в недавно проведенных интервью с пожилыми российскими женщинами, и ответы на него давались самые разные. Одни говорили, что можно, и приводили в пример себя или своих родственников и друзей. По их словам, нужно было только переехать в другую часть страны, почаще менять работу, достать фальшивый паспорт, поменять имя, сочинить биографию и постараться не заводить личных врагов, которые могли бы на вас донести. Однако ряд респондентов отмечали, что скрывать свое социальное происхождение опасно, потому что, если власти это обнаружат, «вы попадете в худшую беду, чем прежде», «назовут шпионом, и вообще работу найти не сможете, или арестуют». Некоторые говорили, что это было возможно до введения паспортов, а потом стало очень трудно[94].

Другие уверяли, что долгое время скрывать социальное происхождение было попросту невозможно. Одной пожилой интервьюируемой, дочери священника, даже сам вопрос показался нелепым: «Как я могла это скрыть?! Как могла скрыть?!» «Вас раскроют, потому что вечно прятаться невозможно, — говорили респонденты Гарвардского проекта. — Вы можете прятаться десять лет, но на одиннадцатый год будете раскрыты». Впрочем, порой это «невозможно» имело психологические причины, как, например, в случае с сыном кулака, успешно носившим новую личину с фальшивыми документами и ни разу не попадавшимся, пока оставался вдали от дома. «Когда я был в Молдавии, меня никто там не знал, но, когда я вернулся на Дон — на свою родину, — меня узнали. Я вернулся, потому что родина меня звала. Я тосковал»[95].

Часто подчеркивалось психологическое напряжение, возникавшее в результате двойной жизни. «Мне всегда приходилось отказываться от матери, — рассказывал кустарь, у которого мать была торговкой. — Понимаете, это борьба за существование; я го-

ворил, что ничего не знаю о матери, что она умерла. Умом я понимал, что преступно так говорить о своих родных, но чувствовал, что должен это делать». Многие респонденты, имевшие пятна в своей биографии, подчеркивали, что они были гражданами второго сорта, лишенными всех возможностей, доступных другим, постоянно жили в страхе и тревоге. Страх «все время был со мной, — сказала одна женщина. — ...Я была счастлива, когда смогла уйти на пенсию [в 1965 г.]. Только тогда вздохнула свободно». Учитель, грех которого заключался в том, что он был сыном священника, подытожил общее мнение: «В Советском Союзе возможно все. Вы можете, с помощью блата, достать фальшивые документы, несколько лет работать, но никогда не будете знать покоя»[96].

* * *

Мы не знаем, в скольких судьбах оставило неизгладимый след социальное клеймо, полученное в 1920-е и 1930-е гг., но число их должно быть велико. Четыре миллиона лишенцев, плюс их семьи, и два миллиона сосланных кулаков в начале 30-х; почти 300000 «социально-вредных элементов» в Гулаге, почти миллион «спецпереселенцев» и, возможно, еще несколько сотен тысяч административных ссыльных в конце десятилетия — эти частично дублирующие друг друга и неполные данные не дают нам возможности вывести пригодную для использования общую цифру, но, по крайней мере, позволяют оценить масштабы явления[97]. Кроме того, пострадавшая группа всегда была шире, чем показывали цифры, как потому, что клеймо одного члена семьи ложилось на всю семью, так и потому, что в тени таился не поддающийся измерению контингент тех, кто успешно, хотя и в постоянном страхе, скрывал свое социальное происхождение. Во время недавних интервью с пожилыми российскими женщинами не менее половины опрошенных говорили, что носили в свое время клеймо неподходящего социального происхождения. Возможно, тут просматривается некоторая тенденциозность, но и среди респондентов Гарвардского проекта наряду с теми, для кого классовое происхождение представляло меньшую или вообще второстепенную проблему, было много таких, которые утверждали, что дискриминация по социальному признаку играла центральную роль в их жизни до войны[98].

Что означало для общества наличие такого количества людей, носящих клеймо или боящихся получить его? Пожалуй, наиболее важным последствием стало принявшее широчайшие размеры сокрытие социального происхождения и предоставление неверных сведений о себе. Наверняка этот аспект больше всего тревожил политическое руководство, полагавшее, что человек, заклейменный по социальному признаку, автоматически становится врагом. К нему необходимо применять дальнейшие меры наказания, изолировать его от общества, чтобы не дать возможности отомстить, — естественно, таким образом создавался порочный круг. Некоторые считали, будто ликвидация «вражеских» классов — капиталистов, прежнего дворянства, купцов, кулаков — устранила источник вражды к советскому строю, сказал Сталин через несколько лет после раскулачивания. «Ошибка! Трижды ошибка! [Классов нет? А люди?] ...А люди есть, они остались... Мы их... физически не уничтожили, и они остались со всеми их классовыми симпатиями, антипатиями, традициями, навыками, взглядами, воззрениями и т.д.»[99].

Трудно не согласиться с одной стороной сталинского замечания, а именно с тем, что у советской власти был особый талант создавать себе врагов. Враждебность, с которой кулак мог относиться к режиму в 1920-е гг., скорее всего, неизмеримо возрастала после раскулачивания. У режима были основания опасаться ожесточения тысяч бывших кулаков, из которых многие надевали новые личины и успешно скрывали как свое прошлое, так и свои мысли. Но не все жертвы социальной дискриминации реагировали подобным образом.

В особенности дети заклейменных родителей, как правило, чувствовали, что социальное происхождение закрывает им доступ в общество, куда они отчаянно стремились попасть. «Неужели мое "социальное происхождение" ставит стену между мной и [КСМ]?..» — писал Сталину 23-летний сельский учитель, незаконный сын дочери священника. Этот человек возмущался несправедливостью, указывая, что при старом режиме он тоже, будучи незаконнорожденным, стал бы отверженным, и уверял в своей преданности делу Советов. «С мальчишеского возраста до мозга костей проникся революционными Ленинскими идеями, и в них я убежден навсегда!»[100]

Зачастую исключение из общества вызывало не возмущение и гнев, а горе и чувство приниженности. «Я всегда грустила и была несчастна, потому что была чужой, — вспоминала дочь священника. — Я не могла стать своей из-за отца и брата [который погиб, сражаясь на стороне белых в гражданскую войну]». Дочь хорошо обеспеченной интеллигентной семьи, в молодости пламенная советская патриотка, вспоминала, что, когда ее не приняли в комсомол, она горевала, но не ставила под сомнение справедливость такого решения. Она начала чувствовать, что в ней «есть что-то неполноценное, недостаточно твердое. Я была "интеллигенткой" и обязательно должна была с этим бороться. Я должна была выкорчевать это в себе»[101].

Дискриминация могла вызвать преувеличенные чувства верности и преданности советскому строю и его ценностям. Степан Подлубный, чей отец-крестьянин был раскулачен, изо всех сил старался преодолеть «больную психологию» своего происхождения и, невзирая на одиночество и неуверенность в себе, стать образцовым советским гражданином. У другого «неприкаянного»

развился «комплекс неполноценности, я считал себя ниже других молодых рабочих, в которых видел "настоящих советских людей"». Когда его наконец приняли в комсомол, «страх сменился огромным облегчением, восторгом и верой в себя». Он стал комсомольцем-энтузиастом, горячим приверженцем дела советской власти. «Вступив в комсомол, я стал полноправным советским гражданином. С этого момента я чувствовал себя неотъемлемой частью школьного сообщества и с удовольствием сознавал, что теперь я "как все"...»[102]

Тот факт, что комсомол, по крайней мере до 1935 г., являлся организацией для избранных, отказывавшейся принимать многих кандидатов на основании их незрелости или социального происхождения, по всей видимости, отчасти являлся причиной его привлекательности для советской молодежи. Может быть, и чувства принадлежности к советскому обществу, патриотизма имели схожую динамику: чем больше людей исключались из числа полноправных граждан или представляли себе возможность такого исключения, тем больше превалировал советский патриотизм определенного типа — страстный, пылкий, чрезмерный.

6. СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Начало 1930-х гг. — время великих потрясений и сдвигов в советском обществе. Неудивительно поэтому, что семья тоже испытала потрясения, не меньшие, чем во время гражданской войны. Миллионы мужчин покидали дом во время коллективизации; одни поддерживали связь с семьей в деревне, другие — нет. Развестись было легко — один городской житель — респондент Гарвардского проекта вспоминал о настоящей «эпидемии» разводов в те годы, — да и в любом случае никто не заставлял регистрировать браки[1]. Невероятно тяжелые жилищные условия в городах заставляли семьи ютиться на ничтожно малой площади и в значительной степени провоцировали уход мужей, особенно после рождения ребенка. В 1930-е гг. почти десять миллионов женщин впервые появились на рынке труда, многие из них остались единственным кормильцем семьи, зачастую состоявшей из матери, одного-двух детей и незаменимой бабушки, ведущей хозяйство. Задачу кормильцам-женщинам отнюдь не облегчал тот факт, что женщин предпочитали брать на малоквалифицированную, малооплачиваемую работу[2].

У семей, носящих социальное клеймо, были особые проблемы: детей отсылали, чтобы защитить их от позорного пятна, либо они сами считали необходимым держаться подальше от родителей — по тем же соображениям. Ссылка и высылка иногда удерживала семью вместе, хотела она того или нет, но одному или нескольким членам семьи нередко удавалось избежать приговора. Порой дети заклейменных родителей считали своим долгом отречься от них, следуя примеру легендарного Павлика Морозова. Еще больше семей разорвал Большой Террор, клеймивший супругов и детей за связь с «врагами народа». Одних жен репрессированных самих отправляли в лагеря, других ссылали. Их дети часто оставались у родственников и друзей или, в худшем случае, попадали в детские дома под другими именами.

Однако у медали была и другая сторона — некая удивительная устойчивость семьи. В большинстве своем люди продолжали вступать в брак. Цифра заключенных браков в советских городах, и по довоенным, и по современным европейским стандартам, оставалась очень высокой, особенно учитывая то обстоятельство, что

не все фактические браки регистрировались; в 1937 г. 91 % всех мужчин в возрасте от 30 до 39 лет и 82 % женщин заявляли, что состоят в браке[3]. В некоторых отношениях неустойчивые и опасные условия жизни в 1930-е гг., кажется, даже сделали семью крепче, т.к. ее члены чувствовали потребность сплотиться в целях самосохранения. «Советский Союз — это масса отдельных семейных единиц, изолированных друг от друга, — говорил один респондент Гарвардского проекта, представитель интеллигенции. — Семья не развалилась, а, скорее, постаралась сплотиться». «Раньше мы жили разобщенно, но после революции стали ближе друг другу, — сказал другой респондент из той же социальной группы. — Мы могли говорить свободно только в семье. В трудные времена мы сблизились»[4].

Согласно результатам анализа ответов респондентов Гарвардского проекта на вопрос, сильнее или слабее стали семейные связи в советских условиях, подавляющее большинство городских жителей говорили, что семья стала крепче или осталась такой же, как была. Больше всего положительных ответов дали представители интеллигенции: 58 % сказали, что семья стала крепче, и только 7 % — что она распалась, тогда как рабочие сильнее разошлись во мнениях. Это, возможно, свидетельствует о том, что эффект «сплочения» уравновешивался проблемами, порождаемыми бедностью и тяжелыми жилищными условиями. Коллективизированные крестьяне еще больше разделились в своих ответах, но даже в этой группе 45 % утверждали, что семья сплотилась, в противоположность 30 %, считавшим ее распавшейся. Исследователи пришли к выводу, что основной причиной более высокой доли отрицательных ответов были «физическое разделение и географическое рассеяние крестьянских семей»[5].

Нет сомнений в том, что влияние «советских условий» на семью было противоречивым. Рассмотрим пример Степана Подлубного, сына раскулаченного украинского крестьянина, уехавшего после ареста отца в начале 1930-х гг. с матерью в Москву. Подлубный был очень близок со своей матерью, с которой вместе жил, и крайне предан ей; когда в 1937 г. ее арестовали, его вера в советскую власть серьезно поколебалась. С отцом же было наоборот: они разошлись не только географически, но и психологически, Подлубный старался стать настоящим советским гражданином и выкинуть из памяти отца и его озлобление против режима[6].

Противоречие иного рода демонстрирует история семьи женщины-врача, респондентки Гарвардского проекта. Она вышла замуж где-то в начале 1930-х гг., родила сына, потом они с мужем развелись, но продолжали жить в одной квартире. По ее словам, развод представлял собой рассчитанную стратегию выживания («Мы сделали это, чтобы не отвечать друг за друга. Если бы мы были еще женаты, когда моего мужа арестовали [в 1938 г.], я бы сейчас здесь не сидела»), но весь ее рассказ свидетельствует о том, что и взаимное личное отчуждение до некоторой степени сыграло свою роль. Какова бы ни была истинная причина развода, для дальнейшего совместного проживания имелись вполне практические причины. «Мы жили вместе по материальным соображениям. Ему часто выпадала возможность съездить на село, и он привозил оттуда продукты». И все-таки та же самая женщина, очень привязанная к единственному сыну и находившаяся с ним в прекрасных отношениях, была одной из тех, кто считал, что семья в советское время стала крепче[7].

«Семья» в 1930-е гг. представляла собой весьма многообразную и подвижную единицу, опорой ей часто служили женщины нескольких поколений. В воспоминаниях о жизни в коммуналках описываются семьи всевозможных типов, жившие бок о бок, каждая в своей комнате. Один мемуарист вырос в комнате в арбатской квартире, куда его бабушка после гражданской войны перевезла из провинции трех своих взрослых дочерей. В 1930-е гг. семью, кроме него самого, составляли его мать, оставшаяся одна после ареста мужа, и ее сестра, машинистка, единственный законный жилец квартиры и, судя по всему, главный кормилец семьи, которую он считал «второй матерью». Но они поддерживали тесную связь с обширной родней:

«Приезжал из Луганска, а потом из Нижнего Тагила дядя Вася, муж тети Нины, и обычно некоторое время жил у нас. Наведывался из Ленинграда дядя Володя. Неизменно дважды в год появлялись его родственники Матвеевы, вчетвером, с двумя детьми (в маленькой комнате!). Они ездили из-под Горького, где работал дядя Алеша Матвеев, в отпуск в свой родной Ленинград и обратно. Не раз останавливались у нас ярославские троюродные братья мамы и тети Тани. Приезжали мои киевские родственники»[8].

Вместе с ними в той же квартире жили несколько женщин, одни или с ребенком, и несколько семей, где были оба родителя и дети, но мемуарист, судя по всему, отнюдь не считает их более «нормальными», чем его собственная семья. Одна из них, рабочая семья, где главой был телефонный монтер, потерявший обе ноги в результате несчастного случая, состояла из жены монтера, сына, матери, младшей сестры и еще одной родственницы, периодически лежавшей в психиатрической больнице, — все они ютились в темной душной комнате без окна[9].

На бабушке с материнской стороны держалась и гораздо более обеспеченная и привилегированная семья Елены Боннэр, где и отец и мать работали и были коммунистами-активистами. То же самое относится к семье Софьи Павловой, преподавательницы университета, мать которой поселилась у нее после рождения первого ребенка и пережила вместе с ней два ее брака (один незарегистрированный), арест и исчезновение второго мужа в эпоху Большого Террора, эвакуацию и другие катаклизмы. «Мама меня спасла... Я была совершенно свободна. Я недолго кормила ребенка грудью. Фактически его выкормила мама, из бутылочки».

Мать вела все домашнее хозяйство, не только воспитывала двух детей, но и ходила по магазинам и распоряжалась всеми семейными финансами (дочь и зять просто отдавали ей зарплату)[10].

В 1920-е гг. коммунисты нередко относились к семье враждебно. «Буржуазная» и «патриархальная» — вот два слова, часто стоявшие вместе со словом «семья». Правила приличия, принятые до революции в респектабельном обществе, осмеивались как «мещанство» и «обывательщина», молодое поколение в особенности отличалось сексуальной свободой и неуважением к институту брака. Обычным явлением стали «свободные» (незарегистрированные) браки и разводы по почте; аборт был узаконен. Коммунисты — и мужчины и женщины — верили в равенство полов и женскую эмансипацию (хотя и раньше, и в то время среди членов партии женщины составляли незначительное меньшинство). Для женщины считалось позорным быть просто домохозяйкой. Некоторые энтузиасты даже полагали, что детям лучше воспитываться в государственных детских домах, а не дома у родителей[11].

Тем не менее, возможно, социальный радикализм 1920-х гг. преувеличивают. Ленин и другие партийные лидеры в вопросах семьи и пола были гораздо консервативнее, чем молодое поколение. Общественным воспитанием детей в противовес семейному в СССР никогда не увлекались так сильно, как в израильских кибуцах тридцать лет спустя. Аборты никогда не поощрялись, а в конце 1920-х гг. даже велась активная кампания против абортов, скоропалительных разводов и случайных связей[12]. Более того, советские законы о разводе, алиментах, имущественных и наследственных правах даже в 1920-е гг. исходили из совершенно иного взгляда на семью. В этих законах настоятельно подчеркивалась взаимная ответственность членов семьи за материальное благополучие друг друга; по общему мнению советских юристов, поскольку государство на тот момент не обладало достаточными ресурсами для создания системы полного социального обеспечения, семья оставалась для советских граждан основой социального благополучия[13].

В середине 1930-х гг. советское государство перешло на позицию защиты семьи и материнства, объявив в 1936 г. аборты вне закона, сделав процедуру развода более труднодоступной и дорогостоящей, установив льготы для многодетных матерей, преследуя безответственных отцов и мужей и клеймя их позором, утверждая авторитет родителей наравне с авторитетом школы и комсомола. Подобные перемены, по-видимому, были вызваны в первую очередь падением рождаемости и тревогой по поводу того, что данные о численности советского народонаселения не показывают сильного прироста, ожидавшегося при социализме. Институт свободного брака еще существовал (он был упразднен только в 1940-х гг.), соответственно сохранялась неопределенность самого понятия брака: при проведении переписи 1937 г. заявили, что в настоящий момент

состоят в браке, на полтора миллиона больше женщин, чем мужчин (т.е., по-видимому, столько же мужчин имели связи, которые их партнерши, в отличие от них самих, рассматривали как брак)[14]. Однако к концу 1930-х гг. свободный брак уже не пользовался такой популярностью, и даже те, кто до сих пор жил в свободном браке, стремились зарегистрировать свои отношения.

Один летописец советской социальной политики назвал этот процесс «великим отступлением», имея в виду отступление от революционных идеалов[15]. Некоторые его аспекты, в частности, организация добровольного движения жен руководящих работников, о котором речь пойдет ниже в этой главе, действительно имеют сильный оттенок обуржуазивания. Но следует отметить и другие важные стороны. Во-первых, насколько вообще можно судить об общественном мнении в сталинской России, изменение позиции режима в отношении семьи встретило положительный отклик. Распад семьи воспринимался многими как социальное и нравственное зло, признак общей разрухи; упрочение семьи истолковывалось как начало возвращения к нормальной жизни.

Во-вторых, для пропаганды семьи во второй половине 1930-х гг. характерна скорее антимужская, чем антиреволюционная направленность. Женщины неизменно представлялись (как было принято и раньше, и потом в советско-российском народном дискурсе) благородным, страдающим полом, способным на большое терпение и самоотверженность, оплотом семьи; они лишь в самых редких случаях пренебрегали свой ответственностью по отношению к мужу и детям. Мужчины, напротив, изображались эгоистичными, безответственными, склонными тиранить и бросать жен и детей. В неизбежном конфликте интересов (которые у женщин предполагались альтруистическими и направленными на защиту семьи, а у мужчин — эгоистичными и индивидуалистическими) государство безоговорочно становилось на сторону женщин. В то же время это не помешало ему принять закон против абортов, осложнивший городским женщинам жизнь еще сильнее, чем прежде, и крайне непопулярный среди этой группы.

СБЕЖАВШИЕ МУЖЬЯ

Семью можно рассматривать как сферу частной жизни, отделенность которой от сферы общественной жизни представляет главную ценность в глазах ее членов. Именно так подходили к этому вопросу интервьюеры Гарвардского проекта, и респонденты из среды интеллигенции разделяли их мнение. Неясно, однако, насколько твердо его придерживались нижние слои советского городского общества. Возможен также взгляд на семью как на важнейший институт, который существующие власти (государство, церковь или государство и церковь вместе) должны всячески поддерживать, как и было всегда в дореволюционной России. По

всей видимости, многие советские граждане, особенно женщины, придерживались такого взгляда, судя по обращениям к государству с просьбой вмешаться в семейные дела. Среди горожан наиболее распространенной формой обращения была письменная просьба о помощи в розысках отсутствующего супруга и взыскании алиментов.

Александра Артюхина, председатель крупного профсоюза, среди членов которого было много женщин, сообщала: «Ко мне в союз приходят тысячи писем от женщин-работниц, разыскивающих своих мужей». Эти женщины хотели, чтобы власти нашли сбежавших мужей и взыскали с них алименты. Некоторые писали трезвые, сухие письма наподобие следующего, присланного в женский журнал «Работница»:

«Я — работница Александра Ивановна Индых. Серьезно прошу редакцию журнала "Работница" посоветовать, как найти моего мужа, Виктора Игнатьевича Индых, который является двоеженцем и в настоящее время работает на станции Феодосия (Крым). Как только он узнает, что я его нашла, он увольняется с работы и переезжает в другое место. Так прошло уже два года, а он ничего мне не дал на воспитание ребенка, его сына Бориса»[16].

Другие письма были выдержаны либо в более жалобном, либо в более обвинительном тоне. Письмо первого типа написала, например, в крайком партии сибирячка Александра Седова, малограмотная, кандидат в члены партии, жаловавшаяся на мужа, секретаря райкома комсомола, который «ведет развратную жизнь, двурушничал, как троцкист, и заразил меня гонореей, где я лишилась детей». Когда Александра была в отпуске для поправки здоровья, муж написал ей, что женится на одной комсомолке; теперь, когда она вернулась, он пугает ее пистолетом и «предлагает выйти с квартиры, потому что тебе велика, и ты где работаешь, так пусть дают». Александра упоминает, что осталась без копейки денег, но подчеркивает, что ищет скорее понимания и моральной поддержки, а не материальной помощи: «Я не за этим прошу... чтобы жил Седов со мной, а я человек, не хочу быть за бортом и не хочу, чтобы ко мне издевательски отнеслись. Мне тяжело, если меня оттолкнут, я не должна иметь цель жизни»[17].

Письмо в партком женщины-ветеринара исполнено мстительного негодования. Работая в провинции, она познакомилась с коммунистом из Ленинграда и вышла за него замуж. В начале 1933 г., когда она была на восьмом месяце беременности, они уволились с работы, собираясь вернуться в Ленинград, но муж поехал вперед, забрав 3000 рублей их общих сбережений и все ее деньги, в том числе 200 рублей государственными облигациями, а она осталась до родов в провинциальном городке Ойрат-Тура. После рождения ребенка она написала ему, что готова ехать в Ленинград, но он все откладывал. Так продолжалось шесть месяцев, пока она наконец не написала знакомым в Ленинграде, которые сообщили ей, что ее муж «преспокойно обзавелся семьей» в городе и не собирается возвращаться к ней. Она пришла к выводу, что он женился на ней по расчету, совершив «чисто жульнический поступок», недостойный члена партии. Женщина хотела, чтобы партия наказала ее мужа и, возможно (хотя открыто об этом не говорится), чтобы его заставили возместить ей ущерб и платить алименты на ребенка[18].

Власти реагировали на подобные обращения по-разному. Кто-то горячо стремился помочь. Артюхина, например, принимала дела брошенных жен близко к сердцу (хотя жаловалась, что прокуратура, особенно на районном уровне, мало ей помогает)[19]. Западносибирский крайком партии, возглавлявшийся Эйхе, тоже проявлял сочувствие и готовность помочь. (Он получал неимоверно огромное количество писем насчет сбежавших мужей, видимо, потому, что Сибирь считалась самым подходящим местом для желающих скрыться.) «На вашу жалобу, — писала канцелярия Эйхе одной женщине, — сообщаем, что по наведенной справке ваш б. муж Голдобин Алексей Павлович работает в Мошковском Леспромхозе Мошковского района, куда вам и следует обращаться... Мы переслали вашу жалобу секретарю Мошковского РК ВКП(б) т. Юфит для оказания воздействия на Голдобина по партийной линии. Но для того, чтобы действительно получать алименты регулярно, хочет или не хочет этого Голдобин, — вам необходимо узнать, сколько он получает зарплаты, представить в суд доказательства, что он действительно отец вашего ребенка, и получить исполнительный лист, который и переслать по месту работы Голдобина. Тогда вы действительно будете получать алименты регулярно, т.к. они будут удерживаться из его зарплаты»[20].

В одном сибирском районе местные власти предприняли неординарный шаг, организовав совещание молодых крестьянок и призывая их высказывать свои претензии к мужчинам, и таким образом выявили «ряд фактов нетерпимого хамского отношения к девушкам и женам». В приведенных примерах фигурировали сплошь комсомольцы: один «бросил жену с грудным ребенком», другие изменяли женам и тиранили их, а один отпетый негодяй «за последнее время сменил пять жен»[21].

Однако парткомы не всегда стремились помочь. Многие обращения не рассматривались и оставались без ответа (так, вероятно, было в случае с женщиной-ветеринаром), другие отклонялись местными комитетами, потому что их члены сочувствовали мужьям (на это жаловалась Александра Седова в своем письме в обком). Примером может служить случай, когда партком отклонил просьбу жены заставить мужа платить алименты, мотивируя свое решение тем, что муж — хороший человек, коммунист, красноармеец запаса и пилот-любитель[22].

Все же распоряжения центра и пропаганда всем своим авторитетом поддерживали сторону брошенных жен, а не мужей. Профсоюзная газета «Труд» в середине 1930-х гг. вела особенно активную кампанию против блудных мужей. Статья под недвусмыслен-

ным заголовком «Подлость» бичевала некоего Свинухина, директора банка, бросившего семью, состоящую из его жены, трех маленьких детей и семидесятилетней матери. Свинухин уклонялся от уплаты алиментов и, как только исполнительный лист настигал его по месту работы, тут же переезжал в другой город. Так продолжалось три года, и «Труд», как Артюхина, пенял на отсутствие рвения у местных прокуроров. В статье Свинухин предстает одним из тех, кто злоупотребляет свободой, даруемой советскими законами о браке, понимая ее как право на «лихачество, распущенность, подлость», и это тем возмутительнее, что он — руководящий работник, член партии и профсоюза. «Довольно! — заканчивал журналист. — Держите Свинухина! Держите крепко! Держите, чтобы снова не удрал. Отберите партбилет! Судите Свинухина. Судите строго! При всем честном народе, в самом большом мценском клубе пусть ответит за свою подлость этот преступник»[23].

Многие брошенные жены жаловались, что муж не только скрывается от алиментов, но и «нашел другую жену» в другом городе. Проблема многоженства оказалась в центре внимания в середине 1930-х гг. Прошло несколько показательных процессов по таким делам, как, например, следующее:

«А.В.Малодеткин, рабочий Московского инструментального завода за короткий срок познакомился с тремя молодыми работницами — Петровой, Орловой и Матиной. Каждой из них поочередно он предлагал жениться и, заручившись их согласием, вступал с ними в связь. Все они считали себя его женами, так как не знали о его проделках... Выяснилось, что Малодеткин тайно... женился у себя на родине, в деревне».

Хотя Малодеткин ни с одной из своих московских подружек не заключал брак официально, его поведение было расценено и рассматривалось судом как многоженство. На суде Малодеткин никакой вины за собой не признал и заявил, что вступал с женщинами в связь «от нечего делать». Суд, возмущенный его наглостью, приговорил его к двум годам лишения свободы «за обман и издевательство над женщинами». Порой многоженство называлось среди мотивов исключения из партии. Одного коммуниста в Смоленске в середине 1930-х гг. исключили за то, что он слишком часто женился (три раза подряд) и нерегулярно платил алименты двум первым женам, а также за пьянство и неудовлетворительную работу[24].

Обсуждая проблемы семьи и брака, почти всегда исходили из заведомого предположения, что мужчины грешат, а женщины страдают. Если судить по письменным жалобам на обман, измену и плохое обхождение, это предположение, вообще говоря, справедливо: в сравнении с огромным количеством женских писем письма такого рода от мужчин встречаются крайне редко (возможно, потому, что шансы получить алименты от сбежавшей

жены, скорее всего, ушедшей к другому мужчине, были равны нулю).

И все же не следует забывать о другой стороне медали. По крайней мере в одном случае суд присудил алименты отцу, которого жена оставила с ребенком, и отказал ей во встречных претензиях на опеку и половину квартиры мужа[25]. Стоит также упомянуть об одном расследовании, проведенном Сибирским крайкомом партии по жалобному письму брошенной жены и показавшем, что «муж», от которого она требовала алименты на ребенка, едва знал ее (они жили некоторое время в одном доме) и почти наверняка не имел с ней связи. Расследователь пришел к выводу, что это была попытка вымогательства обманным путем[26].

Помимо многоженства, ряд других мужских прегрешений подвергался атаке со стороны жен, подруг, соседей, а также и государства. Оскорбленные женщины то и дело просили и требовали государственного вмешательства. «Я прошу партию проверять личную жизнь хотя бы членов партии», — умоляла обманутая жена Анна Тимошенко. Анну повергала в отчаяние открытая связь ее мужа, руководящего партийного работника в Гжатске, с женщиной — коллегой по работе. Она пошла к сопернице и предложила отпустить мужа к ней, несмотря на детей и 18 лет брака, но та с оскорбительной снисходительностью отказалась. («Она ответила так: во-первых, ты любишь безумно его, во-вторых, он любит детей, и, в-третьих, ты останешься нищая, и перестань пилить его».) Анна выследила парочку как-то вечером. Когда она внезапно появилась перед любовниками, обменивающимися «горячими поцелуями», ее муж, согласно колоритному описанию Анны, «пустился бежать, как пионер 43-летний, так он не бегал даже на гражданском фронте от вражеских белогвардейских пуль». Дети приняли сторону отца. По словам Анны, они сказали, что, пока отец «дает мне деньги и не бьет меня, чтобы я не подрывала папин авторитет и не позорила себя и [их]». Малограмотная, не работавшая нигде кроме колхоза, она не знала, куда податься, и умоляла секретаря обкома «как родного отца, как друга народа» как-нибудь повидаться с ней и помочь в ее мучениях[27].

По обвинениям во внебрачной связи власти практически никогда не предпринимали никаких действий. Что касается избиения жен (распространенного и даже обычного в среде низших классов, особенно если муж пьет), то жены редко жаловались властям по этому поводу. Соседи тоже, как правило, обходили эту тему молчанием, несмотря на то что резко отрицательное отношение властей к избиению жен было хорошо известно. Исключение представляет уголовное дело некоего Рудольфа Телло по обвинению в дурном обращении с домработницей. Телло обвиняли в «безжалостной эксплуатации» молодой и неопытной домработницы Кати и в том, что он принудил ее к сожительству, пока его жена была в отпуске. Когда Катя забеременела, он выгнал ее из

дома, но после вмешательства соседей и милиции ее вернули в принудительном порядке. Тогда Телло с женой стали избивать ее и даже позвали на подмогу двоих приятелей. Телло приговорили к пяти годам лишения свободы[28].

Заброшенные дети

Воспитание детей обычно считается женским делом, так было и Советской России 1930-х гг. Это женщины, а не мужчины, снова и снова писали властям, прося помочь их детям, «разутым и голодным». Это женщины порой отчаивались и умоляли в своих письмах взять детей на попечение государства или принять в «сыновья полка». Это женщина, две недели голодавшая с детьми зимой 1936—1937 гг., слыша, как дети просят хлеба, «встала, пошла в кухню и наложила на себя руки»; и женщина же, овдовевшая председатель колхоза с двумя маленькими детьми, телеграфировала в обком партии, что если не пришлют хлеба, то «она будет вынуждена подкинуть детей колхозу и бежать»[29].

Раз дети находились главным образом на попечении женщин, казалось бы, на женщин и следовало в первую очередь возлагать ответственность за отсутствие должной заботы о детях. Иногда так и бывало, хотя чаще (по крайней мере в печати) в жестокости и отсутствии заботы обвиняли мачех, а не родных матерей. Но были и другие случаи, когда вина возлагалась больше на мужчину, чем на женщину, даже если на первый взгляд виновны были оба. Отсутствие должной заботы о детях в 1930-е гг. стало в российских городах большой проблемой, связанной со скоропалительными браками и разводами, женским трудом на производстве и, прежде всего, жилищными трудностями.

Жилье играло главную роль в одном из наиболее неприятных случаев отсутствия заботы и плохого обращения, с которыми довелось столкнуться партийному руководству и судебным инстанциям. Роза Васильева, 14-летняя московская школьница, в 1936 г. написала серьезное письмо Сталину, предлагая ввести «детский налог» со всех советских граждан, из которого государство платило бы каждому ребенку стипендию от рождения и до 18 лет. Это защитило бы детей от возможного плохого ухода и плохого обращения родителей. Хотя письмо Розы было написано в абстрактных выражениях и не содержало непосредственно личных просьб, оно свидетельствовало о том, что девочка знает о проблемах, связанных с разводом родителей и спорами из-за жилплощади, по собственному опыту. Вероятно, это и привлекло внимание помощника Сталина Поскребышева и побудило его передать письмо А.Вышинскому, юристу и заместителю председателя Совета Народных Комиссаров.

Вышинский поручил Московской городской прокуратуре расследовать положение Розы, и вскрылась грустная история. Подобно столь многим грустным историям в СССР, она вращалась вокруг жилья. Роза и ее родители когда-то жили вместе в 11-метровой комнате. Потом родители развелись, и Роза осталась в этой комнате с отцом, Александром Васильевым. Как-то, уехав из Москвы в командировку, он нашел женщину по фамилии Вронская и поселил ее у себя, чтобы присматривала за Розой. Но милиция не прописывала Вронскую, потому что комната была слишком мала, и поэтому (как он объяснял впоследствии) он был вынужден жениться на ней, чтобы ее прописали. Почти всю вину за дальнейшие страдания Розы прокуратура возлагала на Вронскую, «истерическую личность», которая в отсутствие отца тиранила Розу, мешала ей делать уроки, не давала спать и, наконец, — через месяц после получения прописки — попыталась вышвырнуть ее на улицу. Затем последовала грандиозная битва между Вронской, отцом Розы и матерью Розы с исками и встречными исками о выселении в качестве оружия. (По всем искам было отказано, и после трехлетних усилий, когда Роза заканчивала или уже закончила школу, Вышинский в конце концов прекратил дело[30].)

Самый знаменитый случай отсутствия заботы о детях в середине 1930-х гг. — «история Геты», широко освещавшаяся газетой «Труд» и разбиравшаяся на показательном процессе на крупном московском заводе. В данном случае проблема больше была связана с разводом и повторным браком, чем с вопросом жилья. Гета Каштанова родилась в 1930 г. в Бежице, в семье техника Каштанова и работницы Васильевой. Они встретились и поженились в 1929 г., работая на заводе «Красный Профинтерн». Приблизительно в то время, когда родилась Гета, Каштанов ушел. Васильева пыталась разыскать его, чтобы получить алименты, но безуспешно. Не желая или не имея возможности самой воспитывать ребенка, она отдала его своей матери. Через некоторое время Васильева снова вышла замуж за коммуниста по фамилии Смоляков, занимавшего хорошую должность в профсоюзе, у них родилось двое детей. Потом бабушка заболела и отправила пятилетнюю Гету к матери. Смоляковы переехали в Калугу, где Смоляков работал редактором в газете; он хорошо зарабатывал, и в своей трехкомнатной квартире (по советским меркам, весьма просторной для семьи из шести человек) они держали домработницу Марусю. Но Васильева не хотела, чтобы с ней жила Гета, которую она, очевидно, не любила, и начала ее бить. Смоляков в этом не участвовал, но и ни разу не вмешался, чтобы защитить ребенка[31].

Где-то в это время Васильева узнала адрес своего бывшего супруга Каштанова, жившего теперь в Москве и работавшего инженером. Она решила отправить ребенка к отцу и тем самым устранить проблему. Домработница Маруся привезла Гету в Москву к Каштанову, но тот отказался принять ее, заявив, что его квартира слишком мала и он недостаточно зарабатывает, чтобы содержать и себя и ребенка. «Возвращение ребенка вызвало у Васильевой новый взрыв злобы, и она тут же начала опять избивать

[Гету]». Затем она приказала Марусе во второй раз отвезти девочку Каштанову, а если он ее не возьмет — оставить на улице. «Гету же она предупредила: — Тетя Маруся тебя бросит. Ты за нее не цепляйся. Если ты вернешься, — я тебя убью». Настойчивое стремление Васильевой избавиться от ребенка, очевидно, было связано с тем, что Смоляков уехал на новое место работы в Миллерово, гораздо дальше от Москвы, и она собиралась последовать за ним — без Геты.

Вечером 21 января 1935 г. Маруся и Гета вернулись к дверям Каштанова. Тот снова отказался взять девочку, проводил обеих до автобусной остановки и дал рубль на дорогу. Вероятно, Маруся оказалась в трудном положении: она оставалась без работы, в результате отъезда Васильевой в Миллерово, и с Гетой на руках. Она решила последовать указаниям Васильевой, привела Гету в магазин игрушек и (по одной версии событий) затерялась в толпе. (По другой версии, Гета осталась там сознательно и не возражала, «потому что мать в напутствие сказала няньке, что если Гета приедет обратно, то мать ее задушит или отравит».) Четыре дня спустя Гету привели в 22 отделение милиции, грязную и оборванную. «Девочка рассказала: паспорта у нее нет, мама живет в Бежице, что такое папа — она не знает, и что она хочет есть». При ней нашли записку карандашом: «Дета Каштанова, пяти лет. Отец — инженер, проживает в 11-м проезде Марьиной Рощи, в д. 30, в кв. 2. Выгнал девочку на улицу. Пожалейте ее, люди добрые!»[32]

Проследовав по указанному в записке адресу, милиционеры попытались уговорить Каштанова взять ребенка, тот по-прежнему отказывался, и весьма эмоциональный репортаж в «Труде» присваивает ему роль главного злодея: «Под суд инженера Каштанова!» В тот же день районный прокурор возбудил против Каштанова дело по статье 158 Уголовного кодекса, и его арестовали[33].

В ходе следствия обратили внимание и на Васильеву — вероятно, в результате допроса свидетелей, — и она тоже была арестована 6 мая. К тому моменту, когда дело дошло до суда, Васильева стала главной обвиняемой, Каштанову и Устиновой («тете Марусе») тоже вменялось в вину отсутствие заботы о ребенке и плохое обращение с ним, но в меньшей степени. В июле состоялся показательный суд в клубе Трехгорной мануфактуры, на нем выступала женщина-прокурор Нюрина, публика состояла в основном из женщин — работниц мануфактуры. Нюрина сначала потребовала для Васильевой наказания в виде трех лет лишения свободы, но потом «ввиду болезни Васильевой дело о ней было выделено», и в тот раз она приговора не получила. Каштанова приговорили к шести месяцам лишения свободы и обязали платить 125 руб. в месяц (более трети его заработка) бабушке Геты, которой снова пришлось стать опекуном девочки. После объявления приговора работницы остались в зале, и «раздался единодушный крик: — Мало!» Прокурор Нюрина снова взяла слово и сказала, что будет ходатайствовать «о более суровом законе для алиментщиков», — разумея, естественно, мужчин[34].

Реакция на дело Геты показывает, насколько глубоко было негодование женщин в отношении мужчин, отказывающихся брать на себя ответственность за семью. Власти, по-видимому, это хорошо понимали, о чем свидетельствует решение провести показательный процесс перед аудиторией, состоящей из женщин-работниц, и с прокурором-женщиной. Приблизительно в то же время в одном ленинградском издательстве состоялось пропагандистское мероприятие по гораздо менее серьезному поводу, однако с той же скрытой подоплекой. В данном случае о плохом обращении с ребенком речь не шла, а оказавшаяся в центре внимания семья была явно обеспеченной и даже просвещенной. Мероприятие представляло собой отчет коммуниста Жаренова (очевидно, одного из работников издательства) перед собранием о том, «как он воспитывает своих детей». В протоколе собрания отмечены в основном недостатки:

« — Я должен признаться, — говорит Жаренов, — что до сих пор очень мало уделял внимания воспитанию своих детей. Особенно остро я почувствовал это сейчас, когда рассказываю товарищам о себе, как об отце-коммунисте. В нашей семье до сих пор дело было поставлено так, что воспитанием детей занималась только одна жена и я почти не вникал в это дело».

Аудитория подхватила заданный тон и потребовала дальнейшей «самокритики»:

«Они спрашивали: "Пионерка ли дочь?" "Видит ли ребенок в семье пьяных?" "Сквернословят ли родители в присутствии детей?" "Есть ли у ребенка отдельная посуда?" "С кем общаются ваши дети?" "Кто их лучшие друзья?" "Какие оценки дети получили во второй четверти?" и т.д.».

Товарищ Жаренов оказался не способен ответить на эти вопросы: «Он не знал, как его дети учатся в школе, что делают на улице». В результате «выступавшие в прениях резко критиковали коммуниста Жаренова за то, что он плохо воспитывает своих детей». Странно в этой истории то, что жену Жаренова (присутствовавшую на собрании вместе с дочерью Лидой), судя по протоколу, не критиковали и даже почти не упоминали. Возможно, ее ответственность за недостатки в воспитании детей подразумевалась без слов, но вернее будет усмотреть в этом заведомую установку собрания на то, что именно *мужчины*, а не женщины чаще всего плохо заботятся о своих детях и должны исправиться. О жене Жаренова вскользь упоминалось только в счастливом финале собрания, когда «товарищ Жаренов вместе со своей семьей включился в конкурс на лучшее воспитание детей»[35].

Беспризорные дети и малолетние правонарушители

Одну из крупнейших социальных проблем, связанных с развалом семьи, представляли беспризорники и малолетние хулиганы.

Бездомные дети — осиротевшие, брошенные родителями, сбежавшие из дому — сбивались в шайки, изворачивались, как могли, добывая пропитание в городах и на вокзалах, катались по железным дорогам. После гражданской войны в стране были сотни тысяч таких детей, и на протяжении 1920-х гг. не прекращались усилия поместить их в детские дома и дать им образование. К концу десятилетия острота проблемы стала ослабевать, отчасти потому, что дети выросли. Но затем последовали коллективизация, раскулачивание, голод в деревне, и появилась новая армия беспризорников — детей кулаков, детей, у которых родители умерли от голода или затерялись в городах[36].

Сеть детских учреждений — приемники-распределители детей, подобранных на улице, комиссии по делам несовершеннолетних, детские дома, колонии для малолетних правонарушителей типа макаренковской — были перегружены сверх всякой меры. Деревня часто отказывалась от традиционной практики попечения о сиротах, отчасти из-за несмываемого пятна, лежащего на кулацких детях: «Ребенка, у которого умерли родители, сельсовет немедленно направляет в город или в ближайший детдом». Сельские власти очищали свои районы от малолетних нищих и бродяг, выдавая им «справки о бродяжничестве и нищенстве» и отвозя в ближайшие города и на железнодорожные станции. Администрация маленьких городков зачастую поступала также, насильно сажая брошенных детей в поезда, идущие в крупные города[37].

Усложняло ситуацию еще и то, что сами родители, из-за нищеты или переезжая с места на место, нередко временно сдавали своих детей в детский дом. Этот обычай восходил еще к эпохе гражданской войны (как описано в известном романе Ф.Гладкова «Цемент», где героиня Даша оставляет ребенка в детдоме, там случается пожар, и ребенок погибает) и, по-видимому, стал широко распространенной практикой. Последствия бывали разные. Двум истощенным от недоедания детям раскулаченных родителей, которые в порыве отчаяния оставили их на пороге детского дома, детдом спас жизнь; в материальном отношении им там жилось лучше, чем в семье, которая в конце концов забрала их обратно. Для другого ребенка, росшего в сибирском детдоме, после того как его семья бежала в 1921 г. из голодающего Поволжья, все также сложилось хорошо; мать не стала забирать его, но ему удалось сохранить связь с ней и со своими братьями и сестрами и получить образование. Однако случались и трагедии. Сибирский рабочий отдал своих маленьких детей в барнаульский детский дом после смерти жены, а когда пришел забрать их, выяснилось, что один умер, а другой исчез в неизвестном направлении — вероятно, был отправлен в колхоз, но никто не знал, в какой[38].

В первой половине 1930-х гг. все бóльшую проблему стала представлять преступность несовершеннолетних, от карманных краж до хулиганства. Однако до 1935 г. закон довольно снисходительно относился к несовершеннолетним: например, максимальное наказание за хулиганство предусматривало два года лишения свободы, причем малолетним правонарушителям предпочитали давать условные сроки[39]. Органы, имеющие дело с несовершеннолетними преступниками, концентрировали свое внимание на семейных обстоятельствах и на том, как их улучшить. Но внезапная вспышка немотивированного насилия, включая убийства, на городских улицах в 1935 г., причем главными действующими лицами актов насилия выступали несовершеннолетние, дискредитировала этот «либеральный» подход.

К.Е.Ворошилов, член Политбюро и нарком обороны, забил тревогу. Цитируя сообщения советских газет о серии убийств и налетов, совершенных в Москве двумя шестнадцатилетними подростками, он заявил, что на учете у московских властей состоят «до 3000 злостных хулиганов-подростков, из которых около 800 бесспорных бандитов, способных на все». Порицая мягкость, проявляемую судами в отношении малолетних хулиганов, он предложил, чтобы сделать столичные улицы снова безопасными, поручить НКВД немедленно очистить Москву не только от беспризорных подростков, но и от правонарушителей, отбившихся от рук родителей. «Я не понимаю, почему этих мерзавцев не расстрелять, — закончил Ворошилов. — Неужели нужно ждать, пока они вырастут еще в больших разбойников?»[40]

Чувства Ворошилова полностью разделял Сталин, который, как говорят, был главным автором постановления Политбюро от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», устанавливавшего для несовершеннолетних, достигших 12-летнего возраста, за насильственные преступления такую же ответственность, как для взрослых[41]. За этим постановлением последовал закон с оптимистическим названием «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», расширявший участие НКВД в судьбе бездомных детей и малолетних правонарушителей и представляющий собой попытку ускорить процесс удаления их с улиц и помещения в соответствующие учреждения. В законе также делалась попытка защитить сирот от злоупотреблений опекунов (в особенности от незаконного присвоения жилплощади и имущества, оставшихся после смерти родителей) и давались милиции полномочия налагать на родителей штраф в размере до 200 руб. за «озорство и уличное хулиганство детей». Для родителей, не присматривающих за детьми должным образом, теперь существовал риск, что государство отберет у них детей и поместит в детский дом, а их заставят платить за содержание[42].

ЗАКОН ОБ АБОРТАХ

Должен быть закон, который заставит мужчин серьезно относиться к браку, писал армянский колхозник (мужчина) Калини-

ну. Нельзя разрешать им разводиться и оставлять детей сиротами[43].

Так думали многие в Советском Союзе, в середине 1930-х гг. так думала и власть. В мае 1936 г. правительство издало проект закона об укреплении семьи, одним из самых одиозных аспектов которого было запрещение абортов. Это явилось ударом для многих партийцев и представителей интеллигенции, поскольку отмена запретов времен царизма являлась одной из самых ярких черт прежнего советского «освободительного» законодательства. Удивлял и способ действий правительства: вместо того чтобы издать закон обычным порядком, оно опубликовало проект для общенародного обсуждения[44].

Проект закона касался четырех основных вопросов: об абортах, разводах, алиментах на детей и пособиях многодетным матерям. Предлагалось запретить аборты, за исключением случаев, когда существует угроза жизни или здоровью матери, а также наказывать врачей, производящих аборты, и лиц, принуждающих женщин делать аборт, лишением свободы до двух лет. Сами женщины должны были «подвергаться общественному порицанию» — т.е. выносить позор публичного обсуждения и критики их поведения, как правило, на работе — и наказываться штрафом за повторные нарушения закона. Получение развода затруднялось в результате требования, чтобы на слушании дела о разводе в суде присутствовали обе стороны, и повышения платы за регистрацию развода до 50 руб. за первый развод, 150 руб. — за второй и 300 руб. — за каждый последующий. Размеры алиментов повышались до одной трети заработка отсутствующего родителя на одного ребенка, половины — на двух и 60 % — на трех и более детей; санкция за неуплату алиментов увеличивалась до двух лет лишения свободы. И наконец, — матери с семью детьми должны были получать пособие в размере до 2000 руб. в год (действительно значительная сумма) в течение пяти лет, с доплатой за каждого последующего ребенка до одиннадцатого включительно (до суммы в 5000 руб.).

Поскольку обсуждавшийся проект, по всей видимости, представлял позицию правительства по вопросам семьи, для свободного выражения мнений существовали совершенно очевидные препятствия. Сообщалось, что обсуждения на предприятиях и в организациях порой проходят формально и непродуктивно, присутствующие рассматривают их как некую повинность: на фабрике «Красная швея», например, «на общефабричном митинге не выступил, кроме чтеца проекта, ни один человек», а по крайней мере один из тех, кто хранил молчание, как обнаружил репортер, относился к закону резко отрицательно. Но не всегда критики были столь сдержанны. В материалах газеты «Труд», освещающих дискуссию, развернувшуюся главным образом по вопросу об абортах, встречается ряд разных мнений, как позитивных, так и негативных, хотя дебаты неизменно сопровождаются редакционными статьями, в которых проводится твердая линия против абортов, в первую очередь по причине вреда, наносимого женскому здоровью и способности вынашивать детей[45].

Трудно представить вещи столь несхожие, как советские дебаты об абортах 1930-х гг. и споры, идущие в настоящее время в Америке. В советских дебатах о «праве плода на жизнь» речь вообще не шла, и лишь вскользь упоминалось о праве женщины на контроль над собственным телом. Все участники дискуссий в городах исходили из убеждения, что любая здравомыслящая женщина, естественно, хочет иметь детей (хотя мужчины и некоторые молодые, безответственные женщины могут считать иначе). Главный вопрос для участников советских дебатов заключался в том, как быть с женщинами, материальное положение которых настолько плохо, что они считают себя вынужденными отказаться от радостей материнства: следует или не следует разрешить им делать аборты? Эти дебаты были практически лишены философского аспекта и имели мало отношения к идеологии. Центральной темой дискуссий оказались проблемы с жильем и здравоохранением в СССР[46].

Одна женщина сказала репортеру, что пойдет «буквально на все, чтобы не иметь второго ребенка» и «готова на аборт в любых условиях», хотя у нее есть муж и зарабатывает она хорошо. Причины этому — проблемы со здоровьем у первого ребенка, требующие неусыпного внимания, и плохие жилищные условия: «Моя семья живет в комнате в 30 метров вместе с другой семьей. Имею я право позволить себе роскошь завести в таких условиях второго ребенка? Я считаю, что нет». Другие женщины (и даже один случайно затесавшийся мужчина) писали в газеты письма с такими же аргументами. «Я живу с тремя детьми в 12-метровой комнате, — писала женщина-бухгалтер из Москвы. — И как ни велико мое желание иметь четвертого ребенка, не могу позволить себе этого». Аборты нужно запретить, но только частично, утверждал ленинградский инженер (мужчина): следует принимать индивидуальное решение по каждому отдельному случаю, после обследования «авторитетной комиссией» материальных и жилищных условий беременной женщины[47].

Почти все участники дискуссии соглашались, по крайней мере на словах, что разрешать аборты следует в ограниченных пределах. Некоторые предлагали безоговорочно запретить аборты бездетным женщинам, тогда как для женщин, имеющих детей, должны быть более снисходительные правила. Другие предлагали сделать целый ряд исключений: для женщин с тремя-четырьмя детьми, для молодых женщин, желающих завершить свое образование, для женщин старше сорока. Часто высказывалось предположение, что запрет легальных абортов приведет к росту числа подпольных абортов «и тем самым числа искалеченных женщин»[48].

Решительнее всего выступали в поддержку запрета на аборты женщины, сделавшие когда-то аборт, после которого у них ухудшилось здоровье или появились трудности с вынашиванием детей.

«Мне 39 лет. Но только вчера у меня родился первый ребенок. Много лет назад я сделала себе аборт. И вот последствия. Два раза была беременной, а доносить не могла. Ухудшившееся после аборта здоровье мешало правильному течению беременности. Как горячо я хотела ребенка! Как проклинала я себя и того врача, который согласился сделать мне аборт»[49].

Что касается положений закона о разводе, многие женщины выражали одобрение по поводу их карательного уклона, в частности, по поводу повышения платы за регистрацию развода (затрагивающего, по их мнению, в первую очередь мужчин) и более сурового наказания для отцов, не платящих алименты на детей. «Вот уже 5 лет, как мой муж бросил семью и не платит алиментов на содержание детей, — говорила работница-стахановка. — Теперь он уже не отвертится. Новый закон заставит таких отцов заботиться о детях»[50].

Некоторые мужчины возражали против введения высокой платы за регистрацию развода, утверждая, что тогда «развод превратится в роскошь, доступную только высокооплачиваемым категориям работников». Но другие поддерживали эту меру. Во время обсуждения проекта закона на московском электрозаводе один рабочий предложил *утроить* расценки, так чтобы первый развод стоил 200 руб., а третий — тысячу. «Многоженцев надо судить, как преступников», — сказал другой рабочий. Однако тот же самый человек предложил подходить к каждому разводу индивидуально, подразумевая, что платить за развод должна только «виновная» сторона. Еще один рабочий прямо выразил эту точку зрения, заявив, что специальный суд должен устанавливать, кто виновен в развале брака, и виновная сторона должна оплачивать регистрацию развода[51].

В проекте закона предлагался чрезвычайно большой размер алиментов — до 60 % от заработка. Естественно, это встревожило многих мужчин. Служащий из Воронежа писал:

«Что, если мужчина женился второй раз и имеет детей от второго брака? Значит, вторая семья будет жить на 40 % его зарплаты. Почему дети от второго брака должны быть в худших условиях? По моему мнению, размер алиментов не должен превышать половины заработка плательщика»[52].

Тревожил этот вопрос и женщин, вышедших замуж за мужчин с детьми от первого брака (они, по-видимому, составляли довольно многочисленную группу). Одна из них писала, что «жена во втором браке находится в исключительно тяжелом материальном положении», особенно если у нее самой несколько детей. Такие жены, добавляла она, должны иметь право сделать аборт[53].

Несмотря на публикацию множества положительных откликов, после чтения материалов дискуссии остается впечатление, что

многих городских женщин (пожалуй, большинство) перспектива запрещения абортов привела в ужас. Реакция на другие аспекты была более позитивной, хотя некоторых смущал большой размер алиментов, предложенный в проекте закона, и даже те, кто поддерживал это положение, сомневались в его осуществимости на практике. Ужесточение процедуры развода встретило поддержку; имеются также признаки того, что некоторые участники обсуждения приветствовали бы упразднение «свободного брака». (Фактически он был упразднен только в 1944 г., наряду с введением весьма существенных ограничений свободы разводов[54].)

После месяца обсуждения 27 мая 1936 г. вступило в силу постановление об абортах. В основном оно повторяло проект, свидетельствуя о том, что очевидное неприятие идеи тотального запрета на аборты в обществе, особенно среди женщин, не было принято во внимание. Из всех предложенных к статье о запрещении абортов исключений принято было только одно (кроме первоначально содержавшегося в тексте исключения в случае «угрозы жизни и здоровью женщины») — для женщин с наследственными заболеваниями. Правда, была сделана одна существенная уступка, главным образом в пользу мужчин: размер алиментов был понижен с одной трети (как в проекте) до одной четверти заработка на одного ребенка, с половины до одной трети — на двух детей и с 60% до 50% на трех и более детей[55].

Объявление абортов вне закона весьма существенно сказалось на жизни женщин. Оно проводилось в жизнь достаточно жестко и заметно повлияло на городскую рождаемость, остановив ее снижение и повысив показатель рождаемости с 25 младенцев на 1000 чел. в 1935 г. до почти 31 младенца на 1000 чел. в 1940 г. Поскольку жилищные условия за этот период не улучшились, связанные с этим процессом страдания и тяготы должны были быть очень велики. Многие женщины прибегали к нелегальным абортам, но это было опасно как с медицинской точки зрения, так и с точки зрения закона. Газеты регулярно печатали короткие заметки о судах над врачами и неквалифицированными знахарками, производившими аборты, а также над теми, кто принуждал женщин сделать аборт (обычно это были их мужья). По закону сами женщины должны были подвергаться общественному порицанию, а не уголовному преследованию, но некоторые мемуаристы утверждают, что женщин за аборт сажали в тюрьму. Возможно, в их памяти просто слились эпоха 1930-х гг. и более суровый послевоенный период, однако по крайней мере одно газетное сообщение, кажется, подтверждает их слова[56].

Пособия многодетным матерям

Пособия матерям в ходе общенародного обсуждения (по крайней мере судя по его опубликованным материалам) не являлись

темой оживленной дискуссии, возможно, потому, что люди, любящие высказывать свое мнение по общественно-политическим вопросам, — это не те, у кого семеро и больше детей. Большинство комментировавших эту статью предлагали снизить число детей, необходимое для получения пособия, ибо, как сказал рабочий московского электрозавода, «если в семье работает только один человек... трудно вырастить пятерых или шестерых детей без помощи государства»[57]. Это одно из предложений по проекту, которое было включено в окончательный текст закона (хотя и в менее радикальной форме, чем обычно предлагалось), — минимальное количество детей, необходимое для получения пособия по многодетности, было снижено с семи до шести человек.

Только после принятия закона данный его аспект действительно привлек внимание, но иного рода, чем положение о запрещении абортов: здесь речь шла о *правах и льготах*, и женщины по всему Советскому Союзу стали думать, как бы получить свое. Через месяц после того, как закон был принят, начальник Московского отдела загс с гордостью рассказывал в печати, что в Московской области уже получено более 4000 заявлений на выплату пособия. 2730 семей, подавших заявление, имели по восемь детей, 1032 — по девять–десять, 160 — более десяти. Рекорд поставила одна мать из Шаховского района, у которой было пятнадцать детей[58].

Архивы свидетельствуют о том, какой живой интерес вызывали пособия, выплачиваемые матерям: они полны писем от женщин (и даже некоторых мужчин), спрашивающих, имеют ли они право на пособие. Составители и аппаратчики, ответственные за исполнение закона, очевидно, мало задумывались над различными нюансами этого вопроса, но для отдельных граждан как раз они-то и имели решающее значение. Обязательно ли иметь шестерых *живых* детей, чтобы получать пособие? (Ответ на этот часто встречающийся вопрос был положительным.) Считаются ли приемные дети? Пасынки и падчерицы? Дети иностранных граждан? (Ответ отрицательный.) Может ли получать пособие многодетный отец, если мать умерла? (Ответ отрицательный[59].)

Среди наиболее сложных проблем — связанные с гражданскими правами. На запрос местного совета от 16 октября 1936 г., имеют ли право на пособие семьи лишенцев, центр не ответил. На вопрос, могут ли получать пособие женщины, мужья которых сидят в тюрьме, был дан ответ, что могут, если муж осужден за уголовное преступление и должен скоро выйти на свободу. Этот любопытный ответ подводит нас к одному из самых странных побочных последствий закона — аппаратному диспуту времен Большого Террора о том, имеют ли право на пособие жены врагов народа, которым посчастливилось иметь много детей. В октябре 1937 г. Наркомат финансов издал секретную инструкцию не выплачивать больше пособие по многодетности женщинам, мужья которых разоблачены как враги народа. Однако Генеральный

прокурор Вышинский заявил протест, указав, что финансовое ведомство, отдавая подобное распоряжение, превысило свои полномочия[60].

Неясно, как разрешилось это дело и разрешилось ли вообще. Однако, как это ни удивительно, действительно были жены врагов народа, пытавшиеся получить пособие. В июне 1938 г. армянская крестьянка прислала просьбу Калинину:

«Имею 7 детей. Мой муж арестован и приговорен к расстрелу с конфискацией имущества. После ареста мужа меня исключили из колхоза. Мои дети голодают. За 1938 г. пособие по многосемейности мне не дали, ссылаясь на арест мужа. Прошу смягчить наказание мужа и отменить конфискацию нашего имущества»[61].

Письмо осталось без ответа.

ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННИЦ

В первые полтора десятилетия после революции звание «жены» почти что не считалось заслуживающим упоминания. Эмансипированная женщина, представляясь, называла не мужа, а место своей работы и род деятельности вне дома. Образованные женщины-революционерки презирали домашний труд и склонны были считать воспитание детей скорее общественной, чем семейной обязанностью. Заботиться прежде всего о доме и семье было «мещанством». Хотя домохозяйки имели избирательные права, к ним часто относились как к гражданам второго сорта. «Иногда мне казалось, что нас, домашних хозяек, даже не считают людьми...» — жаловалась одна женщина. Другая писала:

«Во всех документах у меня написано — домохозяйка. Вот уже десять лет, с тех пор, как я кончила школу и вышла замуж, мне всегда приходится заявлять об этом многозначительном занятии. На выборах Советов я, здоровая молодая женщина, сидела вместе со стариками и инвалидами-пенсионерами. Ведь я неорганизованное население»[62].

В придачу к страданиям из-за своего приниженного положения как «домохозяек» жены высокопоставленных руководителей промышленности часто томились скукой, особенно когда их мужей назначали на новые заводы и жить приходилось в глуши, без всяких удобств и развлечений. В небольшом сборнике автобиографий, выпущенном несколькими такими женами (в основном с металлургических комбинатов на юге), они описывали, как пуста была их жизнь до начала движения общественниц: единственные события — посещения парикмахера, вечеринки, на которых все время одни и те же лица и не о чем говорить. Время тянулось для жен бесконечно, и они часто ссорились с мужьями из-за того, что те вечно заняты своей работой. Женщины из среды дореволюционной интеллигенции — каких все еще было много среди жен инженеров — особенно страдали от одиночества и ок-

ружающего их бескультурья, тем более что мужья-то завязывали близкие отношения с коммунистами, работавшими вместе с ними. Одна из женщин вспоминала, какая досада охватила ее, когда она обнаружила, что муж умеет находить общий язык с управленцами-коммунистами, а она — нет:

«Чем больше он проводил время на заводе, чем больше участвовал в стройке, тем дальше и дальше уходил от меня. У него появились свои знакомые. Это были не только инженеры. Дома у нас начали бывать хозяйственники, партийные работники... Еще в детстве меня учили занимать гостей. Когда-то я владела этим искусством мастерски. Теперь оказалось, что мало уметь говорить за столом, надо знать о чем говорить... Как-то, во время попытки поддержать разговор, я взглянула на мужа и осеклась. Его глаза выражали страшную жалость и беспокойство»[63].

Для таких женщин, стремящихся найти себе занятие и хоть какой-то способ установить связь с новым советским обществом, движение общественниц оказалось подарком судьбы. Это движение, получившее название благодаря своему журналу «Общественница», зародилось в тяжелой промышленности, под патронажем наркома Серго Орджоникидзе, и поднялось на союзный уровень в мае 1936 г., когда в Кремле состоялось «всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности». Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов и другие руководители присутствовали на совещании, милостиво принимая от делегаток подарки и пышные славословия. Вскоре подобным же образом сорганизовались жены армейских командиров и администрации железных дорог[64].

Одной из проблем, с которой сталкивались в прошлом домохозяйки, желавшие объединиться, было отсутствие подходящего организационного принципа. «Уличные комитеты», мобилизовавшие женщин по месту жительства, успеха не имели. Великим открытием движения общественниц стал тот факт, что жены, как и все остальные члены советского общества, могут быть организованы по месту работы — в данном случае по месту работы *мужа*. Не только место работы, но и должность мужа имела важнейшее значение во внутренней структуре движения: любое местное отделение движения в промышленности обычно возглавлялось женой директора предприятия.

Именно на общественниц возлагалась задача сделать более «культурными» общество в целом и места, где работали их мужья, в частности. Согласно одному рассказу, все движение началось после того, как Орджоникидзе, совершая поездку по Уралу, особо отметил сквер, который жена местного руководителя промышленности Клавдия Суровцева засадила цветами и кустами. От жен требовалось обставлять рабочие общежития и бараки, организовывать детские сады, ясли, летние лагеря и санатории, курсы ликбеза, библиотеки и общественные бани, инспектировать заводские столовые, сажать деревья и вообще делать все возможное, чтобы улучшить жизнь на предприятиях, где работали их мужья. Их труд обычно не оплачивался, а финансирование их проектов осуществлялось (как правило, негласно) по принципу своего рода домашнего блата: муж-директор выделял средства из фонда предприятия[65].

Общественницы старались также делать все возможное, чтобы улучшить собственную жизнь, которая в далекой глуши на стройках, в железнодорожных депо, военных гарнизонах зачастую была весьма унылой. В Магнитогорске общественницы (возглавляемые женой директора Марией Завенягиной) устроили в местном театре «культурное» кафе и выступали в роли меценаток. На заводе «Красный Профинтерн» они создали ателье мод. В Кривом Роге — пошивочную мастерскую, где работницы могли купить платье за 7—8 рублей, а затем еще и более фешенебельное ателье для представительниц элиты, где платья стоили от 40 до 100 рублей[66].

Добрая половина того, что делали общественницы, напоминала благотворительность женщин из высших кругов общества при старом режиме. Кстати, некоторые из общественниц действительно до революции занимались благотворительностью. Конечно, такая аналогия решительно отвергалась представительницами движения, хотя старая большевичка Н.К.Крупская (вдова Ленина) на учредительном совещании была близка к тому, чтобы провести ее. «Мы не занимаемся благотворительностью. Мы проявляем общественную активность», — с жаром настаивал журнал движения[67].

Однако великосветская традиция «благотворительных балов», присущая филантропии «буржуазного» общества, явно не была чужда ее советскому варианту. Магнитогорские общественницы организовывали костюмированные балы, куда пускали только по приглашениям, исключая тем самым присутствие «нежелательных элементов». Кроме того, и местные и всесоюзное отделения движения всячески старались поддерживать тесные отношения с политической верхушкой, зачастую обращаясь к ее представителям в самом прочувствованном и льстивом тоне. Как свидетельствует дневник Галины Штанге, одной из главных забот общественниц был выбор изысканных даров своим политическим патронам, таким как, например, нарком путей сообщения Л.М.Каганович. В Ленинграде швеи фабрики «Работница» жаловались в комитет партии, что жен местных хозяйственников интересуют только почетные награды и реклама и они тратят государственные деньги и время работниц, заставляя последних вышивать портрет товарища Сталина на кавалерийском параде, который собираются подарить вождю. Все работницы возмущены тем, как «жены» эксплуатируют их, чтобы прославиться самим, говорилось в письме[68].

Как показывает это письмо, движение общественниц имело четко определенную классовую базу: это была форма организации именно жен представителей элиты, а не простых работниц. Великосветские замашки общественниц порой раздражали руководите-

лей-коммунистов и рабочих. Даже внутри движения иногда слышались признания, что отношения жен с подчиненными их мужей оставляют желать лучшего, потому что они «держат себя с товарищами надменно и разговаривают в начальническом тоне». Вступление в ряды общественниц жен рабочих-стахановцев не изменило сколько-нибудь существенно ни элитарного характера движения, ни отношения к нему в народе[69].

Тем не менее, движение общественниц представляло для многих его участниц важный опыт социализации в советском обществе. Выше цитировались слова женщины, муж которой раньше со «страшной жалостью и беспокойством» наблюдал за ее попытками занимать гостей-коммунистов. Теперь ей было о чем с ними говорить, и с мужем нашлись общие интересы. И она, и другие общественницы приобщились также к специфическим советским ритуалам, что прежде было им недоступно из-за отсутствия контактов с советской профессионально-деловой средой. Дневник Галины Штанге, жены инженера-путейца, повествует о том, как она все ближе знакомилась с миром заседаний, совещаний, фотографий для газет и даже командировок в другие города, и ясно показывает, что эти ритуалы служили для нее источником особенного наслаждения, чувства удовлетворения и самоуважения. Собрания и другие официальные встречи общественниц проводились (так же как в комсомольской, пионерской и других общественных организациях) в строгом соответствии с советской процедурой «настоящих» деловых совещаний. Вот как Галина Штанге рассказывает об одном из своих официальных визитов в качестве представительницы движения общественниц:

«Комната... была украшена цветами и транспарантами. Посреди комнаты стоял стол, покрытый красной скатертью. Весь Женсовет, плюс стенографистки, уже был здесь и ждал нас... Меня посадили в центр стола, и мы сфотографировались... Потом активистки из каждой бригады отчитывались о своей работе»[70].

Одной из главных тем, пропагандировавшихся движением общественниц, была обязанность жены обеспечить комфортабельный, благоустроенный быт своему мужу. «Став общественницами, эти женщины не перестали быть женами и матерями», — сказала одна делегатка на совещании жен красноармейцев, и этот мотив то и дело подчеркивался, особенно на ранних этапах движения. Идеалом представлялась женщина вроде жены профессора Якунина, которая, являясь членом Московского областного совета жен ученых, не позволяла новым общественным обязанностям мешать ее основному призванию — служить поддержкой и опорой мужу:

«Ни широкие и серьезные дела, ни пухлый портфель, ни бесчисленные телефонные звонки не дают повода профессору Якунину жаловаться на невнимание жены к дому. В комнате ее — образцовый порядок и теплый, женский уют. По-прежнему она сама и одна управляется со всем своим хозяйством, по-прежнему, приходя домой, муж встречает приветливую, внимательную жену»[71].

Правда, в реальной жизни сочетать одно с другим было нелегко. «Н.В.» — жена магнитогорского инженера — положила начало оживленной дискуссии, прислав в «Общественницу» письмо, в котором спрашивала, как ей примирить требования супруга, чтобы она сидела дома, смотрела за ребенком и, в первую очередь, за ним самим — была его «секретарем, советчиком, нянькой, утешительницей», с ее собственным ощущением, что полученное ею образование пропадает впустую и все волнующие события в стране проходят мимо нее[72].

Читатели реагировали по-разному. Одни резко критиковали мужа. Кому-то из читательниц он напоминал «барина, который не уснет, если ему крепостной не почешет пяток», и она советовала Н.В. как можно скорее освободиться от такого удушающего, эксплуататорского брака. Другая участница дискуссии считала, что, если Н.В. займется общественной деятельностью, муж отреагирует лучше, чем она опасается, и приводила в пример собственного мужа, научившегося, когда она пошла работать, ходить по магазинам, готовить и убирать — и все это без всякого ущерба для их отношений («если они и изменились, то только к лучшему: мы стали ближе, у нас появилось больше общего»). По вопросу о том, что следует делать Н.В., если она решит освободиться, — пойти работать или просто стать активисткой движения общественниц — мнения читателей разделились[73].

Одна из самых любопытных черт движения — его неоднозначное, порой даже неодобрительное отношение к женскому труду ради заработка. Ведь это было десятилетие, когда миллионы женщин шли работать и их в этом всячески поощряли. Режим делал все возможное, чтобы повысить число женщин в вузах, в рядах специалистов и (с меньшим успехом) выдвинуть женщин на административные посты. Женщин в СССР приучали к мысли, что они должны делать карьеру. Как сообщала респондентка Гарвардского проекта, «на собраниях и лекциях постоянно твердили, что женщины с мужчинами должны быть полностью равны, что женщины могут быть летчиками, инженерами-кораблестроителями и всем тем, чем могут быть мужчины»[74].

Когда дело касалось «отсталых» групп, например крестьян или жителей Средней Азии, режим всячески поощрял женщин отстаивать свои права в борьбе против угнетателей — отцов и мужей; поэтому вопрос о «долге жены» не принадлежал к числу тем, широко освещавшихся советской пропагандой (помимо движения общественниц). Собственно, даже журнал «Общественница» признавал, что в низших слоях общества у мужчин столь непросвещенные взгляды, что вопрос о женской эмансипации по-прежнему стоит на первом месте, и с почтительным сочувствием описывал тяжелую жизнь женщин из рабочей среды, вынужденных бороться с деспотичными, дающими волю рукам мужьями. Все это лишний раз подчеркивает элитарный характер движения общественниц и свидетельствует о том, что основные пропаганди-

7 — 788

руемые им идеи и взгляды по меньшей мере настолько же исходили от самих жен представителей элиты, насколько и от режима.

Так или иначе, к 1939 г. движение общественниц перестало делать упор на домашний труд и сосредоточилось на теме обучения женщин мужским профессиям и поступления их на работу. Такой поворот в равной мере был результатом внутреннего развития движения и реакцией на угрозу войны и вероятность того, что мужчин скоро призовут в армию. Журнал «Общественница» предлагал вниманию читателей множество рассказов об отважных, передовых женщинах, добившихся высоких достижений в традиционно «мужских» профессиях и видах деятельности: капитане корабля Анне Щетининой, экипаже летчиц под командой Полины Осипенко, о бесстрашных автомобилистках — участницах дальнего автопробега по маршруту Москва — Аральское море — Малые Каракумы — Москва. В армейском отделении движения общественниц особой популярностью пользовалось укрепление тела с помощью лыжного и велосипедного спорта, дальних походов. Не отставали от них и общественницы Кузнецкого металлургического комбината: одиннадцать из них отправились в поход в противогазах под девизом «Будь готов к противохимической защите»[75].

Участницы движения учились стрелять, водить грузовик, летать на самолетах. Они ходили на курсы «шоферов, связистов, стенографисток, бухгалтеров». Поначалу это обычно подавалось как способ сделаться достойными партнерами своих мужей, но вскоре превратилось в самоцель, тесно связанную с подготовкой к войне. Еще в 1936 г. 60 жен инженеров в Горьком учились водить машину «с тем, чтобы в нужный для родины момент по-боевому сесть за руль». В 1937 г. Каганович (по свидетельству дневника Галины Штанге) объяснял женам транспортников, «как необходимо нам разбираться в международном положении и быть готовыми в любой момент заменить наших мужей, братьев и сыновей, если они уйдут на фронт». К 1939 г. тема готовности занять место мужчин, вместе с пламенными призывами к матерям и женам будущих солдат, стала для движения общественниц центральным пропагандистским мотивом[76].

В 1938 г. почти все материалы «Общественницы» были выдержаны в таком духе, словно общественная деятельность для жен — необходимый подготовительный этап на пути к дальнейшему образованию или выдвижению на административную работу — своего рода «рабфак» для жен элиты. Советы общественниц добивались у администрации поддержки для различных курсов, которые давали бы женщинам некоторые профессиональные навыки и тем самым — возможность пойти работать. Редакционная статья в «Общественнице» под заголовком «Боевые задачи общественниц» осуждала руководителей предприятий, не желающих назначать женщин-общественниц на ответственные административные посты, а также самих лидеров движения, которые «...сузили его размах, не подготовляли перехода общественниц на постоянную практическую работу. Надо понять, что женщина, поработавшая, скажем, два года как общественница, прошла хорошую учебу, равную, примерно, году политической учебы, и что опыт, приобретенный на общественной работе, сильно поможет ей в практической деятельности»[77].

Если выдвижение женщин все же имело место в действительности, оно могло привести к конфликту с мужьями и с концепцией долга жены, отстаивавшейся «Общественницей» на раннем этапе движения. Например, Клавдию Суровцеву, первого общественного озеленителя, отмеченного Орджоникидзе еще где-то в 1934—1935 гг., оно заставило расстаться с мужем. Общественное признание, заслуженное ею в результате осуществления озеленительного проекта, разрушило их брак; муж был крайне недоволен, когда она в 1936 г. поехала в Москву на совещание в Кремле («как и многие, он вблизи терял перспективу»). На этом совещании Клавдия взяла на себя обязательство пойти на учебу (следуя скорее примеру стахановок, чем общественниц: в 1936 г. еще никто не заговаривал о необходимости учебы для жен-активисток). Она пообещала, «что будет учиться, станет инженером. Это будет ее благодарность стране за высокую награду — орден Трудового Красного Знамени». В 1939 г. в статье «Куда теперь?» «Общественница» поведала, что Клавдия в самом деле учится в Москве в Промакадемии. Кроме того, у нее новый муж, тоже учащийся, и отношения с ним строятся на более равноправной основе, чем с прежним супругом: «Муж приучил меня к системе. Он хороший друг и заботливый товарищ... Мы с ним на одном курсе». Показывая репортеру свои конспекты, счастливая Клавдия заявила: «Вот она, моя путевка в жизнь»[78].

* * *

Между элитарными участницами движения общественниц и простыми работницами или даже женами простых рабочих существовала пропасть, и не только социальная, но также идеологическая. Для жен элиты обязанности по отношению к мужу и семье и задача устройства домашнего быта считались первостепенными, особенно на раннем этапе движения. Но женщины из низших слоев общества, которым все еще приходилось (как признавалось всеми) защищаться от произвола и угнетения непросвещенных мужей и отцов, вряд ли могли безоговорочно разделять эти идеалы. Кроме того, такие идеалы, по крайней мере потенциально, входили в противоречие с заветной экономической целью режима — увеличить численность рабочей силы, как можно шире вовлекая в ее ряды городских женщин, прежде не работавших.

Конечно, внедряя в сознание общества мысль о важном значении семейных обязанностей, режим не ограничивался исключительно, или хотя бы главным образом, кругом жен элиты. Как показал закон об абортах, рожать детей было обязанностью женщин всех социальных слоев, независимо от того, работали они или нет

и были ли у их семей подходящие жилищные условия; обязанностью мужей было поддерживать их материально. При этом, однако, обычно подчеркивалось, что женщины из низших слоев имеют обязанности по отношению к семье, а не к мужу. Их мужья слишком часто пренебрегали собственными семейными обязанностями, чтобы считать их подходящим объектом для чувства «долга жены» — интересное исключение составляли рабочие-стахановцы, очевидно, заслуживавшие такого же отношения, как мужья из кругов элиты[79].

На всех уровнях общества, хотя особенно, конечно, на низшем, женщины принимали на себя главный удар, решая многообразные проблемы повседневной жизни в СССР, — кормили и одевали семью, обставляли и обустраивали жилище, налаживали отношения с соседями по коммуналке и т.д. В некоторых случаях эти задачи выполняла не жена и мать семейства (особенно если она была образована и работала), а бабушка или домработница; следует отметить, что, невзирая на все усилия «Общественницы», эмансипированные советские женщины младшего поколения отнюдь не питали любви к домашнему хозяйству. Тем не менее, к женщинам все больше отходила роль семейных специалистов в области потребления, хорошего вкуса, а также воспитания детей. Отсюда следовало, что они должны были уметь доставать товары, как легальным путем, так и по блату, и разбираться в их качестве.

В 1930-е гг. стали заметно тише, а то и вовсе замолчали голоса образованных женщин, имеющих профессию, работу и приверженных к идеологии женской эмансипации. Их часто было слышно и видно в 1920-е гг., особенно в связи с деятельностью женотдела ЦК (закрытого в 1930 г.); к ним относилась молодая жена Сталина Надежда Аллилуева, покончившая с собой в 1932 г. Конечно, такие женщины в описываемый период составляли меньшинство — всего около 10 % высоких административных постов были заняты женщинами, и среди членов партии их было около 15 %, — но они составляли меньшинство и в 1920-е гг. Гораздо меньшее внимание к ним в 1930-е гг. часто объясняют тем, что режим перестал поддерживать дело женщин; однако если это дело заключалось в стимулировании поступления женщин в вузы, приобретения ими профессии, в выдвижении их на ответственную административную работу, то оно *не* было лишено поддержки, по крайней мере на уровне риторики, хотя и не стояло в числе главных государственных приоритетов. Скорее всего, голос этой группы затих по причинам практического характера, из-за проблем и тягот повседневной жизни, бремя которых сильнее всего ощущали работающие женщины, имеющие иждивенцев. После замужества, а точнее, после рождения ребенка, у работающих женщин, как правило, не было времени на общественные дела, невзирая на идеологию. По этой же причине процент женщин в комсомоле (34 % в 1935 г.) был вдвое больше, чем в партии[80].

7. РАЗГОВОРЫ И ТЕ, КТО ИХ СЛУШАЛ

Советская власть опасалась позволять гражданам бесконтрольно выражать на людях свое мнение по вопросам государственной важности. В то же время ей чрезвычайно хотелось знать, что думает народ. С таким противоречием приходится сталкиваться всем репрессивным, авторитарным режимам. Выбор у режимов, считающих опасным существование организованной оппозиции, свободной прессы, настоящих выборов из числа нескольких кандидатов, не говоря уже о постоянно разрабатываемой на капиталистическом Западе технике опроса общественного мнения, ограничен. Советская власть могла узнать мнение общества двумя путями: из донесений спецслужб и из писем и жалоб граждан в высшие инстанции[1].

Информацию о настроениях общества НКВД собирал так же, как и всякую другую, — ее вынюхивали агенты. Из содержания донесений с мест часто видно, каким образом агент (как правило, анонимный, иногда выступающий под кодовой кличкой) добывал сведения: стоя в очереди в магазин, шатаясь по колхозному рынку, прислушиваясь к жалобам рабочих в заводской столовой, парясь в бане или беседуя с преподавателями в университете. Из этих донесений составлялись сводки, отправлявшиеся наверх, в следующую инстанцию. На их основе центральное ведомство НКВД и его областные отделы готовили свои «сводки о настроении населения», регулярно поступавшие к высшему руководству страны[2].

Обычно сводки НКВД существовали для того, чтобы сообщать плохие известия — что *на самом деле* думают в Ленинграде о повышении цен, каковы настоящие (а не дутые) цифры промышленного производства по Свердловской области — в отличие от представляемых центру местным партийным и советским руководством победных рапортов о всенародном одобрении и выполнении плана. Тот же подход чувствуется и в сводках НКВД о настроении населения: например, если НКВД сообщал о том, как проходит обсуждение Конституции в том или ином месте, на первом плане фигурировали крамольные и еретические высказывания.

Вторым источником информации служили письма и жалобы, которые отдельные граждане писали верховным и региональным

политическим лидерам и в разные учреждения, такие как прокуратура, НКВД, газеты. Газеты нечасто печатали эти письма, но относились к ним серьезно. По жалобам нередко проводилось расследование, доносы брали на заметку, просьбы направляли в соответствующие инстанции. Газеты регулярно готовили обзоры читательских писем по отдельным вопросам и посылали их партийному руководству.

Большинство писем были написаны в надежде добиться какого-то конкретного действия (предоставления льготы или оказания услуги, если это была просьба; расследования — если жалоба; наказания врага — если донос). Люди писали их, потому что власти на них реагировали: как полагает Джен Гросс, один из парадоксов тоталитарного государства заключается в том, что его чрезвычайная чуткость к доносам дает отдельным гражданам возможность манипулировать им[3]. Однако не все авторы писем преследовали личные цели. Люди нередко писали, чтобы выразить свое мнение по общественно-политическим вопросам — и большинство даже подписывали свои письма. Мы не более, чем советские руководители того времени, можем сказать наверняка, насколько авторы таких писем представляли мнение населения в целом. По крайней мере можно утверждать, что картина общественного мнения, предстающая при чтении писем граждан, в достаточной степени соотносится с той, которую рисуют сводки НКВД о настроении населения.

С точки зрения режима, большая заслуга писем граждан заключалась в том, что они поставляли информацию об обществе в целом и недостатках в работе бюрократического аппарата в частности. В первое десятилетие после революции функцию разоблачения бюрократических и иных прегрешений на местах выполнял специальный отряд активистов-добровольцев, известных под названием рабочих и сельских корреспондентов, которые снабжали подобной информацией газеты. Селькоры еще действовали в период коллективизации, и некоторые из них даже были убиты из-за своего рвения в деле разоблачения кулаков и разложившихся администраторов в своих селах. С точки зрения местного населения, корреспонденты, конечно, зачастую считались доносчиками и предателями местной общины. М.Горький сомневался в целесообразности поощрения столь интенсивной критики местной бюрократии снизу, утверждая, что постоянное выпячивание недостатков, существующих в Советском Союзе, подрывает в народе чувство удовлетворения от достигнутой цели и бросает тень на репутацию страны в глазах остального мира. Но Сталин решительно отмел аргументы Горького, заявив, что критика — одно из важнейших средств контроля над некомпетентными, привыкшими к произволу местными чиновниками[4].

Выборы в советы постоянно давали повод для сбора информации о настроении народа. Это вовсе *не* означает (как можно было бы предположить, если бы мы имели дело с «буржуазными» западными демократиями), что избиратели выражали свое мнение, голосуя за выбранных ими кандидатов, поскольку на данных выборах кандидат был один. Тем не менее, имели место предвыборные кампании, называвшиеся «подготовкой к выборам», в ходе которых проводились собрания, где более или менее обязательно должно было присутствовать местное население. Что говорили люди на этих собраниях на главные темы дня, а особенно — о чем они говорили между собой после, выйдя за дверь, — считалось полезной информацией и служило предметом регулярных донесений.

Каналы сообщения между простым народом и властью в Советском Союзе существовали, но, являясь неотъемлемой частью сложных процессов надзора и контроля, вряд ли они могли считаться нейтральными. Люди знали, что их могут арестовать за «антисоветские» высказывания, и потому старались либо воздерживаться от них, либо выражать такого рода мнения там, где могли не опасаться надзора со стороны государства (как они надеялись). НКВД трудно было узнать, что они думали «на самом деле», и историку сделать это не легче. Существовали, впрочем, некоторые жанры народного творчества, менее стесненные, чем официальные средства выражения мнения (хотя НКВД отслеживало и их тоже). В анекдотах, слухах, частушках, этой своеобразной области народной культуры, переворачивались с ног на голову официальные ценности и клише.

Собрания писателей, композиторов, ученых, университетских профессоров — а главным образом дискуссии, ведущиеся не для протокола в кулуарах, — также служили объектом внимания осведомителей, составлявших о них подробнейшие, почти дословные донесения. Записывались и разговоры в частных домах, за кухонным столом. Все эти донесения объединялись в сводки, которые НКВД регулярно направлял высшему партийному руководству. Примером «кухонных» донесений может служить рапорт, посвященный кончине академика И.П.Павлова, которого режим всячески лелеял, но в то же время побаивался из-за широко известной нелюбви ученого к коммунизму. Подобно хорошему репортеру из отдела светской хроники, агент НКВД, по-видимому, имел доступ в дома знаменитостей, о которых писал, и его рапорт изображает обстановку непосредственно в квартире усопшего. Там, по словам агента, царила «растерянность среди антисоветчиков» из семьи и окружения Павлова. Еще до похорон среди родных, друзей и коллег ученого разгорелись ожесточенные споры о том, что делать с его архивом и кто займет после него пост директора института. Сражение продолжалось и на похоронах, включавших церемонию отпевания на Волковом кладбище. Дочь Павлова хотела, чтобы его преемником в институте стал ученый Л.А.Орбели; остальные члены семьи были против[5].

Столь же ревностно агенты освещали в своих донесениях писательские дискуссии о «формализме» (имелся в виду модернизм

в западном духе), проходившие весной 1936 г. Союз писателей организовал эти дискуссии, после того как «Правда», служившая рупором партийно-правительственной верхушки, разгромила оперу Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда»; в ходе дискуссий литературное сообщество должно было усвоить новые руководящие установки, перевести их на язык практических директив для широких масс и, прежде всего, решить, кого из своих членов выбрать козлами отпущения и заклеймить как «формалистов». Осведомители НКВД сообщали как о публичных дискуссиях, так и о разговорах в кулуарах. В Ленинграде, по их словам, писатели сочли задачу «сделать выводы» из статьи «Правды» о Шостаковиче затруднительной и лишенной смысла. Некоторые наивные души, вроде юмориста М.Зощенко, предлагали: «Дискуссию нужно прекратить, т.к. все мы совершенно запутались». Более искушенные пытались найти способ выразить свое удовлетворение новой антиформалистской линией Кремля, не предпринимая никаких реальных действий («Нужно устроить последнее заседание, на котором выпустить 5–6 хороших ораторов и выйти с честью из этой истории», — предложил К.Федин). А.Толстой полностью согласился с официальным мнением, что формализм — это плохо, признался, что сам в своих ранних произведениях был формалистом, но делал он это в такой живой и веселой манере, что скорее развлекал, а не поучал собравшихся, тем самым переводя все дело в разряд тривиальных и незначительных. «Алеша — нахал», — заметила в кулуарах писательница Ольга Форш — как оказалось, перед более широкой аудиторией, чем она думала[6].

Осведомители, составлявшие эти донесения, совершенно очевидно, были своими людьми, одновременно членами писательского сообщества и агентами НКВД[7]. О сложностях, которые влекла за собой эта двойная роль, свидетельствует следующее донесение, посвященное московским дискуссиям о формализме. Москвичи выбрали жертвенным ягненком молодого, малоизвестного писателя Л.И.Добычина, автора пьесы «Город Н.». Некоторых беспокоило, как подействует столь резкая критика на Добычина; других — как она подействует на них самих. Добычин действительно был совершенно разбит; он признался в этом своему другу — оказавшемуся агентом НКВД по кличке «Морской». Морской выслушал его и сообщил куда следует об угрозах Добычина покончить с собой и безумных заявлениях, что он немедленно покинет Ленинград и навсегда откажется от писательского призвания. Затем (по словам Морского) Добычин исчез, оставив в квартире ключи и все документы, включая паспорт. Это исчезновение и угрозы покончить жизнь самоубийством заставили выступить на сцену всю верхушку Ленинградского НКВД. В сводках, рассылавшихся партийным руководителям, рапорт Морского сопровождается запиской Л.М.Заковского, начальника Ленинградского отдела НКВД, в которой тот приводит угрозы Добычина и заявляет, что,

по сообщениям его работников, писатель вернулся к своей матери в Брянск и НКВД за ним присматривает[8].

Возможно, Добычина порадовала бы мысль, что его угрозы покончить с собой не пропали втуне, но вообще представителям интеллигенции по вполне понятным причинам не нравилось, что их частные разговоры записывают. Однако встречаются случаи, когда содержание донесений о разговорах среди интеллигенции заставляет задаться вопросом, не хотел ли кто-то (сам осведомитель НКВД? другие участники разговора?) нарочно таким образом довести определенную мысль до сведения «верхов». Примером может служить донесение о пренебрежительных высказываниях ленинградских артистов по поводу почестей, расточаемых участникам недавно проходившей в Москве «украинской декады» — одной из целого ряда декад, посвященных стилизованному народному искусству разных республик. По мнению ленинградцев, «националов» отличали совершенно незаслуженно, и, по всей видимости, осведомитель разделял это мнение, поскольку в его донесении их аргументы приводятся как вполне разумные и не содержится негативных оценок. Все ленинградское артистическое сообщество (по словам осведомителя) говорило, что Украинский театр оперы и балета получил награду не за свои заслуги в области искусства, а по политическим причинам, в результате кампании по возвышению артистов из национальных республик за счет русских. «Украинцами показаны народные песни и танцы, и никакого высокого, серьезного искусства у них нет», — цитировал осведомитель слова известного дирижера С.А.Самосуда. Заслуженный артист М.Ростовцев выразился еще менее дипломатично: «Сейчас вообще хвалят, награждают националов. Дают ордена армянам, грузинам, украинцам, всем — только не русским»[9].

Ревностный надзор НКВД за интеллигенцией был под стать тому прилежанию, с каким Политбюро вникало в вопросы культуры — подчас настолько специфические или даже мелкие, что удивляешься, находя их в повестке заседаний Политбюро. Так, например, Политбюро занималось вопросом о похоронах академика Павлова, а также о праздновании 75-летия театрального режиссера К.С.Станиславского и закрытии театра Мейерхольда. Решением Политбюро в список советских участников международного конкурса скрипачей в Брюсселе в 1937 г. были включены юные скрипачи Буся Гольдштейн, Марина Козолупова и Миша Фихтенгольц; точно так же Политбюро санкционировало выбор Эмиля Гилельса и других пианистов для участия в международном конкурсе в 1938 г.[10].

В конце 1920-х гг. повестка заседаний Политбюро часто включала вопросы, связанные с цензурой различных пьес. В 1930-е гг. это уже не практиковалось так широко, но в 1936 г. на Политбюро обсуждались постановка булгаковской пьесы «Мольер» в Московском художественном театре, а также фильм Эйзенштейна «Бежин луг» (который Политбюро запретило к показу)[11]. Боль-

шой театр постоянно служил объектом пристального и тревожного внимания: например, за 1932 г. можно найти весьма критические сообщения ОГПУ о политической обстановке в театре, с приложением длинного списка работающих там «антисоветских элементов», в том числе верующих, антисемитов, лиц, имеющих связи за рубежом, и лиц, критикующих советскую власть[12].

В январе 1935 г. Политбюро решило создать на правительственном уровне постоянную комиссию для надзора за деятельностью государственных театров под председательством любителя оперы Ворошилова. Политбюро также распорядилось в мае 1936 г. убрать из залов Третьяковской галереи в Москве и Русского музея в Ленинграде современные полотна «формалистического и грубо-натуралистического характера», рекомендуя одновременно устроить специальную выставку «реалистических» художников Репина, Сурикова и Рембрандта[13].

ПРОСЛУШИВАНИЕ ОБЩЕСТВА

Осведомительная функция осуществлялась НКВД отдельно от карательной, хотя обе они порой пересекались, когда НКВД решал арестовать кого-то за особенно возмутительные антисоветские высказывания. Но НКВД был не единственным государственным учреждением, занимавшимся выявлением народных настроений. И партия, и комсомол, и политическое управление армии регулярно подавали рапорты о настроениях среди своих кадров; от этих же организаций требовали применять дисциплинарные меры в отношении отдельных своих членов, проявляющих чересчур заметное недовольство. Даже такие учреждения, как бюро переписи населения и местные избирательные комиссии, были привлечены к делу выявления настроений общественности.

Основные аналитические категории, которыми пользовались НКВД и другие учреждения, разделяя население на подгруппы, — рабочие, интеллигенция, колхозники и молодежь. Мнения населения обычно характеризовались как «положительные» и «отрицательные». Особенно пристально следили за реакцией на экономические кризисы, например голод в 1932—1933 гг. и перебои с хлебом в 1936—1937 гг. Специальные рапорты составлялись также по случаю крупных перемен в политике (например, отмены карточной системы) и событий большой общественной важности (например, показательного процесса всесоюзного значения или смерти политического лидера).

Донесения о настроении населения за 1929—1930 гг. содержат гораздо больше разнообразных критических замечаний, особенно четко выраженного идеологического характера, чем впоследствии, в 30-е гг. По-видимому, сказались как общий упадок политического сознания в течение 1930-х гг., так и растущий страх перед последствиями неосторожных политических разговоров. Упомянутое

выше разнообразие критических высказываний демонстрирует сделанная в 1930 г. «Правдой» подборка из неопубликованных читательских писем (как объясняли составители, они привели «наиболее характерные выдержки»). На первом месте фигурируют жалобы на дефицит продовольствия и очереди за хлебом, причем (в отличие от более поздних жалоб такого рода) они отражают не только возмущение населения, но и его изумление, что товаров внезапно стало так мало. Из Одессы сообщали, что домохозяйки бросались громить местные кооперативные ларьки с криком: «Зачем индустриализация, даешь хлеб». В Новороссийске отмечались проявления негодования по поводу того, что хлеб вывозят на экспорт, когда рабочие голодают[14].

Были сообщения о росте антисемитизма в связи с экономическим кризисом: «Говорят, что серебро скупают "жиды". Пропажа мелких денежных знаков это дело "жидовских рук"». Кустари-евреи, в свою очередь, жаловались, что стали жертвами государственной политики социальной дискриминации: их артели закрыли в ходе кампании борьбы с частным предпринимательством, их самих лишили гражданских прав и выселили из домов, и теперь им, как лишенцам, очень трудно найти работу[15].

Письмо Сталина «Головокружение от успехов», обвинявшее руководство на местах в перегибах при проведении коллективизации, вызвало массу откликов, как свидетельствуют материалы «Правды». Одни говорили, что за перегибы несет ответственность Москва, а не местное руководство. Другие заявляли, что Сталин — правый уклонист и его выступление послужит «мощным орудием в руках враждебного нам лагеря», как сказано в одном подписанном письме из Одессы, которое «Правда» решила привести полностью. Если Сталин собирается уничтожить все достигнутое, все мыслящие граждане, в особенности старые революционеры, обязаны осудить его, утверждал одессит. «Я надеюсь, что т. Сталин признает свое заблуждение и повернет на правильный путь»[16].

Перемены в политике, как та, которую знаменовало собой «Головокружение от успехов», часто служили поводом для составления специальных сводок о настроениях. В них описывалась положительная и отрицательная реакция со стороны населения, последняя зачастую более подробно, а иногда рассматривалось, как люди истолковывают смысл и вероятные последствия нового закона или политического курса. Так, например, в сводке о настроениях среди специалистов по сельскому хозяйству по поводу майского закона 1932 г. о легализации колхозных рынков отмечается, что некоторые одобряют этот закон, видя в нем возврат к нэпу и «прорыв с генеральной линии партии», а другие говорят, что он опоздал и не даст результата, «т.к. в деревне продуктов нет и торговать все равно нечем»[17].

Некоторые политические меры вызывали однозначно негативную реакцию. Когда в 1939 г. цены на потребительские товары

выросли вдвое, в народе звучали сплошь враждебные и возмущенные замечания. Многие жаловались, что Молотов в своих прежних выступлениях обманывал их: «Молотов говорит, цены на все будут снижаться, а на самом деле они повышаются, и намного». Одна женщина-работница с едкой иронией цитировала сталинский лозунг «Жить стало лучше»: «Жить стало лучше, жить стало веселее — все для начальников, которым повысили оклады». Столь же негодующей была реакция рабочих на закон 1940 г. о трудовой дисциплине. Один токарь, отданный под суд за опоздание на работу на 30 минут, сказал на допросе, что «изданный закон... является угнетением для рабочих, как в капиталистической стране» (ему дали три года). Слышали, как другие рабочие говорили: «Этот закон ни к черту не годится, его написали троцкисты»[18].

Убийство Кирова, как и убийство президента Кеннеди в Соединенных Штатах, и в то время, и позже вызывало в народе бесконечные толки и предположения. Возможно, реакцию современников даже усиливало то напряженное внимание, с каким следили за ней власти. Наверняка донесения потрясли руководство, открыв поистине поразительные масштабы и глубину враждебности к коммунистическому режиму, особенно учитывая тот факт, что Киров считался одним из самых популярных партийных лидеров.

Одного моряка арестовали за заявление: «Мне... не жалко Кирова. Пускай убивают Сталина. Я и его не пожалею». Множество высказываний такого типа было отмечено в комсомольских организациях Западной области, реакции которых в начале 1935 г. был посвящен подробный рапорт. Некоторые студенты педагогического института восхищались убийцей Кирова: «Николаев человек смелый, решительный, мужественный. Вообще говоря, Николаев — герой, ибо он совершил такой поступок, как Софья Перовская». Многие считали случившееся приговором и предостережением партийной верхушке. В народе распевали частушки с разными вариантами припева: «Убили Кирова, / Убьют [убьем] и Сталина», отмечались и другие высказывания, в которых выражалось желание убить Сталина. «Долой Советскую власть, когда я вырасту большой, убью Сталина!» — сказал якобы 9-летний школьник[19].

Донесения НКВД представляли также картину общественного мнения по международным делам; эта тема широко освещалась в советской прессе и, по-видимому, вызывала у публики более живой интерес, чем можно было ожидать[20]. Хотя газеты, посвящавшие многочисленные публикации Гитлеру и нацистской партии, высказывались о них с неослабевающей неприязнью, кое-кто из читателей приходил к иным выводам. Фиксируя различные отклики на марш Гитлера по Рейнланду в 1936 г. среди советской общественности, наблюдатели за народными настроениями в НКВД отметили существование мнения, что внешняя политика СССР слишком мягкая и смелостью Гитлера следует восхищаться. Говорили о личном обаянии Гитлера, о том, что он пробил себе

дорогу из низов, называли его «очень умным»; один студент сказал: «Фашисты строят социализм мирным путем. Гитлер и фашисты умные люди». Голодной зимой 1936—1937 гг. одобрительные отзывы о Гитлере участились. «Говорят: "В Германии лучше", "Если Гитлер возьмет власть, в России будет лучше. Только Гитлер может дать жизнь людям"»[21].

Гражданская война в Испании была для советской общественности крупнейшим международным событием десятилетия, она широко освещалась газетами и вызывала наряду с подлинным энтузиазмом, особенно среди молодых, и другие, менее восторженные отклики. В сводке НКВД о настроении населения за 1936 г. говорится, что многие рабочие проявляют энтузиазм, готовы ехать добровольцами в Испанию и пожертвовать на помощь испанцам до 1% от своего заработка. Разумеется, есть и такие, кого возмущает мысль, что Советское правительство тратит деньги на Испанию, когда дома люди нуждаются. «Твои дети не видят шоколада и масла, а мы испанским рабочим посылаем»; «Разве можно нам хлеб продавать. Мы сами голодаем. Пусть правительство перестанет посылать хлеб в Испанию, тогда хлеба лишнего много окажется». Встречаются, однако, и замечания, продиктованные более глубинными враждебными чувствами. Приводятся слова одного рабочего по поводу помощи испанским рабочим: «Пусть только вооружат наших рабочих, так на 50—60% поднимут оружие против советов»[22]. О том, что Испания надолго осталась в народной памяти, свидетельствуют упоминания о ней и впоследствии, в другом контексте. Например, во время выборов 1937 г. один днепропетровский колхозник печально заметил: «Если бы рабочие Испании знали, как мы живем, они бы не боролись за свободу»[23].

НКВД не спускал глаз с молодежи, как коммунистической, так и прочей. Герой романа А.Н.Рыбакова «Дети Арбата» Саша — не единственный комсомолец, попавший в его руки еще до начала Большого Террора. Периодически работники НКВД раскрывали небольшие «контрреволюционные» организации молодежи. В Ленинграде, например, за период с декабря 1933 г. по 15 мая 1934 г. были раскрыты восемь таких групп среди учащихся и молодых рабочих, в том числе фашистский «Союз Возрождения России», националистическая организация студентов — представителей национального меньшинства, желавших основать «Великую Финляндскую Республику», и различные «террористические» организации (не совершившие ни одного террористического акта). Воронежский НКВД в 1937 г. сообщал о том, что среди учащихся высшей школы есть сторонники терроризма, фашизма и троцкизма, на стенах рисуют свастики и преобладают антисоветские слухи, особенно в связи с нехваткой продовольствия предыдущей зимой. Один студент техникума заявил: «Скорее бы началась война, я первый стал бы уничтожать коммунистов»[24].

Ленинградские органы внутренних дел беспокоило также разлагающее влияние, которое оказывали на городских школьников банды беспризорников. Преступное и хулиганское поведение в глазах ленинградской молодежи по-прежнему окружает «романтический ореол», сообщали они. Уличные банды и поножовщина — обычное явление, и «на подавляющем количестве предприятий и школ» молодые люди носят с собой ножи, кастеты и другое оружие. Беспризорники развращают других молодых людей, устраивая с ними попойки, «вследствие чего дети стали уходить от родителей, переселяться к беспризорным»[25].

НКВД серьезно относился к этим признакам недовольства среди молодежи, хотя ни частота, ни содержание донесений не свидетельствуют, что эта проблема относилась к делам первостепенной важности. Некоторые происшествия, вызвавшие тревогу властей, кажутся незначительными и даже смешными. Один из таких случаев — контрреволюционная игра, организованная среди ленинградских детей двенадцатилетним сорванцом Алексеем Дудкиным, сыном коммуниста. Дудкин-младший прославился весьма изощренным хулиганским поведением — рисовал на лбу у других детей свастики, устраивал публичный молебен в классе, подбивал друзей стащить у родителей деньги и бежать в тайгу, водил их на Финляндский вокзал просить милостыню. Очередным подвигом, привлекшим внимание НКВД, стала придуманная им игра в «контрреволюционную троцкистско-зиновьевскую террористическую банду». Это была своего рода игра в казаки-разбойники, сам Дудкин исполнял роль Зиновьева, другие дети — роли Троцкого, Кирова, Каменева, Николаева (убийцы Кирова) и работника НКВД. Первая часть игры воспроизводила убийство Кирова. По сценарию второй части — по-видимому, действительно напугавшей власти, хотя «банда» до нее так и не дошла, — та же самая банда контрреволюционных террористов должна была совершить убийство Сталина[26].

Самоубийства

Самоубийства являлись для властей предметом особого беспокойства. Мы уже видели в одном случае (с молодым писателем Добычиным), с какой тревогой НКВД реагировал на угрозы покончить с собой, переданные осведомителем. Настоящие самоубийства коммунистов и комсомольцев (но и рядовых граждан тоже) тщательно расследовались, ибо для режима это был один из показателей социального и политического здоровья общества: самоубийства воспринимались как сигнал, что что-то неладно. Эта озабоченность появилась еще в 1920-е гг., когда социальные статистики собрали и опубликовали количественные данные о самоубийствах. Самоубийство поэта С.Есенина в середине 20-х гг., якобы обратившее к самоубийству мысли множества молодых

людей, развязало одну из любопытнейших политических дискуссий между сталинцами и оппозиционерами, в ходе которой каждая из сторон возлагала на другую ответственность за «перерождение революции» и последующее разочарование в ней идеалистически настроенной молодежи. В 1930-е гг. публичные дебаты и обнародование статистики самоубийств прекратились, но озабоченность властей осталась. Политическое управление Красной Армии особенно ревностно выявляло и расследовало самоубийства в рядах вооруженных сил[27].

Любое самоубийство комсомольца, коммуниста, красноармейца, рабочего или сельского учителя тщательно расследовалось, как правило, на предмет того, не довело ли жертву до самоубийства местное начальство своими преследованиями или отказом помочь в тяжелой ситуации. Даже самоубийства колхозников регулярно служили темой специальных донесений, что удивительно, учитывая отсутствие у режима в целом интереса к внутренним культурным и социальным проблемам деревни. В 1936 г. НКВД направил руководству отчет о расследовании 60 самоубийств в украинских селах, в ходе которого выяснилось, что 26 из них вызваны жестоким обращением со стороны начальства и активистов, 9 — травлей и клеветой, 8 — незаконным исключением из колхоза, 7 — дискредитацией перед общественностью. В таком же отчете о 17 самоубийствах за 15 месяцев (1933—1934 гг.) в одном из районов Карелии обнаруживается, что чаще всего причиной самоубийства служил голод («недостаток хлеба» — три случая), затем пьянство (два случая), а также преследования и угрозы (два случая). Среди других причин — непосильные налоги, растрата, семейные ссоры, публичное оскорбление и «нежелание жить при Соввласти» (по одному случаю). В отчетах кратко излагались обстоятельства каждого самоубийства. Так, например, в отчете 1936 г. рассказывается о бригадире тракторной бригады, перерезавшем себе горло бритвой из-за того, что перерасходовал лимит горючего и не мог выполнить план[28].

Предметом еще одного расследования стала попытка самоубийства пяти женщин, работавших в совхозе. Эти женщины относились к категории передовиков-стахановцев, проблемам которых всегда уделялось особое внимание. Попытка самоубийства оказалась вызвана чрезвычайно плохими условиями труда и быта, жестокими притеснениями и оскорблениями со стороны других рабочих, а также деморализующей атмосферой «полового разврата и распущенности»[29].

Отношения полов и безнадежная любовь, как и следовало ожидать, также фигурируют в отчетах в числе причин самоубийств. В ходе расследования самоубийства одной женщины-трактористки вскрылось, что мотивом послужило отчаяние, оттого что ее бросил вероломный женатый любовник, которого впоследствии привлекли к ответственности за ее смерть. Романтическая трагедия скрывалась за одним из самоубийств, расследовавшихся

сибирскими властями. Комсомольский работник, учитель истории и обществоведения, влюбился в дочь кулака, лишенного избирательных прав. Она отказалась выйти за него замуж из-за его связи с партией (так говорится в отчете; могло быть и наоборот), и он покончил с собой. Местное население им восхищалось, среди молодежи последовал ряд других самоубийств и установился культ его памяти, подобно культу памяти Маяковского, застрелившегося в 1930 г.[30].

Хотя некоторые самоубийства оказывались совершены по личным мотивам, расследование самоубийств в СССР осуществлялось исходя из общего принципа, что лицо, покончившее с собой, пыталось таким образом что-то сказать государству. В поразительно большом числе случаев, кажется, так оно и было в буквальном смысле: для данной культуры подобный способ сказать (государству): «Смотрите, что вы со мной сделали!» — являлся широко распространенной формой самооправдания. Мотивом самоубийства могло послужить «нежелание жить при Соввласти»; человек, убивший своих детей, мог встретить милицию заявлением: «Смотрите, до чего нас довела советская власть!» Конечно, нельзя сказать, что это «настоящие» мотивы. Но в этом обществе, в отличие от многих других, они правдоподобны. Советские граждане имели основания считать, что если что-то идет не так, то в этом виноват режим, так же как советская власть имела основания считать, что любой поступок гражданина, какими бы личными и индивидуальными мотивами он ни казался вызван, имеет политическую подоплеку[31].

Случай двойного самоубийства, открыто и несомненно носящего характер обращения к власти, отмечен в дневнике коммуниста, которого послали его расследовать. Два брата-активиста, рабочие, поселившиеся в деревне и работавшие председателями сельсовета и колхоза, зимой 1930 г. оказались в состоянии конфликта с районным руководством, потому что братья предпочитали проводить коллективизацию добровольным путем, а районное начальство стремилось форсировать темпы. «Я пошел в избу к предсельсовета Петру Аникееву, — пишет мемуарист. — Холодное тело ждет погребения. Пошел к Андрею Аникееву. Он жив, но последние часы. Сказал, что районщики действуют против партии. Они с братом решили протестовать и из револьвера застрелиться, чтобы обратить внимание центра на произвол». Пафос этого обращения к власти тем сильнее, что скорее всего неправильно понимали линию партии идеалисты Аникеевы, а не районное начальство (о чем мемуарист благоразумно умолчал)[32].

Послание другого рода — в оправдание недостаточной стойкости — оставила женщина — курсант военной академии, покончившая с собой в начале 1930-х гг. Хотя записка самоубийцы была формально адресована мужу, ее тон и содержание показывают, что настоящим адресатом являлась партия («я умираю за недостатком сил вести дальнейшую борьбу за исправление генераль-

ной линии партии»), — и руководство Военно-воздушной академии, где училась женщина, постаралось расследовать этот случай до мельчайших деталей. Полина Ситникова родилась в 1900 г. в Риге, в семье служащих, вступила в партию и в ряды Красной Армии во время гражданской войны, когда ей было восемнадцать лет. Ее первый муж погиб на фронте; второй, летчик, разбился в авиакатастрофе, в которой серьезно пострадала и сама Полина. Она жила на первый взгляд счастливой семейной жизнью с третьим мужем, по всем отзывам, чрезвычайно преданным ей, и маленькой дочкой, в комфортабельной квартире, с домработницей, имевшей дочку такого же возраста и присматривавшей за обеими девочками. Все проблемы Полины были связаны с Военно-воздушной академией, куда ее в начале 1930-х гг. направили на учебу. Учеба казалась ей трудной, она постоянно жаловалась на плохое самочувствие (у нее был туберкулез легких) и усталость. Ей казалось, что другие курсанты (мужчины) насмехаются над ней и ни во что не ставят ее революционное прошлое. Она начинала плакать всякий раз, когда в академии критиковали ее работу или когда курсанты поддразнивали ее (например, иронически спрашивая: «Как, товарищ Ситникова, себя чувствуешь?»). Расследование не обнаружило никаких намеков на политическое содержание конфликтов, которые возникали у нее в академии, так что смысл слов о «генеральной линии партии» остается неясным: возможно, это лишь попытка облагородить свою смерть и ослабить впечатление личной несостоятельности[33].

Особая статья — политические самоубийства. В большевистско-революционной традиции самоубийство являлось почтенным способом морального протеста или выхода из невыносимой ситуации; оно носило героический характер. Самоубийство троцкиста Адольфа Иоффе в декабре 1927 г. было совершено в знак протеста. По-видимому, то же отчасти можно сказать о самоубийстве жены Сталина Надежды Аллилуевой в конце 1932 г. Однако к середине 1930-х гг. партийное руководство стало пытаться пресечь эту традицию, либо не предавая политические самоубийства широкой огласке, либо представляя их как поступки малодушные и достойные презрения. Порой самоубийство по-прежнему служило средством спасти запятнанную репутацию. Но его все чаще стали трактовать как признание вины: о бывшем председателе Совнаркома Украины Панасе Любченко, покончившем с собой в сентябре 1937 г., говорили, что он совершил это, «запутавшись в своих антисоветских связях и, очевидно, боясь ответственности перед украинским народом за предательство интересов Украины». Подобная же формулировка была использована за несколько месяцев до того в случае самоубийства военачальника Красной Армии Яна Гамарника[34].

Твердую линию в отношении интерпретации самоубийств настойчиво проводил Сталин, заявивший на декабрьском пленуме ЦК 1936 г., когда речь зашла о смерти московского партийного

работника по фамилии Фурер, чье самоубийство нельзя было обойти молчанием, что он сам себя обвинил; его поступок был знаком протеста против ареста друга и коллеги, который он считал несправедливым. Кто-то может расценить это как благородный жест, сказал Сталин, «но человек прибегает к самоубийству, когда боится, что все раскроется, и не желает засвидетельствовать собственный позор перед обществом... И вот у вас есть последнее сильное и самое легкое средство, уйдя из жизни раньше срока, в последний раз плюнуть в лицо партии, предать партию»[35].

ПИСЬМА ВЛАСТЯМ

Советские граждане были большие мастера по части писания жалоб, ходатайств, доносов и разных других писем властям. Они писали (как правило, индивидуальные, а не коллективные письма), а власти нередко отвечали[36]. Этот канал связи между гражданами и государством функционировал лучше всех, предоставляя простым людям, не имеющим служебных связей, одну из немногих доступных им возможностей защитить свои интересы и возместить ущерб от тех или иных неверных или провокационных действий должностных лиц. Широко распространенная практика писем в руководящие органы — впрочем, весьма не новая и напоминавшая старинный обычай посылать ходоков с просьбами и ходатайствами — до некоторой степени заполняла брешь, образовавшуюся в результате ограничения свободы собраний и коллективных акций, а также слабости правовой системы в СССР. Игнорируя подозрительно патерналистские черты подобной практики, советские официальные лица смело заявляли, что она демонстрирует силу советской демократии и существование уникальной прямой связи между гражданами и государством.

Письма властям — это способ участия советских граждан в «борьбе с бюрократизмом» и «борьбе за революционную законность», писал один советский журналист в середине 1930-х гг. В буржуазных демократиях нет равнозначной формы прямого гражданского действия, заявлял он. «Рабочие и колхозники, чувствуя себя хозяевами страны, не могут пройти мимо нарушений общих интересов своего государства»: они пишут Сталину, Молотову, Калинину и другим руководителям страны о «расхищении социалистической собственности», «нарушениях правительственных постановлений», «классово чуждых» в государственном аппарате и всевозможных несправедливостях. Конечно, эти несправедливости обычно осуждаются ими не абстрактно, а исходя из личного опыта:

«Кого-то неправильно выселили из квартиры, кому-то отказали в квартире, на которую он имеет бесспорное право, кого-то уволили из учреждения, приписав ему грехи, в которых он не повинен. Кто-то проявляет усердие не по разуму, проявляет "бдительность" и выбрасывает неповинного человека за борт советской жизни. Другой расплачивается репрессиями за смелое слово самокритики»[37].

Руководители партии и правительства тратили на письма массу времени. Калинин, один из наиболее частых адресатов писем граждан, говорят, за 1923—1935 гг. получил более полутора миллионов письменных и устных ходатайств. М.Хатаевич, секретарь Днепропетровского обкома партии, описывает работу с корреспонденцией такого рода как важнейшую сторону деятельности партийного секретаря: «Я получаю в день, кроме деловой переписки, 250 писем, так сказать, личного порядка, писем от рабочих, колхозников. 30 из этих писем я в состоянии прочитать и прочитываю, на большинство из них отвечаю лично». Возможно, в заявлении Хатаевича имеются некоторые преувеличения, но в целом объем почты, поступающей от граждан, показан верно. А.А.Жданов, секретарь Ленинградского обкома партии, согласно тщательным подсчетам его канцелярии, в 1936 г. получал в среднем 130 писем в день, еще 45 писем в день приходило в Ленсовет. Ленинградской городской прокуратуре, куда ленинградцы писали чаще всего, приходилось разбирать до 600 писем в день[38].

Многие советские граждане, очевидно, разделяли уверенность властей в том, что писание писем наверх — демократическая практика, сближающая граждан со своим правительством. Точно так же молодой российский историк (постсоветского периода) интерпретирует письма конца 1930-х гг. с жалобами на нехватку продовольствия. «Хотя они критикуют и даже порой ругают существовавшие порядки, тем не менее они обращаются к власти как к "своей народной", которая бездействует либо от незнания, либо от недооценки сложившейся ситуации... — пишет она. — Авторы убеждены, что правительство не только может, но и должно помочь людям. Признание власти "своей", законной предопределило форму обращений к лидерам, а также систему аргументации — ссылки на авторитеты, освященные этой властью (Маркс, Ленин, Сталин, "Краткий курс истории ВКП(б)" и пр.)». Конечно, ясно, что гражданам и не имело смысла отрицать законность власти в жалобах и просьбах, к этой власти обращенных, однако вышеприведенное положение все же совершенно справедливо в отношении многих писем. Можно также утверждать, что лидеры вроде Хатаевича сами ощущали себя более «законными», получая письма и отвечая на них, разыгрывая роль «отцов-благодетелей», восстанавливающих справедливость, которой требовали многие авторы писем[39].

Власти всячески приветствовали письма отдельных граждан, но к письмам коллективным относились с гораздо меньшим энтузиазмом. «Пишете вы, скажем, заявление, излагаете там какую-либо просьбу, и подписывают его несколько человек, — говорил один бывший советский гражданин в послевоенном интервью. — Это уже групповщина. Тут же одного за другим вызывают в мест-

ную парторганизацию, в профсоюз и делают выговор. Но всю группу не вызовут, с каждым будут работать индивидуально, по отдельности»[40]. Люди все же иногда писали коллективные письма, невзирая на существующую опасность. В ленинградском архиве Жданова за 1935 г. соотношение коллективных и индивидуальных писем примерно 1:15, причем коллективные письма посвящены таким вопросам, как закрытие буфетов, задержки с выплатой зарплаты, потребность в чистой воде, уличная преступность и восстановление уволенного сослуживца[41].

Некоторые письма, в том числе и с подписями, были написаны с целью выразить государству свое мнение или дать совет по общественно-политическим вопросам. Вот несколько примеров, взятых наугад: один рабочий написал Молотову (незадолго до того назначенному наркомом иностранных дел), чтобы дать ему совет из области дипломатии («не верьте англичанам, французам и немцам. Все они хотят навредить СССР»); советский служащий из Пскова писал Кирову, предлагая принять меры против недоедания среди школьников; один ленинградец в письме другому секретарю Ленинградского горкома сокрушался по поводу поражения двух ленинградских футбольных команд и просил сделать что-нибудь[42].

Судя по ленинградским архивам, авторами писем с «мнением» часто были рабочие, которые, как свидетельствуют письма, до некоторой степени отождествляли себя с советской властью и в то же время (даже в середине 1930-х гг.) всегда готовы были сделать ей выговор. Один рабочий писал в 1932 г. Кирову, жалуясь на перебои с продовольствием: «Известно ли тебе, товарищ Киров, что среди огромнейшей части рабочих, и не плохих рабочих, существует большое недовольство и неверие в те решения, которые принимает партия?» Такие рабочие часто критически высказывались о нарождении привилегированного класса бюрократии. Начальники превратились в «касту», писал один из них в 1937 г.; партия «зазналась». Среди рабочих «только и слышу — ругаю[т] совласть!» Автор другого письма весьма порицал тот факт, что партия потеряла связь с массами, партийное руководство отдалилось от рядовых партийцев, заводская администрация — от рабочих; неудивительно, что обнаружено столько вредительства — а будет еще больше! Руководство рискует повторить судьбу героя греческого мифа Антея, который погиб, когда потерял связь с землей[43].

Письма служили задачам контроля двоякого рода: во-первых, отчасти населению для контроля над бюрократией, во-вторых, режиму для сбора информации о гражданах. Но власти использовали в качестве источника информации и частную переписку граждан, и тут контроль был односторонним. Перлюстрация (которую начали практиковать незадолго до революции) имела целью как поимку отдельных правонарушителей, так и взгляд на социальные процессы и общественное мнение под другим углом. Один из тех,

чье письмо было вскрыто и попало в ленинградский партийный архив, — колхозник Николай Быстров. Быстрова мобилизовали от колхоза на лесозаготовки в Карелию, и он, по обычаю мобилизуемых, взял колхозную лошадь. Обнаружив, что в лагерях лесорубов нет никакой еды и многие бегут, бросая лошадей, он написал правлению своего колхоза: рассказал, что тоже подумывает бежать, и просил совета, что делать с лошадью[44].

Порой граждане сами передавали властям полученные ими частные письма. Например, студент-коммунист послал в Центральную контрольную комиссию частное письмо, полученное от другого коммуниста, с которым он вместе работал на посевной в 1932 г. Письмо проникнуто болью за голодающих («мужик голодает», «в Казахстане каннибализм») и смятением из-за поведения руководства («Сталин сошел с ума») и репрессий («писателей сводят в могилу»). После того как сам Сталин прочитал письмо, оставив на полях несколько негодующих замечаний, передавшего его вызвали на допрос. (Вероятно, автора арестовали, но из дела этого узнать нельзя[45].)

В редких случаях Ленинградский НКВД составлял сводки данных, полученных из перехваченной частной корреспонденции, и посылал их вместе с регулярным сводками донесений осведомителей. Так было во время продовольственного кризиса зимой 1936—1937 гг., в течение нескольких месяцев служившего главной темой донесений НКВД. Корреспонденция, перехваченная на пути в Ленинград и из Ленинграда, содержала душераздирающие описания переживаемых бедствий — в том числе «провокационную информацию» (как назвал ее НКВД) об отсутствии в ленинградских магазинах основных продуктов питания — и передавала ходившие слухи. «У нас поговаривают, что весь Питер на хлебный паек посадят, и поговаривают что-то про варфоломеевскую ночь — только никому не говорите», — писал отец дочерям в Ленинград. Авторы использовали не тот язык, которым писали письма властям, например: «Не знаю, как господь поможет это перенести». Они рассуждали, хотя и в весьма деликатных выражениях, об ответственности режима за кризис. «Ты приезжай и посмотри, что делается в городе с утра, — писала жена (судя по всему, образованная женщина) из Вологды мужу-ученому в Ленинград. — Очереди занимают с 12 часов ночи, и даже еще раньше. Что ты на это скажешь, кто виноват в этом деле? Интересно, знают ли об этом в центре. В газете так ни одной заметки насчет хлеба нет»[46].

РАЗГОВОРЫ НА ЛЮДЯХ

«Народное обсуждение» — эксперимент, который пытались провести дважды, оба раза в 1936 г. Предметом обсуждения служили закон об абортах (см. гл. 6) и новая Конституция. Возмож-

но, это была одна из попыток демократизации, как утверждает Арч Гетти, а может быть, просто новая форма сбора информации о настроениях в обществе[47]. В любом случае эксперимент больше не повторялся. Как мы видели, рассматривая дебаты по поводу абортов, «народное обсуждение» встречало много затруднений. Всегда существовала опасность, что высказывание неортодоксальных взглядов повлечет за собой неприятности с НКВД. Кроме того, власть объявила о своей позиции с самого начала, опубликовав проект закона об абортах и проект Конституции, так что крупных перемен ждать не приходилось; их и в самом деле не последовало.

Тем не менее, с точки зрения НКВД (а впоследствии — историков), обсуждение Конституции имело несомненную ценность, дав массу полезной информации о мнении общества по самому широкому кругу вопросов, в том числе и таких, которые редко ставились в других случаях. И дело тут не столько в том, что люди выступали на собраниях, сколько в том, что они разговаривали в кулуарах (как всегда, в присутствии агентов НКВД) и писали огромное количество писем по поводу Конституции в газеты и государственные учреждения. Учреждения-получатели, согласно обычной процедуре, составляли из этих писем сводки и отсылали их партийному руководству. В некоторых случаях сводки относились к особой категории «враждебных» высказываний[48].

Народное обсуждение означало организацию на всех рабочих местах фактически обязательных собраний. Люди часто ходили на них крайне неохотно, жалуясь, что все это пустая трата времени. «Рабочие все грамотные, газеты читают, и обсуждать нечего», — заявляли рабочие некоторых ленинградских заводов; кое-кто вообще отказывался ходить. На ткацкой фабрике им. Горького в Ивановской области администрация заперла двери и поставила перед ними охранника, чтобы не дать рабочим уйти с собрания, проводившегося после работы. Это глубоко возмутило рабочих; большинство из них были женщины, которых дома ждали дела. «Вот поставили сторожа и задерживают нас силой», — негодовала одна. Другая жаловалась: «У меня дети остались, а вы меня не выпускаете». Собрание окончательно пошло вкривь и вкось, когда несколько работниц хитростью пробрались мимо сторожа и «с криком отворили двери», через которые тут же ушло сорок человек. «Кто не успел уйти, сел на лестнице и спал до конца собрания»[49].

В ряду важнейших вопросов внутренней политики при обсуждении Конституции поднимался (правда, по-видимому, чаще в письмах, чем на собраниях) вопрос об отмене дискриминации, в том числе лишения избирательных прав, по классовому признаку. Этот существенный поворот курса был отражен в проекте Конституции, и впоследствии соответствующие статьи вступили в законную силу (см. гл. 5). Но одобряли его далеко не все — фактически в большинстве писем по данному вопросу авторы выражают

тревогу по поводу упразднения дискриминации. Один сомневается, стоит ли давать право голоса бывшим кулакам, которые смогут воспользоваться своим новым общественным статусом, чтобы отомстить активистам. Другой не против, чтобы право голоса дали некоторым лишенцам, которые это заслужили, но считает совершенно лишним разрешать избирать и быть избранными на ответственные посты священникам. «Совершение религиозных обрядов — это не общественно-полезный труд»[50].

Такие же возражения вызвала статья 124 Конституции, гарантировавшая свободу вероисповедания, вместо которой автор одного письма предлагал «категорически запретить церкви, которые дурят народ» (очевидно, при этом он имел в виду все церкви) и «превратить церковные здания в дома культуры». Однако статья 124 имела и своих сторонников, поднявших голос в ее защиту, — священнослужителей и верующих. Они не только превозносили конституционную гарантию веротерпимости, но тут же принялись воплощать ее в жизнь, ходатайствуя об открытии церквей, насильственно закрытых в начале десятилетия, пытаясь устроиться на работу в колхозы и сельсоветы, ранее для них недоступные, и даже выставить своего кандидата на выборы в Верховный Совет СССР в 1937 г.[51].

Хотя народное обсуждение не привело к каким-либо серьезным изменениям в Конституции, было бы неверно считать, что оно ничего не принесло массам. Как указывает Сара Дэвис, после обсуждения в обиход населения вошла новая, правовая лексика. Молодой колхозник, отстаивающий свое право уехать из колхоза для продолжения учебы, пишет: «Я считаю, что право на образование имеет каждый гражданин, в том числе и колхозник. *Так говорится в проекте новой Конституции*». Подобные заявления стали встречаться на каждом шагу, свидетельствуя о том, что произошли настоящие перемены. Никогда раньше в своих просьбах и жалобах население не ссылалось на прежнюю Конституцию 1918 г., и вообще после революции правовые аргументы не слишком были в ходу[52].

Несомненно, с точки зрения режима, это отнюдь не были перемены к лучшему. Новая Конституция с замечательной щедростью обещала населению разнообразные права: статья 125 гарантировала свободу слова, печати, собраний, уличных шествий и демонстраций, на деле никогда не существовавшую в Советском Союзе ни до, ни после принятия новой Конституции[53]. Судя по замечаниям, сделанным в ходе обсуждения и попавшим в донесения осведомителей, люди и не принимали эти обещания всерьез (в отличие от обещания свободы вероисповедания, выполнения которого одни ждали, а другие боялись), но, тем не менее, расхождение между обещаниями и действительностью вызывало у них возмущение и насмешку:

«Все это вранье, что пишут в проекте новой конституции, что каждый гражданин может писать в газеты и выступать. Конечно

это не так, попробуй выступить, сказать, сколько людей в СССР от голода умирает, сразу загремишь на 10 лет» (это едкое замечание в сводке совершенно справедливо отнесено к категории «враждебных»)[54].

Многие соглашались с тем, что Конституция — сплошной обман: «Издают законы, и все врут». Равноправие — пустой звук. «Нет у нас равноправия и не будет. Наше дело — работать как лошади и ничего не получать, а еврей ничего не делает, сидит у власти и живет за наш счет». Даже если равные права — не обман, все равно их нельзя ставить в заслугу советской власти: их записали в Конституции, потому что «иностранные державы оказали давление на Советский Союз» (автор этого заявления зловеще добавил, что скоро «власть вообще переменится»). Даже право личной собственности и наследования этой собственности — действительно соблюдавшееся на практике, хотя и не совсем надежное, — вызывало кое у кого негодование: один бывший эсер заявил, что оно «выгодно только коммунистам, которые награбили много ценностей во время революции и теперь хотят их сохранить»[55].

Развитию сатирических талантов у населения немало способствовала статья Конституции, утверждавшая, вслед за Марксом, принцип: «Кто не работает, тот не ест». «Неправда, — говорил один остряк, — на самом деле у нас все наоборот: кто работает, тот не ест, а кто не работает, тот ест». Другой предлагал заменить лозунг «Кто не работает, тот не ест» другим: «Кто работает, тот *должен* есть»[56]. В основном эти реплики принадлежали колхозникам, и столь большое их количество, несомненно, обусловлено тем, что начиналась голодная зима после неурожая 1936 г. Впрочем, у колхозников были и другие претензии к Конституции. От их внимания не ускользнул тот факт, что обещанные в ст. 120 якобы всему населению пенсии по старости и нетрудоспособности и оплачиваемые отпуска на деле доступны лишь городским рабочим и служащим. «Эта конституция хороша только для рабочих», — жаловался один колхозник[57].

Выборы

На выборах в Советском Союзе приходилось иметь дело с одним кандидатом, с одним частичным исключением, о котором речь пойдет ниже; орган верховной власти, в который избирались депутаты, реальной политической властью не обладал. Власти назначали кандидатов, старательно следя, чтобы по каждому округу должным образом были представлены рабочие, крестьяне, интеллигенция, женщины, стахановцы, коммунисты, беспартийные и комсомольцы, на местах проводились собрания для обсуждения предложенных кандидатов и актуальных вопросов текущего момента[58]. Как известно, часть населения была лишена избирательных прав по социальному признаку, а голоса городских жителей имели перевес над голосами жителей сельских.

День выборов проводился как праздник, но на людей оказывали сильнейшее давление, заставляя идти голосовать, и процент проголосовавших всегда был высоким (по крайней мере судя по официальным данным). У некоторых людей ритуал голосования вызывал ощущение душевного подъема. «Я почувствовала какое-то волнение, не знаю почему, даже комок застрял в горле», — записала Галина Штанге в дневнике после голосования на выборах 1937 г. Ее сестра Ольга, жившая в Ленинграде в самых жалких, нищенских условиях, написала ей письмо в том же духе: «8 часов утра. Я пошла голосовать и с чистой совестью отдала свой голос за Калинина и Литвинова. Опуская бюллетень в урну, я всем сердцем поняла правоту арабской пословицы: "Даже крошечная рыбка может взволновать океан"»[59].

Поскольку у избирателей не было возможности делать выбор между несколькими кандидатами, сами выборы давали режиму немного информации о настроениях населения, разве что данные о незначительных колебаниях числа не проголосовавших и испорченных бюллетеней. Но собрания во время подготовки к выборам такую информацию давали и служили темой регулярных донесений. Не следует преувеличивать формальность и бессодержательность советских выборов: до войны они не всегда представляли собой такую рутинную, бесконфликтную процедуру, как впоследствии. Две из четырех всесоюзных избирательных кампаний за период от первой пятилетки до Второй мировой войны — выборы 1929 и 1937 г. — имели свои драматические моменты.

Выборы 1929 г. проходили шумно и беспорядочно, было много «антисоветских» выступлений и попыток организовать оппозицию со стороны верующих и партийных оппозиционеров. В ходе этих выборов было лишено избирательных прав больше людей, чем когда-либо прежде, начало коллективизации и антирелигиозная кампания создали крайне напряженную атмосферу. Кроме того, участники разгромленных левых оппозиций (троцкистской и зиновьевской) все еще активно действовали и заставляли прислушиваться к себе во время предвыборной кампании. В Славгороде, например, троцкисты выпустили заявление, в котором говорилось, что «система диктатуры, существующая в партии, душит все живое»; в Москве троцкистские группы на заводах попытались выставить собственных кандидатов против официальных[60].

О требованиях крестьян организовать крестьянские союзы (под стать профсоюзам городского населения) сообщали даже из таких отдаленных мест, как Красноярск и Хабаровск. Кулаки, сектанты и другие лишенцы, по донесениям, использовали выборы для «агитации» против советской власти, были даже сообщения об угрозах и физическом насилии над коммунистами. В одной деревне Тарского района лишенцы с флагами прошли маршем по улице, к ним присоединились остальные крестьяне. Отовсюду

шли сообщения об активности православных и сектантов, особенно подчеркивалась деятельность толстовцев и баптистов. В донесениях приводились замечания о том, что власть оторвалась от рабочего класса, что это не настоящая советская власть, что коммунисты подавляют свободу. Люди жаловались, что коммунисты стали новым привилегированным классом, «живут как бары, ходят в соболях и с тростями в серебряной оправе». Один человек из Тулы протестовал против международных революционных обязательств режима, спрашивая, зачем власти субсидируют китайский университет Сунь Ят-сена в Москве (который он назвал «фабрикой желтого динамита») и во что это обходится Советскому государству[61].

На выборах 1937 г., последовавших вскоре после принятия новой Конституции, как объявлялось первоначально, должны были выдвигаться несколько кандидатов от каждого округа, т.е. избирателям предоставлялась реальная возможность выбора. Где-то в начале года эта идея отпала, по-видимому, став жертвой чрезвычайной подозрительности и политической неуверенности, сопутствовавших Большому Террору, и состоявшиеся в конце года выборы прошли по старому образцу, с одним кандидатом. Но сама последовательность событий отнюдь не производила впечатления обыденной, напротив — казалась странной и загадочной. Во всяком случае для Галины Штанге выборы 1937 г. сохранили оттенок чего-то особенного (они проводились впервые после принятия новой Конституции, причем избирались депутаты в новый орган — Верховный Совет СССР). «Мы были самыми первыми из первых избирателей на первых таких выборах в мире», — с чувством удовлетворения записала она[62].

Предвыборная кампания осенью 1937 г. проходила очень тихо из-за массовых арестов тех, кто добивался проведения выборов с несколькими кандидатами, обещанных прошлой зимой, и продолжавшегося террора. В каждом округе был выдвинут единственный кандидат «от блока коммунистов и беспартийных» (эвфемизм, скрывавший возврат к одномандатным выборам), на предвыборных собраниях, как показало наблюдение НКВД, говорилось мало существенного по политическим вопросам (гораздо меньше, чем при обсуждении Конституции предыдущей осенью). Как обычно, кто-то выражал нетерпение и раздражение по поводу всей предвыборной процедуры, потому что «все равно коммунисты назначат, кого захотят». Некоторые избиратели (помня о недавних разоблачениях «врагов народа» буквально повсюду) как будто сомневались в том, что новые кандидаты на высшие государственные посты окажутся надежнее своих предшественников. «Как человеку в душу залезешь? — спрашивала женщина на одном из московских предвыборных собраний в октябре. — Мы ведь и бывших коммунистов выбирали, думали, что они хорошие, а они оказались вредителями»[63].

Однако совсем без проявлений народного недовольства не обошлось. Были случаи возражений против официальных кандидатов, особенно руководителей из центра и знаменитостей. В Куйбышеве выступали против кандидатуры украинца, выдвигавшегося в Совет Национальностей (верхнюю палату Верховного Совета): «Пусть его Украина выбирает, а мы выдвинем своего [русского] кандидата»[64]. В Ленинграде раздавались возражения против кандидатур Микояна (по причине «распущенности в личной жизни»), Калинина («слишком стар») и писателя А.Толстого («уж очень жирный»). В Новосибирске на одном предвыборном собрании опротестовали даже кандидатуру Сталина на том основании, что он выдвигался одновременно от многих округов; вместо него предложили кандидатуру секретаря Новосибирского горкома партии Алексеева — и она была принята 150 голосами против 50, поданных за Сталина[65].

КУКИШ ЗА СПИНОЙ

Как мы видели, наблюдение советской власти за настроениями масс имело свой консультативный аспект в виде народных обсуждений, предвыборных собраний и готовности принимать индивидуальные жалобы и ходатайства. Но все эти публичные консультативные формы несли на себе множество ограничений и в той или иной степени не удовлетворяли обе стороны, и наблюдателей и наблюдаемых. Зная, что власть может покарать любого, кто скажет на людях что-нибудь не то, граждане предпочитали обсуждать общественные дела вне общественных мест и в форме, отличной от официально предписанной. Подозревая, что граждане вряд ли в общественных местах говорят то, что действительно думают, власти — особенно НКВД — стремились взять под надблюдение дискуссии, которые те вели «не для протокола», вне сферы государственного контроля. Это означало попытки следить не только за разговорами в частных домах и частной корреспонденцией, но и за анонимными и крамольными формами общения, такими как анекдоты, частушки, слухи, устные выпады в адрес режима и оскорбительные письма властям.

Анонимный обмен мнениями по актуальным вопросам, происходивший в любой советской очереди, в купе поезда, на рынке, в кухне коммунальной квартиры, относится к типам общения, о которых историку труднее всего получить представление. Кое-кто из советских этнографов собирал частушки, но суровая цензура 1930-х гг. не позволяла опубликовать из них ни строчки. Поэтому нам главным образом приходится полагаться на «этнографию» тогдашнего НКВД, основанную на подслушивании и записывании анекдотов и слухов в очередях и на рынках, либо на народную память, в которой отлично сохраняются анекдоты полувековой давности, но гораздо хуже — другие формы анонимной коммуни-

кации. При этом следует помнить об одной особенности «этнографов» из НКВД — услышав действительно хороший крамольный анекдот или слух, они порой арестовывали рассказчика за «антисоветские разговоры».

Слухи распространяли информацию, или якобы информацию, о делах общественной важности среди тех, кто ее жаждал, а кроме того, служили выражением народных чаяний и опасений и попыткой объяснить непонятные события. В советских слухах 1930-х гг. постоянно муссировалась тема близящейся войны, которой многие боялись и на которую кое-кто надеялся. Слухи сообщали «новости» о желанных политических переменах, например об амнистии или провозглашении свободы вероисповедания. Угрожали «варфоломеевской ночью», если не прекратятся перебои с продовольствием. Предлагали различные объяснения убийства Кирова, в том числе одно весьма изощренное, намекающее, на основании хронологического совпадения, на существование причинной связи между убийством и возмущением рабочего народа по поводу отмены карточной системы[66].

Большинство слухов, по словам одного мемуариста 1930-х гг., были политическими. Один из Гарвардских респондентов, высоко ценивший слухи в СССР за «достоверную информацию», вспоминал слухи о новых законах, предстоящих арестах («должны были посадить одного большого человека... в газетах ничего не было, а люди знали»), повышении цен, перебоях в снабжении («говорили, что скоро не будет сахара или хлеба, и обычно так и было, слухи подтверждались»). Другие не были так уверены в надежности слухов. Один респондент, вспоминая ходившие в начале 1940-х гг. слухи, будто после войны колхозы отменят, а в церквях зазвонят колокола, высказал предположение, что агенты НКВД сами «распускали эти слухи, зная, что людям они нравятся». Другой припомнил, что было много ложных слухов, особенно во время Большого Террора. Например, «мы два или три раза слышали, будто исчез Молотов»[67].

Советские анонимные формы общения с властями по самой своей сути носили крамольный характер[68]. Они переворачивали с ног на голову советские клише. На официальном языке крамольные высказывания именовались «враждебными», но точнее было бы сказать «дерзкие». Анекдоты, брань и все остальное — были для граждан способом показать кукиш советской власти, и соблазн сделать это был тем сильнее, что от публичных выступлений обычно требовалась ханжеская благонамеренность.

Одной из наиболее привлекательных мишеней крамольных высказываний служили советские лозунги. Эти фразы, как правило, рождавшиеся из случайно оброненных Сталиным замечаний, без конца повторялись в газетах и выступлениях пропагандистов, их даже иногда писали на знаменах. «Жить стало лучше». «Техника решает все». «Кадры решают все». «Догнать и перегнать». «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики».

Их было легко запоминать, как рекламные фразы, и так же легко презирать и осмеивать. Мы уже видели, как раздражал народ постоянный припев «Жить стало лучше». Лозунг «Догнать и перегнать» тоже часто служил мишенью для острот, например: «Когда догоним [капиталистические страны], можно там остаться?», «Когда догоним Америку, отпустите меня. Не хочу идти дальше»[69].

Различные аббревиатуры, любимые советским чиновничеством, часто давали повод для шуток — обычно предлагались другие варианты прочтения. Сокращенное название коммунистической партии в 1930-е гг., ВКП, деревенские остряки расшифровывали как «второе крепостное право», а в прочтении некоторых молодых ленинградцев само название СССР звучало как «Смерть Сталина спасет Россию». ОГПУ расшифровывали как «О, Господи! Помоги убежать» или (если читать справа налево) — «Убежишь — поймают, голову отрубят»[70].

Та же любовь к игре слов и инверсии советских клише выражалась в том, что в менее авторитарном обществе назвали бы злыми шутками (а советские власти называли саботажем). Несмотря на суровую кару за подобные проступки, цензоры постоянно вынуждены были выискивать в текстах газет, брошюр и книг мелкие ошибки, которые могли быть просто типографскими опечатками, но смысл меняли катастрофически. Так, излюбленное клише «ликвидация безграмотности» в одной провинциальной газете превратилось в «ликвидацию еды». В другой газете портреты членов Политбюро весьма неудачно оказались рядом с очерком по экономической статистике, озаглавленным «Поголовье скота в СССР». Названия городов, данные в честь партийных руководителей, переиначивались: например, Кировград и Сталинград становились Киров*гадом* и Сталин*гадом*. Один шутник (саботажник) в 1933 г. в Башкирии даже не позаботился придать своей шутке вид типографской опечатки, поместив на обложки 10000 трудовых книжек для колхозников лозунг: «Кто работает больше и лучше, ничего не получит!»[71]

Коммунистов сильно высмеивали в советских анекдотах, персонажами которых часто бывали Сталин и Ленин, реже — другие лидеры (Молотов, Ворошилов, Калинин). В одном из многих «ленинско-сталинских» анекдотов, ходивших в середине 1930-х гг., обыгрывался тот факт, что и жену Ленина Крупскую, и жену Сталина Аллилуеву звали Надежда и что жена Сталина умерла: «У Ленина Надежда была и осталась, а у Сталина Надежды нет». Большой популярностью пользовались загадки и чтение наоборот: «Прочти фамилию Кирова наоборот, справа налево» (получается «ворик»)[72].

В середине 1930-х гг. было множество вариантов и переделок частушек в связи со смертью Кирова: «Убили Кирова, / Убьют (убьем) и Сталина». Один вариант звучал так: «Когда Кирова убили, / Торговлю хлебную открыли. / Когда Сталина убьют, /

Все колхозы разведут». В тот же период была и такая частушка: «Когда Ленин умирал, / Он Сталину приказал / Хлеба рабочим не давать, / Мяса им не споказать». Но это довольно редкий случай, когда Ленин и Сталин ставятся на одну доску, вместо того чтобы противопоставляться друг другу. Вот как выглядит противопоставление в одной украинской частушке времен голода 1932–1933 гг.: «Ленин наш класс защищал, / И жить нам давал. / Сталин всех нас погубил, / В могилу уложил»[73].

Мишенью многих анекдотов служили стахановцы, на которых смотрели как на любимчиков режима. «Что дают?» — спрашивает в очереди глухая старушка. «Дают по морде», — отвечает кто-то. «Всем или только стахановцам?» В другом анекдоте речь идет о награждении доярок-стахановок. В торжественной обстановке первой доярке вручают радиоприемник, второй — патефон, третьей — велосипед. Выходит четвертая — «передовая свинарка». Председатель с благоговейным волнением вручает ей «полное собрание сочинений нашего любимого товарища Сталина». Тишина. Голос из задних рядов: «Так ей, суке, и надо»[74].

Много было анекдотов на тему репрессий и террора — запретную в советском обществе. Вот два из них, вошедшие в классику советского фольклора:

«1937 год. Ночь. Звонок в дверь. Муж идет открывать. Возвращается и говорит жене: — Не бойся, дорогая, это всего лишь бандиты».

«— Тебя за что посадили? — За болтовню: анекдоты рассказывал. А тебя? — За лень. Услышал анекдот и подумал: завтра сообщу куда следует. А товарищ времени не терял»[75].

В одних анекдотах подчеркивалось бессилие советских граждан перед лицом государства; в других выворачивалось наизнанку привычное клише, сравнивающее счастливое настоящее с горьким прошлым, переиначивались советские образцы героизма и преданности. Так, например, в одном анекдоте «рабочего приводят на самый верх кремлевской стены и спрашивают, может ли он спрыгнуть вниз в знак своей преданности советской власти. Тот прыгает без колебаний, его ловят специальной сетью, поздравляют и всячески превозносят за самоотверженность. Один из свидетелей этой сцены потом спрашивает рабочего, как он так сразу решился прыгнуть, ведь это верная смерть, и слышит в ответ: "Да черт с ней, с такой жизнью"»[76].

Выходки вроде вышеописанной — короткие вспышки ярости на публике, когда человек отбрасывал обычную осторожность и плевал на запреты, — часто случались и в реальной действительности. Несомненно, это было вызвано крайним дискомфортом и тяготами повседневной жизни, но могло быть и реакцией на постоянное напряжение, ощущаемое из-за тотальной слежки. Одна такая реальная выходка была зафиксирована на деревенском собрании, посвященном излюбленной вечной теме советской пропаганды — международному положению и угрозе войны. Один из

присутствующих, слишком часто все это слышавший, вскочил с места «и, злобно трясясь, выкрикнул: "А туды ее мать, чем такая жизнь! Пусть — война! Скорей бы! Я первый пойду!"» Такую же вспышку при обсуждении новой Конституции на одном из заводов вызвало упоминание сталинского лозунга «Жить стало лучше». «Когда разговор зашел о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, [один рабочий] швырнул брошюру с проектом конституции на пол и стал топтать ее ногами, выкрикивая: "К черту вашу конституцию, мне она ничего не дала... Я голодаю... Вся моя семья голодает... Мне жить стало хуже... Раньше было лучше"»[77].

Публичные выпады часто были следствием состояния опьянения, что в советских условиях отчасти служило извинением скандального поведения, хотя отнюдь не всегда спасало виновника от наказания. Зачастую желание посмеяться над властью и выказать свое неповиновение ей было слишком очевидно. Один респондент Гарвардского проекта рассказал такую историю: «У меня был в Сталинграде друг, который как-то раз напился и бродил по улице. Он увидел человека, похожего на партийного работника, толкнул этого товарища и сказал: "Извините, спешу — надо пятилетний план выполнять". Его арестовали и дали три года за издевательство над пятилетним планом». В официальной сводке о настроении населения во время выборов 1937 г. есть рассказ о том, как в Москве «очень пьяный» гражданин громогласно объявил в кабине для голосования: «Буду голосовать только за товарища Ежова, за остальных не хочу. Можете меня арестовать, но я буду голосовать только за Ежова, а Гудов [рабочий-стахановец, кандидат от данного округа] меня не устраивает»[78].

В анонимных письмах с бранью и обвинениями в адрес властей, так же как и в публичных выпадах, вырывался наружу долго сдерживаемый гнев. Анонимность служила для автора лучшим прикрытием, чем состояние опьянения, поэтому подобные письма не представляли такого риска, как выходки в общественном месте. Однако совсем безнаказанными они не оставались, потому что НКВД обычно старался выследить автора, и это ему часто удавалось. Анонимщики это прекрасно понимали и в некоторых письмах бросали НКВД открытый вызов, предлагая найти автора[79]. Порой в анонимках содержались прямые угрозы, как, например, в присланном Жданову «Комитетом спасения народа» предупреждении, чтобы он и другие лидеры поостереглись, иначе с ними случится то же, что с Кировым, или в предостережении отдельного анонима, что если цены не снизят, то и остальных руководителей ждет судьба Кирова. Иногда угрозы носили более завуалированный, общий характер, как, например, в письмах, предупреждавших, что политика советской власти неизбежно приведет к восстаниям, революции и гражданской войне[80].

В анонимках часто встречались националистические выпады, особенно антисемитские, но не только. Несомненно, в них отражались предрассудки, глубоко укоренившиеся в российском общест-

ве, но вместе с тем они демонстрировали нарушение строжайшего табу на подобные высказывания, существовавшего в СССР в предвоенный период, придавая письмам особую остроту. В анонимках нередко утверждалось, что страной правят евреи — или евреи, грузины и армяне. «Мы, несчастные граждане еврейско-армянской страны», — начиналось анонимное письмо в «Правду», протестующее против закрытия церквей. Евреи управляли русской революцией, говорилось в другом, и хотят управлять всем миром. «Кому нужен интернационализм — только евреям». Авторы анонимок обвиняли государственное руководство в том, что в нем заправляют евреи, а его представителей-неевреев, таких как Сталин и Киров, — в том, что они продались евреям. Национальность Сталина тоже не избежала их внимания: в одной анонимке его с насмешкой называют «кавказским князем Сталиным»[81].

Один автор выразил свои антисемитские настроения в стихах, призывая читателя помнить, что СССР —

> «Страна, где нет прав и закона,
> Страна невинных жертв и наглых палачей.
> Страна, где царят раб и шпион,
> И евреи попирают святую идею».

Эти стихи — часть письма, адресованного начальнику Главсевморпути О.Ю.Шмидту, написанного в основном с целью поглумиться над неудачей одного из советских арктических перелетов, вокруг которого была поднята большая шумиха. «Никакая еврейская реклама не помогла. Вместо Сан-Франциско ваш прославленный самолет, сделанный [на] "прославленных" советских заводах и из советских материалов, то есть из хлама, позорно разбился о скалы»[82].

Риск для авторов анонимных бранных писем значительно возрастал, если подобная анонимка передавалась в виде записки оратору на собрании. Тем не менее, и такое бывало. Молотов прочел вслух одну такую записку, полученную им после выступления на партийной конференции в Москве в 1929 г.:

«Товарищ Молотов! Вы кричите о самокритике, но... пусть только кто-то покритикует диктатуру Сталина и его группировки — завтра же вылетит с должности, с работы, к черту, в тюрьму и так далее. (Шум.) Не думайте, что люди идут за вами и единодушно за вас голосуют. Многие против вас, но боятся потерять кусок хлеба и свои привилегии. Поверьте, все крестьянство против вас. Да здравствует ленинизм! Долой сталинскую диктатуру!»[83]

* * *

Слежка не была исключительно односторонней. Уже сам факт, что власти собирали информацию о гражданах, создавал канал коммуникации для общественного мнения. Но слежка велась с обеих сторон и в другом смысле. Граждане изобрели свою

форму наблюдения за властью, пытаясь расшифровывать ее публичные заявления, чтобы узнать, что в действительности происходит. Газеты и другие официальные тексты — даже анкеты переписи — тщательно изучались, и не только интеллигенцией, но, по всей видимости, большей частью читающего населения, включая крестьян[84]. Таким образом, наблюдатели в свою очередь становились объектом наблюдения.

Скептицизм в отношении того, что пишут в газетах, был широко распространен — он отразился в известной шутке, что в «Правде» нет никакой правды, а в «Известиях» — никаких известий. Нередко встречалось мнение, что «все ложь», например: «Никаких стахановцев на самом деле нет, все это только в газетах пишут, а в жизни их не бывает, все это выдумки». Но большинство читателей газет, в целом не доверяя прессе, все же считали, что кое-что появляющееся в газетах имеет некоторую связь с действительностью. По словам одного респондента Гарвардского проекта, квалифицированного рабочего со средним образованием, он не верил советским газетам, когда они трубили об экономических достижениях, но верил статьям, в которых описывались «беспорядки, невыполнение плана, производственный брак». Если в газетах публиковались опровержения ТАСС по поводу каких-либо сообщений иностранной прессы, он верил, что «если опровергают, значит, что-то есть»[85].

Традиция чтения текста в эзоповом духе укоренилась в российской/советской культуре ничуть не менее глубоко, чем традиция написания его эзоповым языком, и первой следовало гораздо больше народа, чем второй. Некоторые тексты писались журналистами и руководителями, пытавшимися сообщить массам нечто такое, что не было бы пропущено цензурой или Политбюро, специально в расчете на подобное прочтение. Но вообще это было не обязательно: советские читатели изо всех сил пытались найти скрытый подтекст даже там, где не было никакого намерения дать понять что-то между строк. Они использовали все свое мастерство, чтобы выяснить, что происходит на международной арене, в Советском Союзе и даже в Политбюро. Выискивали малейшие намеки, чтобы понять, что конкретно означают приходящие сверху «сигналы», часто весьма неясные. Полагая, что режим то и дело пытается их обмануть, они вместе с тем полагали, что у них есть возможность разглядеть под покровом обмана некую толику правды.

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, нам нужно вернуться к сводкам НКВД о настроении населения, о которых шла речь выше. Это настоящее зеркало, запечатлевшее не только картину народных настроений, как ее рисовал НКВД, но и картину действий и намерений властей, как ее рисовали в народе. Собирая, например, данные о реакции народа на убийство Кирова, НКВД включал в свои донесения всевозможные предположения о том, кто это сделал, и почему, и что это означает, — иными сло-

8 — 788

вами, попытки граждан расшифровать и истолковать публичные заявления по поводу убийства. «Может, он напился и застрелился», — полагали одни. Может, это эпизод аппаратной борьбы за власть, в которой Киров и Николаев (убийца) оказались по разные стороны баррикад. А может быть, это последствие отмены карточек (произошедшей за несколько недель до убийства), поскольку «положение рабочих не улучшилось, и это озлобило рабочих — к тому же Николаев сам из рабочего класса»[86].

Конечно, все эти предположения противоречили официальной версии, согласно которой за данным преступлением стояла оппозиция, причем некоторые в открытую. Так *кто* же стоял за убийством? Кое-кто полагал, будто «Киров был убит по приказу Сталина», хотя эта версия в то время, кажется, не была так широко распространена, как впоследствии, в хрущевский период, когда вина Сталина стала главным сюжетом московского фольклора. Чаще встречалось менее определенное мнение, что убийство как-то связано с политикой. «Наверху стреляют, а внизу требуют порядка», — как заметил кто-то[87].

Перепись населения 1937 г. вызвала в народе целый шквал догадок и предположений о намерениях властей и значении некоторых вопросов в анкете. Судя по донесениям НКВД, говорили, будто проведение переписи означает неминуемую войну и призыв в армию; цель ее — «выявить молодых людей и отправить их на фронт». Уникальная черта переписи 1937 г. по сравнению с другими советскими переписями — вопрос о вере[88]. Он стал поводом оживленных дискуссий, поскольку его неожиданное появление в анкете можно было рассматривать либо как угрозу, либо как обещание. Не имеет ли перепись своей целью «выявить верующих, чтобы репрессировать их»? Кое-кто поговаривал о возможной резне верующих — «варфоломеевской ночи» — и замечал, что «не случайно» перепись проводится «в ночь на 7 января, на рождество Христово». Но по мнению других, вопрос о вероисповедании давал верующим возможность показать, сколько их на самом деле, и заставить советскую власть изменить свою политику в отношении религии. Некоторые думали, что высокий процент «голосов» за веру приведет к свободе вероисповедания, и высказывали предположение, что этот пункт включен в анкету по настоянию Лиги наций или иностранных держав[89].

Последний пример народной расшифровки официальных сообщений относится к напряженным месяцам в начале 1937 г., когда только что был запущен маховик Большого Террора. В начале февраля внезапно умер популярный член Политбюро Серго Орджоникидзе (покончил с собой, как считают сейчас многие историки), по официальной версии — от «сердечного приступа». Но смерть последовала всего через несколько недель после того, как один из заместителей Орджоникидзе, Г.Л.Пятаков, был обвинен в измене родине и саботаже на втором московском показательном процессе, осужден и расстрелян[90]. В пространных и пышных некрологах сквозили некоторые нотки растерянности и смятения, достаточные для того, чтобы насторожить читателей — специалистов по эзопову языку. Как отмечалось в рапорте НКВД о реакции населения на смерть Орджоникидзе, «довольно значительная часть материалов отражает высказывания несоветских, обывательских элементов, связывающих смерть товарища Орджоникидзе с "неприятностями" и "моральными потрясениями"», вызванными процессом Пятакова[91].

Количество приведенных высказываний свидетельствует о том, что тон официального извещения заставил людей подозревать, будто дело нечисто. Может быть, Орджоникидзе стал жертвой террористов? Покончил с собой? Отравлен людьми Пятакова или неизвестными лицами? Умер от переживаний из-за процесса Пятакова? (В отличие от дела Кирова, в донесениях НКВД нет предположений о том, что это убийство во приказу Сталина; этот слух, постоянно ходивший в послесталинский период, — очевидно, более позднего происхождения.) Многие думали, что смерть Орджоникидзе возвещает усиление репрессий. «Счастлив будет, кто переживет 1937 год, — сказал один рабочий, принадлежавший к религиозной секте. — Так написано в библии. Всех красных правителей уничтожат, а потом станет править царь Михаил». Это не единственное предсказание дальнейших смертей среди политического руководства. «Теперь очередь других руководителей, Сталина». Население правильно прочло знаки, явленные в начале 1937 г. — надвигалось новое «смутное время»[92].

8. СМУТНОЕ ВРЕМЯ

«Ты знаешь, сейчас сажают ни за что».
Замечание местного руководителя, 1938 г.[1].

Слежка — это когда население находится под наблюдением; террор — когда представители населения подвергаются массовым арестам, казням и другим формам государственного насилия по самым непредсказуемым причинам. Общество слежки не обязательно должно быть обществом террора: например, Германская Демократическая Республика 1970-х — 1980-х гг. была относительно свободна от террора, хотя штази — ученица НКВД, превзошедшая учителя, — опутала ее сетью тотальной слежки, не имеющей параллелей в истории служб государственной безопасности[2]. Однако связь между слежкой и террором, совершенно очевидно, существует; используются те же самые учреждения, и происходят во многом те же самые процессы. В Советском Союзе, где волны террора против различных групп населения начались в гражданскую войну и периодически поднимались после нее в течение всего предвоенного периода, связь эта была особенно тесной. Слежка служила ежедневным напоминанием о возможности террора.

Инструменты государства ведут слежку и осуществляют террор. В советской народной речевой практике и то и другое определялось как вещи, которые «они» делают с «нами». Очень важно понимать, что советские граждане именно так воспринимали происходящие процессы, но не менее важно понимать и то, что подобный подход во многих отношениях неудовлетворителен. Где граница между «ними» и «нами» в обществе, насчитывающем почти миллион должностных лиц различного ранга, от представителей верховной власти до нищих мелких начальников в деревне? Причем, если «они» — это люди, получающие доступ к государственной власти через занимаемую должность, то как можно говорить о Большом Терроре, от которого пострадали в первую очередь должностные лица, как о том, что «они» делали с «нами»?

Для общества в целом террор означает горздо больше, чем просто страдания жертв и их семей и боязнь остальных стать жертвами в свою очередь. Общественный опыт террора включает и опыт палача, и опыт жертвы, и опыт творящего насилие, и опыт

страдающего от насилия. То же самое справедливо и в отношении индивидуального опыта террора: даже те, кто никогда не доносил на сограждан по собственной воле, во время Большого Террора не защищали друзей, пригвождаемых к позорному столбу, порывали отношения с семьями «врагов народа» и самыми различными путями становились участниками процесса террора. Одна из самых полезных функций системы понятий, противопоставляющей «их» и «нас», для советских граждан — и главная причина осторожного отношения к ней историков — как раз и заключалась в том, что она затушевывала этот нестерпимо досадный факт.

Волн террора, по образному выражению Солженицына, было много, и каждая приносила в тюрьмы и лагеря Гулага жертвы из различных социальных групп. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. это были кулаки, нэпманы, священники и в меньшей степени — «буржуазные специалисты», хотя они представляли главную мишень. В 1935 г., после убийства Кирова, пострадали ленинградцы — особенно представители прежних привилегированных классов и бывшие члены оппозиции в партии и комсомоле. Затем наступил Большой Террор, направленный специально против коммунистической элиты, до тех пор не попадавшей под удар, а также против интеллигенции и всех «обычных подозреваемых» вроде кулаков и «бывших людей».

Данная глава посвящена одной отдельной волне террора, Большому Террору 1937—1938 гг. Это была квинтэссенция сталинского террора, исторический момент, кристаллизовавший и в то же время преобразовавший опыт террора, накопленный за два предыдущих десятилетия. Террор против всевозможных врагов являлся привычной стороной жизни в СССР, хотя и не продолжался непрерывно. Однако до Большого Террора слово «враг» обычно всегда связывалось со словом «классовый». Понятие «классовые враги» подразумевало существование в советском обществе четко определенных категорий, предназначенных в жертвы террора: кулаки, священники, лишенные прав «бывшие люди» из прежних привилегированных классов и т.п. По-видимому, подразумевалось и то, что люди, не относящиеся к данным категориям, могли не бояться террора, — хотя на практике мало кто из советских граждан безоговорочно доверял этой предпосылке, зная, сколь бесконечно гибкими могут быть такие позорные определения, как «кулак» и «буржуй».

Большой Террор установил новое определение объекта террора: «враги народа». В каком-то смысле это было просто кодовое название, означающее, что в этот раз, в отличие от всех предыдущих, охота на врагов будет вестись главным образом среди коммунистической элиты. Но в другом смысле это был признак разрушения прежних концептуальных границ террора. «Враги» больше не имели таких специфических атрибутов, как классовая принадлежность; любой мог оказаться врагом — советский террор

принимал бессистемный характер. Говоря словами эпиграфа, предваряющего эту главу, — «сажали ни за что».

Социальные патологии, подобные Большому Террору, не имеют полностью удовлетворительного объяснения. Каждый индивидуум знает, что является беспомощной жертвой, реальной или потенциальной. Кажется невозможным, во всяком случае для ума, воспитанного на принципах Просвещения, чтобы столь экстраординарные, столь чудовищно выходящие за рамки нормального опыта события происходили «случайно». Должна быть причина, думают люди, и тем не менее происходящее выглядит по сути беспричинным, бессмысленным, необъяснимым ничьими рациональными интересами. Вот так в основном образованные, современные, западного склада русские, представители элиты, понимали (или не понимали) Большой Террор. Дилемма перед ними стояла тем более мучительная, что это были те самые люди, которые в данном раунде террора рисковали больше всего, и они это знали.

Для большинства российского населения, менее образованного и менее западного склада, концептуальные проблемы не имели такой остроты. Террор 1937—1938 гг. был одним из великих бедствий вроде войны, голода, наводнений, эпидемий, которые периодически сокращали его численность и которые надо было просто перетерпеть. Для таких бедствий не бывает особых причин (хотя некоторые верующие всегда говорят, что это кара за грехи), и предотвратить их невозможно. Кроме того, события 1937—1938 гг. задели низы населения — за исключением изгоев и маргиналов[3] — гораздо меньше, чем элиту. Для крестьян они не шли ни в какое сравнение с тяжким ударом в начале десятилетия — коллективизацией. Для городских рабочих голод в начале десятилетия и ужесточение кары за нарушения трудовой дисциплины в конце его стояли гораздо выше на шкале выпавших на их долю несчастий.

В начале 1937 г. и образованные, и необразованные русские видели признаки того, что надвигается национальное бедствие. Важнейшей непосредственной причиной такого ощущения стал неурожай 1936 г., приведший зимой и весной 1937-го к голоду в деревне, очередям за хлебом в городах и паническому страху, что будет еще хуже, чем в 1932—1933 гг. В деревне носились слухи о близящемся голоде, беспорядках, войне — как во время коллективизации.

Были и другие факторы. С начала первой пятилетки и коллективизации власть и общество жили в постоянном напряжении; индустриализация, беды, связанные с коллективизацией, тревожная международная обстановка, вызвавшая в стране предмобилизационное положение, отнимали все силы. Внутри коммунистической партии атмосфера становилась все более напряженной по мере того, как процесс партийных чисток, впервые прошедших в 1933—1934 гг., повторялся в 1935 и в 1936 гг. После убийства

Кирова бывшие оппозиционеры стали мишенью террора, Зиновьева и Каменева, которым приписывали моральную ответственность за убийство, судили дважды и в 1936 г. расстреляли. Партия продолжала очищать себя от нежелательных членов, и процесс этот все более и более ужесточался — дело кончалось уже не только исключением из партии, а нередко и арестом. Почти 9% исключенных из партии в ходе самой последней чистки — в общей сложности более 15000 чел. — арестованы как шпионы, кулаки, белогвардейцы и негодяи всех мастей, докладывал Ежов ЦК в декабре 1935 г. И арестов должно было стать еще больше. Как выразился один из выступавших на этом заседании ЦК, стоит исключенным из партии прийти домой, они тут же начинают заниматься контрреволюционной деятельностью; нужно «их выкурить», пока не дошло до настоящей беды[4].

Армия бывших коммунистов росла, пока в начале 1937 г. встревоженные руководители партии не указали, что в некоторых регионах и на некоторых предприятиях число *бывших* членов партии сравнялось с числом членов партии или даже превысило его[5]. Считалось, что эти люди — враги, часть неудержимо расширявшейся группы, куда входили не только все, кто выступал против режима, но и все, кого режим когда-либо обидел, не говоря уже обо всем капиталистическом «окружении», угрожавшем существованию Советского государства. Советская политическая культура не создала эффективных механизмов возвращения заблудшей овцы в стадо. Необходимость таких механизмов признавалась, по крайней мере так можно подумать, судя по некоторым акциям вроде восстановления в партии бывших оппозиционеров, возвращения гражданских прав сосланным кулакам и попытки снять клеймо с «социально-чуждых» в Конституции 1936 г. Но эти усилия никогда не длились долго: сосланные оставались привязаны к месту ссылки, бывшие лишенцы по-прежнему подвергались дискриминации, невзирая на Конституцию, а почти всех бывших оппозиционеров вновь исключили из партии и арестовали как «врагов народа» в течение нескольких лет после восстановления. Клеймо по сути было вечным; ничто не могло стереть темного пятна в биографии.

С точки зрения коммунистов, хуже было то, что многие враги — которых режим покарал или заклеймил позором — уже не так легко поддавались выявлению, потому что «маскировались». Кулаки и их дети бежали в города и становились рабочими, скрывая свое прошлое. Бывшие дворяне меняли имя и устраивались на скромную бухгалтерскую должность. Бывшие священники и дети священников переезжали в другие части страны и становились учителями. Те, кого выслали из крупных городов при проведении паспортизации, возвращались с поддельными паспортами и прикидывались респектабельными гражданами. Даже коммунисты, исключенные из партии за различные нарушения, вновь вступали в нее с поддельными билетами. Разве в этом ог-

ромном сообществе обиженных не должны были вырастать шпионские сети и заговоры? Разве это не был новый класс врагов, связанных друг с другом, как и прежние привилегированные классы, невидимыми узами сочувствия и общих претензий?

Дух подозрительности и конспиративности, который всегда был присущ советской коммунистической партии, не угасал, как можно было бы ожидать от революционной партии, упрочившей свою власть: неудача с коллективизацией и шок от убийства Кирова укрепили его. Не ослабевали страх перед расколом и нетерпимость к инакомыслию; скорее, они даже усилились, и открытые разногласия в верхних эшелонах партии заглохли. Но это порождало свои проблемы: если все вслух выражают согласие, как узнать, что они думают на самом деле? Следовательно, нужно вновь и вновь проверять партийные кадры, поощрять доносы, усиливать слежку.

Партия всегда требовала от своих членов бдительности, но теперь появилось одно существенное отличие: бдительность нужно было проявлять не только в отношении врагов внешних, но и в отношении врага внутреннего. «Внутренний» в первую очередь означало — внутри партии. Но тут звучал намек и на нечто более пугающее — на то, что враг может таиться в тебе самом. «Каждый человек... чувствует, что где-то в глубине его души есть кусочек вредительства», — пишет один исследователь сталинской культуры. Мемуарист Степан Подлубный, сын раскулаченного крестьянина, знал это чувство недоверия к самому себе и изо всех сил бился, пытаясь стереть родимое пятно своего происхождения. По мере продолжения партией коллективной самопроверки, принимающей все более истерический характер, все несомненные данности переставали быть таковыми. Очевидно, можно было быть вредителем, не имея такого намерения и даже не зная об этом. Можно было носить маску, которая обманывала тебя самого[6].

1937-й ГОД

Предгрозовые раскаты начали раздаваться после смерти Кирова, за которой последовали узко локализованные волны террора. Первый из трех больших московских показательных процессов над бывшими оппозиционерами, процесс Зиновьева и Каменева в августе 1936 г., положил начало арестам среди бывших членов оппозиции, но они производились пока еще в сравнительно небольших масштабах. Массовые аресты среди коммунистической элиты и период истерической охоты на ведьм, известный теперь как Большой Террор, начались в первые месяцы 1937 г., когда в январе прошел показательный процесс Пятакова и других бывших руководителей-коммунистов, обвинявшихся в контрреволюционном вредительстве и саботаже, а вслед за тем состоялся пленум ЦК с кровожадными выступлениями. Хотя прошло почти два

года, прежде чем террор стал сбавлять обороты и Н.Ежов был смещен с поста наркома внутренних дел, советские граждане долго вспоминали весь этот период как «1937-й год».

Три процесса имеют сильное структурное сходство с показательными процессами времен Культурной Революции — шахтинским процессом 1928 г. и процессом Промпартии 1930 г. Разница в том, что тогда обвиняемые были «буржуазными специалистами», которых судили как представителей своего класса в рамках кампании против старой интеллигенции. На этот раз обвиняемые были высокопоставленными коммунистическими сановниками, совсем недавно смещенными с руководящих постов. Следовало бы предположить, что и их судят как представителей определенного класса, весь вопрос — какого? Один возможный ответ был — класса бывших оппозиционеров. Другой, значительно более чреватый последствиями, — что теперь судят всю коммунистическую администрацию.

Главная тема процесса Пятакова — вредительство, т.е. намеренный подрыв советской экономики высокопоставленными руководителями, являвшимися на самом деле тайными врагами советской власти. Г.Л.Пятаков, один из главных обвиняемых, когда-то был сторонником Троцкого, в начале 1930-х гг. покаялся, был восстановлен в партии и стал правой рукой Орджоникидзе в Наркомате тяжелой промышленности. Его обвиняли в «измене родине, шпионаже, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов». Прокурор Вышинский в драматическом выступлении в леденящих кровь подробностях живописал мрачные контуры заговора бывших оппозиционеров, их хозяина «Иуды-Троцкого», а также германской и японской разведок против советской власти. Это «бандитская шайка», «убийцы», «холуи и хамы капитализма», заявил Вышинский. «Это не политическая партия... это банда преступников... немногим отличающихся от бандитов, которые оперируют кистенем и финкой в темную ночь на большой дороге». Страшась масс, «от которых она бежит, как черт от ладана», шайка «прячет свои звериные когти, свои хищные зубы. Корни этой компании, этой банды надо искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их за верную холопскую службу»[7]. Все союзные газеты почти дословно освещали этот процесс, с кричащими заголовками, фотографиями перепуганных подсудимых, публикацией переданных суду заявлений возмущенных советских граждан, требующих смертной казни.

Сталин, Молотов и Ежов растолковали общую идею пораженному ужасом ЦК на пленарном заседании, начавшемся в феврале. Их выступления в значительной степени склонили чашу весов в пользу версии, что на процессе Пятакова судили класс коммунистической управленческой элиты. Как оказалось, заявили они, Пятаков и компания — не единственные вредители в промышленности. В руководящем аппарате промышленности и транспорта вре-

дители процветают повсюду, пользуясь попустительством благодушных коммунистов, позабывших о бдительности; и не все вредители — бывшие оппозиционеры. Враги народа есть и в других советских государственных учреждениях. Кроме того, вредители и предатели пробрались на высшие посты в областном и краевом партийном руководстве. (Эта новость была особенно удручающей для ЦК, многие члены которого сами были секретарями обкомов[8].)

В следующие несколько месяцев газеты вывалили на читателей гору сенсационной информации о грехах руководителей-коммунистов в центре и на местах. При этом обычно воздерживались от прямых заявлений, что такой-то субъект, разоблаченный как «враг народа», арестован или скоро будет арестован, но любому искушенному читателю советской прессы это было ясно без слов. Статьи были написаны таким образом, чтобы разжечь всю затаенную неприязнь, питаемую советскими гражданами к привилегиям и должностным злоупотреблениям элиты. Враги народа разводили покровительство и кумовство, запугивали подчиненных и были грубы с рядовыми гражданами, создавали на местах собственные «культы личности», использовали государственные средства, чтобы вести роскошную жизнь с банкетами, дачами, машинами, иностранными товарами и дорогой одеждой.

Дух того времени, решительно антиэлитарный и антиначальнический, запечатлен в тосте за «маленьких людей», который Сталин произнес в октябре, заметив: «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен»[9].

В сгустившейся атмосфере самые обычные поступки внезапно приобретали зловещий смысл. Возьмем, к примеру, «семейства» клиентов и полезные связи, которыми окружал себя любой политический деятель центрального или областного масштаба. Было вполне естественно (и большинство людей в обычное время с этим бы согласились) хотеть, чтобы тебя окружали свои люди; приводить с собой верных лейтенантов, когда меняешь работу; защищать своих людей, когда какой-нибудь придира в Москве начинает причинять им неприятности; объединять усилия с другими работниками твоего наркомата или региональной партийной организации в стремлении представить достижения своего ведомства или региона в наилучшем свете. Однако ныне все подобные действия казались подозрительными и попахивали заговором.

Одна провинциальная газета повела наступление на привычку к кумовству Г.П.Савенко, директора местного коксохимического завода, когда того разоблачили как врага народа. Савенко, сообщала газета, переехав из Донбасса в Днепропетровск, привез с собой «своих людей», среди которых были классовые враги и бывшие троцкисты, и дал им всевозможные привилегии, «всех жуликов и проходимцев... всячески лелеял». За два года, 1935 и 1936, он потратил 114000 руб. из директорского фонда на персональные оклады, которые в том числе получали разоблаченный вредитель, сын белоказачьего офицера, бывший троцкист, сын крупного дореволюционного фабриканта, исключенный из партии

за спекуляцию золотом, и другие нежелательные элементы. Савенко также тратил деньги из директорского фонда на пышные банкеты. И это (специально отмечала газета) представляло резкий контраст в сравнении с мизерными суммами, отпускавшимися на культурные нужды, жилье для рабочих и другие достойные дела[10].

«Скромность украшает большевика», — подчеркивалось в передовице «Правды». Увы, многие руководители забыли эту заповедь. Критическая статья об украинском руководстве обвиняла П.П.Постышева (бывшего главу киевской партийной организации) в создании собственного культа. «Обстановка, ничего общего не имеющая с большевизмом, достигла своего апогея, когда киевской организацией руководил т. Постышев. "Указания Постышева", "Призывы Постышева", "Детсады Постышева", "Подарки Постышева" и т.д. Все начиналось и кончалось Постышевым». Руководители промышленности были не лучше: на крупном металлургическом комбинате в Макеевке (директор которого, Г.В.Гвахария, как раз в это время был разоблачен как участник германско-японско-троцкистского заговора), сообщала газета, руководители завода, «окружив себя "хвостом"... начали друг друга хвалить», и «дело дошло до того, что в дни революционных праздников портрет Гвахарии вывешивали у входа на завод, его портрет носили впереди демонстрации»[11].

В других материалах мишенью служил роскошный образ жизни. Например, казанская газета избрала именно этот повод для атаки на попавших в опалу руководителей городского совета (в том числе П.В.Аксенова, бывшего председателя горисполкома и мужа оказавшейся впоследствии в Гулаге мемуаристки Е.Гинзбург), против которых были заведены уголовные дела по обвинению в злоупотреблении государственными средствами. Они якобы построили себе элитный дачный поселок, отбирая средства у местных строительных трестов и требуя, чтобы директора заводов (которые тоже должны были пользоваться дачами) вносили свой вклад из собственных директорских фондов. Dolce vita* на этих дачах описывалась следующим образом:

«Жизнь на даче вообще была поставлена на широкую ногу. Завтраки, обеды, ужины, закуски и выпивка, постельное белье — все отпускалось бесплатно; гостеприимные хозяева, добрые за счет государства, были лишены каких бы то ни было материальных расчетов... Здесь, под сенью елей и сосен, не знали — что такое учет и отчетность; деньги тратили "по-свойски", без нужного оформления затрат официальными документами. В общем на "эксплуатацию" дач было разбазарено около 225 тыс. рублей государственных средств»[12].

Таким же описанием роскошной жизни сопровождалась атака «Правды» на директора комсомольского издательства Е.Д.Лещин-

* Сладкая жизнь (итал.).

цера, названного «буржуазным перерожденцем», который «бесцеремонно залезает в государственный карман», обставляя квартиру карельской березой и обустраивая себе шикарные апартаменты на даче издательства[13].

Самое поразительное в этих историях — не откровения насчет поведения высокопоставленных коммунистов: такие характерные для советской администрации черты, как семейственные сети и культы региональных лидеров, были хорошо известны советским гражданам, не удивляло их и то, что эти люди пользовались материальными привилегиями. Поразительно то, что «Правда» и другие официальные печатные органы подхватили некоторые темы народных жалоб, которые, если бы в обычное время их высказал рядовой гражданин, рисковали получить ярлык «антисоветских» или «враждебных». Описываемые действия, как прекрасно знали многие читатели, были свойственны всей армии коммунистических кадров в целом, хотя теперь их приписывали лишь определенным «врагам народа», избранным козлами отпущения.

Террор против политической элиты неизбежно должен был затронуть интеллигенцию, поскольку обе эти группы самым различным образом были связаны друг с другом. Среди интеллигенции были коммунисты, многие из которых занимали важные административные посты, а некоторые когда-то участвовали в оппозиции. Между политической и культурной элитами существовали личные и семейные связи: например, Галина Серебрякова была женой одного из обвиняемых по делу Пятакова и бывшей женой другого; журналист-коммунист Леопольд Авербах, возглавлявший Ассоциацию пролетарских писателей (РАПП) до ее роспуска постановлением ЦК в 1932 г., был другом и шурином Генриха Ягоды, предшественника Ежова на посту наркома внутренних дел; поэтесса Вера Инбер была дочерью двоюродной сестры Троцкого и т.д. Политиков и ведущих представителей творческой интеллигенции — писателей, художников, артистов, ученых — связывала целая сеть взаимоотношений по типу «патроны и клиенты». Что же касается инженеров, то они зачастую работали в столь тесном сотрудничестве с коммунистическими руководителями в промышленности, что просто обязаны были разделить участь своих начальников, когда те попадали в немилость. Наконец, интеллигенция тоже имела статус элиты и пользовалась привилегиями, сравнимыми с привилегиями класса коммунистических управленцев. Раз был объявлен террор против элит и привилегии всячески обличались — интеллигенция не могла выйти сухой из воды.

Первыми «разносчиками чумы» среди интеллигенции стали коммунисты, бывшие в прошлом оппозиционерами или имеющие связи с оппозиционерами. Р.В.Пикель, театральный критик и член Союза писателей, возглавлявший когда-то секретариат Зиновьева в Коминтерне и активно участвовавший в левой оппозиции, был обвиняемым на процессе Каменева и Зиновьева в августе 1936 г. В течение недели, пока шел процесс, работники отдела культуры ЦК направили партийному руководству записку по поводу оппозиционеров и других возможных врагов в Союзе писателей. Как свидетельствует эта записка, среди писателей уже начались аресты (в числе арестованных названы Серебрякова и несколько бывших членов руководства РАПП), и о многих следовало серьезно подумать: о Вере Инбер, например, из-за ее семейных связей с Троцким; об Иване Катаеве, потому что он дружил с разными опальными троцкистами и ссужал их деньгами; об Иване Гронском, главном редакторе журнала «Новый мир», потому что печатал работы Пикеля, и т.д. В ходе «самокритики» в Союзе писателей всплывали новые имена, в том числе имена известных писателей, не являющихся членами коммунистической партии. Поэт Борис Пастернак попал в беду, потому что отказался подписать коллективное обращение видных писателей с требованием смертной казни Каменева и Зиновьева; прозаик Юрий Олеша — потому что защищал Пастернака и когда-то частенько выпивал вместе с одним из обвиняемых на показательном процессе[14].

В первые месяцы 1937 г. Л.Авербах стал в литературном сообществе главным объектом поношения. Его превратили в поистине сатанинскую фигуру, наподобие самого «Иуды-Троцкого», оскверняющую все и вся, с чем она соприкасается. Авербаха называли троцкистом, но на самом деле он не участвовал в оппозиции 1920-х гг., хотя и восхищался Троцким. Истинный его грех заключался в близких отношениях с Ягодой, а также в том, что, будучи руководителем РАПП, основного инструмента травли писателей в эпоху Культурной Революции, он нажил множество врагов, ухватившихся теперь за возможность свести счеты. Драматурга Владимира Киршона, руководившего РАПП вместе с Авербахом и тоже входившего в круг общения Ягоды, громили почти с таким же усердием. В числе нападавших была и его бывшая жена, жаловавшаяся, что он оскорблял ее и физически, и морально[15].

Контакты с Бухариным — личные, служебные, профессиональные — испортили много репутаций в литературном и научном мире. Как выразился один обозреватель в литературном еженедельнике, влияние Бухарина необходимо было «выжечь». Бухарин еще не был арестован, но уже находился в опале и изоляции, а на февральско-мартовском пленуме Сталин, Молотов и иже с ними подвергли его уничтожающему перекрестному допросу, после чего пленум исключил его из партии. Молодые интеллигенты-коммунисты, ученики Бухарина (его «школка», как презрительно назвал их Молотов), уже были арестованы и давали показания против него на допросах. В мае Бухарина исключили из Академии наук. Н.П.Горбунов, химик-большевик, который был постоянным секретарем Академии и на долю которого поэтому выпала неприятная задача выступать «обвинителем» в деле об исключении Бухарина, пережил его ненадолго[16].

В Красной Армии начало Большому Террору положило раскрытие в июне 1937 г. нового ужасного заговора — маршала М.Н.Тухачевского, генерала И.Э.Якира и других представителей

верховного командования. Никто из них в 1920-е гг. не участвовал в оппозиции. Они были осуждены закрытым военным трибуналом за измену родине, в частности за организацию военно-политического заговора, поддерживаемого Германией, и немедленно расстреляны. «Правда» назвала их «пойманными с поличным шпионами». В довольно бессвязной речи на закрытом совещании руководителей партии после расстрела Сталин заметил, что «врагов народа» необязательно надо искать среди бывших оппозиционеров. Порадовало это последних или нет, неизвестно, но наверняка усилило страх, испытываемый партийными лидерами с безупречным политическим прошлым[17].

Через неделю после расстрела военачальников «Правда» объявила, что ею «получено письмо от бывшей жены Якира... в котором она отрекается и проклинает своего бывшего мужа, как изменника и предателя родины»[18]. Письмо, по-видимому, написанное под давлением, не спасло от кары Сарру Якир; вместе с сыном-подростком она оказалась в Гулаге, где среди многих старых знакомых встретилась с молодой женой Бухарина. Жен видных «врагов народа», как правило, арестовывали вместе с мужьями или вскоре после них. Наталья Сац в Бутырке попала в камеру, полную «жен» (там была и жена маршала Тухачевского). В Гулаге существовали даже специальные лагеря для «жен изменников родины»[19].

К середине 1937 г. террор был в полном разгаре, и отчетливо обрисовались основные контуры Большого Террора. Разумеется, многое было еще впереди — волны арестов среди различных категорий представителей элиты: дипломатов, иностранных коммунистов, коммунистов-»националистов» в союзных республиках, комсомольских лидеров и, наконец, самих работников органов внутренних дел; июльский приказ о массовых арестах и казнях социальных маргиналов рассматривался в гл. 5. Но здесь не место для подробной истории Большого Террора[20]. Наша главная задача — определить, как повлиял Большой Террор на повседневную жизнь и практику, и для этого нам нужно обратить внимание на процессы и механизмы распространения террора.

КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ И «ОБЫЧНЫЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ»

Террор 1937 г. имел отчетливо выраженную установку на поиск «врагов народа» среди элиты, особенно среди коммунистической администрации. Но врагов можно было найти где угодно. Даже в отношении элиты не существовало четких принципов, каких именно людей необходимо разоблачать. Конечно, лица, имеющие в биографии темное пятно — былое участие в оппозиции, плохое социальное происхождение, связи с иностранцами, — подвергались особенному риску, и заранее подготовленные списки жертв играли в эпоху Большого Террора свою роль. Но в процессе отбора присутствовал и значительный элемент случайности. Среди механизмов отбора были указывание пальцем на собраниях, посвященных «критике и самокритике» в учреждениях и на предприятиях, публичные обвинения в газетах, доносы отдельных граждан. Важное значение имели и ассоциативные цепочки. НКВД забирал кого-то и допрашивал, требуя назвать соучастников; когда подследственный наконец ломался и называл какие-то имена, тех людей забирали в свою очередь, и процесс повторялся. Когда кого-то арестовывали как «врага народа», семья, друзья, сослуживцы тут же оказывались в группе риска.

Одним из ключевых процессов террора в этот период, особенно в первой половине 1937 г., был публичный поиск козлов отпущения. Происходило это на собраниях по месту работы, на которых ставилась задача «сделать выводы» из некоего сигнала сверху, например процесса Пятакова или февральско-мартовского пленума ЦК. Сначала делался доклад, разъясняющий значение сигнала, затем следовало коллективное обсуждение выводов, которые надлежало извлечь. Вообще это была давно установившаяся в СССР практика, но в условиях террора у нее появилась новая цель: «сделать выводы» означало показать пальцем на тайных врагов в данном учреждении. Порой эти собрания назывались собраниями, посвященными «критике и самокритике», но на самом деле слово «самокритика» тут вряд ли годилось[21]. Бывало, конечно, что кто-то оправдывался и каялся (хотя на исход дела это редко влияло), но настоящая драма происходящего заключалась не в этом. Субъектом самокритики было все учреждение в целом, а не отдельное лицо. Суть «критики и самокритики» в стиле Большого Террора — коллективное обнаружение тайных врагов в собственных рядах, обычно в лице кого-то из руководителей учреждения. Результаты поиска, как правило, не были предопределены заранее; существовало лишь негласное требование, чтобы козел отпущения был обязательно найден и чтобы это не была мелкая сошка, которой учреждение легко может пожертвовать. Атмосфера на таких собраниях порой нестерпимо нагнеталась именно из-за неуверенности в том, кто в конечном счете станет жертвой (жертвами).

Один образец для такой формы поиска козлов отпущения дало стахановское движение, которое в 1936 г. приняло сильный антиуправленческий оттенок, так что стахановцам принадлежала ведущая роль в обличении вредителей и саботажников в административных аппаратах на местах. Секретная инструкция Политбюро в начале 1937 г. обязала директоров предприятий ежемесячно проводить собрания с участием рабочих-стахановцев, чтобы последние могли выступить с критикой и обвинениями. Газеты сообщали о драматических сценах, когда рабочие осыпали бранью непопулярных руководителей (на одном собрании звучали такие выражения, как «Геббельс», «варвар-бюрократ», «ослиные уши»). Однако такое обличительное рвение отнюдь не было всеобщим. На

некоторых заводах рабочим, по-видимому, надоедало тратить свое свободное время, ломая голову над вопросом, кто из их руководителей вредитель. Известно несколько случаев, когда рабочие пытались побыстрее закруглиться с этим делом, просто составляя список кандидатов на звание «вредителя» и голосуя за него в целом[22].

Еще один механизм поиска козлов отпущения представляли собой перевыборы партийных руководителей, которых во имя «партийной демократии» потребовал февральско-мартовский пленум ЦК. Лозунг звучал вроде бы безобидно, но любой партийный секретарь должен был распознать в нем одну из целого комплекса угроз, которые это мероприятие представляло для его безопасности. Нужно вспомнить, что при обычных обстоятельствах «партийная демократия», как и «советская демократия», являлась всего лишь фикцией. В обоих случаях выборы обычно проводились без всякого реального соревнования; кандидаты назывались по спискам, спущенным из вышестоящей инстанции, и затем надлежащим образом утверждались голосованием. Когда весной 1937 г. выяснилось, что перевыборы под девизом «партийной демократии» пройдут *без списков*, это стало большим сюрпризом, и отнюдь не приятным. По какому принципу подбирать кандидатов на руководящие партийные посты, если центральные органы партии не указывают, кто для них предпочтительнее? В такой обстановке, когда с каждым днем все больше коммунистических руководителей разоблачают как «врагов народа», как избежать ужасной ошибки — не выбрать кого-то, кто окажется врагом (и не оказаться самому врагом «по ассоциации»)?

Партийные перевыборы проходили медленно и с величайшими трудностями. Не имея списков, каждого кандидата приходилось обсуждать индивидуально, с заведомой установкой на то, что по крайней мере некоторые из кандидатов — в частности, те, кто занимал руководящие посты в текущий момент, — будут разоблачены как враги в ходе обсуждения. Руководящие кадры, разумеется, были парализованы страхом; рядовые партийцы часто не проявляли склонности взять инициативу в свои руки. Порой вообще трудно было сдвинуть дело с мертвой точки, поскольку никто не хотел выступать; в некоторых организациях перевыборы длились неделями. Так, например, на одном ярославском заводе 800 членов заводской партийной организации *больше месяца сидели на собраниях каждый вечер*, прежде чем наконец выбрали новый комитет[23].

Партийные перевыборы были непростым делом и в Наркомате тяжелой промышленности, там неделю тщательно взвешивали 80 кандидатур, чтобы в конце концов составить список из 11 имен. Некоторые кандидаты в ходе обсуждения были дискредитированы, среди них и А.И.Зыков, секретарь парторганизации на тот момент, который, как утверждали, имел связи с «контрреволюционерами-троцкистами» и был членом «левой группы» в

Институте красной профессуры в 1928—1929 гг. Проигрывая перевыборы, Зыков не просто терял работу — для него возникла реальная угроза ареста, который действительно в конце концов последовал. Та же участь ждала и других, подвергавшихся критике на затянувшихся собраниях в Наркомате: например, Г.В.Гвахарию, директора металлургического комбината в Макеевке, окончательно разоблаченного как «врага» лишь через несколько недель после этой проработки[24].

Партийные перевыборы весной 1937 г. были одноразовой акцией, но за время Большого Террора периодически проводились разные другие перевыборные собрания, нередко чреватые опасностью для выдвигаемых кандидатов. Например, в январе 1938 г. профсоюз государственных служащих созвал всесоюзную конференцию и, согласно правилам, провел выборы нового центрального комитета. Из протокола неясно, был ли спущен сверху список кандидатов для этих выборов. Скорее всего да, но в обстановке Большого Террора это еще не решало исход дела. От каждого кандидата требовали представить участникам конференции автобиографию, и делегаты устраивали по ней настоящий перекрестный допрос. В течение целого ряда заседаний, приобретавших все более напряженный характер, делегаты устраивали разнос нескольким членам прежнего ЦК, тоже выдвинутым кандидатами, добиваясь, чтобы двоих из них выкинули из списка, и в самой агрессивной и угрожающей манере допрашивали остальных кандидатов об их боевых заслугах в гражданскую войну, социальном происхождении, связях с кулаками и т.д. Одна несчастная женщина, имевшая родственников за границей и не желавшая обсуждать свой неудачный брак, пробудила все охотничьи инстинкты делегатов; только драматическое вмешательство именитого делегата помешало вычеркнуть ее из списка и объявить «врагом народа»[25].

У областных и прочих «семейств» были свои испытанные методы защиты своих членов от внешней угрозы; собственно, это была одна из главных целей их существования. Так и в ответ на угрозы, возникавшие для отдельных членов «семейств» в начале 1937 г., главы семейств — директора предприятий, секретари обкомов и крайкомов — принимали меры обороны. Например, директор одного металлургического треста, когда становилось слишком горячо, некоторых подчиненных увольнял «по собственному желанию», некоторых переводил в другие города, где они были в большей безопасности. Другой руководитель промышленности отдал человека, бывшего его правой рукой, под суд за саботаж после несчастного случая на производстве, но при этом дал ему 12000 рублей на адвокатов; еще один, региональный представитель Наркомата тяжелой промышленности, пытался спасти попавшего в немилость директора завода, назначив его своим помощником. В Свердловске весь горком партии встал на защиту директора завода, подвергшегося нападкам как «вредитель», и не допус-

тил его исключения из партии. На Дальнем Востоке краевая администрация всячески сопротивлялась попыткам исключить одного из «своих», М.П.Хавкина, секретаря партийной организации Еврейской автономной области. Когда стало ясно, что, действуя на краевом уровне, Хавкина не спасти, друзья уговорили его ехать отстаивать свое дело в Москву, дали ему на эти цели 5500 рублей из партийных фондов и забронировали место в московском поезде[26].

Однако в середине 1937 г. обычные методы все чаще оказывались неэффективными и опасными из-за механизма «обвинения по ассоциации». Центр ясно выражал решимость не дать семействам защищать своих, объявляя подобную протекцию «контрреволюционной» и рассматривая протежирующих как врагов народа. Большинство описанных выше случаев известны потому, что покровителя судили как врага народа, причем акты протекции составляли основу обвинения[27]. Коммунист А.Г.Соловьев отметил в своем дневнике в апреле 1937 г. еще один типичный случай. Его старого знакомого И.П.Носова, возглавлявшего горком партии в Иваново, НКВД заставлял санкционировать арест нескольких бывших троцкистов, работавших там. Когда он отказался, его обвинили в протекционизме[28].

Показательные процессы — одна из самых характерных форм поиска козлов отпущения в эпоху Большого Террора. Однако их формы и заключавшийся в них подтекст были гораздо разнообразнее, чем можно предположить, судя только по трем крупным московским процессам. На местах процессы имели другое звучание, хотя в какой-то степени ими дирижировал центр. В своих мемуарах А.И.Аджубей, редактор «Известий» во времена Хрущева, взял один номер газеты за июнь 1937 г. и тщательно разобрал его содержание. С одной стороны, там еще слышались отголоски недавно прошедшего трибунала над военачальниками и цитировались замечания представителей масс вроде «собакам собачья смерть», в которых для Аджубея воплощалась кровавая иррациональность террора. С другой стороны, там был помещен отчет о местном показательном процессе, присланный из сельского Ширяевского района, где разложившихся, злоупотреблявших властью руководителей привлекли к ответу за плохое обращение с населением. По мнению Аджубея, ширяевское дело было призвано продемонстрировать, что «перед сталинским законом все равны — маршал Тухачевский, секретари райкомов и председатели сельсоветов»[29].

Ширяевский процесс был одним из первых в череде показательных процессов местных руководителей, прошедших во многих районах летом и осенью 1937 г. В отличие от московских процессов, на которых рассказывались мелодраматические истории о шпионаже, международных интригах и заговорах, здесь звучали вполне правдоподобные обвинения: местное руководство обвинялось в ряде злоупотреблений, произвольных и некомпетентных

административных действий, типичных для советских чиновников низшего ранга в реальной жизни. На одном показательном процессе, в Ярославле, к примеру, рабочие резинового комбината выступали свидетелями против администрации и начальников цехов, которые, по их словам, оскорбляли и били их, терроризировали женщин и давали персональные оклады любимчикам; на другом судили чиновников жилищного ведомства за то, что в заводских бараках условия далеко не соответствовали нормам. В Смоленске и Воронеже местному руководству ставили в вину перебои с хлебом и сахаром. Обвиняемые на районных процессах не всегда признавали свою вину, а главными обвинителями выступали не государственные прокуроры, а рядовые граждане, вызванные для свидетельских показаний. Районным процессам был присущ откровенно популистский аспект, почти полностью отсутствовавший у их московских аналогов[30].

И на местах, и в центре процесы сопровождались большой шумихой. На каждом районном процессе присутствовали целые коллективы местных предприятий и колхозов, областные газеты печатали длинные репортажи из зала суда. Московские показательные процессы обстоятельнейшим образом освещались в центральной прессе, помещавшей на своих страницах стенографические отчеты о судебных заседаниях, о них делали радиопередачи и снимали фильмы[31].

Будучи сами политическим театром, показательные процессы породили множество подражаний на сцене настоящего театра, и профессионального, и самодеятельного. Лев Шейнин, с деятельностью которого то в качестве следователя, то в качестве журналиста мы уже имели возможность познакомиться[32], был соавтором одной из самых популярных пьес на тему Большого Террора под названием «Очная ставка», которую в 1937 г. ставили театры по всему Советскому Союзу. Поскольку Шейнину приписывалась также честь соавторства в сценариях крупных московских показательных процессов, это переключение на «настоящую» драматургию с использованием тех же сюжетов о шпионах, их разоблачении и допросах весьма любопытно. Некоторые критики нашли пьесу неудачной — чересчур публицистичной, но другие были более снисходительны. На Джона Скотта, смотревшего ее постановку в Магнитогорске, произвели большое впечатление напряженность действия и мощь содержавшегося в ней призыва к неусыпной подозрительности и бдительности, по его словам, зрительный зал в конце разразился бурными аплодисментами[33].

Можно понять почему. В пьесе показаны негодяи, носившие в своих сердцах черную ненависть. («Всю свою жизнь я прожил в России и всю свою жизнь ее ненавидел, — говорит старик, оказавшийся тайным агентом Германии. — Я ненавижу ваши просторы, ваш народ, вашу самонадеянную молодежь, отравляющую весь мир ядом своего учения. Ненависть к вам заменила мне все, даже любовь, и стала смыслом и значением всей моей жизни».)

Они являлись частью могущественных сил, нацелившихся сокрушить Советский Союз, но потерпели поражение, встретившись с бдительностью советских людей. «Сколько тайных сотрудников имеет контрразведка страны, граничащей с нами на западе [т.е. Германии]?» — спрашивают шпиона. Восемь—десять тысяч, отвечает он, и еще пятнадцать тысяч агентов у страны на восточной границе (Японии). «А мы имеем 170 миллионов явных сотрудников [т.е. все население Советского Союза]», — с торжеством заявляют ему[34].

На более приземленном уровне, нежели показательные процессы, террор набирал силу в ходе облавы и заключения в тюрьму или расстрела «обычных подозреваемых». Самый вопиющий случай — массовая акция против беглых ссыльных, сектантов, преступников-рецидивистов и прочих маргиналов, приказ о которой был отдан Политбюро в июле 1937 г.[35]. Но этот процесс не ограничивался крупными карательными операциями и одними только явными маргиналами. Любой, чье имя было в одном из списков подозрительных лиц, составлявшихся местными организациями, — бывший оппозиционер, бывший член какой-либо другой политической партии, бывший священник или монахиня, бывший белогвардеец и т.п. — мог быть схвачен в то время. В деревне семьи, потерявшие одного из своих членов во время ссылки кулаков в начале 1930-х гг., в 1937—1938 гг. могли потерять другого. На заводах рабочие, бежавшие несколько лет назад из села от раскулачивания, могли быть «разоблачены» в эпоху Большого Террора. В вузах тот или иной студент мог быть объявлен «социально-опасным» элементом за то, что у него отец кулак, или за то, что он «воспитывался в семье торговца»[36].

«Бывших людей», изгнанных из Ленинграда в 1935 г. после убийства Кирова, хватали в местах ссылки — на этот раз дело заканчивалось Гулагом, если не смертным приговором — якобы за участие в «контрреволюционных заговорах». А.А.Синягина, сына зажиточного предпринимателя, высланного в 1935 г. из Ленинграда и учившегося в Томском университете, в августе 1937 г. вновь арестовали и расстреляли как «члена контрреволюционной анархо-мистической и террористической организации»; два месяца спустя та же участь постигла в Оренбурге С.Н.Римского-Корсакова, высланного в 1935 г. из Ленинграда экономиста, внучатого племянника композитора П.И.Чайковского[37].

Любые порочащие сведения в биографиях коммунистов и комсомольцев — связь с оппозицией в 1920-е гг., контакты с оппозиционерами, партийные выговоры, былое временное прекращение членства или исключение из партии — в 1937—1938 гг. могли всплыть снова, или на собрании, посвященном самокритике, или в результате тайного доноса. Бывший одноклассник мог припомнить твои «троцкистские колебания» в 1923 г., коллега — твою подозрительную дружбу с иностранцем или «мягкотелость в отношении троцкизма»; лучший друг жены бывшего мог заподозрить

ее в возможных связях с оппозиционером[38]. Никакое обвинение невозможно было убедительно опровергнуть, и былые праведные поступки коммунистов, так же как и неправедные, не оставались безнаказанными. Человека, который несколькими годами раньше, повинуясь партийному долгу, донес на тестя-кулака, в 1937 г. исключили из партии за связи с «социально-чуждыми». Коммуниста, сообщившего когда-то об антисоветских разговорах тещи, обвинили в родстве с нежелательным элементом (то есть с той самой тещей)[39].

История коммуниста-еврея по фамилии Златкин наглядно иллюстрирует, на какие компромиссы и предательства приходилось пускаться из-за порочащих родственных связей и насколько бессмысленным это оказывалось в конечном счете. Златкин, работавший в системе государственного страхования, в собственном личном деле не имел темных пятен, но мужа его сестры сослали как троцкиста. Посланный партийной организацией Златкина в его родной город следователь вернулся с еще более угрожающими сведениями: он заявил, что отец Златкина, бывший коммунист, ныне исключенный из партии, был старостой синагоги (это настолько невероятно для коммуниста, что наверняка неправда), а также агентом полиции при старом режиме. Что мог сказать Златкин? Он признал, что муж сестры был троцкистом; после того как его второй раз исключили из партии, Златкин «перед сестрой ставил вопрос о разводе, она не послушала». Что касается отца, то Златкин клялся, что, когда того исключили из партии, «даже не помог ему апеллировать». «Я думал, что я давно уехал от семьи, — уныло говорил Златкин, — и думал, буду чист». Как бы не так. Его исключили из местной парторганизации большинством голосов[40].

Материалы о деятельности троек НКВД в Саратове свидетельствуют о том, что там на жертв — простых горожан и крестьян, получавших приговоры после чрезвычайно коротких судебных заседаний, — устраивали облаву на основании списков разного рода нежелательных элементов, от белогвардейцев до церковников[41]. Их обвиняли в «антисоветской деятельности», имея в виду, по-видимому, антисоветские разговоры плюс пятно в биографии; почти никаких доказательств представлено не было, но 17 человек из 29 получили смертный приговор, остальные — по 10 лет. В «саратовскую девятку», восемь человек из которой являлись односельчанами, входили крестьяне, из них (согласно выписке из судебного решения) пять бывших кулаков (четверо были сосланы и бежали из ссылки или отбыли срок в Гулаге), два бывших помещика, один толстовец и два активных деятеля православной общины. «Саратовскую двадцатку» (сплошь горожане) составляли одиннадцать бывших белогвардейцев — офицеров или добровольцев, трое членов бывшей партии эсеров, четверо сыновей торговцев или зажиточных буржуа, трое бывших служащих царской поли-

ции, один бывший тюремный сторож и один член дореволюционной городской думы.

Тройки не позаботились даже записать в протокол антисоветские высказывания, за которые «саратовская девятка» и «саратовская двадцатка» понесли столь суровое наказание. Но, возможно, они походили на высказывания другой группы, судившейся в Саратове за «контрреволюционную деятельность» годом раньше. Это была настоящая группа, в отличие от многих так называемых; в нее входили верующие мужчины и женщины, все сравнительно пожилого возраста, некоторые — бывшие священники и монахини, объединившиеся вокруг священника по фамилии Рубинов и собиравшиеся в его доме в Вольске. Рубинов говорил своим последователям, что нужно убеждать колхозников уходить из колхозов, потому что снова наступает голод (это было в октябре 1936 г.), и что надо воспользоваться новой Конституцией и выбрать верующих в советы. Его последователи якобы позволяли себе высказывания того же типа, какие часто фигурировали в сводках НКВД о настроении населения: «скоро будет война», и советская власть падет; советское руководство — это «евреи, которые продали Россию»; «настанет время, и мы расправимся с коммунистами»; «Германия и Япония... начнут войну, а мы им поможем»[42].

РАЗНОСЧИКИ ЧУМЫ

Террор распространялся многими путями. Его сеяли доносы, порожденные атмосферой всеобщей подозрительности и шпиономании. Его провоцировала принятая в НКВД практика ведения следствия, когда от арестованных «врагов народа» требовали письменных признаний с именами сообщников. Распространяли его и «разносчики чумы» — люди, которые по той или иной причине «заражали» всех вокруг. Весьма заметным разносчиком чумы был Л.Авербах, бывший лидер пролетарских писателей, чью зловещую репутацию мы уже отмечали[43]. Менее типичный пример (поскольку сам «разносчик» не был арестован) — молодой астроном из Средней Азии, «пролетарский выдвиженец», который, как обнаружилось, сфабриковал экспериментальные данные в статье, опубликованной в зарубежном научном журнале. Шума вокруг этого скандала поднялось достаточно, чтобы скомпрометировать практически всех, с кем контактировал астроном в двух институтах, причем сам он, по-видимому, избежал ареста благодаря нервному расстройству[44].

Другой тип разносчика чумы — коммунистический администратор с подмоченной репутацией, но пока еще не арестованный и отчаянно старающийся избежать этой участи. П.Постышев, украинский партийный руководитель, слывший умеренным, в первые месяцы 1937 г. подвергся критике и был снят со своего поста,

но остался на свободе. Его перевели на новое место работы в Куйбышевскую область, где он «везде искал врагов с лупой», сея панику, охватившую всю местную бюрократию и проникшую в массы рядового населения. Постышев полностью распустил тридцать райкомов партии на том основании, что они непоправимо разложились, и велел арестовать 66 районных чиновников как врагов народа. На январском пленуме ЦК 1938 г. (где критиковали «перегибы» террора, впрочем, без далеко идущих последствий) Постышев, отвечая на недоброжелательные (можно сказать, почти издевательские) вопросы Молотова и остальных, упрямо отстаивал версию, что Куйбышев полон врагов[45]. Возможно, Постышев — это чрезвычайный случай, поскольку, хотя земля вовсю горела у него под ногами, он продержался необычайно долго, пока его, в свой черед, не разоблачили как врага. Но перевод дискредитированного чиновника в другое место, где он невольно «заражал» целое учреждение одним своим присутствием в течение нескольких месяцев, практиковался не так уж редко.

«Караул! В каком же месте мы живем, и чего нам ждать от завтрашнего дня. Это напоминает мне то время, когда я впервые узнал о существовании микробов и бактерий; я читал какую-то научную книгу, и там говорилось, что везде, даже в воздухе, кишат живые существа. После этого я всюду видел крошечных существ и не решался даже выпить воды. Так и сейчас: смотришь на человека, и вдруг он прямо на глазах превращается в обманщика или предателя»[46].

Андрей Аржиловский написал эти строки в своем дневнике в феврале 1937 г., после того как прочел обвинительную речь Вышинского на процессе Пятакова. Трезво мыслящий человек, сидевший в свое время в тюрьме, Аржиловский лишь ненадолго поддался этому настроению всеобщей подозрительности. Но для многих других подозрительность стала неразлучной спутницей. Подобное настроение отражено в письмах, которые рядовые граждане посылали во время Большого Террора властям, описывая различные подозрительные происшествия и личности. Ивановский рабочий в письме руководству партии выражал тревогу по поводу того, что на новых 30-рублевых купюрах изображен Ленин — тем самым, по его мнению, профанировался ленинский образ. Может быть, это устроили те же враги, что занимаются всевозможным саботажем в Иваново? Экономист предостерегал Молотова от недооценки угрозы со стороны внутренних врагов, цитируя антисоветские разговоры, услышанные в Кунцево. Радиослушатель, услышавший по радио «Похоронный марш» Шопена в день казни Зиновьева и Каменева, делился своими подозрениями насчет того, что это сигнал от троцкистских заговорщиков[47].

Газеты подливали масла в огонь своими постоянными рассказами о разоблачении врагов и шпионов. Шпионский мотив зазвучал с особенной силой после суда над Тухачевским: военачальников обвиняли в том, что они попали в лапы германских шпионов,

а в своей речи по поводу этого дела за закрытыми дверями Сталин нарисовал яркую картину опасностей, подстерегающих высокопоставленных руководителей в объятиях обольстительниц-шпионок. О таких обольщениях ходило множество историй. Мужчин предостерегали от сексуальных ловушек, в какую попал один инженер, который «познакомился с одной гражданкой, красивой, молодой, недавно приехавшей из Харбина», — разумеется, оказавшейся японской шпионкой. Одиноких женщин тоже предостерегали, приводя различные примеры наподобие истории молодой женщины, недавно оставленной мужем, к которой втерся в доверие некий краснобай, прикидывавшийся таким же одиноким, а на самом деле — шпион[48].

Детям ловля шпионов представлялась увлекательным спортом. «Как я задержала шпиона: Рассказ украинской пионерки Лены Петренко» — гласил заголовок одной газетной статьи. На пути домой из пионерского лагеря Артек Лене показался подозрительным попутчик в автобусе из Никополя в Днепропетровск, когда она услышала, как тот что-то шепчет по-немецки про «рельсы» и «стрелку». Она последовала за ним в вокзальный буфет, и там он выронил конверт, в котором оказалось написанное по-немецки письмо с инструкциями по совершению «диверсии». Лена обратилась в милицию, и того человека моментально арестовали[49].

Кошмарные последствия шпиономании среди подростков демонстрирует случай с московским восьмиклассником Игорем Лазичем. Игорь был трудным подростком, склонным к правонарушениям, дважды сбегал из дому. Он завидовал сыну соседей по коммуналке 17-летнему Константину Ретинскому, более благополучному, пользующемуся любовью окружающих, комсомольскому вожаку в престижном военном училище, и по крайней мере однажды в прошлом уже заявлял на него в милицию, но там к нему не отнеслись всерьез. Лазич питал смутные националистические и антисемитские настроения, восхищался нацистскими штурмовиками. Очевидно, похваставшись перед приятелями, что связан с подпольным заговором, и желая это доказать, он послал самому себе письмо якобы от сообщника, из которого явствовало, что он шпион (письмо было перехвачено на почте). В тот же период он как-то ночью ходил с двумя друзьями (впоследствии признавшимися в содеянном) расклеивать «контрреволюционные листовки». Когда за эти два проступка его арестовали, он заявил, что Константин является членом его диверсионной группы. Соответственно Константин был арестован, признался на допросе и был осужден вместе с Игорем. Мать Константина в отчаянии писала Вышинскому, объясняя, что все это — просто еще одна из злокозненных проделок Игоря, но приговор Константину пересматривать не стали — ведь он признался[50].

Доносы служили одним из важнейших механизмов распространения террора. Эта практика вообще была присуща советскому образу жизни, а во время Большого Террора приобрела просто эпидемический характер. Сослуживцы доносили на сослуживцев: вот, например, анекдот, напечатанный в «Крокодиле» в 1939 г., — человек оправдывается в суде: «Товарищ судья, как я мог написать 75 заявлений, когда у нас в учреждении работает только 63 человека?» Соседи доносили на соседей: в другом анекдоте в «Крокодиле» того же периода муж жалуется жене: «Подумай, Маша, какая неприятность. Я написал заявление на Галкина, а оказывается, у Балкина комната больше»[51]. Рабочие доносили на директоров, студенты на преподавателей, колхозники на председателей. На коммунистов писали доносы и коммунисты (зачастую политического характера, обличая их связь с оппозицией в прошлом), и беспартийные (как правило, обвиняя их в злоупотреблении властью). Эти доносы скапливались в досье всех советских граждан, занимавших какой-либо административный пост, и многих из тех, кто никакого поста не занимал. Порой их игнорировали или выбрасывали, но в условиях 1937—1938 гг. они часто вызывали меры со стороны НКВД, заканчивавшиеся для жертвы доноса тюрьмой, Гулагом, а то и расстрелом.

Люди доносили на знаменитостей, о которых прочли в газете, например на летчика Бабушкина или полярника Шмидта; доносили на политических лидеров и их жен. Пожилой фотограф сказал своим ученикам, что до революции фотобумага была лучше; один из них на него донес; в декабре 1937 г. фотографа арестовали и расстреляли. Один ленинградский художник напился в баре и «оклеветал Советскую конституцию, карательную политику Советской власти», выразив сочувствие репрессированным врагам народа; собутыльник донес куда следует, художник получил семь лет. Молодого кожевенника арестовали по доносу оставленной им жены (правда, выпустили, после того как его тетка подала апелляцию)[52].

Ссоры, бюрократическое соперничество, профессиональная зависть часто порождали доносы. Так бывало в промышленности, например, между теми, кто отстаивал разный тип оборудования или оформления продукции. Так постоянно происходило в бюрократических учреждениях, где члены соперничающих фракций доносили друг на друга. Так случалось в культурном и научном мире, где различные профессиональные группировки часто оспаривали друг у друга покровительство властей. Несомненно, одна из причин столь жестоких ударов по руководителям пролетарской литературной организации РАПП заключается в том, что, будучи сами ожесточенными фракционными бойцами, они нажили кучу врагов, питающих к ним давние претензии, и в центре, и в провинции, которую они подавляли своим авторитетом[53]. В общем, как объяснил своему интервьюеру один респондент Гарвардского проекта, в Советском Союзе крайне важно было не заводить врагов, т.к. всегда существовала опасность доноса. «Нельзя никому наступать на ногу. Даже самый незначительный инцидент может

оказаться роковым. Поссорится ваша жена с соседом — сосед напишет анонимку в НКВД, и хлопот не оберетесь»[54].

Некоторые люди становились во время Большого Террора фактически профессиональными доносчиками, иногда потому, что решали, будто сверхбдительность может спасти их собственную шкуру, и считали прямой необходимостью писать доносы в НКВД на всех окружающих и выступать с обличениями на собраниях. В разгар террора это срабатывало, но позднее, когда террор стал затухать, подобные действия нередко квалифицировались как клеветнические и контрреволюционные. В результате можно увидеть весьма любопытные признания таких супердоносчиков, например, некоего Поляковского, работавшего на фабрике «Большевик», который рассказывает, как он и его сообщник Ворожейкин «начали ходить на партсобрания других организаций с заранее подготовленными списками людей, которых мы намерены обвинять в принадлежности к врагам. Нас с Ворожейкиным уже все знали. При нашем появлении не только вносилось смущение в собрание, но потихоньку члены партии, боясь, убегали из помещения, ибо часто бывало так, что к намеченным спискам прибавлялись фамилии, случайно пришедшие в голову тут же на собрании»[55].

В одном из районов Татарской Республики партийный следователь С.Миначев «подал клеветнические заявления на половину членов райпарторганизации. Почти в каждом деле, заведенном на коммуниста, имелись "сигналы" Миначева. Коммунисты боялись выступить против этого клеветника. Да и как не бояться: он сам писал заявления, сам проверял их, сам докладывал о результатах проверки на бюро райкома партии...» Миначева в конце концов самого арестовали как врага народа, но, как утверждала областная газета, «подобные факты имели место почти во всех организациях Татарии». В Ленинграде один работник прокуратуры высокого ранга систематически писал доносы на сослуживцев и вышестоящих начальников, в результате несколько человек были арестованы НКВД. Когда некоторых из них впоследствии отпустили, он повесился в гостиничном номере. В его квартире нашли «целый том» доносов — 175 страниц[56].

Кое-кто из заядлых доносчиков, очевидно, был психически неуравновешен. Например, человек по фамилии Сухих, работник горкома партии, «опорочил десятки честных коммунистов и беспартийных. Осенью прошлого года Сухих явился без приглашения и командировки на областную конференцию работников медсантруда и, еле сдерживая "ораторский зуд", потребовал слова: Я — представитель горкома партии, — заявил он. Слово ему было предоставлено даже без ограничений во времени. Однако вскоре же стало понятно, что оратор порет несусветную чушь. Действительно, он говорил обо всем и ничего существенного. Делегаты недоуменно переглядывались, по залу прокатилась волна ропота. Но оратор продолжал...»[57]

ИСПЫТАНИЯ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА

Даже у террора были свои ритуалы. Аресты производились ночью, и многие мемуаристы живо описывают шум подъехавшей машины, шаги на лестнице в 2 или 3 часа ночи и стук в дверь. Работники НКВД проводили обыск, некоторые бумаги забирали и уводили жертву, позволив ему или ей взять с собой сверток с теплыми вещами, который многие семьи держали заранее приготовленным на такой случай.

Об этом драматическом событии вспоминают по-разному. Одна женщина писала Вышинскому, жалуясь на невежливость работников НКВД, проводивших в ее доме обыск в ночь, когда пришли за ее мужем, — они обращались к ней, советскому педагогу, неуважительно и фамильярно[58]. Другая женщина, работник наркомата, вспоминала собственное нелепое поведение. Во время четырехчасового обыска в квартире, перед тем как ее арестовали, она лихорадочно заканчивала готовить материалы к предстоящему слету стахановцев:

«Я писала, клеила, приводила все в порядок, и пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: "Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!" Я сама не знаю, что я думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я проработала четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата. Проводивший обыск следователь, наконец, надо мной сжалился: "Вы бы лучше простились с детьми"»[59].

Как многие убежденные коммунисты, эта женщина отказывалась предпринимать что-либо, чтобы защитить себя или детей, даже после ареста мужа и предупреждения от старшего товарища — ведь они с мужем были невиновны! Другая коммунистка с досадой вспоминает недомыслие, проявленное и во время ареста мужа, и во время собственного ареста несколько месяцев спустя:

«Гришка даже одеться не успел, я в халате, беременная на четвертом месяце. У нас был "Mein Kampf" Гитлера, забрали. Как же, это доказательство связи с Гитлером. Две комнаты опечатали, оставили меня в спальне... Надо бы ему дать было с собой вещи, еду, а не сообразила — только несколько носовых платков, умница тоже! Они сказали — ему ничего не нужно. Думала, что скоро вернется, ведь ни в чем не виноват, какая-то ошибка... А в ночь на 5-е сентября за мной пришли... "Одевайтесь!" Сына я оставила спящего, дура! Что бы позвонить сестре. Ну, как же, мне некогда, нужно идти скорее в тюрьму!»[60]

Беспартийные были практичнее. Бабушка Елены Боннэр все устроила как следует:

«Я молча одевалась и не могла попасть ногами в чулки, а Батаня что-то беззвучно шептала и быстро откуда-то доставала и клала на стол новые теплые носки, новые варежки, свой орен-

бургский платок, новые чулки, рубашку, трусы, трико. Я оделась, и, когда совала ноги в валенки, Батаня тихо, но почти обычным своим голосом сказала: "Надень рейтузы. И галоши на валенки". Потом я взяла с вешалки пальто и свою вязаную с помпоном шапочку, но Батаня молча отобрала ее у меня. "Надень мой платок..." Я как-то его накрутила. Натянула пальто. Батаня достала из шкафа свой маленький саквояж, содержимое его вытряхнула и засунула в него собранное для меня. Потом она протянула мне деньги — пять тридцатирублевых бумажек. Я хотела сунуть их в саквояж, но она сказала: "Положи в лифчик"»[61].

Оставшихся на свободе членов семьи зачастую через несколько дней выселяли, а квартиру опечатывали — как наглядное напоминание о случившемся всем остальным жильцам. Боннэр описывает, как это выглядело в гостинице «Люкс»:

«На правой стороне коридора, на третьей двери от вестибюля красовалась большая красно-коричневая печать. С нее на тоненькой веревочке свисала пломба... Такие прямо бьющие в глаза печати за зиму 36-го — 37-го годов и особенно весной 37-го появились на многих комнатах всех наших этажей. Через несколько дней печать ломали. Из комнаты под присмотром коменданта Бранта выволакивались два-три чемодана, связки книг. Их куда-то увозили. Мебель и прочее, имеющее коминтерновскую бирку, чистилось. Появлялись танцующие полотеры. А еще через несколько дней улыбающийся Брант провожал в комнату нового жильца»[62].

Подобно гостинице «Люкс», некоторые большие многоквартирные дома в Москве в результате террора оказались почти полностью населены призраками, например, находившийся на другом берегу реки напротив Кремля Дом правительства, участь которого в 1937 г. описана прозаиком Юрием Трифоновым в его повести «Дом на набережной». По воспоминаниям уцелевших, и в Доме правительства, и в гостинице «Люкс», где жили сотрудники Коминтерна, семью после первого ареста несколько раз переселяли в другие квартиры и комнаты в том же здании, пока она вся не оказывалась в тюрьме или не распадалась, либо пока НКВД окончательно не выбрасывал ее на улицу[63].

После того как арест был произведен, перед семьей арестованного вставала задача попытаться узнать, где он и можно ли послать передачу. Перед учреждениями, дававшими такие сведения, выстраивались очереди: «Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты № 7, плотно, как в трамвае, стояли люди»[64].

Отправка передач была ужасающе сложным и ненадежным делом:

«На Лубянке передач не принимали. Говорили только, есть или нет. Передачи принимали только в тюрьмах, но там справок о наличии арестованных не давали. О том, где сидит родственник, узнавали по передаче. Если взяли передачу, значит, он сидит здесь. Но если не брали передачу, то это еще не значит, что его нет в этой тюрьме. Могли наказать и лишить права на передачу. Но тебе этого не говорили. Просто не брали передачу, ничего не объясняя. И тогда дожидайся целый месяц до следующей передачи»[65].

Семьям, как правило, не сообщали, когда арестованного родственника отправляли из тюрьмы в лагерь. Но если им все же удавалось об этом узнать, в действие вступали новые правила. Заключенным Гулага передачи могли посылать только родственники: 10 кг раз в три месяца. В Ленинграде по каким-то причинам передачу можно было отправить только из одного почтового отделения, находившегося более чем в 100 км за городом, и родным приходилось совершать мучительные путешествия в переполненных электричках[66].

Пока жертвы (если еще были живы) совершали свой путь «по конвейеру» в Гулаг, столь ярко описанный А.Солженицыным, Е.Гинзбург и другими мемуаристам, их родственникам на свободе тоже приходилось бороться за существование. Жен наиболее крупных «врагов» также арестовывали, а детей отправляли (под другими именами) в детский дом, если родственники не вмешивались немедленно и не оформляли (с риском для себя) официальное опекунство. Жены менее значительных лиц оставались на свободе, но сохранить работу им было неимоверно трудно. Были, однако, жены, неустанно хлопотавшие, дергавшие за все ниточки, чтобы спасти мужей, и добивавшиеся успеха: свидетельство тому интересный случай, когда женщина-юрист, коммунистка, к моменту ареста мужа в 1937 г. находившаяся в связи с другим мужчиной и подумывавшая о разводе, рассталась с любовником и всю свою энергию посвятила тому, чтобы вытащить мужа из тюрьмы, — и это ей удалось![67]

Детей арестованных чаще всего исключали из вузов и даже из старших классов школы после ритуала публичного унижения перед сверстниками, причем некоторые пытались защищать родителей. Если мать забирали, так же как отца, какой-нибудь добрый родственник или даже бывшая домработница могли взять на себя заботу о ребенке, хотя это было небезопасно для них самих. Одна мемуаристка описывает ночь ареста своей матери. Когда мать в 5 часов утра увели, сотрудники НКВД хотели забрать и ее (тогда 12-летнюю), и ее младших брата и сестру в детский дом, но нянька стала яростно сопротивляться, разыгралась шумная сцена — нянька кричала, дети плакали. В конце концов энкаведешники оставили детей с нянькой, взяв с нее подписку о том, что она берет всю ответственность на себя и получит от бабушки детей письменное заявление об оформлении опеки[68].

Реакция

Оглядываясь на 1937 год более трех десятилетий спустя, Солженицын писал:

«Откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей — так для нас это было решительно все равно. Посадили двух-трех профессоров, так мы ж с ними на танцы не ходили, а экзамены еще легче будет сдавать. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и, как ровесников, нас ожидало самое светлое будущее»[69].

Это заявление, которое немногие другие пережившие сталинскую эпоху нашли бы в себе смелость и моральную силу сделать, напоминает нам, что террор не для всех был террором. Описанное Солженицыным отношение было обычным — пожалуй, даже типичным — для молодых людей, пока дело не касалось их собственной семьи. Последняя оговорка, впрочем, очень важна, ибо арест одного из членов семьи мгновенно менял все. Между тем, что значил террор для тех, кого он коснулся лично, и тем, что он значил для остальных, лежала целая пропасть. Нина Костерина в 1937 г. была пятнадцатилетней школьницей, счастливой, деятельной, полной идеализма и энергии. Но вот случилось немыслимое: Нининого отца арестовали. Ее жизнь стремительно понеслась вниз по спирали отчуждения, изоляции, депрессии, хотя формы остракизма и школьных проблем, с которыми ей пришлось столкнуться, были сравнительно мягкими для человека в ее положении. В ее дневнике стали появляться меланхоличные записи о порванной дружбе, утраченных возможностях, ухудшении отношений в семье. «Чувствую себя очень странно — какая-то огромная чудовищная пустота, — писала она. — Что делать? Куда деваться? Мне все кажется, что это сон — дурной противный сон. Вот сейчас проснусь — и все будет по-старому, хорошо и ясно... Сижу, читаю, а в сердце вдруг кольнет что-то нестерпимо острое, тоска защемит... Ах, зачем это не сон!»[70]

Первая реакция многих жертв и их родных — невиновного арестовали по ошибке и скоро отпустят. Иногда ей сопутствовала уверенность, что всех остальных взяли за дело, заставлявшая только что арестованного человека сторониться соседей по камере. Жены почти всегда продолжали верить в невиновность мужей, посылали им передачи, писали бесконечные ходатайства властям. Невзирая на пример жены Якира, растиражированный «Правдой», никто в действительности и не ждал от них другого; даже официальные лица считали их хлопоты нормальным делом, а не доказательством их собственной вины.

Конечно, встречались и жены, реагировавшие менее однозначно. Один из примеров — Юлия Пятницкая, жена старого большевика, работника Коминтерна И.А.Пятницкого; записи в ее дневнике свидетельствуют о ее терзаниях после ареста мужа. Сначала самым сильным чувством был гнев — как он допустил, чтобы

такое случилось с ними? — и она винила его за то, что не донес в свое время на сослуживцев, которые ей казались подозрительными. Потом начались более тяжкие сомнения: может, он на самом деле шпион и всегда им был, «и потому так жил он, и был таким замкнутым и суровым. Очевидно, на душе было темно...» В таком настроении она была «способна плюнуть ему в лицо, назвать его именем шпиона»[71].

На детей арестованных сильнее, чем на жен, давили, понуждая отречься от родителей, это был весьма популярный ритуал в школах, пионерских и комсомольских организациях. Хотя чуть ли не каждый мемуарист вспоминает случаи, когда сын или дочь стойко сопротивлялись нажиму[72], большинство уступали. Но это, конечно, мало говорит нам о том, что они чувствовали в душе. Большинство мемуаристов, родители которых были арестованы, говорят о своей непоколебимой вере в их невиновность, немногие имеющиеся в нашем распоряжении дневники свидетельствуют о том же. Кулацкий сын Степан Подлубный, так старавшийся стать хорошим советским гражданином, когда его мать была арестована, не только сразу отмел мысль о ее виновности, но и потерял веру в советскую власть: «Мне и присниться не могло, что такую почти неграмотную женщину, как мама, сочтут троцкисткой... В своих худших кошмарах я не мог представить, что ее арестуют за эти старые грехи [кулацкое прошлое] теперь, когда ее нынешняя жизнь совершенно безгрешна»[73].

Подлубный, впрочем, был уже взрослым молодым человеком с некоторым жизненным опытом. Наверняка дети помладше порой сильнее поддавались влиянию суждения коллектива о своих родителях, особенно если арестованы были оба. Пока 9-летнему Егору Алиханову не вправила мозги старшая сестра, Елена Боннэр, первой его реакцией на арест отца было безоговорочное признание виновности последнего. «Вот какие враги народа бывают, — цитирует его слова Боннэр, — *даже в отцы пробираются*»[74].

Что бы ни думали про себя друзья, более или менее дальние родственники и коллеги арестованного о его виновности, благоразумие подсказывало прервать все контакты. Почти все так и поступали, оставляя ближайших членов его семьи в изоляции. Исключения встречаются, но они носят тот же героический и нетипичный характер, как истории о неевреях, прятавших еврейских детей на территориях, оккупированных нацистами, во время Второй мировой войны. Пока длился террор, членов семей жертв сторонились как разносчиков чумы. Но и после того, как в конце 1930-х гг. террор пошел на убыль, супруги и дети его жертв на многие годы остались заклейменными, с особыми пометками в личных делах на работе, в вузе и т.д. Скрыть факт ареста родственника было крайне трудно, разве что полностью сменить все документы; от тех, кто не был на это способен, требовали указывать данный факт в официальных анкетах и автобиографиях.

Среди тех, кого Большой Террор лично не затронул, зафиксирована самая разная реакция. Некоторые верили в виновность руководителей, павших жертвами террора, и считали, что они заслужили наказание. «Орджоникидзе людей расстреливал, а теперь и сам умер» — эта реплика, пусть и по поводу самоубийства, не связанного напрямую с Большим Террором, иллюстрирует существовавшее в народе мнение, что смерть любого коммунистического лидера, независимо от обстоятельств, может быть для него событием безразличным или благословенным, но уж никак не утратой. На некоторых предприятиях в эпоху Большого Террора развилась коллективная подозрительность в отношении администрации — рабочие начали считать, что все директора заражены нелояльностью как класс. Реакция ленинградских рабочих на показательные процессы включала и тревогу, как бы враги не отделались слишком легко, и убежденность, что правящая элита разложилась, потому что в ней слишком много евреев и совсем нет рабочих. «Всех красных правителей уничтожат», «Теперь очередь за другими руководителями, за Сталиным» — вот обобщенное выражение такой позиции[75].

Один послевоенный беженец, оглядываясь на свою жизнь в СССР, когда он был учителем в Казахстане, вспоминал свое одобрительное отношение к показательным процессам, поскольку личное знакомство с некоторыми из арестованных государственных чиновников убедило его, что ничего лучшего они и не заслуживают:

«Приведу типичный пример. В 1932 г. мне пришлось просить помощи у Наркомата просвещения Кахахстана. Меня послали к Таштитову, зам. наркома просвещения. Это был молодой партиец, невысокий, с рябым лицом. Он принял меня, развалясь в кресле. Когда я стал рассказывать, что в школе ликбеза нет ни тетрадей, ни учебников, ни керосина, он вскочил и заорал: "Что вы ко мне лезете с вашими тетрадями! Я и так все знаю! Нечего мне рассказывать! Заявку подали — ну и ждите! Будет тут каждый надоедать заместителю наркома просвещения из-за керосина".

Через пять лет Таштитов, ставший к тому времени первым секретарем ЦК комсомола Казахстана, был разоблачен как "враг народа". Признаться, я ему совершенно не сочувствовал»[76].

Среди послевоенных беженцев были и другие мнения. По словам одного маляра, «газеты вопили о "врагах народа", но простые люди им не верили». Одного кузнеца, когда он услышал радиорепортажи о показательных процессах, мысль о том, что у советской власти *есть* враги, немало воодушевила. И он, и все остальные в его колхозе любили эти передачи; по его мнению, «много было людей, которые боролись с советской властью и которых эти репортажи из зала суда ободрили, потому что они поняли, что подсудимые были против советской власти». Другие точно так же симпатизировали обвиняемым на том основании, что любой враг Сталина — их друг. Видно, Троцкий и остальные выступали за освобождение закрепощенного крестьянства, поэтому их и судят,

написал один аноним после процесса Пятакова. Крестьяне-сектанты после показательного процесса и казни Зиновьева и Каменева в 1936 г. молились за упокой их души[77].

Коммунистам, конечно, недоверие давалось не так легко. Один московский коммунист среднего ранга передает в своем дневнике за 1937 год сомнения старого товарища по партии в том, что у партии через двадцать лет все еще так много активных врагов. К тому же, по его словам, и Надежда Крупская, вдова Ленина, жаловалась в его присутствии на «совершенно ненормальную обстановку, отравляющую жизнь», а другой видный старый большевик высказывал мнение, что Ежов введен в заблуждение безответственными доносами и дезинформацией иностранной разведки и, в свою очередь, вводит в заблуждение партийное руководство. Но сам автор дневника не мог допустить сомнение в свою душу, по крайней мере, не мог признаться в этом в дневнике. «Как же могу судить [я], рядовой партиец? Конечно, иногда закрадываются сомнения. Но не верить партруководству, ЦК, т. Сталину не могу. Это было бы кощунственно не верить партии»[78].

Мнение людей о Большом Терроре менялось со временем. В дневнике Андрея Аржиловского (крестьянина, бывшего политзаключенного при советской власти, сосланного в 1937 г. в провинциальный городок) первая реакция на процесс Пятакова — одобрительная: «Прочел обвинительную речь прокурора по делу троцкистского центра. Это было великолепно! Вышинский хорошо потрудился». На смену быстро пришло ощущение, что преступления обвиняемых свидетельствуют о полном разложении верхушки: «Если сотни искренне преданных, закаленных в боях коммунистов... в конечном счете оказываются негодяями и шпионами, то кто гарантирует, что нас не окружают одни обманщики? Где гарантия, что самые великие и уважаемые не сядут завтра на скамью подсудимых?» Через несколько месяцев Аржиловский совершенно отказался от мысли, что какая-либо измена действительно имела место. В июне он записал в дневнике по поводу известий об измене в рядах военачальников:

«ГПУ раскрыло целую группу тайных агентах в высоких чинах, включая маршала Тухачевского. Обычные казни. Повторение Французской революции. Больше подозрений, чем фактов. Научились у французов убивать своих»[79].

Любовь Шапорина, представительница ленинградской художественной интеллигенции, 30 января 1937 г. сделала в дневнике странную запись по поводу процесса Пятакова. Этот пассаж кажется сочетанием иронического скепсиса, подлинной ненависти к коммунистам и желания обвести вокруг пальца непрошеного читателя:

«В руководстве каждого [наркомата] предатель и шпион. Пресса в руках предателей и шпионов. Все они члены партии, прошедшие все чистки... Идет непрерывный процесс разложения, измены и предательства, и все это прямо на глазах у чекистов. А

что же те вещи, о которых на процессе не говорили? Насколько они должны быть ужаснее. И самое худшее — полная откровенность обвиняемых. Даже лафонтеновские ягнята пытались оправдаться перед волком, а наши волки и лисы — люди вроде Радека, Шестова, Зиновьева, понаторевшие в этом деле, — кладут голову на плаху, как ягнята, говорят "mea culpa" и все рассказывают; они как будто исповедуются».

В той же записи звучит резкая и неприятная антисемитская нотка:

«Вдруг оказывается, что г-н Троцкий уже все рассчитал заранее, все было готово, машина уже запущена. Изумительно! Но, как всегда у евреев, спланировано не слишком тщательно и обречено на провал... Они задумали съесть русских на обед, считая, что те и так свиньи. Погодите, дорогие, русский народ вам покажет, где раки зимуют»[80].

В дневниках Марии Сванидзе, невестки первой жены Сталина, остававшейся в кругу сталинских близких до самого своего ареста в эпоху Большого Террора, зафиксирован целый ряд сменяющих друг друга реакций. Во время процесса Зиновьева—Каменева в 1936 г. ее внимание главным образом сосредоточено на разлагающем влиянии привилегий. Подсудимые — люди, «которым *всегда не доверяла*, не скрывая этого, но то, что развернулось, превзошло все мои представления о людской подлости». Все — террор, вредительство, растраты — совершалось «только из карьеризма, из алчности, из желания жить, иметь любовниц, заграничные поездки, широкую жизнь и туманные перспективы захвата власти дворцовым переворотом...» В более поздней записи она раздумывает над причинами бед в повседневной жизни СССР и начинает осознавать, что это, должно быть, результат вредительства. Как еще можно объяснить то, что на текстильных фабриках полно стахановок-ударниц, а в магазинах невозможно купить ткани? «[Вредители] мешают, мешают на каждом участке строительства жизни, и надо беспощадно с этим бороться».

Потом данная тема надолго исчезает со страниц дневника Сванидзе и возвращается только в одной из последних записей (7 августа 1937 г.), когда она, очевидно, уже начала чувствовать сильнейший страх и подавленность. Она по-прежнему изо всех сил цепляется за мысль, что все «враги» — это совершенно другие люди, не такие, как она, «социально-чуждые», классовые враги:

«Я часто, идя по улице и всматриваясь в типы и лица, думала — куда делись, как замаскировались те миллионы людей, которые по своему социальному положению, воспитанию и психике не могли принять сов. строя, не могли идти в ногу с рабочими и бедняцким крестьянством, в ногу к социализму и коммунизму? И вот эти хамельоны на 20-м году революции обнаружились во всем своем лживом облачении».

Но террор неотвратимо приближался к ней, и ее вера в то, что все арестованные действительно виновны, заметно поколебалась:

«Настроение создалось тяжелое. Недоверие и подозрительность, да и что удивительного, когда вчерашние знакомые сегодня оказываются врагами, много лет лгавшими и носившими маску». Мужа Марии Сванидзе арестовали в декабре, а вслед за ним и ее саму; проведя несколько лет в тюрьме, оба были расстреляны[81].

Пока мало известно о реакции на Большой Террор самих сотрудников НКВД, осуществлявших его. Но случайные обрывки сведений обнаруживаются в самом неожиданном контексте, например в заявлении на выплату пенсии. Офицер НКВД Д.Щекин, начальник районного отдела внутренних дел в Курской области, последнюю неделю своей жизни летом 1938 г. провел, посещая семьи жертв Большого Террора и выпивая с ними. 4 августа он покончил с собой. (Нам это стало известно, потому что его сыновья впоследствии ходатайствовали о пенсии за отца, но получили отказ на том основании, что он покончил жизнь самоубийством.) Другого начальника райотдела НКВД в Куйбышевской области во второй половине 1937 г. обвинили в том, что он расконвоировал «разоблаченных врагов народа», отправлявшихся в ссылку. Под предлогом собрания, посвященного предстоящим выборам в советы, он позволил более чем 200 членам колхоза «Гигант» проститься с родными и соседями. За этот проступок его самого разоблачили как врага и арестовали[82].

* * *

Официально «перегибы» Большого Террора были осуждены на XVIII съезде партии весной 1939 г., через несколько месяцев после смещения с должности и последующего расстрела Ежова. Несомненно, этот процесс было трудно остановить, поскольку первые признаки попыток изменить курс относятся еще к январю 1938 г. На январском пленуме ЦК член Политбюро Г.М.Маленков выступил с докладом «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков», в котором привел несколько примеров вышедшего из-под контроля террора, от которых волосы вставали дыбом[83]. Сталин, судя по всему, санкционировал этот доклад, хотя сам участия в обсуждении не принял. Однако его ближайшие сподвижники приняли: Жданов призвал покончить с бездоказательными обвинениями и сделал несколько критических замечаний в адрес НКВД, а Молотов заявил, что необходимо «различать людей ошибающихся от вредителей». Калинин попытался восстановить в правах понятие доказательства вины подозреваемого, предложив «смотреть не по глазам и не на то, что его друг, брат, или жена, или кто-нибудь арестованы, а какие за ним действия»[84].

Несмотря на прозвучавшее в 1939 г. признание, что многие коммунисты были осуждены неправильно, мало кто из жертв тер-

рора действительно вышел из тюрьмы или Гулага в то время и в течение многих последующих лет. Большой Террор оставил на советском обществе глубокие отметины, и не только из-за своих масштабов[85], но и потому, что десятки лет оставался запретной темой. Только после выступления Хрущева с обличением сталинских преступлений на XX съезде партии в 1956 г. были освобождены большинство выживших жертв Большого Террора. Даже и тогда, как в 1939 г., публичная реабилитация коснулась только несправедливо осужденных коммунистов, а не множества беспартийных, пострадавших тоже.

Нежелание допускать возвращение жертв, вероятно, имело те же корни, что и решение держать сосланных кулаков в месте ссылки, принятое раньше, — казалось слишком опасным пустить обратно в общество тех, кого режим столь тяжко обидел. Положение, что враги всегда остаются врагами, глубоко укоренилось в сознании советского коммуниста, как мы видели в одной из предыдущих глав, рассматривая вопрос о «социально-чуждых». Так же глубока была и уверенность в том, что наказанный враг становится врагом вдвойне. Но если врагов следует изолировать от общества и карать, а кара вызывает только еще большую враждебность, то где же конец всему этому? К несчастью, Советский Союз был велик — «Широка страна моя родная», как поется в песне, — что позволяло использовать пространство для решения социальных проблем точно так же, как полтора века делали англичане, отправляя осужденных в Австралию. Если выловить всех врагов, то в Советском Союзе достаточно места, чтобы загнать их в самые дальние уголки, с глаз долой и, как надеялись власти, из сердца вон. Разоблаченные тайные враги могут снова затаиться — но на этот раз там, где государству легко будет их найти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В одном анекдоте, популярном в 1920-е — 1930-е гг., группа кроликов появляется на советско-польской границе с просьбой пустить их в Польшу. Когда их спрашивают, почему они хотят бежать из СССР, они отвечают: «ГПУ отдало приказ арестовать всех верблюдов в Советском Союзе». — «Но вы же не верблюды!» — «Подите докажите это ГПУ»[1]. Это один из множества грустных анекдотов того периода, подчеркивающих произвольность террора. Но в сталинской России произвольно совершался не только террор. Награды — например, те, что сыпались на знаменитых стахановцев и прочих знатных людей, — тоже давались произвольно. Вся бюрократия действовала произвольным образом, руководствуясь законом в минимальной степени и лишь иногда позволяя манипулировать собой с помощью личных связей. Политические лидеры совершали внезапные повороты в государственной политике, часто без всяких объяснений отказываясь от курса, который безжалостно проводился годами, и переходя к чему-то совершенно иному, даже противоположному. Всякий раз, когда такое случалось, нескольких произвольно выбранных козлов отпущения карали за чрезмерное рвение в проведении прежней политики.

Таковы обстоятельства, порождавшие среди населения фатализм и пассивность, вселявшие в него чувство, что отдельный человек не может и никогда не сможет контролировать свою судьбу. Подобные настроения часто отчетливо видны в интервью Гарвардского проекта, например, в ответах на вопросы, как советские граждане могли бы защитить себя или свои интересы в той или иной гипотетической ситуации. «Ничего нельзя было бы сделать» — излюбленный ответ, даже если он часто опровергается потом, в ходе дальнейших расспросов, когда респонденты предлагают какие-то вещи, которые гипотетический гражданин *мог бы* сделать[2]. Конечно, в реальной жизни советские граждане отнюдь не были полностью лишены стратегий самозащиты, однако лелеяли чувство зависимости и бессилия. Собственно, стремление уверить власти в своей полной беспомощности — как поступали респонденты Гарвардского проекта и в отношении американских интервьюеров — как раз являлось такой стратегией.

«Мне кажется, я прожила чью-то чужую жизнь», — сказала одна женщина в интервью постсоветского периода, вспоминая процессы дезинтеграции, выбросившие ее из деревни во время коллективизации. Это одно из целого комплекса чувств, заставлявших респондентов Гарвардского проекта говорить, что жизнь в Советском Союзе 1930-х гг. не была «нормальной», что нельзя было «нормально устроить свою жизнь». Респонденты никогда не принимали на себя ни индивидуальной, ни коллективной ответственности за это; в подобном положении вещей категорически обвиняли «их», правительство, все те внешние силы, которые не давали человеку контролировать свою судьбу. Ненормальность включала много аспектов, в том числе непредсказуемость, дезориентацию, насилие государства над гражданами, но один мотив возникал постоянно: жизнь была ненормальной из-за трудностей и лишений. Некоторые респонденты даже использовали выражение «жить нормально» в значении «жить в комфортабельных, привилегированных условиях» — в условиях, на которые имеют право все, но которых у большинства людей не было. «Нормальная жизнь» представляла собой идеал, а не статистическое понятие[3].

Ощущение непредсказуемости усиливалось в результате крутых переломов, перемещений с места на место, потери почвы под ногами, присущих жизни в СССР. Началось это еще в Первую мировую и гражданскую войну, когда огромные массы народа отрывались от своей почвы и в географическом, и в социальном смысле, теряли связь с семьей и друзьями, занимались не тем, что считали своим призванием. Революция открыла дверь для продвижения некоторых людей, но закрыла ее перед другими. Потом, в конце 1920-х гг., последовали новые катаклизмы сталинской революции, вновь разрушившие привычный порядок вещей и людские надежды. Крестьяне, заклейменные званием кулаков, были сосланы или бежали в города, часто мало понимая, чего они хотят от своей новой жизни. Это чувство неприкаянности передано в словах одного респондента Гарвардского проекта, сына кулака, раскулаченного в 1930 г., который затруднялся ответить на вопрос, кем хотел бы видеть его отец. «Когда мы жили на земле, он хотел, чтобы я стал крестьянином, — сказал он наконец. — А когда нас согнали с земли, мы потеряли представление, кем хотим стать. *Я был предоставлен своей судьбе*»[4].

Жизнь могла казаться столь же непредсказумой и тем, кто пользовался возможностями, предоставляемыми советской властью. Во всех этих историях головокружительного успеха, восхождения, как в сказке про Золушку, от самого скромного положения к величайшим вершинам (описанных в гл. 3) наряду с чувством удовлетворения и поздравлениями себя с такой удачей присутствует чувство изумления. Кроме того, в восхождении к вершинам заключался свой риск. Могло случиться и так, что один и тот же человек переживал и стремительный подъем, и внезапное падение,

как, например, юноша, которого комсомол выбрал и направил учиться на летчика и от которого фортуна мгновенно отвернулась, когда его отца арестовали, а семью выслали. Между выгодами и невыгодами карьеры существовало общепризнанное равновесие: как сказал один Гарвардский респондент, «вообще работать ветеринаром в Советском Союзе хорошо. Ветеринар имеет возможность доставать продукты. С другой стороны, это — как работа любого служащего и специалиста. Опасно. Есть план; план высокий, и человек может попасть под суд в любой момент». Некоторые отказывались принимать повышение в должности из-за связанных с ним большей ответственности и большей опасности. «Более высокий пост означает больше ответственности. Чем больше ответственность, тем ближе разоблачение. Сидеть на дне было безопаснее»[5].

В одном из немногих имеющихся у нас крестьянских дневников сталинской эпохи главной темой для автора служит погода, которая в его мире являлась первостепенным произвольным фактором, определяющим счастье или беду; правительство он фактически игнорировал. Городские авторы дневников, напротив, прилежно фиксировали все крупные правительственные меры, по-видимому, по той же причине, по какой крестьянин отмечал перемены погоды. Эти дневники сталинской поры особенно интересны тем, сколько времени и размышлений их авторы тратили на общественные дела, особенно если брать это понятие в широком смысле, включающем экономику и наличие или отсутствие товаров потребления. Разумеется, частная жизнь и личные чувства присутствовали в дневниках, но в очень ограниченных масштабах, подавляемые событиями и влиянием общественной жизни, какой-нибудь внешний кризис всегда оттеснял их на задний план[6].

Степан Подлубный хотел найти друзей, но таких, которые могли помочь в осуществлении его проекта превращения в хорошего советского гражданина, свободного от пятна кулацкого прошлого. Любовь Шапорина, бывшая жена композитора Ю.А.Шапорина, охваченная горем, писала, как потеряла младшую дочь, но объединяла и эту потерю, и крушение своего личного счастья с темой страданий всей интеллигенции и России в тисках государства в эпоху Большого Террора. В дневнике А.Г.Манькова общественные дела, рассматриваемые весьма предвзято, служат центральной темой, и, даже когда он касается семейных проблем, в текст часто вторгаются рассуждения о государстве. Для Галины Штанге, активистки движения общественниц, главная тема — размышления о конфликте семейных и общественных обязанностей. Школьница Нина Костерина в первой части дневника увлеченно описывала историю своей первой любви и дружбы, но и для нее после ареста ее отца как «врага народа» частная жизнь оказалась безнадежно скомпрометирована и переплетена с вопросами общественного значения[7].

Неудивительно, что русские, оглядываясь на свою жизнь в сталинскую эпоху, часто используют в качестве ориентиров и разграничительных вех события общественной, а не личной жизни. Когда американский ученый в начале 1990-х гг. беседовал со старыми русскими крестьянками об их жизни, интервью «были построены так, чтобы отразить их переживания в связи с рождением и воспитанием детей, исходя из предположения, что рождение и воспитание детей являются событиями, определяющими жизнь женщины». Он, однако, обнаружил, что и в жизни этих женщин, и в их манере рассказывать о ней доминируют общественные события. «На жизнь практически каждой женщины, с которой я беседовал... сильнее всего повлияли события начала 1930-х гг. Почти у каждой жизнь была сломана, и перелом произошел именно в то время (хотя для некоторых еще большую роль сыграла война). Дети имели для них значение, но их личность и место, которое они заняли в жизни, в гораздо большей степени определялись катаклизмами 1930-х гг.»[8].

Когда респондентов Гарвардского проекта спрашивали, что может помочь преуспеть в советском обществе, одни называли образование и пролетарское происхождение, другие — приспособленчество и наушничество, многие говорили — связи, а некоторые — удача[9]. Удача действительно значила очень много. Поэтому-то граждане сталинского общества, в целом пассивные, время от времени пускались на риск — покупали лотерейные билеты и играли в потенциально опасную игру, донося на своих начальников; рассказывали антисоветские анекдоты, а порой, напившись, глумились в общественных местах над священными символами. Они отнюдь не были так осторожны, как можно было бы ожидать от людей, живущих при крайне репрессивном режиме, может быть, потому что не имели никакой уверенности в том, что осторожность гарантирует выживание.

Иногда риск являлся прямой необходимостью для эффективного выполнения своих задач. Например, директора промышленных предприятий не могли достать сырье, запчасти и необходимую рабочую силу, не рискуя и не нарушая правил, несмотря на всегда существовавшую угрозу наказания. Историк экономики Дж.Берлинер отмечает, что в Советском Союзе «хороший руководитель, который быстро поднимется на самый верх и сделает блестящую карьеру, — тот, кто готов к риску попасть под арест и получить срок. Действует процесс отбора, возносящий к вершине рисковых людей и отбрасывающий на обочину робких»[10].

В общественном мнении риск (в противовес благоразумному расчету) оценивался крайне высоко. Даже литературная интеллигенция, одна из самых запуганных и не склонных к риску групп в советском обществе, делала героев из своих любителей риска, так же как из своих мучеников. Писателями вроде М.Булгакова, доходящими в своих творениях до самых границ дозволенного (или даже выходящими за них), восхищались; редакторы журналов и театральные режиссеры, пытавшиеся публиковать или ставить такие произведения, рискуя в свою очередь подвергнуться каре, завоевывали престиж в глазах собратьев.

Следует отметить, что этот авантюрный дух представлял прямую противоположность духу рационального планирования, который режим принципиально поддерживал и старался воспитать в своих гражданах. В официальном дискурсе ничто не прославлялось сильнее, нежели пятилетний план и та планомерность и предсказуемость, которая выражается словами «по плану». Стихийность, случайность — антипод закономерности — это было то, что следовало преодолевать; случай (в смысле непредвиденного происшествия) был явлением, не только заслуживающим порицания, но и эпистемологически несущественным; выражение «случайные элементы» применялось по отношению к людям, не имеющим права присутствовать в данном месте или вообще никаких прав. И все это находилось в диалектической взаимосвязи с менталитетом большинства советских граждан, надеявшихся на «стихийность» как на избавительницу, когда планы режима доводили их до беды, и знавших, что «плановое распределение» товаров на деле означает дефицит.

Периодически возникающая или даже постоянная склонность к риску не означала, что люди не боялись власти. Конечно боялись, учитывая неоднократно испытанную готовность власти к карательным мерам, тяжесть ее карающей руки, ее злопамятность и непредсказуемость ее выходок. Как следствие, обычное состояние советского гражданина характеризовали пассивное подчинение и внешняя покорность. Но это, в свою очередь, не означало, что советские граждане питали к власти большое почтение. Напротив, известная доля скепсиса, даже нежелание принимать полностью всерьез самые серьезные декларации режима были нормой. Из всего набора приемов повседневного сопротивления, используемых советскими гражданами, самой удручающей, с точки зрения режима, была манера, пожимая плечами, говорить: «Пройдет», — в ответ на ту или иную политическую инициативу, поступившую сверху. Хотя литература социалистического реализма старалась, как могла, рисуя портрет целеустремленного, преданного делу, эффективно исполняющего свои обязанности руководителя, в народном сознании, как оказалось, по крайней мере столь же прочно утвердились совершенно иные образы власти[11].

В двух произведениях литературной классики довоенного сталинского периода, из числа самых любимых и читаемых, — романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — героем является мошенник, которому главным профессиональным орудием служит умение заговорить зубы и запудрить мозги туго соображающим местным начальникам. В фильме «Поручик Киже» (1934), который теперь вспоминают в основном благодаря музыке, написанной к нему Прокофьевым, представители власти (эпохи Павла I) настолько тупы, что определяют человека

в гвардию, разжалуют его, ссылают в Сибирь, милуют и снова возводят в генеральский чин, не обращая никакого внимания на то, что он никогда не существовал в действительности. В поэме А.Твардовского «Василий Теркин», завоевавшей огромный успех в годы Второй мировой войны, заглавный персонаж — по сути антигерой, обладающий всеми навыками, необходимыми homo sovieticus для добычи пропитания и выживания, и относящийся к власти с тем же добродушным презрением, что и бравый солдат Швейк Ярослава Гашека[12].

В основе советского варианта менталитета подчиненных 1930-х гг. лежала антитеза «мы» — «они». «Они» — это те, кто всем правит, те, кто наверху, люди, наделенные властью и привилегиями. «Мы» — те, кто внизу, маленькие люди без власти и привилегий, которых «они» притесняют, эксплуатируют, обманывают и предают. Разумеется, разделительная линия смещалась относительно положения человека, употребляющего эту антитезу. Так же как ни один советский профессионал брежневского периода не признавал себя «бюрократом»[13], ни один советский гражданин 1930-х гг. не отождествлял себя с «ними» ни в отношении власти, ни в отношении привилегий. «Они» — люди, обладающие *реальными* властью и привилегиями, — всегда существовали в высшей для говорящего о них сфере[14].

В представлении колхозника, пишущего, чтобы выразить свое мнение о Конституции, в обществе были два класса: «Служащие и рабочие это один класс, а второй класс колхозники, все бремя несут, всю черную работу и все налоги, а служащие нет, как правящий класс». Но рабочие, обращаясь к этой теме, всегда считали эксплуатируемым классом себя. «Товарищ Жданов, на всех собраниях говорят о бесклассовом обществе, но на самом деле оно не такое, масса людей живут, забыв о коммунизме. Пора прекратить кормить [администраторов], пора закрыть "Торгсины"», — писала группа обиженных, оставшаяся анонимной. Администраторы «живут в лучших условиях и живут за счет труда рабочего класса», — жаловался еще один рабочий, отмечая, что «появились новые классы, с той только разницей, что их не называют классами»[15].

В глазах многих советских граждан, по-видимому, привилегии и политическая власть в 1930-е гг. были столь тесно связаны, что оставалось мало места для других видов классовых разногласий. Привилегии вызывали очень сильное возмущение, причем это возмущение, кажется, было направлено почти исключительно на привилегии должностных лиц, т.е. представителей государства и коммунистической партии, а не интеллигенции. Когда интервьюеры Гарвардского проекта в поисках данных о классовых противоречиях внутри общества спросили, какая из основных социальных групп (интеллигенция, служащие, рабочие, колхозники) получает «меньше, чем заслуживает», они услышали поразительный ответ — по иронии судьбы, респонденты фактически горячо подтверждали заявление Сталина, что классовый антагонизм в Советском Союзе уничтожен. *Все* социальные классы, даже интеллигенция, получали «меньше, чем заслуживали», — по мнению большинства респондентов из всех классов, хотя, следует признать, из представителей рабочего класса и крестьянства лишь около половины придерживались такого взгляда в отношении интеллигенции. Кроме того, многие респонденты спешили напомнить интервьюерам, что уместно назвать еще одну группу, пропущенную в вопросе, — «партийных работников»; вот они получают *больше*, чем заслуживают[16].

Такая нежность рабочих и крестьян к интеллигенции несколько удивляет, ибо среди рабочего класса совершенно очевидно царил сильный антиинтеллигентский настрой во время революции и в 1920-е гг., когда на «буржуазных специалистов» постоянно нападали как на недобитков привилегированных классов времен царизма, ухитрившихся сохранить свои привилегии, несмотря на революцию. Во время шахтинского процесса 1928 г. рабочие не только разделяли мнение прокурора, что подсудимые-инженеры виновны в измене и саботаже, но склонны были идти даже дальше («снести им головы — еще мягкое наказание», «надо расстрелять их всех, иначе не будет нам покоя»)[17].

Если подобные настроения в 1930-е гг. стали ослабевать, то, возможно, причина в том, что объявленная режимом «война против нации», как выразился Адам Улам, направила народный гнев исключительно на партию и ее лидеров, а может быть, это реакция на тот факт, что после 1928 г. интеллигенция значительно обновилась в результате различных форм выдвижения из низших классов[18]. Следует, однако, отметить также, что в представлении респондентов Гарвардского проекта вопрос о тех, кто «получает меньше, чем заслуживает», скорее всего, касался преследований, а не привилегий. Советские граждане очень любили представлять себя коллективной жертвой преследований, и в этом они не одиноки. Всегда легче сказать, что страдают практически все, чем разбираться, кто в какой степени.

До сих пор я описывала народное отношение к режиму, варьирующее в основном от пассивного приятия до осторожной враждебности. Отсутствие гарантий личной безопасности, гонения на религию, появление новых привилегированных классов, полицейская слежка и террор, несомненно, добавляли свое ко множеству оснований для критики режима, которые имелись у населения в 1930-е гг. Но первыми и главными были основания экономические: люди жили плохо, хуже, чем десять или двадцать лет назад. «Раньше [во время нэпа, при царе] было лучше» — из всех критических замечаний это, пожалуй, наиболее часто встречается в сводках НКВД о настроении населения. При таких обстоятельствах было бы крайне странно, если бы люди не обвиняли правительство, тем более что испытываемые рядовыми гражданами ли-

шения столь очевидно были связаны с правительственной политикой: коллективизацией и форсированной индустриализацией.

Несмотря на обещания изобилия в будущем и массовую пропаганду достижений в настоящем, сталинский режим в 1930-е гг. мало что делал для улучшения жизни своего народа. Судя по результатам предпринимаемого НКВД зондирования общественного мнения (проблематичный, но единственный доступный нам источник), в российских городах режим был относительно, хотя и не так уж отчаянно, непопулярен. (В российском селе, особенно в первой половине 1930-х гг., непопулярность его была гораздо выше.) Повсюду, как регулярно сообщал НКВД и повторяли официальные документы, рядовой «маленький человек» советского города, думающий только о своем и своей семьи благополучии, был «недоволен советской властью», правда, несколько фаталистически и пассивно[19]. Проводились невыгодные сравнения положения после нэпа с нэпом, а Сталина (несмотря на официально взлелеянный сталинский культ) — с Лениным; последнее иногда потому, что Сталин был больше склонен к репрессиям, но чаще — потому что заставил людей голодать.

Нельзя сказать, что сталинский режим совсем не пользовался поддержкой граждан. Его активно поддерживали молодежь, привилегированные слои — ответственные работники и партийцы, пролетарские выдвиженцы и такие избранные группы, как стахановцы. Из них, пожалуй, самая интересная категория — молодежь. Менее, чем люди старшего возраста, склонная обращать внимание на экономические трудности, городская молодежь (или по крайней мере весьма значительная ее часть), а также многие молодые крестьяне, имеющие некоторое образование, по-видимому, усвоили советские ценности, которые ассоциировались у них с отречением от всего нудного, продажного, беспринципного, старого, рутинного, и всей душой приняли советские идеалы. Они готовы были на любой риск во имя советской власти. Они росли с желанием отправиться в полярную экспедицию или добровольцами на строительство Комсомольска-на-Амуре. Это была когорта тех, кто, по выражению Солженицына, вырос при советской власти и называл революцию «нашей». Даже молодые люди, получившие позорное клеймо из-за социального происхождения, часто разделяли «советскую» ориентацию своих более удачливых сверстников. «В партию не вступала, но в душе я коммунистка», — сказала в недавнем интервью учительница, много вытерпевшая в 1930-е гг., потому что была дочерью священника[20].

О настроениях большинства горожан, не являвшихся активными сторонниками режима, сведения добыть гораздо труднее, чем о взглядах активистов и юных энтузиастов. Рабочий класс, поддержки которого режим искал в 1920-е гг., так сильно изменился в результате наплыва крестьян и продвижения наверх «старых» рабочих, что и его целостность как класса, и ощущение рабочими своей особой связи с режимом нужно поставить под сомнение.

Ряд историков рабочего класса считают мотив эксплуатации со стороны государства и сопротивления со стороны рабочих доминирующим в 1930-е гг. Тем не менее, вероятно и то, что у многих рабочих еще осталось что-то от чувства связи с советской властью, особенно в городах с сильной революционной традицией, таких как Ленинград, и тем самым они оказывали режиму пассивную поддержку[21].

Недавно стали утверждать, что в вопросе о том, разделяли или не разделяли советские граждане советское мировоззрение, не больше смысла, чем в вопросе, разделяли ли христианское мировоззрение люди средних веков: другого попросту не было[22]. В этой аналогии видны явные натяжки, поскольку в СССР в 1937 г. любой человек старше тридцати прекрасно мог помнить досоветскую эпоху, и при проведении в том же году переписи более половины населения признали себя верующими, отвергая тем самым один из основных принципов советского мировоззрения. Тем не менее данный аргумент все же полезен, ибо напоминает нам, что почти во все времена большинство людей соглашались со своим правительством, и вряд ли российское городское население 1930-х гг. представляет исключение[23].

Во-первых, советское государство назначило себя хранителем национального духа и воспитателем патриотизма; его программы строительства нации и укрепления национального духа могли казаться привлекательными даже тем гражданам, которые жаловались на дефицит и возмущались привилегиями административной элиты. Вдобавок в 1930-е гг. в советском патриотизме все сильнее стала выделяться русская составляющая; в школьную программу вернулась русская история, в армию — форма и знаки различия, напоминающие царские, и т.д.[24]. Это вполне способно было усилить пассивно-одобрительное отношение со стороны русского населения, хотя в национальных республиках, скорее всего, имело другие последствия.

Во-вторых, этому режиму удалось добиться того, чтобы в сознании многих граждан он ассоциировался с прогрессом. Если советское мировоззрение и не было в буквальном смысле слова единственным, известным русским людям в 1930-е гг., то оно все же было единственным, связанным с современностью. Был или не был советский режим легитимен для широких слоев населения, но его модернизующая (цивилизующая) миссия, по всей очевидности, была. Насколько мы можем судить, большинство людей признавали дихотомию «отсталость» — «культура» и положение о том, что власть помогает населению стать менее отсталым и более культурным, составлявшее сердцевину советской идеи. Они могли лично сохранять какие-то черты собственной отсталости (например, привычку напиваться и бить жену), но это нисколько не мешало им соглашаться с тем, что пьянство и избиение жен — это плохо, это признак некультурного, неразвитого человека. Один и тот же человек мог сегодня ворчать, потому что в магазинах ис-

чезла рыба, а завтра говорить соседу, что ропот по поводу дефицита есть знак отсталости и политической неразвитости.

В-третьих, советское государство постепенно становилось современным «государством всеобщего благосостояния», хотя в 1930-е гг. еще предоставляло льготы не полностью и нерегулярно. Государство являлось монопольным распространителем товаров и услуг, а это значило, что распределение — право решать, кому что достанется, — стало одной из важнейших его функций. По словам Яноша Корнаи, в системах советского типа население служит объектом «патерналистской опеки» и заботы со стороны партии и государства. «Бюрократия находится in loco parentis*, — пишет он, — все другие слои, группы и отдельные индивидуумы в обществе — это дети, подопечные, взгляды которых должны формироваться взрослыми опекунами». Естественное положение гражданина по отношению к государству, которое контролирует распределение товаров и льгот, — положение просителя, а не сопротивляющегося; советские руководители действительно постоянно жаловались на «иждивенческие» привычки homo sovieticus, на его безынициативность и вечное ожидание, что государство будет и должно всем его обеспечивать[25].

Советское государство, с которым так тесно была сплетена повседневная жизнь его граждан, представляло собой своеобразный гибрид. С одной стороны, оно оставалось революционным, призванным изменить мир и перевернуть жизнь своих граждан, и сохраняло всю ту склонность к насилию, нетерпимость и подозрительность, которые неотделимы от подобных установок. С другой стороны, оно переходило к патерналистской версии «государства всеобщего благосостояния», которая будет характеризовать все системы советского типа в послевоенный период, и граждане уже воспринимали его именно в таком духе. Эти два облика государства кажутся весьма различными, но у них есть важные общие черты. Во-первых, и революционное, и патерналистское государства с пренебрежением относятся к закону и бюрократическому легализму, предпочитая волюнтаристские решения в первом случае и персоналистские — во втором. Во-вторых, в обоих государствах сильно развито сознание ответственности руководства. В революционной терминологии оно выражено понятием авангарда. В патерналистском государстве концепция авангарда на практике превращается в идею, что «отцу лучше знать».

Если мы посмотрим, какие модели и метафоры советского государства могут помочь нам понять повседневную практику homo sovieticus, то нам представятся несколько возможностей. Во-первых, советское общество может быть описано как тюрьма или казарма. Здесь просматриваются те же элементы регламентации, строгой дисциплины и заключения внутри закрытого учреждения

* В положении родителей (*лат.*).

с собственным суровым кодексом поведения, зачастую непонятным для посторонних. Поведение заключенных и рядовых солдат отражает страх перед наказанием, которое может последовать за невыполнение приказов или любой другой проступок. Резкая черта отделяет в таких учреждениях охранников и офицеров от заключенных и рядовых: то же самое противопоставление «мы» — «они». Грубое обращение со стороны охраны/офицеров вызвает возмущение, но при этом считается в порядке вещей. Среди заключенных есть осведомители, но, тем не менее, «стукачество» решительно осуждается в их сообществе. Дезертирство/попытка побега строго карается. В случае армии усиленно насаждаются дух патриотизма и сознание патриотического долга.

Другой способ представления советского общества — сравнение его со школой закрытого типа, например школой-интернатом. Школа — тоже закрытое учреждение с собственными обычаями и дисциплиной. В ней насаждается школьный дух — местная форма патриотизма. Социальная пропасть разделяет учителей и учеников; наушничество учителям процветает, но в ученическом сообществе одобрением не пользуется. Учителя часто читают нотации, пропагандируя такие добродетели, как опрятность, тихое поведение, вежливость, уважение к родителям и школьному имуществу. Ученики в душе могут с ними соглашаться или не соглашаться, но в любом случае считают подобные ценности пригодными только для общественной сферы, где властвуют учителя, а не для личного общения с одноклассниками. Многие действия в школе носят название добровольных, но на деле являются обязательными, и в целом ученики часто замечают и втайне высмеивают лицемерие официальных школьных проповедей и их несоответствие поведению учителей.

Однако между школами и другими закрытыми учреждениями существует важное различие — школы выполняют образовательную функцию. Школа — цивилизующий институт: смысл ее существования в том, чтобы привить детям знания и навыки поведения, необходимые для взрослого (культурного) общества, куда они рано или поздно вступят. Большинство учеников соглашаются с мыслью, что, как бы неприятен ни казался им процесс образования, он в конечном счете служит их благу. Несомненно, такая модель ближе всего к собственному представлению советского режима о себе как о просвещенном авангарде, исполняющем цивилизующую миссию. Образование являлось одной из высших ценностей режима; школа — как, например, в эпитете «школа социализма», употреблявшемся в отношении самых разных советских институтов, от профсоюзов до армии, — одной из ключевых метафор.

Наконец, есть еще один, менее возвышенный образ советского государства, который может помочь пролить свет на повседневную практику жизни в СССР: благотворительная столовая или фонд помощи пострадавшим (от голода, землетрясения, наводне-

ния и т.д.). Советские граждане мастерски умели изображать себя благородными бедняками; они считали, что давать им еду, одежду и крышу над головой — обязанность государства. Весьма возможно, что, будучи благородными бедняками, они чувствовали себя обязанными трудиться, но труд и благосостояние не казались им взаимосвязанными понятиями. Целый ряд свойственных советским гражданам и свидетельствующих о привычке к иждивенчеству и выпрашиванию поведенческих навыков, описанных выше, соответствует модели благотворительной столовой как нельзя лучше. Клиент благотворительной столовой не ощущает себя участником программы самосовершенствования, в отличие от школьника, нет у него и сильного страха наказания и ощущения потери свободы, характерных для заключенных и армейских рядовых. Он может быть или не быть благодарен организаторам столовой, хотя периодически упрекает их за то, что дают мало супа или приберегают лучшие блюда для любимчиков. В основном, однако, он видит в благотворительной столовой только источник необходимых ему благ и судит о ней в первую очередь по количеству и качеству этих благ и по тому, насколько легко они ему достаются.

В этой книге описан широкий круг повседневной практики граждан сталинской России: как они легальным и нелегальным путем «доставали» товары, использовали связи и покровителей, считали жилплощадь в квадратных метрах, ссорились в коммуналках, вступали в «свободный» брак, писали ходатайства и доносы, служили осведомителями, жаловались на начальство, жаловались на привилегии и пользовались привилегиями, учились, проявляли общественную активность, продвигались наверх и скатывались вниз, смешивали будущее и настоящее, протежировали друг другу, выступали с самокритикой, искали козлов отпущения, проводили чистки, терроризировали подчиненных и пресмыкались перед вышестоящими, скрывали свое социальное происхождение, разоблачали врагов, ловили шпионов — и многое другое. В их жизни внешнее следование идеологии и ритуалам много значили, но личные связи значили еще больше. Эта жизнь состояла из неожиданно обрушивающихся несчастий и каждодневных неприятностей и неудобств, от стояния часами в очередях и невозможности уединиться в условиях коммуналки до бесконечной волокиты и грубости в бюрократических ведомствах, отмены общего для всех выходного дня, в целях повышения производительности труда, и пропаганды атеизма. Бывало, что в жизни советских людей происходили страшные вещи, бывало, что ее одушевляли прекрасные мечты, но в основном это были тяжкие, однообразные будни с бесконечными трудностями и дефицитом. Homo sovieticus дергал за нужные ниточки, проворачивал всякие махинации, угодничал, нахлебничал, кричал лозунги и т.д. и т.п. Но прежде всего он боролся за выживание.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВИ	— Вопросы истории
ВМ	— Вечерняя Москва
ГАНО	— Государственный архив Новосибирской области
ГАРФ	— Государственный архив Российской Федерации (бывший Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР — ЦГАОР)
ГАСО	— Государственный архив Свердловской области
ИСЭ	— История социалистической экономики СССР: В 7 т. М., 1977–1978
КП	— Комсомольская правда
КПСС в резолюциях...	— Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5 (1931–1941). М., 1971
Крас. газ.	— Красная газета
Крас. Тат.	— Красная Татария
КрП	— Крестьянская правда
НГ	— Наша газета
НД	— Наши достижения
ПАНО	— Партийный архив Новосибирской области
РГАСПИ	— Российский государственный архив социально-политической истории (бывший Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории — РЦХИДНИ; еще ранее — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма — ЦПА ИМЛ)
РГАЭ	— Российский государственный архив экономики (бывший Центральный государственный архив народного хозяйства СССР — ЦГАНХ)
РГВА	— Российский государственный военный архив
Решения партии и правительства...	— Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917–1967 гг.). Т. 2. М., 1967
РП	— Рабочий путь
СА	— Смоленский архив
СЗ СССР	— Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР
Соцстрой, 1934	— Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. М., 1934
Соцстрой, 1939	— Социалистическое строительство Союза ССР (1937–1938 гг.). Статистический сборник. М., 1939
СП СССР	— Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР

10 — 788

СР — Северный рабочий
СС — Советская Сибирь
Сталин. Соч. — Сталин И.В. Сочинения: В 13 т. М.; Он же. Сочинения: В 3 т. (XIV–XVI) / Ред. Р.Макнейл. Стэнфорд, 1967
СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР
СЮ — Советская юстиция
ТЗ — Тихоокеанская звезда
ЦГАИПД — Центральный государственный архив историко-политической документации Санкт-Петербурга (бывший Ленинградский партийный архив — ЛПА)
ЦМАМ — Центральный муниципальный архив города Москвы (бывший Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства г. Москвы — ЦГАОР г. Москвы)
Щеглов. ДС — Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев» // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман. М., 1995
Щеглов. ЗТ — Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Золотой теленок» // Ильф И., Петров Е. Золотой теленок: Роман. М., 1995

HP — Russian Research Center, Harvard University, «Project on the Soviet Social System. Interview Records. «A» Schedule Protocols» («Harvard Project»)
JMH — Journal of Modern History
LVA SPDN — Latvijas valsts arhiva social-politisko dokumenta nodala
RH — Russian History
RR — Russian Review
SR — Slavic Review

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

1. Термин homo sovieticus, используемый для обозначения определенного социального типа и несущий явный критический и осуждающий оттенок, стал популярен в Советском Союзе в 1980-е гг. Александр Зиновьев сделал его заглавием своей книги: Homo Sovieticus / Transl. C.Janson. Boston, 1985. Однако я употребляю его вовсе не в уничижительном смысле, а просто стремлюсь заострить внимание читателя на характерном наборе «советских» обычаев и стереотипов поведения, связанных со специфическими особенностями советских институтов и социальной структуры.

2. О частной жизни см.: A History of Private Life. IV: From the Fires of Revolution to the Great War / Ed. M.Perrot, transl. A.Goldhammer. Cambridge, 1990; Ariès P. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life / Transl. R.Baldick. New York, 1962. О рабочем месте см.: The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life / Ed. A.Lüdtke, transl. W.Templer. Princeton, 1995 (в особенности статьи Людтке, Кашубы и Нитхаммера). О сопротивлении см.: Peukert D.J.K. Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition, and Racism in Everyday Life / Transl. R.Deveson. New Haven, 1987. О повседневном сопротивлении см.: Scott J.C. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001.

3. Теоретическую дискуссию о повседневной практике см.: Certeau M., de. The Practice of Everyday Life / Transl. S.F.Rendall. Berkeley, 1984.

4. См.: Hough J.F. Russia and the West. New York, 1988. Ch. 4. О «предмобилизации» см.: Simonov N.S. «Strengthen the Defence of the Land of the Soviets»: The 1927 «War Alarm» and its Consequences // Europe-Asia Studies. 1996. Vol. 48. № 8. P. 1355–1364.

5. О культурной революции см.: Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 / Ed. S.Fitzpatrick. Bloomington, 1978.

6. О жертвах репрессий см. гл. 8, прим. 85.

7. См.: Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущеве // Молодая гвардия. 1989. № 4 (о том, как один выдвиженец яростно отстаивал заслуги сталинской кадровой политики, якобы дававшей возможность человеку проявить свои лучшие способности).

8. См.: Reese R.R. Stalin's Reluctant Soldiers. Lawrence, Kans., 1996. P. 4–5, 147–158.

9. Zinoviev A. The Radiant Future / Transl. G.Clough. New York, 1980.

10. Более подробно об этом см.: Becoming Cultured: Socialist Realism and the Representation of Privilege and Taste // Fitzpatrick S. The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992.

11. О потемкинстве в СССР см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 293–300.

12. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. Т. III. М., 1939. Отсталость.

13. О «дружбе народов» см.: Martin T.D. An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State, 1921—1938: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996. P. 932—981. Об отсталости см.: Slezkine Yu. Arctic Mirrors. Ithaca, 1994. Ch. 7.

14. Письмо Молотову 1935 г., см.: The Letter as a Work of Art / Ed. S.Fitzpatrick // Russian History. 1997. № 1—2.

15. См.: Inkeles A., Bauer R.A. The Soviet Citizen. Daily Life in a Totalitarian Society. New York, 1968 (1st pub. 1959).

16. О трудовой практике рабочего класса см.: Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. New York, 1951; Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. Armonk, NY, 1986; в особенности: Andrle V. Workers in Stalin's Russia. Industrialization and Social Change in a Planned Economy. New York, 1988. См. также: Siegelbaum L.H. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935—1941. Cambridge, 1988. До сих пор мало исследований, посвященных жизни служащих, хотя Инкелес в своей книге («Soviet Citizen») дает великолепный общий обзор этой темы.

17. О распаде городского пролетариата см.: Brower D.R. «The City in Danger»: The Civil War and Russian Urban Population // Party, State, and Society in the Russian Civil War. Explorations in Social History / Ed. D.Koenker et al. Bloomington, 1989. P. 58—80; Koenker D.P. Urbanization and Deurbanization in the Russian Revolution and Civil War // Op. cit. P. 81—104. О реакции большевиков на исчезновение пролетариата см.: Fitzpatrick S. The Bolsheviks' Dilemma: The Class Issue in Party Politics and Culture // Fitzpatrick S. The Cultural Front.

18. См. об этом: Fitzpatrick S. The Problem of Class Identity in NEP Society // Russia in the Era of NEP / Ed. S.Fitzpatrick, A.Rabinowitch, R.Stites. Bloomington, 1991.

19. Я употребляю слова «большевик» и «коммунист» как более или менее взаимозаменяемые понятия. Партия большевиков изменила свое название, став коммунистической, в 1918 г., однако прежнее название еще несколько лет оставалось в ходу, отчасти из уважения к старой партийной гвардии.

20. Подробнее о сталинских «сословиях» см.: Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // JMH. 1993. December. Vol. 65. № 4.

21. См.: Осокина Е.А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения 1928—1935 гг. М., 1993.

Глава 1

1. В моем употреблении, как правило, этот термин охватывает как государство в строгом смысле слова, так и коммунистическую партию, поскольку их административные и организационные функции полностью слились. Некоторые ученые по той же причине используют довольно громоздкий, но точный термин «партия-государство».

2. См. речь Сталина о проекте Конституции, в которой он говорит, что советское общество состоит из двух основных классов — рабочих и коллективизированного крестьянства, — а также прослойки интеллигенции: Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 143—145.

3. Werth N. Etre communiste en URSS. Paris, 1981. P. 42. О приеме в партию см.: Rigby T.H. Communist Party Membership in the U.S.S.R. 1917—1967. Princeton, 1968. О получении образования см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921—1934. Cambridge, 1979.

4. См.: David-Fox M. Revolution of the Mind. Higher Learning among the Bolsheviks, 1918—1929. Ithaca, 1997.

5. Слова Кагановича цит. по: XVII съезд ВКП(б). 20 янв. — 10 февр. 1934 г.: Стенографический отчет. М., 1934. С. 565. Из числа почти двух миллионов членов коммунистической партии в начале 1937 г. 88 % состояли в городских ячейках и 85 % были мужчинами (Rigby T.H. Communist Party Membership. P. 52—53, 233, 361).

6. Письма И.В.Сталина В.М.Молотову 1925—1936 гг. М., 1995. С. 245.

7. Kopelev L. The Education of a True Believer / Transl. G.Kern. New York, 1980. P. 90.

8. Запись слов Димитрова см.: Соловьев А.Г. Тетради красного профессора, 1912—1941 гг. // Неизвестная Россия. XX век. Вып. IV. М., 1993. С. 183—184.

9. Цит. по: Werth N. Etre communiste... P. 225.

10. Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года: Стенографический отчет. М., 1963. С. 158; Судебный отчет: материалы военной коллегии Верховного Суда СССР. М., 1997. С. 642.

11. О лишении привилегий см.: Werth N. Etre communiste... P. 261.

12. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 183—184. См. также: Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф.Чуева. М., 1991. С. 409—411, 429—430.

13. Report of the Court Proceedings... 1938. P. 777—778.

14. Цит. по: Werth N. Etre communiste... P. 264.

15. Цит. по: Щеглов. ЗТ. С. 378.

16. Боннэр Е. Дочки-матери. Нью-Йорк, 1991.

17. Fitzpatrick S. Lives under Fire. Autobiographical Narratives and their Challenges in Stalin's Russia // De Russie et d'ailleurs. Mélanges Marc Ferro. Paris, 1995. P. 225. О роли исповеди в советской культуре см. также: Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices. Berkeley, 1999. Chs. 2, 5, and 6.

18. См.: Bailes K.E. Technology and Society under Lenin and Stalin. Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917—1941. Princeton, 1978. P. 69—121.

19. Martin T.D. Affirmative Action Empire. P. 411. См. также письмо Сталина Менжинскому (Revelations from the Russian Archives. Documents in English Translation / Ed. D.P.Koenker, R.D.Bachman. Washington, 1997. P. 243) и «Предисловие» Ларса Ли (Stalin's Letters to Molotov. P. 42—49). Об откликах на шахтинское дело см.: Lenoe M.E. Soviet Mass Journalism and the Transformation of Soviet Newspapers, 1926—1932: Ph. D. diss. University of Chicago, 1997. P. 309—315.

20. Serge V. Memoirs of a Revolutionary 1901—1941 / Transl. P.Sedgwick. London, 1963. P. 203—204.

21. См. об этом: Rittersporn G.T. The Omnipresent Conspiracy: On Soviet Imagery of Politics and Social Relations in the 1930s // Stalinist Terror. New Perspectives / Ed. J.Arch Getty, R.T.Manning. Cambridge, 1993. P. 99—115.

22. Взгляды Сталина в изложении государственного прокурора Крыленко см.: СЮ. 1934. № 9. С. 2.

23. См., напр., резолюцию Политбюро от 16 мая 1929 г. «О конспирации» (Сталинское Политбюро в 30-е годы. Сборник документов. М., 1995. С. 75). Подробное рассмотрение этой темы см.: Bone J. Soviet Controls on the Circulation of Information in the 1920s and 1930s // Cahiers du monde russe. 1999. Vol. 40. № 1—2.

24. «О конспирации»; Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996. С. 250; СА. ВКП. 178. 61; Lenoe M.E. Unmasking, Show Trials, and the Manipulation of Popular Moods. Unpub. ms. P. 123.

25. ГАСО. Ф. 52 (88). Оп. 1. Д. 66. Л. 78 (секретная инструкция об обращении с секретными документами, 1931); ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 337. Л. 12 (секретная инструкция зам. председателя Совнаркома Вышинского Наркомату здравоохранения, 1940).

26. Cohen S.F. Bukharin and the Bolshevik Revolution. New York, 1973. P. 92; Крицман Л. Героический период великой русской революции. 2-е изд. М.—Л., 1926. С. 81—82.

27. Lenoe M.E. Unmasking... P. 124.

28. Джамбул. Нарком Ежов // Правда. 1937. 3 дек. С. 2. О годовщине см.: Там же. 20, 21 дек.

29. Этот процесс кратко, но хорошо описан: Hough J.F., Fainsod M. How the Soviet Union Is Governed. Cambridge, 1979. P. 128—132, 144—146.

30. Об осуждении Сталиным своего культа см.: Volkogonov D. Stalin. Triumph and Tragedy / Transl. H.Shukman. Rocklin, CA, 1992. P. 241; Feuchtwanger L. Moscow 1937 / Transl. I.Josephy. New York, 1937. P. 75—77; Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 274.

31. См.: Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 30.

32. Khrushchev Remembers / Transl. S.Talbott. Boston, 1970. P. 58—62; Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М., 1993; Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 91.

33. Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 97 (цит. слова Сергея Сырцова), 99, 178—179; Гронский И. Из прошлого... Воспоминания. М., 1991. С. 135—136.

34. Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 240—242; Vaksberg A. The Prosecutor and the Prey. Vyshinsky and the 1930s Moscow Show Trials / Transl. J.Butler. London, 1990. P. 278.

35. Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. М., 1993. С. 32—33 (курсив мой).

36. Примеры см.: Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 177; Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. С. 86. Исключение, лишь подтверждающее правило, см.: Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. С. 106—107.

37. О причине, вызвавшей письмо, см.: Barber J. Stalin's Letter to the Editors of Proletarskaya revolyutsiya // Soviet Studies. 1976. Vol. 28. № 1.

38. Примеры, относящиеся к политике в сфере образования, см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 220—226.

39. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 130. Л. 18. Об антирелигиозной кампании в 1929—1930 гг. см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 73—76.

40. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 435. Л. 3, 8—9.

41. Richmond S.D. Ideologically Firm: Soviet Theater Censorship, 1921—1928: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996. P. 380—381.

42. РГАСПИ. Ф. 142. Д. 461. Л. 13. Сталин проигнорировал просьбу Луначарского.

43. Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах ГПУ. [М.], 1995. С. 124—125.

44. См.: Viola L. Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York, 1996. P. 171—172; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 320—324.

45. См., напр.: Крокодил. 1935. № 21. С. 6; 1940. № 16. С. 8—9.

46. Крокодил. 1935. № 28—29. С. 17. См. также: Там же. 1934. № 9. С. 2; № 13. С. 7; 1935. № 6. С. 10; 1939. № 1. 4-я с. обл.; № 28. С. 14.

47. См.: Solomon P.H., Jr. Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge, 1996. P. 127—128, 139—140 and passim.

48. Davies S. The «Cult» of the «Vozhd»: Representations in Letters from 1934—1941 / Russian History. 1997. Vol. 24. № 1—2.

49. Diary of Andrei Stepanovich Arzhilovsky // Intimacy and Terror. Soviet Diaries of the 1930s / Ed. V.Garros, Natalia Korenevskaya, T.Lahusen. New York, 1995. P. 118.

50. О переименовании городов см.: Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня (1917—1992). М., 1993; о названиях московских улицах см. также: Сытин П.Б. Из истории московских улиц (очерки). М., 1958. Данные о присвоении имен промышленным предприятиям см.: Алфавитно-предметный указатель к приказам и распоряжениям НКТП за 1935 г. М., 1936. Город Гатчино, позднее — Гатчина, назывался Троцком в честь Троцкого с 1923 по 1929 г., город Елизаветград — Зиновьевском с 1923 по 1934 г., промышленный центр Донбасса Енакиево назывался Рыково в честь лидера правой оппозиции А.Рыкова с 1928 по 1937 г.

51. Старков Б. Как Москва чуть не стала Сталинодаром // Известия ЦК. 1990. № 12. С. 126—127; Крас. Тат. 1937. 26 марта. С. 2.

52. Прамнек Е. Отчетный доклад V Горьковской областной партийной конференции о работе обкома ВКП(б). Горький, 1937. С. 30. «Шесть условий» были сформулированы Сталиным в его знаменитой речи о развитии экономики в 1931 г.

53. Гинзбург Е. Крутой маршрут. Нью-Йорк, 1985. Кн. 1. С. 18.

54. Труд. 1937. 22 марта. С. 1; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 727. Л. 290. Другие портреты должностных лиц, злоупотребляющих своей властью, см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 206—208.

55. О риске см. Заключение.

56. Хлевнюк О.В. Сталин и Орджоникидзе. С. 36—37; Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 154.

57. См.: Neotraditionalism // Jowitt K. New World Disorder. The Leninist Extinction. Berkeley, 1992. P. 121—158; Gill G. The Origins of the Stalinist Political System. Cambridge, 1990. P. 129—130, 324.

58. Речь от 5 марта 1937 г.: Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 230—231. Черновик цит. по: Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 77.

59. Harris J.R. Purging Local Cliques in the Urals Region, 1936—1937 // Stalinism: New Directions / Ed. S.Fitzpatrick. London, 2000. P. 268.

60. См.: Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia. The Eighteenth-Century Nobility. New York, 1966. P. 78—79; Pipes R. The Russian Military Colonies, 1810—1831 // JMH. 1950. Vol. 22. № 3.

61. Из статьи в «Северном рабочем» (1937. 11 апр. С. 1). Тот же рассказ Чехова («Унтер Пришибеев», 1885) цитировался в «Крокодиле» (1939. № 14).

62. Крокодил. 1934. № 14. С. 10.

63. Мандельштам Н. Вторая книга. Париж, 1978. С. 325.

64. СЮ. 1937. № 20. С. 22; Коммуна. 1937. 22 июля. С. 2.

65. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 107. Л. 135, 155, 156.

66. Там же. Л. 97—99.

67. Толковый словарь. Т. I: Актив, Активизировать, Активизм, Активист.

68. HP. № 385 (XIX). P. 11—12.

69. Красный Крым. 1939. 30 марта. С. 4.

70. Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories / Ed. N.K.Novak-Deker. Institut der Erforschung der UdSSR. Series 1. № 51. Munich, 1959. P. 120—121.

71. Ibid. P. 174—175.

72. Ibid. P. 196, 198.

73. Ibid. P. 98.

74. Ibid. P. 34.

75. ПАНО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 952. Л. 211–212.

76. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1615. Л. 57.

77. О Быкове см.: Известия. 1935. 26 июня. С. 4; 27 июня. С. 3. Как и во многих подобных случаях, обстоятельства убийства Быкова весьма туманны, и официальное определение этого преступления как акта «классовой мести» может быть не вполне верным. Тем не менее, ясно, что Быков выдвинулся, будучи активистом, и что его убийц, названных люмпен-пролетариями, это возмущало. О Морозове см. ниже, гл. 3.

Глава 2

1. Carswell J. The Exile: A Life of Ivy Litvinov. London, 1983. P. 101.

2. Комментарии по поводу нового словоупотребления в связи с приобретением товаров см.: Крокодил. 1933. № 13. С. 4–5; 1934. № 26. С. 10; № 29–30. С. 10; 1935. № 25. С. 7; № 33–34. С. 21; НР. № 3 (I). Р. 47; № 4 (I). Р. 11.

3. Rukeyser W.A. Working for the Soviets: An American Engineer in Russia. New York, 1932. P. 217.

4. См. данные, приведенные С.Г.Уиткрофтом (Getty J.A. Stalinist Terror. P. 282–289), а также: Nove A. An Economic History of the U.S.S.R. Harmondsworth, Mx., 1972. P. 177.

5. См.: Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 39 (табл. 4).

6. Nove A. An Economic History of the U.S.S.R. P. 259.

7. Изменения социальной структуры советского общества, 1921 — середина 30-х годов. М., 1979. С. 194; Соцстрой, 1934. С. 356–357; Соцстрой, 1939. С. 12–15. Отметим, что данные на 1926 г. взяты из переписи 17 дек. 1926 г.

8. Данный аргумент см.: Kornai J. Economics of Shortage: In 2 vol. Amsterdam, 1980.

9. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 16а. Д. 4461. Л. 36.

10. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1869. Л. 49–50; Intimacy and Terror. P. 139; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2487. Л. 90.

11. Письма опубл.: Осокина Е. Кризис снабжения 1939–1941 гг. в письмах советских людей // ВИ. 1996. № 1. С. 8–12. Сообщение из Алма-Аты см.: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 165. Л. 307.

12. Осокина Е. Кризис снабжения... С. 6, 25.

13. О движении за трезвость см.: Коржихина Т.П. Борьба с алкоголизмом в 1920-е — начале 1930-х гг. // ВИ. 1985. № 9. Сообщения с мест и ходатайства о запрещении продажи алкогольных напитков за период 1929–1932 гг. см.: ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 120. Л. 155; Ф. 33. Оп. 1. Д. 223. Л. 105; Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. P. 189. Записку Сталина см.: Stalin's Letters to Molotov. P. 209. О производстве водки см.: Hessler J. Culture of Shortages. A Social History of Soviet Trade, 1917–1953. Ph. D. diss. University of Chicago, 1996. P. 82, 85 (n. 52).

14. Мелкая промышленность СССР. По данным переписи 1929 г. Вып. 1. М., 1933. С. v; СА. ВКП 178. 4; РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 5162. Л. 19. См. также: Fitzpatrick S. After NEP: The Fate of NEP Entrepreneurs, Small Traders, and Artisans in the «Socialist Russia» of the 1930s // RH. 1986. Vol. 13. № 2–3.

15. Ленинградская правда. 1937. 8 апр. С. 3; СЮ. 1932. № 2. С. 18; Тихомиров В.А. Промкооперация на современном этапе. М., 1931. С. 15–17; ВМ. 1934. 1 окт. С. 2; Hubbard L.E. Soviet Trade and Distribution. London, 1938. P. 151–153. «Крокодил» постоянно вел колонку, посвященную плохой работе и бракованной продукции. См., напр.: Крокодил. 1934. № 4. С. 11; № 10. С. 11; № 12. С. 2, 3-я с. обл.; № 26. С. 12; № 29–30. С. 17.

16. Hubbard L.E. Soviet Trade and Distribution. P. 151–153; СУ РСФСР. 1931. № 41. Ст. 284.

17. Пути индустриализации. 1931. № 5–6. С. 78; Зощенко М. Рассказы, фельетоны, повести. М., 1958. С. 33–36; СР. 1935. 26 авг. С. 4.

18. Сталин выступал в июне 1936 г. в Политбюро с докладом о производстве ширпотреба: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 978. Л. 1–2.

19. Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda, and Dissent, 1934–1941. Cambridge, 1997. P. 38–43; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3553. Л. 223–224; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 112. Л. 220.

20. Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 36; Труд. 1933. 14 июля. С. 4 (см. также: Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 258–261 — о таком же показательном процессе в Магнитогорске); РП. 1937. 22 июля. С. 4; Коммуна. 1937. 23 нояб. С. 3; 24 нояб. С. 3; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 56. Л. 331; Крас. Тат. 1937. 22 янв. С. 4.

21. Осокина Е. Кризис снабжения... С. 10, 12, 16–17.

22. Хотя большинство жилых зданий принадлежали государству, некоторые маленькие деревянные дома на одну семью в 1930-е гг. по-прежнему оставались в частном владении. Это явление было особенно распространено в провинциальных городках, не подвергшихся ускоренной индустриализации. К концу десятилетия кое-какое муниципализированное жилье было возвращено в руки частников, очевидно, в надежде, что те лучше будут следить за его сохранностью, а «в некоторых местах» (за пределами крупных городов?) властям давалось распоряжение выделять стройматериалы и банковские ссуды гражданам, желающим построить собственные дома. Остается неясно, что из этих инициатив вышло. См.: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 165. Л. 365, 376, 404; СЮ. 1937. № 23. С. 45; ГАНО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3407.

23. Colton T.J. Moscow. Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass., 1995. P. 798; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 161 (данные на 1935 г.); Исаев В.И. Формирование городского образа жизни рабочих Сибири в период социалистической реконструкции народного хозяйства // Урбанизация советской Сибири / Под ред. В.В.Алексеева. Новосибирск, 1987. С. 48 (данные на 1933 г.).

24. С 1931 по 1937 г. многие дома с отдельными квартирами в Москве и других крупных городах формально являлись жилищно-арендными кооперативами, известными в СССР под сокращенным названием «жакты». См.: Colton T.J. Moscow. P. 159.

25. СЮ. 1936. № 31. С. 7; Colton T.J. Moscow. P. 343; СЮ. 1939. № 11. С. 64; Красный Крым. 1939. 28 апр. С. 4.

26. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 42. Л. 47–51; Д. 64. Л. 161.

27. Colton T.J. Moscow. P. 342.

28. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 174. В результате протестов со стороны жильцов было устроено по одной кухне на корпус (включавший до 80 квартир).

29. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 94. Л. 207–209.

30. Зощенко М. Рассказы, фельетоны, повести. С. 22–24; СЮ. 1935. № 22. 4-я с. обл. Рассказы о коммуналках из первых рук см.: Berg R.L. Memoirs of a Geneticist from the Soviet Union / Trans. by D.Lowe. New York, 1988. P. 129–145; Boym S. Common Places. Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass., 1994. P. 121–167; Messana P. Kommunalka. Paris, 1995.

31. Messana P. Kommunalka. P. 173–174.

32. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1514. Л. 114–120. Похожий случай см.: Там же. Д. 727. Л. 174.

33. Любченко Н. Арбат, 30, квартира 58 // Источник. 1993. № 5—6. С. 24—36. См. также: Berg R.L. Memoirs of a Geneticist... P. 141—144; Messana P. Kommunalka. P. 27—30, 159—630.

34. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 167; Colton T.J. Moscow. P. 308. Хотя относительно Москвы 1930-х гг. нет точных данных, тот факт, что доля ведомственного жилья увеличилась с 25 % в 1920-е гг. до 40 % в 1940-е, позволяет выделить совершенно определенную тенденцию.

35. Исаев В.И. Формирование городского образа жизни... С. 47 (о Кузнецке); Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 136.

36. Scott J. Behind the Urals. An American Worker in Russia's City of Steel. Bloomington, 1973. P. 39—40.

37. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 135—136; Исаев В.И. Формирование городского образа жизни... С. 47; Colton T.J. Moscow. P. 342.

38. Colton T.J. Moscow. P. 342—343; ГАНО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 346. Л. 43—48.

39. Коммунист. 1935. 8 мая. С. 1; Труд. 1935. 3 янв. С. 2; 1936. 4 янв. С. 2; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 171; Colton T.J. Moscow. P. 34—343.

40. Witkin Z. An American Engineer in Stalin's Russia. The Memoirs of Zara Witkin, 1932—1934 / Ed. by M.Gelb. Berkeley, 1991. P. 55—56.

41. См. дневник Сванидзе: Иосиф Сталин в объятиях семьи. С. 173—175 (запись от 29 апр. 1935 г.).

42. О канализации см.: Colton T.J. Moscow. P. 853, n. 193. О мытье: Ibid. P. 342; Messana P. Kommunalka. Passim. Панегирик московским баням (созданным до революции) см.: Гиляровский В. Москва и москвичи. М., 1979. С. 246—274.

43. Правда. 1938. 11 июня. С. 2; Труд. 1935. 8 мая. С. 3; Коммуна. 1937. 6 сент. С. 3; Исаев В.И. Формирование городского образа жизни... С. 47; Водолагин М.А. Очерки истории Волгограда 1589—1967. М., 1968. С. 268, 271; ГАНО. Ф. 33. Оп. 1. Д. 223. Л. 49, 57—59. Отметим, что достоверные опубликованные данные о коммунальных службах и удобствах в провинции в 1930-е гг. крайне трудно найти.

44. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 25. Л. 231—234; Соцстрой, 1934. С. 356—357.

45. ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 206. Л. 10.

46. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 132—133, 137—139.

47. Roland B. Caviar for Breakfast. Sydney, 1989. P. 67—68; Fischer L. Soviet Journey. New York, 1935. P. 62; Witkin Z. An American Engineer in Stalin's Russia. P. 131—132; Крокодил. 1932. № 8. С. 9; СЮ. 1933. № 9. С. 13.

48. Водолагин М.А. Очерки истории Волгограда. С. 271; Народное хозяйство Псковской области. Статистический сборник. Л., 1968. С. 269; Пензенская область за 50 лет советской власти. Статистический сборник. Саратов—Пенза, 1967. С. 218; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 132—133.

49. Советское государство. 1933. № 4. С. 68. См. также: Там же. 1932. № 9—10. С. 152; СЮ. 1934. № 2. С. 16. О национальных конфликтах на Турксибе и в московских бараках см.: Payne M.J. Turksib: The Building of the Turkestano-Siberian Railroad and the Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926—1931: Ph. D. diss. University of Chicago, 1994. Ch. 4; BM. 1934. 29 сент. С. 3.

50. СЮ. 1934. № 2. С. 16. О хулиганстве в России начала XX в. см.: Neuberger J. Hooliganism. Crime, Culture, and Power in St.Petersburg, 1900—1914. Berkeley, 1993. P. 1—8 and passim.

51. СЮ. 1934. № 2. С. 16; 1935. № 26. С. 4.

52. Горьковская коммуна. 1937. 22 июля. С. 3; ТЗ. 1937. 14 мая. С. 4.

53. КрП. 1935. 17 марта. С. 3; 27 мая. С. 3; ПАНО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 9. Л. 126.

54. В эту категорию я включаю также кооперативы и профсоюзы.

55. Некоторое исключение из этого правила представляло медицинское обслуживание, поскольку врачам еще разрешалось в ограниченных пределах иметь частную практику.

56. О хроническом дефиците см.: Kornai J. Economics of Shortage. О распределительной функции см.: Verdery K. National Ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley, 1991. P. 74—83.

57. Об идеологических обоснованиях см.: Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР (1917—1963 гг.). М., 1964. С. 147—148 (карточки); Чамкина М. Художественная открытка. М., 1993. С. 217 (закрытые распределители как оружие против классового врага). О позиции руководства см.: Hessler J. Culture of Shortages. P. 268—269; Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 126—127 (Сталин). Свидетельства поддержки населением карточной системы см.: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 25—31; Осокина Е. Кризис снабжения... С. 8; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 112. Л. 220 (письмо Молотову, 1939).

58. См.: Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 15; Carr E.H., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy, 1926—1929. Vol. I. London, 1969. P. 702—704; Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР. С. 138. Крестьяне карточек не получали, хотя представителям сельской администрации и некоторым другим наемным работникам их давали.

59. Бюллетень Народного Комиссариата Снабжения СССР. 1931. № 5. С. 22—24.

60. О приоритетах см.: Hessler J. Culture of Shortages. P. 74—80.

61. Официально они назывались «закрытые распределители», а неформально для их обозначения использовался целый ряд обычных для СССР головоломных аббревиатур: ЗРК — закрытые рабочие кооперативы (позднее — ОРСы), ЗВК — их аналоги в вооруженных силах и т.д. О ЗРК и ОРСах (отделах рабочего снабжения) см.: ИСЭ. Т. 3. С. 453; Hessler J. Culture of Shortages. P. 92—108. ОРСы, созданные в 1932 г., выполняли ту же функцию, что и ЗРК, но подчинялись отдельным заводам и фабрикам, а не центральному кооперативному объединению. ОРСы отвечали также за производство продовольствия для завода на заводских приусадебных участках и выделение семьям рабочих огородов в индивидуальное пользование.

62. ИСЭ. Т. 3. С. 454; Нейман Г.Я. Внутренняя торговля СССР. М., 1935. С. 159.

63. См.: Scott J. Behind the Urals. P. 86—87; Littlepage J.D., Bess D. In Search of Soviet Gold. New York, 1938. P. 68.

64. Известия. 1935. 26 сент. С. 2; Труд. 1936. 8 февр. С. 4; ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 165. Л. 304, 320—321. О кризисе снабжения в конце 1930-х гг. см.: Осокина Е. Люди и власть в условиях кризиса снабжения 1939—1941 годов // Отечественная история. 1995. № 3. С. 16—32.

65. Указ от 20 мая 1932 г. «О порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян...» (Решения партии и правительства... С. 388—389).

66. См.: Hessler J. Culture of Shortages. Ch. 4. P. 183—197.

67. Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 117—118. Согласно указу 1932 г., колхозная торговля должна была вестись по ценам, «складывающимся на рынке», не превышающим, однако, «средних коммерческих цен» в государственной торговле (Решения партии и правительства... Т. 2. С. 389).

68. См.: Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина // Отечественная история. 1995. № 2. С. 86—104; Muggeridge M. Winter in Moscow. London, 1934. P. 146. В первый год своего существования Торгсины были закрытыми

магазинами, обслуживавшими только иностранных туристов; отсюда их название (Торгсин — торговля с иностранными туристами).

69. ИСЭ. Т. 3. С. 454—455; Hessler J. Culture of Shortages. P. 82—83; Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 109.

70. ИСЭ. Т. 4. С. 429—430; Hessler J. Culture of Shortages. P. 269—272.

71. Цит. по: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 30. См. также: ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3553. Л. 62, 223—224 (рапорты 1939 г.).

72. О «толкачах» см.: Berliner J. Factory and Manager in the Soviet Union. Cambridge, Mass., 1957; Idem. Blat is Higher than Stalin // Problems of Communism. 1954. Vol. 3. № 1.

73. Отметим, что лица, лишенные прав из-за занятия торговлей, ходатайствуя о восстановлении в правах, писали, будто прибегали к торговле как к последнему средству, под давлением крайней нужды и против своей совести — риторику такого типа обычно используют, говоря о занятии проституцией или какой-либо другой действительно постыдной деятельностью. См.: Alexopoulos G. Rights and Passage: Marking Outcasts and Making Citizens in Soviet Russia, 1926—1936: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996. P. 465—475.

74. СЮ. 1936. № 26. С. 9; Горьковская коммуна. 1937. 23 нояб. С. 4.

75. Вечерняя красная газета. 1936. 27 февр. С. 3; Грозненский рабочий. 1938. 30 янв. С. 6.

76. Коммуна. 1936. 4 авг. С. 4.

77. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3553. Л. 223—224.

78. Крокодил. 1939. № 2. С. 8—9.

79. Крокодил. 1932. № 13. 4-я с. обл.; 1933. № 1. 4-я с. обл.; СЮ. 1932. № 3. С. 33.

80. Звезда. 1937. 25 июля. С. 4; HP. № 431 (XXI). P. 25, 26; СЮ. 1936. № 26. С. 9.

81. Подробнее см.: Hessler J. Culture of Shortages. P. 235—240.

82. Звезда. 1937. 3 июля. С. 3.

83. СЮ. 1936. № 24. С. 15.

84. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 24. Л. 48—49.

85. Crankshaw E. Khrushchev's Russia. Harmondsworth, Mx., 1959. P. 71—72.

86. Толковый словарь. Т. 1.

87. HP. № 386 (XX). P. 24; № 4 (I). P. 36; № 431 (XXI). P. 7; № 432 (XXI). P. 16; № 518 (XXVI). P. 29; № 358 (XIX). P. 18; № 396 (XX). P. 12; № 386 (XX). P. 24; № 338 (XXXVIII). P. 8; Berliner J. Blat is Higher than Stalin. P. 23.

88. HP. № 166 (XIII). P. 44. См. также исследование блата, основанное главным образом на данных 1980 интервью за 1994—1995 гг.: Ledeneva A. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges. Cambridge, 1998.

89. Это одно из характерных для проекта умолчаний, по-видимому, вызвано стремлением респондентов продемонстрировать положительный моральный облик в связи с поданными ими заявлениями на иммиграцию в Соединенные Штаты.

90. HP. № 421 (XXI). P. 17—18.

91. Ibid. № 338 (XXXIII). P. 6—7.

92. Ibid. № 338 (XXXIII). P. 6—7; № 407 (XX). P. 11; № 358 (XIX). P. 13; № 2 (I). P. 16. О собутыльничестве см.: Ibid. № 407 (XX). P. 11.

93. Ibid. № 147 (v. 34). P. 6—7; Rosenberg H. The Leica and Other Stories. [Canberra], 1994. Благодарю Т.Ригби, познакомившего меня с этой книгой, и Ю.Слезкина, разъяснившего мне приведенный отрывок.

94. Крокодил. 1933. № 3. С. 3.

95. HP. № 338 (XXXIII). P. 6—7; № 518 (XXVI). P. 37.

96. Ibid. № 7 (I). P. 23; № 10 (I). P. 6. В последнем случае интервьюер в своем отчете отметил это противоречие.

97. Ibid. № 385 (XIX). P. 99; № 416 (XXI). P. 3—4; № 395 (XX). P. 9—10; № 431 (XXI). P. 28—29; № 96 (VII). P. 18; № 517 (XXVI). P. 36; № 398 (XX). P. 31.

98. Крокодил. 1935. № 17—18. С. 11; № 30—31. С. 18; 1937. № 8. С. 12; 1940. № 14. С. 2.

99. Крокодил. 1935. № 25. С. 13.

100. Непрерывная рабочая неделя (непрерывка) была введена осенью 1929 г., первоначально только на промышленных предприятиях; это означало, что каждый человек работал четыре дня, потом день отдыхал, по скользящему графику, так что четыре пятых работников всегда были на рабочем месте и машины не простаивали. В 1931 г. непрерывку по большей части отменили, ее сменила фиксированная шестидневная рабочая неделя. Это было к лучшему, поскольку у большинства людей теперь был выходной в один и тот же день, но путаницу с графиками, сначала из-за непрерывки, потом из-за сумбурных переходов то на «пятидневку», то на «шестидневку», то на «декаду», в 1930-е гг. так и не удалось преодолеть. Только в 1940 г. вернулись к семидневной рабочей неделе с выходным днем в воскресенье. См.: Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. P. 268—277; Щеглов. ЗТ. С. 414—415.

101. Цит. по: Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1968. P. 128.

Глава 3

1. Эпиграф взят из детской книжки, замысел которой сложился у автора в Советском Союзе 1930-х гг.: Fischer M. Palaces on Monday. Harmondsworth, Mx., 1944 (1st pub. 1937).

2. Фраза из книги Зиновьева «Светлое будущее».

3. Интересный подход к вопросу о пространстве и его значении в 1930-е гг. см.: Widdis E. Decentring Cultural Revolution in the Cinema of the First Five-Year Plan: Paper delivered at annual meeting of AAASS. Seattle, November 1997.

4. НД. 1932. № 11—12. С. 6, 16.

5. Там же. С. 6.

6. Там же. 1934. № 5. С. 81—82.

7. Там же. № 1. С. 7 (тираж был сокращен с 100000 до 30000—40000 экз.); Mass Culture in Soviet Russia / Ed. by J. Van Geldern, R.Stites. Bloomington, 1995. P. 235, 257.

8. Аджубей А. Те десять лет. М., 1989. С. 194—195.

9. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. Энн Арбор, 1983. С. 30.

10. О генеральном плане реконструкции города Москвы, 10 июня 1935 г. // Решения партии и правительства... Т. 2. С. 573—576; Urussowa J. «Seht die Stadt, die leuchtet»: zur Evolution der Stadtgestalt in den sowjetischen Filmen der 20er und 30er Jahre: Paper delivered at Universität Tübingen, 6 May 1997; Stites R. Russian Popular Culture. Entertainment and Society since 1900. Cambridge, 1992. P. 84; Труд. 1935. 20 дек. С. 4.

11. Urussowa J. Seht die Stadt, die leuchtet (о «Новой Москве»).

12. Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. С. 30—31; Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 205; Сытин П.Б. Из истории московских улиц. С. 212, 215, 224—225.

13. Цит. по: НД. 1932. № 11–12. С. 6.

14. Данные приведены по: Изменения социальной структуры советского общества... С. 194, 196; Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1971. С. 21, 44–45; Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992. С. 39. Отмечу, что все советские данные относительно 1930-х гг. могут быть преувеличены. Я привожу их, чтобы передать сами масштабы перемен. К данным об уровне грамотности в 1939 г. следует относиться с известной долей скептицизма: в скрытых от общественности итогах переписи 1937 г. соответствующая цифра на 6 пунктов ниже (75 %). См.: Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 г.) // Социологические исследования. 1990. № 7. С. 65–66.

15. О Сельскохозяйственной выставке см.: Stites R. Russian Popular Culture. P. 84; Gambrell J. The Wonder of the Soviet World // New York Review of Books. 1994. 22 December. P. 30–35; Паперный В. Культура «два». Энн Арбор, 1985. С. 158–163.

16. Сталин. Соч. Т. XIII. С. 38–39 (речь 4 февр. 1931).

17. О сталинском лозунге «Жить стало лучше» см. гл. 4.

18. НД. 1932. № 4. С. 56–57.

19. Mass Culture in Soviet Russia. P. 235.

20. Горький М. По Союзу Советов; О пьесах // Горький М. Собр. соч. в 30 т. М., 1949–1955. Т. 17. С. 190; Т. 26. С. 26, 420.

21. Miller F.J. Folklore for Stalin. Armonk, N.Y., 1990. P. 32, 56; Clark K. The Soviet Novel. History as Ritual. Chicago, 1985. P. 138; Правда. 1937. 11 нояб. С. 2; 3 дек. С. 2 (о «подвигах» «героя» Ежова). Почетное звание «Герой Труда» было учреждено правительственным указом в 1927 г. См.: Щеглов. ДС. С. 478–479.

22. О полярниках см.: McCannon J. Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union, 1932–1939. New York, 1998; Idem. Positive Heroes at the Pole: Celebrity Status, Socialist-Realist Ideals, and the Soviet Myth of the Arctic, 1932–1939 // RR. 1997. Vol. 56. № 3. О летчиках см.: Bailes K.E. Technology and Society under Lenin and Stalin. Ch. 14. О героическом мифе см.: Clark K. The Soviet Novel. P. 136–141.

23. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 175, 188; РП. 1937. 16 июля. С. 1; Clark K. The Soviet Novel. P. 124–129; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 999.

24. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 195–196 (запись в дневнике от 26 июля 1937 г.); McCannon J. Positive Heroes at the Pole. P. 359–363. О контроле ЦК см.: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 51 (записка Молотову от Б.Таля, зав. отделом печати, от 7 авг. 1937 г., сообщающая о порицании, вынесенном «Известиям» за то, что они напечатали телеграмму Папанина с Северного полюса в сокращении, на последней странице). О вкладе «Известий» и их редактора Гронского в арктическую эпопею см.: Гронский И. Из прошлого... С. 127–129, 160–161.

25. Miller F.J. Folklore for Stalin. P. 111, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 135–137.

26. Она была поставлена Московским камерным театром в 1935 г. См.: ВМ. 1935. 10 нояб. С. 4.

27. Leyda J. Kino. A History of the Russian and Soviet Film. London, 1973. P. 358; Stites R. Russian Popular Culture. P. 87–88.

28. См. обзоры в «Комсомольской правде»: 1937. 22 окт. С. 3; 7 нояб. С. 4 (о первой группе подробной информации нет; вторая группа состояла из 865 рабочих Московского автозавода им. Сталина). Фильмы, о которых идет речь, — «Чапаев» (1934, реж. С. и Г.Васильевы) и «Щорс» (1939, реж. А.Довженко).

29. Легенду о Павлике Морозове см. в отрывке «Павлик Морозов» из «Поэмы о ненависти» М.Дорошина (1933): Mass Culture in Soviet Russia. P. 153–156. О реальности, стоящей за этой легендой, см.: Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. Лондон, 1988.

30. Примеры поступков подражателей и последователей Павлика см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 285–287.

31. Фильм «В порту» (1954) был снят режиссером Элиа Казаном, незадолго перед тем назвавшим имена бывших коммунистов в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Этот фильм можно рассматривать как продолжение полемики режиссера с левым драматургом Артуром Миллером, чьи пьесы «Испытание» (1953) и «Вид с моста» (1955) рисуют доносы и доносчиков в крайне неприглядном свете. Более подробно о «дискурсе доноса» см.: Accusatory Practices. Denunciation in Modern European History 1789–1989 / Ed. by S.Fitzpatrick, R.Gellately. Chicago, 1997. P. 17–20.

32. The Moscow Theatre for Children. Moscow, 1934. P. 44.

33. См.: Clark K. Little Heroes and Big Deeds: Literature Responds to the First Five-Year Plan // Cultural Revolution in Russia; Волков А. А.М.Горький и литературное движение советской эпохи. М., 1958. С. 333–334. Общую характеристику стахановского движения см.: Siegelbaum L.H. Stakhanovism...

34. О наставнике Стаханова Константине Петрове см.: Siegelbaum L.H. Stakhanovism... P. 67–69. О наставнике Ангелиной Иване Курове см.: Ангелина П. О самом главном. М., 1948. С. 13.

35. Ангелина П. О самом главном. С. 5.

36. Героини социалистического труда. М., 1936. С. 168 (курсив мой).

37. См., напр., в дневнике В.Ставского, высокопоставленного аппаратчика, ведавшего культурой, весьма одобрительные замечания о молодой стахановке-альпинистке с Северного Кавказа, с которой он встретился на авиационном празднике: Intimacy and Terror. P. 234.

38. Ангелина П. Люди колхозных полей. [М.], 1948. С. 43.

39. Героини социалистического труда. С. 25; НД. 1934. № 5. С. 161; Крокодил. 1936. № 4. С. 13.

40. Горький М. Собр. соч. в 30 т. Т. 25. М., 1953. С. 221 («Переписка с читателями»).

41. Цит. по: Bauer R.A. The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, 1952. P. 81.

42. См.: Lahusen T. How Life Writes the Book, Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, 1997. P. 46–52.

43. Kingsley C. The Water-Babies. A Fairy Tale for a Land Baby. London, 1903 (1st ed. 1863). Об историях про бандитов см.: Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985. Ch. 5.

44. Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства / Под ред. М.Горького и др. М., 1934. Английский перевод появился в 1935 г. в Лондоне под названием «The White-Sea Canal» и в Нью-Йорке под названием «Belomor. An Account of the Construction of the New Canal between the White Sea and the Baltic Sea». О пропагандистском проекте см.: Klein J. Belomorkanal. Literatur und Propaganda in der Stalinzeit // Zeitschrift für slavische Philologie. 1995/96. Bd. 55. № 1. S. 53–98. О самом строительстве см.: Чухин И. Каналармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. Петрозаводск, 1990.

45. Беломорско-Балтийский канал... С. 252–256.

46. Clark K. Little Heroes and Big Deeds // Cultural Revolution in Russia. P. 192–193.

47. О фильме «Путевка в жизнь», снятом по собственному сценарию режиссером Н.Экком на материале жизни Люберецкой коммуны, см.: Leyda J. Kino. P. 284—285; Очерки истории советского кино. Т. 1. М., 1956. С. 296—301, 479. О беспризорных см.: Ball A.M. And Now My Soul Is Hardened. Abandoned Children in Soviet Russia, 1918—1930. Berkeley, 1994.

48. Макаренко А.С. Педагогическая поэма // Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. Т. 1. М., 1957. Отметим, что в 1951 г. в Москве вышло издание на английском языке под названием «Road to Life» — несколько измененная версия русского названия «Путевка в жизнь». Название «Педагогическая поэма» в собрании сочинений Макаренко не употребляется. Несмотря на тождество названий, фильм Экка снят не по этой книге, которая появилась позже него.

49. Зорич А. Отец. Заявление Сергея Иванова // Известия. 1936. 15 янв. С. 4; 17 янв. С. 4. Согласно первой статье, поиски дочери окончились для Иванова безуспешно. Затем, как это ни поразительно, всего два дня спустя, «Известия» объявили, что ребенок нашелся в московском детском доме и скоро воссоединится со своим отцом.

50. Зорич А. Сердце чекиста // Известия. 1935. 4 окт. С. 4. Болшевская коммуна описана в: Fischer L. Soviet Journey. New York, 1935. P. 97—105.

51. Шейнин Л. Явка с повинной // Шейнин Л. Записки следователя. М., 1965. С. 93—95. Впервые опубл. в «Известиях» (1937. 15 марта. С 3). Вариант всей истории «исправления воров» (неправильно датированной 1935 г.) появился в: Tuominen A. The Bells of the Kremlin. An Experience in Communism / Ed. by P.Heiskanen, transl. by L.Leino. Hannover; London, 1983. P. 128—135. Правду или нет говорил Шейнин о множестве добровольных явок с повинной, но, по крайней мере, об одном таком случае сообщалось в разделе хроники «Известий» годом раньше: согласно заметке, вор-рецидивист И.Астахов неожиданно явился в МУР и признался в совершенных преступлениях, заявляя, что желает «отбыть полагающийся срок и заняться честным трудом» (Известия. 1936. 8 мая. С. 4).

52. Шейнин Л. Разговор начистоту // Шейнин Л. Записки следователя. С. 98—104. Впервые опубл.: Известия. 1937. 18 марта. С. 4. Туоминен добавляет такую деталь, что Вышинский обещал амнистию за кражи и мелкие преступления, но не за политические преступления и, в большинстве случаев, не за убийства (Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 130, 133).

53. Интервью с Вышинским // Известия. 1937. 20 марта. С. 4; Шейнин Л. Крепкое рукопожатие // Шейнин Л. Записки следователя. С. 105—110. Впервые опубл.: Известия. 1937. 28 марта. С. 4. О судьбе Кости Графа см.: Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 134—135. Еще одну реальную историю о том, как раскаявшийся уголовник демонстрировал артистический талант и его притязания были восприняты всерьез, см.: Alexopoulos G. Portrait of a Con Artist as a Soviet Man // SR. 1998. Vol. 57. № 4.

54. См. выше, с. 106—108.

55. Макаренко А.С. Флаги на башнях // Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. Т. 3. Неисправимый персонаж — Рыжиков. Макаренко заявил, что тот «паразит по природе», и обещал когда-нибудь в будущем разъяснить, как такое может быть, на встрече с читателями, описанной в приложении к изданию на английском языке: Learning to Live (Flags on the Battlements) / Transl. by R.Parker. Moscow, 1953. P. 646.

56. О спорах 1920-х гг. см.: Fitzpatrick S. The Cultural Front. Ch. 1.

57. Известия. 1934. 28 мая. С. 3.

58. Slezkine Yu. From Savages to Citizens: The Cultural Revolution in the Soviet Far North, 1928—1939 // SR. 1992. Vol. 51. № 1. P. 71, 74—75.

59. Крокодил. 1936. № 28. 4-я с. обл.

60. См. договоры, заключенные между учителями и родителями на Реутовской трикотажной фабрике: Труд. 1935. 17 июля. С. 2.

61. Женщина — большая сила. Северное краевое совещание жен стахановцев, Архангельск 1936. Архангельск, 1936. С. 54.

62. См.: Kotkin S. Magnetic Mountain. Ch. 5.

63. Автобиографию Маруси Рогачевой см.: Работница на социалистической стройке / Под ред. О.Н.Чаадаевой. М., 1930. С. 79.

64. Слова Бусыгина цит. по: Kelly C., Volkov V. Directed Desires: Kul'turnost' and Consumption // Construction Russian Culture in the Age of Revolution: 1881—1940 / Ed. by C.Kelly, D.Shepherd. Oxford, 1998. P. 303—304. Замечание о Комаровой см.: Работница на социалистической стройке. С. 144.

65. Женщина — большая сила. С. 43, 74; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 192, 487, n. 179.

66. Kelly C., Volkov V. Directed Desires. P. 297; Fischer L. Soviet Journey. P. 70.

67. За индустриализацию. 1937. 17 янв. С. 2.

68. См.: Kelly C., Volkov V. Directed Desires. P. 298—299; Dunham V.S. In Stalin's Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. Enlarged ed. Durham, 1990. P. 41—58.

69. Общественница. 1937. № 1. С. 14.

70. HP. № 167 (XIII). P. 26.

71. Крокодил. 1940. № 22. С. 9; № 24. С. 5.

72. О революционных именах см.: Паперный В. Культура «два». С. 150. Об имени Сталинка см.: Ангелина П. Люди колхозных полей. С. 117. О редко встречающемся решении назвать ребенка Иосифом в честь Сталина см.: Сац Н. Жизнь — явление полосатое. М., 1991. С. 307.

73. Эти рассуждения о перемене имен опираются главным образом на объявления, печатавшиеся в «Известиях» за период 27 мая 1928 — 10 марта 1935. О перемене имен в позднюю эпоху царизма см.: Verner A.M. What's in a Name? Of Dog-Killers, Jews and Rasputin // SR. 1994. Vol. 53. № 4. О перемене имени по политическим мотивам см.: Известия. 1938. 8 сент. С. 4.

74. Известия. 1936. 10 мая. С. 3.

75. Труд. 1936. 8 марта. С. 2.

76. О пролетарском выдвижении см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... О взглядах выдвиженцев см.: HP. № 518 (XXVI). P. 63; № 517 (XXVI). P. 56; № 543 (XXVIII). P. 4. См. также мемуары Бенедиктова: Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущеве // Мол. гвардия. 1989. № 4.

77. Героини социалистического труда. С. 162—163; История советского кино. Т. 2. М., 1973. С. 173—184.

78. Fitzpatrick S. Stalin and the Making of a New Elite // Fitzpatrick S. The Cultural Front; Brown A. The Gorbachev Factor. Oxford, 1996. P. 27—28.

79. Известия. 1938. 4 окт. С. 3; Правда. 1938. 30 апр. С. 3.

80. Правда. 1938. 31 мая. С. 3; КП. 1937. 17 дек. С. 3.

81. Siegelbaum L.H. Stakhanovism... P. 267—277.

82. ГАРФ. Ф. 5457. Оп. 22. Ед. хр. 48. Л. 80—81 (Союз трикотажников, 1935: Личный листок по учету кадров).

83. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 48. Л. 197—201 (письмо 1937 г.); McCutcheon R.A. The 1936—1937 Purge of Soviet Astronomers // SR. 1991. Vol. 50. № 1. P. 104—111 (о выдвиженце из Ташкента).

84. Труд. 1936. 8 марта. С. 2.

85. КП. 1937. 7 нояб. С. 4. Общее число опрошенных — 865 чел. Отметим, что это было спустя несколько лет после периода интенсивного «пролетарского выдвижения», когда рабочие могли попасть в любой институт или на рабфак, стоило им только захотеть. Вышеупомянутые молодые рабочие надеялись поступить в вуз, сдав вступительные экзамены на общих основаниях.

86. Alpern Engel B., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. Voices of Women in Soviet History. Boulder, Colo., 1997. P. 44–45.

87. Цит. по: Kelly C., Volkov V. Directed Desires. P. 207–208.

88. Ангелина П. О самом главном. С. 4–5.

Глава 4

1. См.: Kravchenko M. The World of the Russian Fairy Tale. Berne, 1987. P. 72.

2. См.: Trotsky L. The Revolution Betrayed. London, 1967 (1st pub. 1937).

3. Я цитирую эту фразу в ее лозунговой форме. На самом деле слова Сталина, сказанные в речи на собрании передовиков-комбайнеров 1 декабря 1935 г., звучали так: «У нас теперь все говорят, что материальное положение трудящихся значительно улучшилось, что жить стало лучше, веселее» (Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 106).

4. См., напр.: Известия. 1936. 1 янв. С. 1; Lahusen T. How Life Writes the Book. P. 52. Текст песни «Жить стало лучше» (1936), где лозунг используется в качестве припева, см.: Mass Culture in Soviet Russia. P. 237–238. О шутках на эту тему см. гл. 7.

5. См.: Timasheff N.S. The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia. New York, 1946.

6. ВМ. 1934. 4 окт. С. 2.

7. Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза. [М.], 1939. С. 68, 80; Горьковская коммуна. 1938. 10 апр. С. 4.

8. Коммуна. 1936. 18 июля. С. 3–4. В августе 1937 г. начал производство шампанского с помощью импортной техники завод «Новый Свет» производительностью 10000–12000 бутылок в день. См.: Красный Крым. 1937. 20 авг. С. 2.

9. О рекламе см.: Barnes-Cox R. Soviet Commercial Advertising and the Creation of the Socialist Consumer, 1917–1941 // Everyday Subjects: Formations of Identity in Early Soviet Culture / Ed. by C.Kiaer, E.Naiman. Forthcoming. О культурной торговле см.: Hessler J. Culture of Shortages. Ch. 6.

10. Hessler J. Culture of Shortages. P. 292, 294.

11. Крас. газ. 1936. 27 июня. С. 4; Огонек. 1936. № 16. 2-я с. обл.

12. Огонек. 1936. № 5. С. 19–21. Энергичное продвижение парфюмерии на рынок во второй половине 1930-х гг., как правило, ставят в заслугу жене Молотова Полине Жемчужиной, возглавлявшей советскую парфюмерно-косметическую промышленность.

13. См. рекламу «Преконсоля», «одного из лучших химических средств предупреждения беременности», и шариков «Вагилен»: Красный Крым. 1937. 27 июля. С. 4; РП. 1937. 26 марта. С. 4; СС. 1936. 4 сент. С. 1; Огонек (3-я с. обл. многих номеров за 1936 г.). Благодарю Ю.Слезкина и его московских друзей-гинекологов за помощь в этом вопросе.

14. Труд. 1935. 4 мая. С. 4.

15. НР. № 1 (I). P. 15; № 385 (XIX). P. 11–12; Труд. 1935. 2 июля. С. 1.

16. Глотов Б. Билет до Ленинграда. Большевик Зинаида Немцова, как она есть // Огонек. 1988. № 27. С. 7.

17. НД. 1934. № 6. С. 56, 60.

18. Цитата из «Балтимор сан» (1934. 18 нояб.) приведена по: Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 39. Данная заметка была включена в обзор иностранной прессы, готовившийся для партийного руководства.

19. См.: Елагин Ю. Укрощение искусств. New York, 1952. С. 178–182; ВМ. 1934. 17 нояб. С. 4.

20. См.: Stites R. Russian Popular Culture. P. 88–93; Starr S.F. Red and Hot. The Fate of Jazz in the Soviet Union. New York, 1983. Ch. 6; Труд. 1935. 14 дек. С. 4; Женщина — большая сила. С. 75.

21. Труд. 1936. 3 янв. С. 4.

22. Молот. 1933. 23 июня. С. 4; Известия. 1936. 9 янв. С. 1; Рабочий. 1934. 13 янв. С. 4.

23. О футболе см.: Edelman R. Serious Fun. A History of Spectator Sports in the U.S.S.R. New York, 1993.

24. См.: Petrone K. Parading the Nation: Physical Culture Celebrations and the Construction of Soviet Identities in the 1930s // Michigan Discussions in Anthropology. 1996. Vol. XII; Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф–Бремен, 1994. С. 180–190; Mass Culture in Soviet Russia. P. 235–236.

25. ВМ. 1935. 30 нояб. С. 4; Fischer L. Soviet Journey. P. 107–118; Fischer M. Palaces on Monday. P. 67–73; Roland B. Caviar for Breakfast. P. 55. См. также: Schlögel K. Der «Zentrale Gor'kij-Kultur-und-Erholungspark» (CPKiO) in Moskau. Zur Frage des Öffentlichen Raums im Stalinismus // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung = Stalinism before the Second World War. New Avenues of Research / Ed. by M.Hildermeier, E.Müller-Luckner. Munich, 1998.

26. Цит. по: Sartori R. Stalinism and Carnival // The Culture of the Stalin Period / Ed. by H.Günther. New York, 1990. P. 67.

27. ВМ. 1935. 1 нояб. С. 1. О карнавалах 1920-х гг. см.: Щеглов. ЗТ. С. 520–522.

28. ВМ. 1935. 9 июля. С. 3; Известия. 1935. 9 июля. С. 4; Крокодил. 1936. № 19. С. 3. Из шахтерского города Горловки сообщали о более тяжеловесном подходе к карнавальному действу: там объявили о костюмированном бале, на котором «костюмы должны отвечать следующей цели: старые и новые нормы, Итало-абиссинская война, Японо-германская дружба, жертвы капитализма» (Крокодил. 1936. № 11. С. 15).

29. Известия. 1935. 12 апр. С. 4. Среди участников постановки первого ночного карнавала, состоявшегося в сентябре 1935 г., были композитор Глиэр, писатель Борис Пильняк, немецкий театральный режиссер Эрвин Пискатор и режиссер Московского детского театра Наталья Сац.

30. Roland B. Caviar for Breakfast. P. 55.

31. Цитата из «Социалистического вестника» (1934. № 19. С. 4) приведена по: Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 41–42. О привилегиях интеллигенции в 1920-е гг. см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 79–86. О ее судьбе в эпоху Культурной Революции см.: Cultural Revolution in Russia.

32. См.: Известия. 1934. 27 авг. С. 1; Brooks J. Socialist Realism in Pravda: Read All about It! // SR. 1994. Vol. 53. № 4. P. 976–981.

33. См. ниже, с. 266.

34. См.: Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 143; НР. № 421 (XXI). P. 67; № 387 (XX). P. 56.

35. Боннэр Е. Дочки-матери. С. 138; Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 63–65.

36. Гронский И. Из прошлого... С. 140. Гронский придает особое значение включению в этот список художников.

37. Hubbard L.E. Soviet Trade and Distribution. P. 82; Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 63–64; Боннэр Е. Дочки-матери. С. 251; НР. № 385 (XIX). P. 47.

38. Осокина Е.А. Иерархия потребления. С. 71; ИСЭ. Т. 3. С. 454.

39. РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 549. Л. 76–77.

40. Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 205.

41. СА. ВКП 355. 179; РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 549. Л. 76–77; Крокодил. 1936. № 24. С. 14.

42. РП. 1937. 15 сент. С. 2.

43. Colton T.J. Moscow. P. 168. Менее восторженное описание см.: Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 89–90.

44. Colton T.J. Moscow. P. 337, 852 (n. 174); Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 62–63; СЮ. 1934. № 8. С. 18; 1935. № 17. С. 24.

45. Труд. 1933. 14 нояб. С. 4; Рабочий. 1932. 28 марта. С. 1; Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 126–127, plate 18; Scott J. Behind the Urals. P. 86–89.

46. HP. № 338 (XXXIII). P. 8, 27. Официально в 1935 г. насчитывалось 300000 «лиц, занимающихся домашней и поденной работой», в переписи 1939 г. стоит цифра свыше 500000 (практически все – женщины): Труд в СССР. Статистический справочник. М., 1936; Всесоюзная перепись населения 1939 года. С. 111. Обе цифры, вероятно, занижены, поскольку из всех наемных работников в СССР домработниц единственных нанимало не государство, а частные лица, не всегда их регистрировавшие.

47. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1748. Л. 167–168 (анонимное письмо в Ленинградский горсовет, 1 авг. 1936).

48. Scott J. Behind the Urals. P. 130–133.

49. Крокодил. 1939. № 12. С. 13; № 20. С. 6; 1940. № 17. С. 5.

50. Официально санатории являлись медицинскими учреждениями, однако советские граждане зачастую рассматривали их как разновидность домов отдыха. По воспоминаниям очевидца, в 1930-е гг., казалось, практически у всех представителей советской элиты (не говоря уже о рядовых гражданах) имелись хронические проблемы со здоровьем, требовавшие санаторного режима (гимнастика, диета, отдых под наблюдением врача).

51. Крас. Тат. 1937. 24 апр. С. 4. См. также: Там же. 1938. 21 апр. С. 4.

52. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 995 (резолюция Политбюро от 9 февр. 1938). О лишении привилегий см. гл. 8.

53. Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994. С. 11–13. Отметим, что привилегия «бессрочного пользования», как и все прочие привилегии в СССР, сразу отбиралась, если ее обладатель становился «врагом народа».

54. HP. № 431 (XXI). P. 26–29. Подробный рассказ о покупке и продаже дач см.: Vaksberg A. The Prosecutor and the Prey. P. 86–93.

55. Мандельштам Н. Воспоминания. С. 119–120; Сац Н. Жизнь – явление полосатое. С. 273.

56. Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 150–154; Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 78; Гронский И. Из прошлого... С. 140.

57. Гинзбург Е. Крутой маршрут. Кн. 1. С. 42; Боннэр Е. Дочки-матери. С. 168–172, 244–246, 259. Об «Артеке» см.: НД. 1932. № 4. С. 94–95.

58. Сац Н. Жизнь – явление полосатое. С. 284.

59. Правда. 1937. 19 мая. С. 4; За индустриализацию. 1937. 12 мая. С. 1; Крас. газ. 1936. 3 сент. С. 2.

60. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 984. Л. 70; Д. 1002 (резолюции Политбюро о повышении окладов, 1937 и 1938); Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 39, 165; СЮ. 1938. № 19. С. 47.

61. Паперный В. Культура «два». С. 176; Известия. 1934. 29 июля. С. 2; Культурная жизнь в СССР 1928–1941. Хроника. М., 1976. С. 418. О работе Литфонда в 1930-е – 1940-е гг. см.: Beyrau D. Der organisierte Autor: Institutionen, Kontrolle, Fürsorge // Kultur im Stalinismus / Hrsg. von G.Gorzka. Bremen, 1994. S. 72–76.

62. О премировании стахановцев автомобилями «М-1» см.: Правда. 1937. 19 мая. С. 4; За индустриализацию. 1937. 21 апр. С. 2; КрП. 1936. 30 июня. С. 4; Труд. 1936. 21 сент. С. 4.

63. Героини социалистического труда. С. 54–55, 71, 129.

64. Изложение статьи в магнитогорской газете цит. по: Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 192, 487 (n. 179).

65. Цит. по: Siegelbaum L.H. Stakhanovism... P. 228, 230.

66. Героини социалистического труда. С. 129 (курсив мой). О символическом значении приобретения кровати см. рассказ Владимира Конторовича в журнале «Наши достижения» (1936. № 3. С. 95).

67. Труд. 1935. 24 дек. С. 2.

68. См. выше, с. 117.

69. Bourdieu P. Language and Symbolic Power. P. 151–153, 169–170, and passim.

70. Мы боролись за идею! Воспоминания Ф.Е.Трейвас // Женская сульба в России / Под ред. Б.С.Илизаровой. М., 1994. С. 90–91.

71. Боннэр Е. Дочки-матери. С. 121; Крас. Тат. 1938. 21 апр. С. 4.

72. Fischer L. Soviet Journey. P. 55 (курсив мой).

73. НД. 1934. № 6. С. 61.

74. О проекте Конституции Союза ССР (25 ноября 1936) // Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 142, 145; Dunham V.S. In Stalin's Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. Durham, 1990. P. 108 (цитата из романа В.Кочетова «Журбины» (1952)).

75. Цит. по: ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141(2). Д. 147. Л. 8 (1932); Ф. 5446. Оп. 82. Д. 42. Л. 75–77 (1935); РГАЭ. Ф. 7486с. Оп. 37. Д. 237. Л. 228 (1932).

76. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 410–411; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 995.

77. Цит. по: Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 307; ГАРФ. Ф. 5457. Оп. 22. Д. 49. Л. 28 (1935).

78. ГАРФ. Ф. 5457. Оп. 22. Д. 45. Л. 9.

79. НД. 1934. № 6. С. 61.

80. Гранин Д. Ленинградский каталог // Нева. 1984. № 9. С. 76–77; Scheffer P. Seven Years in Soviet Russia. New York, 1932. P. 47.

81. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1529. Л. 4–5. См. также: Паперный В. Культура «два». С. 93–97.

82. Основные работы по этому вопросу: Timasheff N.S. The Great Retreat; Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991.

83. Известия. 1935. 11 сент. С. 4; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 822. Л. 49 (письмо в «Известия», б. д. [1936–1937]).

84. Timasheff N.S. The Great Retreat. P. 319; Паперный В. Культура «два». С. 97.

85. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 182–183.

86. Timasheff N.S. The Great Retreat. P. 319, 448; Tucker R.C. Stalin in Power. P. 323, 648 (n. 68).

87. Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 219–220; СЗ СССР. 1937. № 21. Ст. 83.

88. СУ РСФСР. 1926. № 53. Ст. 412; Известия. 1936. 8 сент. С. 1 (цит. по: Tomoff K. People's Artist, Honored Figure: Official Identity and Divisions within the Soviet Music Profession, 1946–1953. Ms. P. 3). В 1934 г. было учреждено звание «заслуженного мастера спорта»; в 1940 г. – «заслуженного учителя» и «заслуженного врача»: Tucker R.C. Stalin in Power. P. 648 (n. 69); Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917–1973 гг. М., 1974. С. 474.

89. Tomoff K. People's Artist, Honored Figure. P. 5; Культурная жизнь в СССР. С. 652.

90. СП СССР. 1940. № 1. Ст. 6; № 3. Ст. 89; Guillebaud P. The Role of Honorary Awards in the Soviet Economic System // American Slavic and East European Review. 1953. Vol. XII. № 4. P. 503; Паперный В. Культура «два». С. 276; СП СССР. 1941. № 11. Ст. 176.

91. Сборник важнейших постановлений по труду / Сост. Я.Л.Киселев, С.Е.Малкин. М., 1938. С. 239—240, 241—245; Timasheff N.S. The Great Retreat. P. 319.

92. Троцкий Л. Преданная революция. С. 130.

93. Щеглов. ЗТ. С. 11, 338.

94. Благодарю Юрия Слезкина и Алену Леденеву за консультации по поводу лексики, используемой в отношениях покровительства.

95. HP. № 385 (XIX). P. 30; № 415 (v. 20). P. 15; № 432 (v. 21). P. 16; № 524 (v. 27). P. 19. Насчет стахановцев см.: Siegelbaum L.H. Stakhanovism... P. 67—71, 256. См. также: Ангелина П. О самом главном. С. 30. В задачи патрона входили создание условий для достижения рекорда, приносящего звание стахановца, и обеспечение избрания своего клиента делегатом на региональные и всесоюзные съезды стахановцев.

96. Мандельштам Н. Воспоминания. С. 119—120.

97. Об отношениях Кольцова и Бабеля с Ежовыми см.: Михаил Кольцов, каким он был. М., 1965. С. 69—76; Шенталинский В. Рабы свободы. С. 48—50.

98. Шенталинский В. Рабы свободы. С. 120.

99. Подробнее об этом см.: Fitzpatrick S. Intelligentsia and Power. Client-Patron Relations in Stalin's Russia // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg.

100. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 77. Л. 9—10; Д. 56. Л. 154. В 1938 г. было благоприятное время, чтобы заполучить элитную квартиру: укажем на письмо, написанное в начале этого года, в котором работник жилищного отдела Моссовета заверяет Молотова, что НКВД скоро разрешит перераспределение квартир, опечатанных после арестов «врагов народа»: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 72. Л. 114.

101. ГАРФ. Ф. 5446. Ф. 82. Д. 51. Л. 144; Д. 53. Л. 130; Д. 70. Л. 165.

102. Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 52—53; Testimony. The Memoirs of Dmitri Shostakovich / Ed. by S.Volkov; transl. by A.W.Bouis. New York, 1980. P. 98—99.

103. См., напр.: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 53. Л. 82, 102; Д. 65. Л. 207; Д. 112. Л. 281—292; Капица П.Л. Письма о науке 1930—1980. М., 1989. С. 151.

104. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 337. Л. 76—78; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1515. Л. 64—65.

105. Капица П.Л. Письма о науке. С. 174—175, 178—179; Josephson P. Physics and Politics in Revolutionary Russia. Berkeley, 1991. P. 316; Елагин Ю. Темные гении (Всеволод Мейерхольд). Нью-Йорк, 1955. С. 294—295.

106. Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 66—69.

107. Там же. С. 48.

108. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 315; Гронский И. Из прошлого... С. 142—143; О Валериане Куйбышеве: Воспоминания, очерки, статьи. М., 1983. С. 219—221.

109. Сто сорок бесед с Молотовым. С. 315; Гронский И. Из прошлого... С. 143. Отметим, однако, что, несмотря на угрожающую преамбулу, Сталин, по словам Гронского, посочувствовал художникам, когда Гронский описал ему их положение, и активно занялся их делом.

110. HP. № 359 (XIX). P. 32.

Глава 5

1. См.: Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917—1923. Vol. 1. Harmondsworth, Mx., 1966. P. 151—154; Добкин А.И. Лишенцы // Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М.—СПб., 1992. С. 601—603.

2. «Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики»: резолюция V Всероссийского съезда Советов от 10 июля 1918 г. // Декреты советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 561.

3. Отметим момент дегуманизации, заложенный в слове «элементы». Его употребление в данном смысле было настолько широко распространено, что один из респондентов Гарвардского проекта решительно возражал, когда интервьюер употреблял это слово как неодушевленное существительное, категорически заявляя, что «термин "элемент"... применяется только по отношению к людям»: HP. № 387 (XX). P. 77.

4. Добкин А.И. Лишенцы. С. 603—604; Kimerling E. Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia, 1918—1936 // RR. 1982. Vol. 41. № 1. P. 32 (n. 20). При изменениях законодательства в течение 1920-х гг. требование «лояльности» то включалось, то снова исключалось.

5. См.: Carr E.H. Socialism in One Country, 1924—1926. Vol. 2. London, 1959. P. 328—333; Alexopoulos G. Rights and Passage. Ch. 2.

6. См.: Kimerling E. Civil Rights... P. 27—30; Fitzpatrick S. Ascribing Class. P. 752—755.

7. См.: Fitzpatrick S. Ascribing Class. P. 756 and passim. Очевидно, при этом делались исключения для революционеров-большевиков, в том числе для самого Ленина, чей отец получил личное дворянство. По закону бывшим помещикам, капиталистам и священникам разрешалось голосовать, если они последние пять лет занимались «общественно полезным трудом», но, кажется, это правило гораздо чаще нарушалось, чем соблюдалось.

8. Об экспроприации нэпманов см.: Ball A.M. Russia's Last Capitalists. The Nepmen, 1921—1929. Berkeley, 1987. P. 72—82, 161—169. О коллективизации см.: Davies R.W. The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929—1930. Cambridge, Mass., 1980. О Культурной Революции см.: Cultural Revolution in Russia.

9. Согласно опубликованным данным, в СССР в 1929 г. были лишены избирательных прав 8,6 % взрослого населения, тогда как в 1927 г. — 7,7 % (Kimerling E. Civil Rights... P. 27 (tabl. 1)). По национальным республикам цифры, как правило, выше: 11,8 % лишенцев на Украине, 13,7 % — в Узбекистане (в РСФСР — 7,2 %). Один архивный источник называет число лишенцев в РСФСР в 1930 г. — почти два с половиной миллиона, что должно означать как минимум четыре миллиона по всему Советскому Союзу. Впрочем, ясно, что все эти цифры весьма и весьма приблизительны. Власти, скорее всего, и сами точно не знали, сколько человек лишено избирательных прав.

10. НГ. 1929. 2 авг. С. 3.

11. Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С. 165; НГ. 1929. 15 окт. С. 4.

12. Об оппозиции со стороны Крупской, Луначарского и украинского наркома просвещения Миколы Скрыпника см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 122, 133, 164. См. также ниже, прим. 15.

13. ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 1. Д. 7 (1930).

14. Там же. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 918; КП. 1930. 16 марта. С. 4.

15. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 909. Л. 1.

16. Выступления Луначарского и Скрыпника против чисток в школах см.: ГАРФ. Ф. 5462. Оп. 11. Д. 12. Л. 11—12, 44—45. Секретное постановление Совнаркома РСФСР от 27 апр. 1929 г., запрещающее исключать из школ детей лишенцев, см.: Там же. Ф. 1235. Оп. 141 (2). Д. 308. Л. 11.

17. Там же. Л. 9 (исполнительный комитет Калмыцкого областного совета — ВЦИК, 30 апр. 1929 г.).

18. Подробнее о паспортизации см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 108—112.

19. ГАРФ. Ф. 3316 с. ч. Оп. 2. Д. 1227. Л. 1—69. В комиссию под председательством секретаря ЦИК Енукидзе входили три высокопоставленных представителя ОГПУ: Г.Г.Ягода, Г.Е.Прокофьев и Я.С.Агранов.

20. Там же. Л. 70.

21. Там же. Л. 101. Источник этого распоряжения не определен, вероятно, ЦИК или соответствующий ему орган РСФСР — ВЦИК.

22. Там же.

23. Все эти случаи см.: Там же. Л. 117—126.

24. Елагин Ю. Укрощение искусств. С. 53—54.

25. Deutscher I. The Prophet Unarmed. Trotsky: 1921—1929. Oxford, 1959. P. 390—394; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 188; Оп. 16а. Д. 430.

26. Цифра взята из: Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки (1930—1954) // Отечественная история. 1994. № 1. С. 118. Отметим, что она превосходит цифру из работы В.П.Данилова 1991 г., приведенную в: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 99. Данная цифра не включает сотни тысяч кулаков, которые были отнесены к категории более опасных (в этом случае их отправляли в лагеря) или менее опасных (в этом случае их просто раскулачивали и (по идее) переселяли на худшие земли в той же области). Приблизительную оценку численности этих последних категорий см.: Fitzpatrick S. The Great Departure: Rural-Urban Migration in the Soviet Union, 1929—1933 // Social Dimensions of Soviet Industrialization / Ed. by W.G.Rosenberg, L.H.Siegelbaum. Bloomington, 1993. P. 23—25.

27. О разных подходах к нему см.: Lewin M. The Making of the Soviet System. New York, 1985. P. 121—141; Viola L. The Second Coming: Class Enemies in the Soviet Countryside, 1927—1935 // Stalinist Terror; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 39—44.

28. О процессе раскулачивания см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 67—72. О различных административных категориях кулаков и применяемых к ним мерах наказания см.: Davies R.W. Socialist Offensive. P. 234—236.

29. ГАНО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 2005. Л. 35 (письмо Эйхе от секретаря райкома, 25 янв. 1933, с пометкой «лично»).

30. Распределение сосланных по роду занятий см.: Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 127 (табл. 6). В начале 1935 г. в промышленности трудились 640000 сосланных кулаков: Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929—1932 гг.). М., 1972. С. 326. Сельскохозяйственные поселения ссыльных стали колхозами, и некоторые из этих «кулацких колхозов» приводили власти в замешательство, становясь куда более процветающими, нежели их соседи: Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 125—126.

31. В 1934 г. Термин «спецпереселенцы» снова вошел в официальное употребление в 1944 г., в 1949 г. его заменил термин «спецпоселенцы»: Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 118.

32. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 188 (памятная записка ОГПУ, 1931). Из 936547 чел., классифицированных в 1941 г. как «трудпоселенцы», 93% составляли сосланные кулаки: Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 129.

33. Это справедливо в отношении основного контингента, а не более мелких групп «социально-опасных» лиц, отправляемых на 3—5 лет поселения после отбытия срока в тюрьме или лагере. Впрочем, различие между ними было довольно незначительное, поскольку даже сосланных на определенный срок отпускали по истечении этого срока весьма неохотно и произвольно, если вообще отпускали. В 1936 г. Вышинский, всегда бывший приверженцем

законности, предложил Сталину разрешить им возвращаться домой после отбытия срока: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 72. Л. 168—169, 194 (записка от 23 июля 1936).

34. СЗ СССР. 1934. № 33. Ст. 257 (закон от 17 марта 1934); 1935. № 7. Ст. 57 (закон от 25 янв. 1935); ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1668. Л. 1 (записка Ягоды Сталину от 17 янв. 1935 с собственноручной резолюцией Сталина). О признаках несогласия зав. сельскохозяйственным отделом ЦК Я.Яковлева с официальным мнением см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 142—144, 269—270.

35. Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 128—145.

36. ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 15. Л. 23—24, 79—80 (записка НКВД от 23 февр. 1938, обобщающая свод законов, регулирующих жизнь трудпоселенцев; записка Вышинского Ежову, март 1938); Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1786. Л. 1 («разъяснение» от февр. 1936); Правда. 1937. 17 окт. С. 1.

37. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 72. Л. 168—169 (записка Вышинского Сталину от 23 июля 1936); ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 214. Л. 231 (Инструкция Прокуратуры РСФСР, 10 авг. 1936); ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 15. Л. 23—24 (записка Жуковского, 23 февр. 1938); Земсков В.Н. Судьба кулацкой ссылки. С. 128—129.

38. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3548. Л. 81—82 (рапорт Ленинградского НКВД, 1939). Впервые проведенное исследование депортаций по национальному признаку в 1930-е гг. на основе архивных источников см.: Martin T. The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // JMH. 1998. Vol. 70. № 4.

39. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1829. Л. 139—144 (специальный рапорт Ленинградского НКВД, 1 февр. 1936). Общее число 2000 чел. включало 200 участников троцкистской и зиновьевской оппозиции, 501 «антисоветский и контрреволюционный элемент» и 809 социально-чуждых.

40. Объявление см.: КрП. 1935. 20 марта. С. 2. Слух об использовании справочника «Весь Ленинград» приводится как факт в «Воспоминаниях» Н.Мандельштам (с. 330). Возможно, в нем была доля правды, учитывая огромную ротацию телефонных абонентов между изданиями 1934 и 1935 гг. См.: Fitzpatrick S. The Impact of the Great Purges on Soviet Elites: A Case Study from Moscow and Leningrad Telephone Directories of the 1930s // Stalinist Terror. P. 259. Отметим, что хотя высылка «бывших людей» в начале 1935 г. производилась главным образом из Ленинграда, однако были также сообщения о подобных операциях из Москвы, с Украины и из других мест: Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 144—145.

41. КрП. 1935. 24 марта. С. 3; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 352. Л. 55; СЮ. 1935. № 27. С. 14; 1939. № 10. С. 28; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1658. Л. 1.

42. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2064. Л. 7.

43. См.: Hagenloh P.M. «Socially-Harmful Elements» and the Great Terror // Stalinism: New Directions / Ed. by S.Fitzpatrick. London, 2000; Shearer D. Policing the Soviet Frontier. Social Disorder and Repression in Western Siberia during the 1930s: Paper presented at annual meeting of AAASS, Seattle, November 1997.

44. Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М., 1994. С. 174.

45. Пример первого см.: Красный Крым. 1937. 21 июля. С. 2; пример второго: СЮ. 1932. № 10. 4-я с. обл. См. также: Бордюгов Г.А. Социальный паразитизм или социальные аномалии (Из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, бродяжничеством в 20—30-е годы) // История СССР. 1989. № 1.

46. Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. С. 174—175; Rapports secrets soviétiques. La société russe dans les documents confidentiels 1921—1991 / Ed. par N.Werth, G.Moullec. Paris, 1994. P. 44; Lemon A.M. Indic Diaspora, Soviet History, Russian Home: Political Perform-

ances and Sincere Ironies in Romani Culture: Ph. D. diss. University of Chicago, 1995. P. 129, ch. 6.

47. ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 192. Л. 1. Подробнее об облавах в Сибири см.: Shearer D. Policing the Soviet Frontier.

48. Резолюцию в сопровождении инструкций Ежова, впервые опубликованную в «Труде» (1992. 4 июня. С. 1), см.: Getty J.A., Naumov O.V. The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven, 1999. P. 470–480.

49. Труд. 1992. 4 июня. С. 1.

50. Дугин Н. Открывая архивы // На боевом посту. 1989. 27 дек. С. 3. Заключенные Гулага делились на три категории: «социально-вредные и социально-опасные» (на 1 янв. 1939 – 285831 чел.), уголовники (417552 чел.) и контрреволюционеры (503166 чел.).

51. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 46, 165; Известия. 1930. 24 февр. С. 5; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 16а. Д. 446. Л. 17. См. также: Geiger K. The Family in Soviet Russia. P. 140– 141.

52. См., напр.: Диктатура труда. 1929. 22 авг. С. 5; 7 сент. С. 6.

53. НГ. 1929. 24 нояб. С. 2.

54. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2487. Л. 139–140.

55. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 2. Д. 2021. Л. 45; Ф. 5407. Оп. 1. Д. 49. Л. 14; Оп. 2. Д. 348.

56. Там же. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 918. Л. 11, 42–43.

57. Там же. Л. 47, 54–55.

58. Alexopoulos G. Rights and Passage. P. 366, 395, 481, 488. Основная источниковая база этой работы – собрание свыше 100000 подобных ходатайств, направленных во ВЦИК, обнаруженное Алексопулос в неизвестном прежде архиве в Ялуторовске, маленьком западносибирском городке. О ссылках на нищету см.: Alexopoulos G. The Ritual Lament // RH. 1997. № 1–2.

59. Alexopoulos G. Rights and Passage. P. 274, 436–448.

60. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 259. Л. 29.

61. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 51. Л. 276. Это могла быть завуалированная просьба за родственника, не упомянутого прямо, но только не за себя лично, поскольку Елагина указала обратный адрес в центре Москвы.

62. Там же. Ф. 3316 с. ч. Оп. 2. Д. 922. Л. 35–37. ЦИК отнесся к этому письму серьезно, несмотря на его сомнительный источник. В тех же делах содержатся тексты нескольких предупреждений ЦИК против антисемитизма в связи с ликвидацией нэпа и хроника энергичных усилий этого органа по защите лишенцев-евреев.

63. См., напр., как было воспринято сталинское замечание: «Сын за отца не отвечает» (Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 269), и шедшие в 1935 г. в юридических кругах споры о том, означает ли новый сталинский лозунг «Кадры решают все» ослабление репрессий против классовых врагов (ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1621. Л. 1–21).

64. КП. 1935. 8 февр. С. 2.

65. Там же. 2 дек. С. 2.

66. СЮ. 1936. № 21. С. 8; № 22. С. 15.

67. НР. № 416 (XXI). P. 16–17; № 629 (XXIX). P. 21–22.

68. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1610 (протоколы заседаний Конституционной комиссии, 1935–1936). Внезапную необъяснимую перемену мнения после восьми месяцев дискуссий см. на л. 161.

69. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (5 дек. 1936) // История советской конституции. Сборник документов 1917–1957. М., 1957. С. 358; Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 178–179.

70. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 32, 33.

71. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 984. Л. 25.

72. Карикатура Бориса Ефимова в «Крокодиле» (1936. № 17. С. 6) даже намекает на синонимичность обоих понятий. На ней один эмигрант говорит другому: «Прежде мы были классовыми врагами, а теперь – враги народа», – подразумевая, что изменилась только этикетка.

73. См.: СА. ВКП 416 (бюро комсомола, 1937–1938); Manning R. The Great Purges in a Rural District: Belyi Raion Revisited // Stalinist Terror. P. 191.

74. ПАНО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 542. Л. 559.

75. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3548. Л. 104–107. Отдел народного образования направил протест в особый отдел Ленинградского обкома партии.

76. Soviet Youth. P. 98–99.

77. Эта тема подробно рассматривается у Ш.Фицпатрик (Lives under Fire; The Two Faces of Anastasia: Narratives and Counter-Narratives of Identity in Stalinist Everyday Life // Everyday Subjects) и, под несколько иным углом, у Й.Хелльбека (Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. Bd. 44. Heft 3).

78. Крокодил. 1935. № 10. 4-я с. обл. Заголовок карикатуры: «Анкета и жизнь. Как иногда следует читать анкету».

79. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 16а. Д. 446. Л. 100, 248.

80. Труд. 1933. 14 июля. С. 4 (дело Ошкина); 1936. 21 февр. С. 1; Крокодил. 1935. № 25. С. 10. О подделке партбилетов см.: Getty J.A. Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge, 1985. P. 33–35.

81. НР. № 167 (XXIII). P.12–13; Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 142; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 46.

82. Известия. 1935. 15 мая. С. 3.

83. См., напр.: СЮ. 1937. № 4. С. 53–54; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 90.

84. СА. ВКП 416. 37; НР. № 301 (XV). P. 15; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 31–32.

85. Твардовский И. Страницы пережитого // Юность. 1988. № 3. С. 10–30; ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 179. Л. 271. После того как Силаева взяли за торговлю на черном рынке, власти постановили: «Он должен быть выслан на Север, вместе с семьей, как типичный представитель деревенской буржуазии и ярый классовый враг Соввласти».

86. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 90–91.

87. КрП. 1935. 4 апр. С. 2.

88. Там же. 11 апр. С. 2.

89. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 164–169.

90. ЦМАМ. Ф. 1474. Оп. 7. Д. 72. Л. 119–121; Д. 79. Л. 86–87. О доносах ради квартиры см.: Fitzpatrick S. Signals from Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s // Accusatory Practices. Denunciation in Modern European History 1789–1989 / Ed. by S.Fitzpatrick, R.Gellately. Chicago, 1997. P. 109–110.

91. ПАНО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 542. Л. 240–241; ГАНО. Ф. 288. Оп. 2. Д. 902. Л. 4–6; Труд. 1936. 4 янв. С. 3.

92. РП. 1937. 29 марта. С. 2.

93. РГАСПИ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 2. Л. 63.

94. НР. № 358 (XIX). P. 18; № 432 (XXI). P. 19; № 87 (XXX). P. 3; № 338 (XXIII). P. 3, 19–20; № 359 (X). P. 31; № 527 (XXVII). P. 29.

95. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 93; HP. № 407 (XX). P. 13; № 359 (X). P. 31; № 416 (XXI). P. 16—17.

96. HP. № 167 (XIII). P. 12—13; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 171—172; HP. № 387 (XX). P. 44.

97. См. выше, с. 144 (прим. 9), 149, 153 (прим. 33), 150. До сих пор нет точных данных об административных ссыльных; благодарю Арч Гетти за освещение современного состояния исследований по данному вопросу (в частном письме, 7 сент. 1997 г.).

98. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own (из восьми опубликованных интервью в четырех — с Дубовой, Флейшер, Бережной и Долгих — центральной темой служит дискриминация по социальному признаку). 477 (17,5 %) респондентов Гарвардского проекта по социальному происхождению классифицируются аналитиками как «деклассированные люди умственного труда»: Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 463.

99. СЮ. 1934. № 9. С. 2 (в пересказе Крыленко).

100. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 85. Д. 510. Л. 186.

101. HP. № 91 (VII). P. 11; Orlova R. The Memoirs. P. 12—13.

102. Tagebuch aus Moskau 1931—1939 / Hrsg. von J.Hellbeck. München, 1996. S. 36—43, 147 and passim; Soviet Youth. P. 96.

Глава 6

1. Цит. по: Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 253.

2. С 1928 по 1940 г. число женщин — наемных работников выросло от приблизительно трех миллионов (24 %) до тринадцати с лишним миллионов (39 %). Только за годы первой пятилетки (1929—1932) число занятых женщин почти удвоилось: Труд в СССР. Статистический сборник. М., 1968. С. 73; Труд в СССР. Статистический справочник. М., 1936. С. 25.

3. Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 74—75, 82. Более низкая доля женщин, возможно, отражает демографическую диспропорцию: в возрастной группе от 30 до 40 лет на 12 женщин приходилось 11 мужчин; в группе от 40 до 50 лет соотношение было почти 7:6. Сравнительную статистику браков см.: Паевский В.В. Вопросы демографической и медицинской статистики. М., 1970. С. 344—346.

4. HP. № 359 (XIX). P. 43; Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 212—213.

5. Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 211—216.

6. Tagebuch aus Moskau.

7. HP. № 306 (CVI). P. 16.

8. Любченко Н. Арбат, 30, квартира 58. С. 32 и сл.

9. Там же. С. 27—28.

10. Боннэр Е. Дочки-матери. С. 15—17 и сл.; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 67, 70. О роли бабушек в городских семьях см.: Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 176, 311—312.

11. См.: Fitzpatrick S. The Commissariat of Enlightenment. P. 192, 196, 227—228; Goldman W.Z. Women, the State, and Revolution. Cambridge, 1993. P. 60—63.

12. См.: Fitzpatrick S. Sex and Revolution // Fitzpatrick S. The Cultural Front. P. 65—69.

13. См.: Hachten Ch. Mutual Rights and Obligations: Law, Family, and Social Welfare in Soviet Russia, 1917—1945. Unpublished paper. 1996.

14. Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. С. 82.

15. Timasheff N.S. The Great Retreat. P. 192—203.

16. 2 сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1—9 февраля 1936 г. Стенографический отчет. М., 1936. Бюлл. 5. С. 10; Работница. 1935. № 13. С. 7. Отметим, что русский термин «алименты» относится ко всем видам помощи членам семьи, включая помощь престарелым родителям. Однако самый распространенный вид алиментов — алименты на детей.

17. ПАНО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 41. Л. 172—173.

18. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 769. Л. 78.

19. 2 сессия ВЦИК. Бюлл. 5. С. 10.

20. ПАНО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 10. Л. 100.

21. ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 206. Л. 81.

22. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1516. Л. 74.

23. Труд. 1935. 23 июня. С. 2 (автор Е.Бодрин).

24. Там же. 1936. 15 апр. С. 4; СА. ВКП 385. 381.

25. Горьковская коммуна. 1937. 10 июля. С. 4.

26. ПАНО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 10. Л. 648—657.

27. СА. ВКП 386. 91—92.

28. Крас. газ. 1936. 23 мая. С. 4.

29. См.: Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // SR. 1996. Vol. 55. № 1. P. 96; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 768. Л. 117; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1. Л. 14—15.

30. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 94. Л. 200—201.

31. Этот рассказ основан на публикациях в «Труде» (1935. 22 апр. С. 4; 23 апр. С. 2; 26 апр. С. 4; 6 мая. С. 4; 11 мая. С. 4; 10 июля. С. 4) и «Работнице» (1935. № 21. С. 14). Не совсем ясно, как звали девочку: в некоторых репортажах ее называют «Гета», в некоторых — «Дета».

32. Труд. 1935. 22 апр. С. 4. Неясно, кто автор записки — Васильева или Маруся, но злобный выпад против Каштанова позволяет предположить, что Васильева.

33. Там же. 1935. 22 апр. С. 4; 23 апр. С. 4; 26 апр. С. 4.

34. Репортажи о ходе судебного заседания см.: Работница. 1935. № 21. С. 14; Труд. 1935. 8 мая. С. 2; 10 июля. С. 2.

35. КрП. 1935. 1 апр. С. 2.

36. О беспризорных детях см.: Ball A.M. And Now My Soul Is Hardened.

37. За коммунистическое просвещение. 1935. 12 июля. С. 3; Rapports secrets soviétiques. P. 49.

38. Дети Арины. Воспоминания М.К.Бельской // Женская судьба в России. С. 54—57; ГАРФ. Ф. 7709. Оп. 8. Д. 2. Л. 370—371; СС. 1936. 15 июля. С. 3.

39. СЮ. 1935. № 13. С. 4. Законом от 7 апреля 1935 г. оно было повышено до пяти лет. В 1932 г. НКВД получил распоряжение сделать основной мерой наказания за хулиганство на железной дороге десять лет лишения свободы, а в особых случаях — применять смертную казнь: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 72. Л. 173.

40. Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 144. См. также: СЮ. 1935. № 14. С. 6; Solomon P.H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 197—208.

41. Solomon P.H. Soviet Criminal Justice under Stalin. P. 201; СЮ. 1935. № 13. С. 11. В секретной инструкции Политбюро прокуратуре, датированной 20 апреля 1935 г., разъяснялось, что это означает возможность применения к подросткам высшей меры наказания — смертной казни (Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 144—145, прим. 4), хотя, по словам Соломона (с. 202), в архивах нет свидетельств о реальном исполнении смертных приговоров несовершеннолетним хулиганам.

42. КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 206—211.

43. РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 549. Л. 45.

44. Проект закона был напечатан в «Правде» (1936. 26 мая. С. 1). В преамбуле говорилось, что он подготовлен «в ответ на многочисленные заявления трудящихся женщин о вреде абортов».

45. Труд. 1936. 26 мая. С. 1; 28 мая. С. 2.

46. Дебаты на селе несколько отличались по тону, поскольку деревенские женщины подозревали городских в стремлении увильнуть от материнских обязанностей. См.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 250–251.

47. Труд. 1936. 28 мая. С. 2; 1 июня. С. 2; 2 июня. С. 2.

48. См., напр.: Труд. 1936. 27 мая. С. 2; 28 мая. С. 2; 30 мая. С. 2; 2 июня. С. 2; Крас. газ. 1936. 7 июня. С. 3.

49. Труд. 1936. 27 мая. С. 2. См. также: Работница. 1935. № 17. С. 12.

50. Труд. 1936. 28 мая. С. 2. См. также: Там же. 27 мая. С. 2.

51. Там же. 27 мая. С. 2; 4 июня. С. 2.

52. Там же. 30 мая. С. 2.

53. Крас. газ. 1936. 7 июня. С. 3.

54. Выступление против свободного брака см.: Труд. 1936. 28 мая. С. 2.

55. СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 309.

56. О показателях рождаемости см.: Урланис В.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963. С. 65. Об уголовном преследовании за производство абортов см.: Правда. 1937. 1 июля. С. 6; Красная Башкирия. 1938. 27 апр. С. 4; Московская колхозная газета. 1936. 14 окт. С. 4; Социалистический Донбасс. 1936. 9 окт. С. 4. О преследовании женщин, сделавших аборт, см. интервью с Дубовой: Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 33–34; Московская крестьянская газета. 1936. 14 окт. С. 4.

57. Труд. 1936. 28 мая. С. 2.

58. Московская крестьянская газета. 1936. 9 сент. С. 2.

59. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 312. Л. 87–89 и сл.

60. Запросы см.: Там же. Д. 311. Л. 73, 235, 248. Письмо Вышинского в Совнарком (март 1938 г.) содержало вычеркнутое неизвестно чьей рукой утверждение, что женщины, имеющие арестованных мужей, если их собственная биография чиста, должны получать пособие: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 165. Л. 336.

61. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 29. Д. 312. Л. 37.

62. Общественница. 1939. № 4. С. 25; Жена инженера / Под ред. З.М.Рогачевской. М.–Л., 1936. С. 15. О презрении к домашнему труду см.: Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 185.

63. Жена инженера. С. 16–17. См. также рассказ Е.К.Рабинович (там же).

64. Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности. Стенографический отчет. М., 1936; Труд. 1936. 27 мая. С. 4; Крас. газ. 1936. 14 мая. С. 1. О зарождении движения см.: Швейцер В., Ульрих А. Жены командиров тяжелой промышленности. М.–Л., 1936. С. 17; Общественница. 1936. № 5. С. 7.

65. Об инициативе Суровцевой см.: Швейцер В., Ульрих А. Жены командиров тяжелой промышленности. С. 17. О видах деятельности см. запись в дневнике Штанге об инструкциях, полученных женами работников Наркомата путей сообщения: Intimacy and Terror. P. 171–172.

66. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 186; Общественница. 1937. № 3. С. 14; Швейцер В., Ульрих А. Жены командиров тяжелой промышленности. С. 30.

67. Всесоюзное совещание жен... С. 130, 249; Общественница. 1938. № 5. С. 5.

68. Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 127–128; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2219. Л. 185–188; Intimacy and Terror. P. 190–191, 197; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 89. Л. 74.

69. Жена инженера. С. 64. Об организации жен стахановцев см.: Женщина — большая сила.

70. Intimacy and Terror. P. 175.

71. Общественница. 1937. № 1. С. 14; 1939. № 4. С. 19.

72. Там же. 1939. № 6. С. 46.

73. Там же. С. 25–26.

74. Цит. по: Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 130. Об «освободительном» подходе режима к женскому вопросу см.: Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР. М.–Л., 1934; Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР 1917–1937 гг. М., 1978.

75. См.: Общественница. 1936. № 6. Фото на обл.; № 7–8. С. 43; 1937. № 1. С. 14; № 5. С. 7; № 12. С. 16–17.

76. Там же. 1936. № 3. С. 31; 1937. № 1. С. 14; 1939. № 1(3). С. 17; Intimacy and Terror. P. 184; Общественница. 1939. № 6. С. 17.

77. Там же. 1938. № 5. С. 4–6; 1939. № 1. С. 22–23.

78. Там же. 1936. № 7–8. С. 8–9; 1939. № 2. С. 15–16.

79. См.: Женщина — большая сила (особенно с. 42).

80. Женщины и дети в СССР. Статистический сборник. М., 1969. С. 70–71 (данные переписи 1939 г. в разделе «Руководители предприятий, строек, совхозов, административных учреждений и др.»); Fischer R.T., Jr. Pattern for Soviet Youth. New York, 1959. P. 202–203; Rigby T.H. Communist Party Membership in the U.S.S.R. P. 361.

Глава 7

1. Весьма ценное сравнительное исследование слежки и изучения общественного мнения в первой половине XX в. см.: Holquist P. «Information is the Alpha and Omega of our Work»: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context // JMH. 1997. Vol. 69. № 3.

2. Регулярные сводки о настроении населения похожи на Stimmungsberichte, которые столь же регулярно собирал нацистский режим в Германии. См.: Kershaw I. Public Opinion and Political Dissent in the Third Reich. Oxford, 1984. P. 7–8.

3. Gross J.T. A Note on the Nature of Soviet Totalitarianism // Soviet Studies. 1982. Vol. 34. P. 3. См. также: Accusatory Practices. P. 117.

4. О селькорах см.: Coe S.R. Peasants, the State, and the Languages of NEP: The Rural Correspondents Movement in the Soviet Union, 1924–1928: Ph. D. diss. University of Michigan, 1993; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 276–290. Ответ Сталина Горькому см.: Сталин. Соч. Т. 12. С. 173–177.

5. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1839. Л. 8–11, 24–26.

6. Там же. Д. 1841. Л. 24; Д. 1839. Л. 263.

7. Порой в архивах можно найти имя того или иного осведомителя: например, некий Л. (в деле приводится полное имя) назван «писателем», работающим на НКВД под псевдонимом «Философ» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 235. Л. 10).

8. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1839. Л. 286–288.

9. Там же. Л. 272–273.

10. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 975 (1936); Д. 994 (1938); Д. 994 (1937); Д. 983 (1937); Д. 995 (1938). Решение Политбюро оказалось мудрым, по-

сколько Гольдштейн завоевал 4-е место, а Козолупова — 5-е (первую премию получил Давид Ойстрах): Культурная жизнь в СССР. С. 558.

11. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 975 (1936); Д. 984. Л. 18 (1937).

12. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 2. Д. 1300.

13. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 958. Л. 33 (1935); Д. 978. Л. 13 (1936).

14. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 16а. Д. 446. Л. 36, 163, 166—167, 170.

15. Там же. Л. 6, 215—216.

16. Там же. Л. 190.

17. РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 237. Л. 223—224.

18. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 3553. Л. 62; ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 165. Л. 146. О реакции на законы о трудовой дисциплине см. также: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 44—47; Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. P. 233—253.

19. РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4222. Л. 362—363; СА. ВКП 415. 22, 36. О частушках «Убили Кирова» см. также: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 326; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 176—177.

20. См.: Lenoe M.E. Soviet Mass Journalism... P. 217—218.

21. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1839. Л. 57—59; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 96—97; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 267.

22. Там же. Д. 2064. Л. 41—46.

23. Там же. Л. 41—46; Д. 1860. Л. 184; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1854. Л. 210.

24. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 772. Л. 1—16; Д. 2486. Л. 182—183.

25. Там же. Д. 772. Л. 4, 8.

26. Там же. Д. 2064. Л. 24—28. К чести Ленинградского НКВД следует сказать, что Дудкин-младший, по-видимому, не понес наказания за эту игру, но его отец получил строгий партийный выговор за то, что не смотрит за сыном.

27. Статистические данные см.: Итоги десятилетия советской власти в цифрах 1917—1927. М., [1927]. С. 117. О дебатах см.: Упадочное настроение среди молодежи: Есенинщина. М., 1927. О самоубийствах в Красной Армии в 1930-е гг. см. рапорты ПУР «О политических настроениях и аморальных явлениях в частях РККА»: РГВА. Ф. 9. Оп. 36.

28. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1852. Л. 180—184; Д. 727. Л. 184—186; Д. 1852. Л. 184.

29. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 27. Д. 72. Л. 26—27.

30. Крестьянская газета. 1936. 2 апр.; ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 192. Л. 2—3. О случае «наоборот» см. выше, гл. 5.

31. Цит. из: ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 727. Л. 184; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1. Л. 34.

32. Соловьев А.Г. Тетради красного профессора. С. 160—161.

33. РГВА. Ф. 9. Оп. 29. Д. 143. Л. 81—123.

34. Правда. 1937. 1 июня. С. 6; 2 сент. С. 6. См. также: Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 196—207.

35. Цит. по: Getty J.A. Afraid of Their Shadows. App. 10 // Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. S. 185. О Фурере см. также: Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 199—200.

36. См.: Fitzpatrick S. Supplicants and Citizens.

37. Известия. 1934. 29 мая. С. 2; 1936. 5 мая. С. 4.

38. ВМ. 1935. 20 нояб. С. 1; ВИ. 1995. № 11—12. С. 6; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 46. Л. 13. Благодарю Терри Мартина, который обратил мое внимание на замечание Хатаевича.

39. Осокина Е.А. Кризис снабжения... С. 4.

40. Kotkin S. Coercion and Identity: Workers' Lives in Stalin's Showcase City // Making Workers Soviet. P. 308.

41. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1554. Л. 226—239. В 1935 г. Жданов получил 199 коллективных писем.

42. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 112. Л. 276—277; Д. 51. Л. 276; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1514. Л. 37.

43. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 16. Д. 449. Л. 68; Оп. 2г. Д. 47. Л. 147—149; Д. 48. Л. 219—220.

44. Там же. Оп. 2в. Д. 1839. Л. 100.

45. Там же. Д. 727. Л. 255—257 (письмо датировано 4 декабря 1932 г., пометы Сталина — 21 декабря 1932 г.). Отметим, что передача в государственные инстанции частных писем не всегда мотивировалась страхом, как, вероятно, в данном случае. Иногда отдельные лица передавали властям жалобы на злоупотребления на местах, полагая, что власти должны о них знать: так, например, письмо сельского учителя о злоупотреблениях в колхозе было передано адресатом, бывшим селькором, в Западносибирский крайком партии (ПАНО. Ф. 3. Оп. 9. Д. 952. Л. 211—212). О перлюстрации см.: Измозик В.С. Глаза и уши режима. СПб., 1995; Izmozik V.S. Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU // RR. 1996. Vol. 55. № 2.

46. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1839. Л. 100; Д. 2487. Л. 8, 89, 90. Перехваченные письма обозначаются эвфемизмом «гражданские документы».

47. Getty J.A. State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s // SR. 1991. Vol. 50. № 1. P. 18—35.

48. См., напр.: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14.

49. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1857. Л. 7; Неизвестная Россия. Вып. 2. М., 1992. С. 274.

50. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 32—33. О значительной численности сторонников дискриминации см.: Getty J.A. State and Society under Stalin. P. 26—27; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 105.

51. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 54. О попытках вновь открыть церкви на селе см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 237—239. О ходатайствах такого рода в городе см.: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 78—79.

52. Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 46, 103—108; КрП. 1936. 6 сент. С. 3 (курсив мой).

53. История советской конституции. С. 357.

54. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 8.

55. Там же. Л. 5, 8; Неизвестная Россия. Вып. 2. С. 279. Ст. 10 гарантировала «право личной собственности граждан» на трудовые доходы и сбережения, жилой дом и приусадебный участок, домашнюю утварь, предметы личного пользования и комфорта, а также право наследования такой собственности.

56. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1860. Л. 11; Неизвестная Россия. Вып. 2. С. 278 (курсив мой). В ст. 12 Конституции говорится, что «труд является обязанностью и почетным правом каждого гражданина, по принципу "Кто не работает, тот не ест"» (История советской конституции. С. 346).

57. Неизвестная Россия. Вып. 2. С. 275. О выражении крестьянами своих претензий в ходе обсуждения Конституции см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 169—172.

58. Соответствующие рекомендации см.: СА. ВКП 191. 32. До 1937 г. орган верховной власти страны назывался ЦИК, затем — Верховный Совет.

59. Intimacy and Terror. P. 206.

60. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 147. Л. 1—4, 15.

61. Там же. Л. 1—3, 8, 11.

11 — 788

62. Intimacy and Terror. P. 206. О внезапном повороте в политике см.: Getty J.A. State and Society under Stalin. P. 31—32; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 312—319.

63. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1854. Л. 220.

64. Там же. Л. 227. Это не единственное возражение «национального характера», зафиксированное в донесениях. Избиратели Коми тоже жаловались, что им дали русского кандидата (л. 232).

65. Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 111—112.

66. О слухах см.: Yang A.A. A Conversation of Rumors: The Language of Popular Mentalités in 19th-Century Colonial India // Journal of Social History. Spring 1987. Vol. 21; Viola L. The Peasant Nightmare: Visions of Apocalypse in the Soviet Countryside // JMH. 1990. Vol. 62. № 4; Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 58—60, 82—84, 90—91, 320—331. О слухах насчет Кирова и карточек см.: Rimmell L.A. Another Kind of Fear: The Kirov Murder and the End of Bread Rationing in Leningrad // SR. 1997. Vol. 56. № 3.

67. Маньков А.Г. Из дневника рядового человека (1933—1941) // Звезда. 1994. № 5. С. 151; HP. № 518 (XXVI). P. 54; № 524 (XXVII). P. 48; № 517 (XXVI). P. 40.

68. Ср.: Farge A. Subversive Words. Public Opinion in Eighteenth-Century France / Transl. by R.Morris. University Park, Pa., 1994.

69. Chamberlin W.H. The «Anecdote». Unrationed Soviet Humor // RR. 1957. Vol. 16. № 1. P. 33; Mass Culture in Soviet Russia. P. 213. Об анекдотах см. также: Thurston R.W. Social Dimensions of Stalinist Rule: Humor and Terror in the USSR, 1935—1941 // Journal of Social History. 1994. Vol. 24. № 3.

70. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 83—84; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 176; Маньков А.Г. Из дневника рядового человека. С. 151.

71. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 336. Л. 28, 29, 56, 88; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 106. Л. 49.

72. СА. ВКП 415. 36.

73. Там же. 22; Куромия Х. Сталинская «революция сверху» и народ // Свободная мысль. 1992. № 2. С. 95. О частушках см. также: Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 51—52, 175—177, and passim.

74. Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 70; Mass Culture in Soviet Russia. P. 284.

75. Борев Ю. История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995. С. 84. Вариант первого анекдота, относящийся к периоду нэпа, см.: Mass Culture in Soviet Russia. P. 120.

76. Chamberlin W.H. The «Anecdote». P. 33. Классический советский анекдот на тему бессилия перед властью см. на с. 261.

77. СА. ВКП 320. 240; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2064. Л. 6. Я признательна В.А.Козлову, который обратил мое внимание на публичные выпады как характерную черту поведения в СССР. См.: Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953—1982 гг. / Под ред. В.А.Козлова, С.В.Мироненко. Неопубл. рук.

78. HP. № 523 (XXVII). P. 13—14; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1854. Л. 244.

79. См.: Fitzpatrick S. Signals from Below // Accusatory Practices. P. 111.

80. Примеры см.: ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1518. Л. 1, 14; Д. 727. Л. 367; ГАНО. Ф. 47. Оп. 5. Д. 206. Л. 148.

81. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 16а. Д. 446. Л. 100, 216; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1518. Л. 9; Д. 7272. Л. 367.

82. РГАСПИ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 2. Л. 79.

83. Первая московская областная конференция Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). Стенографический отчет. Вып. 1. М., 1929. С. 173—174 (прочитано Молотовым вслух в его заключительном слове).

84. О расшифровке крестьянами официальных текстов см.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 321—331.

85. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1829. Л. 64; HP. № 415 (XX). P. 42.

86. РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4222. Л. 362—363; СА. ВКП 415. 4, 36.

87. Красный Крым. 1935. 3 янв. С. 1; РГВА. Ф. 9. Оп. 36. Д. 4222. Л. 607; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 116; СА. ВКП 415. 36. См. также: Rimmell L.A. Another Kind of Fear.

88. «Вероисповедание» — пятый пункт анкеты переписи, после пунктов «пол», «возраст», «национальность» и «родной язык»: Всесоюзная перепись населения в 1939 г. Переписи населения. Альбом наглядных пособий. М., 1938. С. 25. В итоге о своем вероисповедании заявили 57 % населения в возрасте 16 лет и старше, и только 43 % назвались «неверующими»: Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания. С. 69.

89. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2486. Л. 36 — 38.

90. Процесс Пятакова начался 23 января, 1 февраля Пятаков и другие обвиняемые были приговорены к смертной казни и расстреляны (Правда. 1937. 24 янв. С. 1; 2 февр. С. 2). Извещение о смерти Орджоникидзе появилось в «Правде» 19 февраля 1937 г. (с. 1).

91. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2487. Л. 141—146.

92. Там же. Л. 141—460.

Глава 8

1. РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 66. Л. 180 (процитировано Еленой Сусловой в ее жалобе в «Крестьянскую газету» на попытку изнасилования [1938]).

2. Gellately R. Denunciations in Twentieth-Century Germany: Aspects of Self-Policing in the Third Reich and the German Democratic Republic // Accusatory Practices. P. 214--215.

3. Лишь недавно стало известно, с какой тяжестью террор 1937—1938 гг. обрушился на маргиналов — бывших кулаков, сектантов, представителей национальных диаспор и т.д. См.: Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 191—193; Getty J.A. Road to Terror. P. 470—480; Shearer D.R. Policing the Soviet Frontier. P. 39—49; Hagenloh P.M. «Socially-Harmful Elements» and the Great Terror. P. 300—302; Martin T.D. An Affirmative Action Empire. Ch. 8.

4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 561. Л. 130, 155. Этот выступавший — Е.Г.Евдокимов с Северного Кавказа.

5. См. записку Маленкова Сталину в начале 1937 г., процитированную О.В.Хлевнюком (1937-й. С. 82—83), а также речь Эйхе на февральско-мартовском пленуме 1937 г. (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Л. 16).

6. Паперный В. Культура «два». С. 169; Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul. P. 350—355.

7. Report of the Court Proceedings... (1937). P. 4, 475, 480—481, 496.

8. Протокол февральско-мартовского пленума опубликован в «Вопросах истории» (1992. № 4—5).

9. Сталин. Соч. Т. I (XIV). С. 254.

10. Звезда. 1937. 3 авг. С. 2.

11. Правда. 1937. 9 февр. С. 1; 30 мая. С. 2; За индустриализацию. 1937. 8 апр. С. 2.

12. Крас. Тат. 1938. 21 апр. С. 4. См. также: Там же. 1937. 24 апр. С. 4; Партийное строительство. 1937. № 15. С. 41—42.

13. Правда. 1937. 25 июля. С. 3.

14. Записка А.И.Ангарова и В.Я.Кирпотина (отдел культуры ЦК) секретарям ЦК Кагановичу, Андрееву и Ежову от 29 авг. 1936 г., см.: «Литературный фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг.: Сборник документов / Сост. Д.Л.Бабиченко. М., 1994. С. 16–20.

15. Поношения в адрес Авербаха см.: Литературная газета. 1937. 20 апр. С. 1; Правда. 1937. 23 апр. С. 2; 17 мая. С. 4; Молот. 1937. 28 мая. С. 2 и т.д. О Киршоне см.: Правда. 1937. 15 мая. С. 4.

16. Литературная газета. 1937. 5 марта. С. 2; Правда. 1937. 17 марта. С. 1; 30 июня. С. 6; За индустриализацию. 1937. 21 мая. С. 4; 22 мая.

17. Правда. 1937. 11 июня. С. 1; Сталин И.В. Невольники в руках германского рейхсвера (Речь И.В.Сталина в Наркомате обороны) // Источник. 1994. № 3. С. 73–74.

18. Правда. 1937. 18 июня. С. 6.

19. Ларина А. Незабываемое. М., 1989. С. 10; Сац Н. Жизнь — явление полосатое. С. 306–313.

20. См. об этом: Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth, Mx., 1971; Хлевнюк О.В. Политбюро.

21. Более широкое освещение самокритики сталинского толка в коллективе см.: Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices. Berkeley, 1999. Chs. 2, 5, 6.

22. Об этих собраниях см.: Труд. 1937. 21 марта. С. 2; Правда. 1937. 22 апр. С. 2; За индустриализацию. 1937. 21 авг. С. 1; Fitzpatrick S. Workers against Bosses: The Impact of the Great Purges on Labor-Management Relations // Making Workers Soviet. P. 315–320; Kravchenko V. I Choose Freedom. London, 1949. P. 216–226. Об антиуправленческой линии в стахановском движении 1936 г. см.: Benvenuti F. Fuoco sui Sabotatori! Stachanovismo e organizzazione industriale in URSS 1934–1938. Roma, 1988. P. 307–327; Maier R. Die Stachanow-Bewegung 1935–1938. Stuttgart, 1990. S. 379–385.

23. Правда. 1937. 10 мая. С. 3.

24. Перевыборы освещались в газете «За индустриализацию»: 1937. 8 апр. С. 2; 10 апр. С. 2; 15 апр. С. 2; 22 апр. С. 4. О разоблачении Гвахарии как «вредителя» см.: Там же. 18 мая. С. 2. О судьбе Зыкова: Medvedev R. Let History Judge. The Origins and Consequences of Stalinism. Revised ed. New York, 1989. P. 398.

25. Историю этих выборов см.: Fitzpatrick S. Lives under Fire.

26. За индустриализацию. 1937. 20 июля. С. 2; 1 авг. С. 3; ТЗ. 1937. 9 мая. С. 3; 16 окт. С. 3; 3 нояб. С. 2; Правда. 1937. 16 июня. С. 4.

27. Дальневосточное дело отчасти является исключением: патрону Хавкина Варейкису несколько месяцев удавалось не допустить исключения Хавкина из партии, но затем сам Варейкис попал в опалу (по другим причинам), и оба были арестованы. См.: Weinberg R. Purge and Politics in the Periphery: Birobidzhan in 1937 // SR. 1993. Vol. 52. № 1. P. 22.

28. Неизвестная Россия. Вып. 4. С. 192. См. также нападки на Носова в «Правде»: 1937. 13 мая. С. 2; 4 июля. С. 2. Носов, датой смерти которого называют 1937 г. (Сталинское Политбюро в 30-е годы. С. 297), почти наверняка стал жертвой террора.

29. Аджубей А. Те десять лет. С. 185–188.

30. СР. 1937. 10–12 июля; 4–6 авг.; 22–23 сент.; РП. 1937. 22 июля; Меньшагин Б.Г. Воспоминания: Смоленск... Хатынь... Владимирская тюрьма. Париж, 1988. С. 31–33; Коммуна. 1937. 23 нояб. С. 3; 24 нояб. С. 3. В целом об этом явлении см.: Fitzpatrick S. How the Mice Buried the Cat: Scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // RR. 1993. Vol. 52. P. 299–320.

31. Документальный фильм о бухаринском процессе под названием «Приговор суда — приговор народа» демонстрировался в Казани месяц спустя в паре с еще одним документальным фильмом «Страна советов»: Крас. Тат. 1938. 28 апр. С. 4.

32. См. выше, гл. 3, о явке воров с повинной.

33. Об участии Шейнина в показательных процессах см.: Vaksberg A. The Prosecutor and the Prey. P. 66, 74–75; За индустриализацию. 1937. 30 авг. С. 1. О его пьесе см.: Молот. 1937. 8 мая. С. 3 (рецензия на постановку Г.Каца в Ростове); Scott J. Behind the Urals. P. 197–203.

34. Шейнин Л. и бр. Тур. Очная ставка. М.–Л., 1938. С. 44, 79.

35. См. выше, гл. 5.

36. Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. С. 225–226; За индустриализацию. 1937. 21 авг. С. 1; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 93. Л. 88; СЮ. 1937. № 4. С. 53–54; КП. 1937. 5 окт. С. 2.

37. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 250. Л. 2, 6; Д. 340. Л. 107.

38. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1570. Л. 49; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 822. Л. 62; Ф. 475. Оп. 1. Д. 16. Л. 36; Д. 9. Л. 259. Все эти примеры взяты из доносов, поступивших в различные инстанции в 1936–1938 гг.

39. ПАНО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 542; СА. ВКП 111. 22.

40. СА. ВКП 392. 66, 91–94.

41. Отчеты о делах «саратовской девятки» и «саратовской двадцатки» (названия даны мной по количеству дел, назначенных к слушанию на каждом из двух судебных заседаний), слушавшихся тройкой НКВД Саратовской области 29 ноября и 31 декабря 1937 г., были затребованы Вышинским, после того как он получил ходатайства от родственников некоторых осужденных; отчеты вместе с ходатайствами см.: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 348. Л. 141; Д. 353. Л. 59–61.

42. ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 141. Д. 1859. Л. 1.

43. См. выше, с. 237

44. McCutcheon R.A. The 1936–1937 Purge of Soviet Astronomers // SR. 1991. Vol. 50. № 1.

45. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 639. Л. 13–14, 20. См. также: Хлевнюк О.В. Политбюро. С. 216–218.

46. Intimacy and Terror. P. 142.

47. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 56. Л. 243–244, 331; Д. 51. Л. 213–223.

48. Источник. 1994. № 3. С. 75; Горьковская коммуна. 1937. 27 июля. С. 3; Советское студенчество. 1939. № 1. С. 16–17.

49. Звезда. 1937. 1 авг. С. 3. Елена Боннэр в детстве встречалась в лагере Артек еще с одним юным ловцом шпионов из Белоруссии: Боннэр Е. Дочки-матери. С. 245.

50. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 335. Л. 29–45.

51. Крокодил. 1939. № 11. С. 8–9. Отметим, что эти анекдоты «про доносы» связаны с мимолетной официальной кампанией против «ложных доносов»; вообще же это была запретная тема.

52. РГАСПИ. Ф. 475. Оп. 1. Д. 10. Л. 138; Д. 16. Л. 36; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 56. Л. 261–263, 315–316; Оп. 81а. Д. 339. Л. 64; Д. 348. Л. 52; Д. 349. Л. 129–135.

53. Примеры доносов на почве бюрократического и профессионального соперничества см.: ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 82. Д. 65. Л. 53, 207; Оп. 81а. Д. 154. Л. 2; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2г. Д. 226. Л. 1. Свидетельства непопулярности РАПП и Авербаха в провинции см.: Молот. 1937. 28 мая. С. 2; РП. 1937. 20 мая. С. 3–4; 3 июня. С. 3.

54. НР. № 338 (XXXIII). Р. 19–20.

55. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 639. Л. 7–8 (цит. в докладе Маленкова на январском пленуме ЦК 1938 г.).

56. Крас. Тат. 1938. 12 июня. С. 2; ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 94. Л. 99–100.

57. Уральский рабочий. 1938. 2 февр. С. 2. Хрущев пришел к такому же выводу насчет обвинителя Постышева — Николаенко: Khrushchev Remembers. The Glasnost Tapes / Transl. J.L.Schecter with V.V.Luchkov. Boston, 1990. P. 34–35.

58. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 93. Л. 321–323.

59. Адамова-Слиозберг О. Путь // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы. М., 1989. С. 12.

60. Трейвас Ф.Е. Мы боролись за идею // Женская судьба в России. С. 91–92.

61. Боннэр Е. Дочки-матери. С. 222. В данном случае тревога оказалась ложной — Елену не арестовали, а вызвали на допрос по поводу родителей.

62. Там же. С. 284.

63. Трифонов Ю. Дом на набережной // Трифонов Ю. Московские повести. М., 1988; Шихеева-Гайстер И. Семейная хроника времен культа личности 1925–1953. М., 1998; Боннэр Е. Дочки-матери.

64. Чуковская Л. Софья Петровна // Чуковская Л. Избранное. М., 1997. С. 55. Софья Петровна — вымышленный персонаж, но Чуковская описывает все это по собственному опыту, поскольку ее муж тоже стал жертвой Большого Террора.

65. Шихеева-Гайстер И. Семейная хроника... С. 36.

66. Боннэр Е. Дочки-матери.

67. LVA SPDN. Ф. 101. Оп. 15. Д. 122. Л. 108–109.

68. Шихеева-Гайстер И. Семейная хроника... С. 34.

69. Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago I–II / Transl. by T.P.Whitney. New York, 1974. P. 160–161.

70. Дневник Нины Костериной // Новый мир. 1962. № 12. С. 78.

71. Пятницкая Ю. Дневник жены большевика. Бенсон, 1987. С. 39, 47–48, 53–54.

72. Орлова Р. Воспоминания. С. 60; Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М., 1966. С. 82–88.

73. Hellbeck J. Tagebuch aus Moskau. S. 240. Другие заявления о невиновности родителей см.: Дневник Нины Костериной. С. 61–63; Шихеева-Гайстер И. Семейная хроника... С. 32; Хлевнюк О.В. 1937-й. С. 216.

74. Боннэр Е. Дочки-матери. С. 335 (курсив мой).

75. ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 2487. Л. 141–146; Fitzpatrick S. Workers against Bosses: The Impact of the Great Purges on Labor-Management Relations // Making Workers Soviet. P. 330–336; Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 130–133.

76. Soviet Youth. P. 123.

77. HP. № 395 (XX). P. 40; № 87 (XXX). P. 14; СА. ВКП 415. 142; КрП. 1937. 2 авг. С. 2.

78. Неизвестная Россия. Вып. 4. С. 192. О его разговорах с Крупской и Крыленко см.: Там же. С. 192–193.

79. Intimacy and Terror. P. 141–142, 162.

80. Ibid. P. 350–351.

81. Сванидзе М.А. Дневники // Иосиф Сталин в объятиях семьи. С. 186–187, 188, 192–193, 193–194, прим. 1.

82. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 81а. Д. 348. Л. 4; Ф. 3316. Оп. 64. Д. 1854. Л. 238.

83. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 639. Л. 708.

84. Чигринов Г.А. Почему Сталин, а не другие? // Вопросы истории КПСС. 1990. № 6. С. 92.

85. Вопрос количества остается дискуссионным, даже несмотря на то что теперь мы гораздо лучше информированы благодаря открытию советских архивов. Архивные данные, собранные Арч Гетти и его помощниками, показывают за период 1937–1938 гг. почти 700000 расстрелянных и такое же количество приговоренных к заключению в тюрьму или лагерь, а также гораздо меньшее число (ок. 20000 чел.) приговоренных к ссылке. Тот же источник дает цифру 1,4 млн арестов за «контрреволюционные преступления» и почти 300 тыс. арестов за «антисоветскую агитацию» в эти годы (Getty J.A. Road to Terror. P. 588).

Заключение

1. Пересказ Чемберлина: Chamberlin W.H. The «Anecdote». P. 31. Другую версию см.: Борев Ю. История государства советского... С. 40.

2. Kornai J. Economics of Shortage. Vol. B. P. 567; Idem. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princeton, 1992. P. 56; HP. № 357 (XIX). P. 6; № 394 (XX). P. 11; № 399 (XX). P. 12.

3. Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 46; HP. № 511 (XXVI). P. 6; № 420 (XXI). P. 10; № 4 (I). P. 36. Заметим, что жалобы на невозможность жить «нормально» вновь зазвучали в 1980-е гг., на сей раз в связи с тем, что Советский Союз не «цивилизованная» страна. Суть «перестроечного» варианта подобных жалоб заключалась в невозможности для образованных специалистов обеспечить себе западный образ и уровень жизни.

4. HP. № 92 (VII). P. 39 (курсив мой).

5. Общество и власть. 1930-е годы. Повествование в документах / Под ред. А.Соколова. М., 1998. С. 189 – 191; HP. № 531 (XXVII). P. 14, 28–29; Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 172.

6. Крестьянский дневник принадлежит Федору Ширнову (Intimacy and Terror).

7. Hellbeck J. Tagebuch aus Moskau; Intimacy and Terror (дневники Штанге и Шапориной); Маньков А.Г. Из дневника рядового человека; Он же. Из дневника 1938–1941 гг. // Звезда. 1995. № 11; Дневник Нины Костериной.

8. Ransel D.L. Summer Nurseries under the Soviets as Device for Mobilizing Peasant Women and Diminishing Infant Mortality: Paper delivered to First Midwest Russian History Workshop. Ann Arbor, March 1991; а также частная переписка с автором (14 и 23 янв. 1998 г.). См. также ответы в кн.: Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own — используя в качестве ориентиров слова «революция», «коллективизация» и «война», напр., с. 83, 114, 128–129, 173.

9. См., напр.: HP. № 3 (I). P. 11; № 4 (I). P. 9; № 8 (I). P. 9.

10. Berliner J. Blat is Higher than Stalin. P. 31.

11. О положительном герое в советской литературе см.: Clark K. The Soviet Novel. P. 167–171 and passim.

12. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Роман. М., 1995; Они же. Золотой теленок. Роман. М., 1995; Robinson H. Sergei Prokofiev. New York, 1988. P. 277; Твардовский А. Василий Теркин: Поэма; Теркин на том свете: Поэма; Стихи разных лет. М., 1995. Следует заметить, что в столь же популярном продолжении поэмы Твардовского «Теркин на том свете», впервые распространившемся в самиздате послесталинского периода, открыто высмеивается советская бюрократия.

13. См.: Hough J.F. Democratization and Revolution in the USSR, 1985–1991. Washington, DC., 1997. P. 52.

14. Интересное освещение вопроса см.: Davies S. «Us Against Them»: Social Identities in Soviet Russia, 1934–1941 // RR. 1997. Vol. 56. № 1.

15. ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 14. Л. 80; ЦГАИПД. Ф. 24. Оп. 2в. Д. 1518. Л. 32 (письмо подписано: «Рабочие Кировского завода», 1935); Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. P. 139.

16. Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. P. 300–301.

17. Цит. по: Lenoe M.E. Soviet Mass Journalism... P. 313.

18. Ulam A.B. Stalin. New York, 1973. Ch. 8. Об обновлении элит см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... Ch. 9.

19. Хотя пассивность была общим правилом, бывали и исключения. См.: Rossman J.J. The Teikovo Cotton Workers' Strike of April 1932: Class, Gender and Identity Politics in Stalin's Russia // RR. 1997. Vol. 56. № 1.

20. Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago. P. 160; Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. P. 300; Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of their Own. P. 97.

21. О рабочем классе в 1930-е гг. см.: Making Workers Soviet. Великолепный обзор текущего состояния исследований по данному вопросу см.: Suny R.G. The Soviet Experiment. New York, 1998. P. 240–249. Мнение об эксплуатации см.: Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. P. 8–9. О сопротивлении см.: Rossman J.J. The Teikovo Cotton Workers' Strike...

22. Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul. P. 365. См. также: Kotkin S. Magnetic Mountain. P. 225–230.

23. Сельское население — это другой вопрос. Как я писала в «Сталинских крестьянах», удар, нанесенный коллективизацией, озлоблял и отчуждал крестьянство от государства на протяжении всего десятилетия. О данных переписи см.: Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания. С. 65–66.

24. См. выше, гл. 4, а также: Timasheff N.S. The Great Retreat.

25. Kornai J. The Socialist System. P. 56, 315. О распределительной функции государства см.: Verdery K. National Ideology under Socialism. P. 74–83.

БИБЛИОГРАФИЯ

Газеты и журналы

А. Советские газеты и журналы 30-х гг.

Бюллетень Народного комиссариата снабжения СССР
Вечерняя красная газета (Ленинград)
Вечерняя Москва
Горьковская коммуна
Грозненский рабочий
Диктатура труда (Сталино)
За индустриализацию
За коммунистическое просвещение
Звезда
Известия
Коммуна (Воронеж)
Коммунист (Саратов)
Комсомольская правда
Красная Башкирия
Красная газета (Ленинград)
Красная Татария (Казань)
Красный Крым (Симферополь)
Крестьянская газета (Москва)
Крестьянская правда (Ленинград)
Крокодил
Ленинградская правда
Литературная газета
Молодая гвардия
Молот (Ростов-на-Дону)
Московская колхозная газета
Московская крестьянская газета
Наша газета
Наши достижения
Общественница
Огонек
Партийное строительство
Правда
Пути индустриализации
Работница
Рабочий (Минск)
Рабочий край (Иваново)

Рабочий путь (Смоленск)
Северный рабочий (Ярославль)
Советская Сибирь (Новосибирск)
Советская юстиция
Советский спорт
Советское государство
Советское студенчество
Социалистический вестник (Берлин и др.)
Социалистический Донбасс (Сталино)
Тихоокеанская звезда (Хабаровск)
Труд
Уральский рабочий (Свердловск)

Б. Научные журналы

Вопросы истории
Вопросы истории КПСС / Кентавр
История СССР / Отечественная история
Источник
Коммунист / Свободная мысль
Родина
Социологические исследования

Journal of Modern History
Russian History
Russian Review
Slavic Review
Soviet Studies / Europe-Asia Studies

Книги, статьи, диссертации, неопубликованные рукописи

Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф—Бремен, 1994

Адамова-Слиозберг О. Путь // Доднесь тяготеет. Вып. 1: Записки вашей современницы. М., 1989

Аджубей А. Те десять лет. М., 1989

Алфавитно-предметный указатель к приказам и распоряжениям НКТП за 1935 г. М., 1936

Ангелина П. Люди колхозных полей. М., 1948; Она же. О самом главном. М., 1948

Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. М., 1934

Бенедиктов И.А. О Сталине и Хрущеве // Молодая гвардия. 1989. № 4

Бордюгов Г.А. Социальный паразитизм или социальные аномалии (Из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, бродяжничеством в 20—30-е годы) // История СССР. 1989. № 1

Борев Ю. История государства советского в преданиях и анекдотах. М., 1995

Булгакова Е. Дневник Елены Булгаковой. М., 1990

Бусыгин А. Жизнь моя и моих друзей. М., 1939

Водолагин М.А. Очерки истории Волгограда 1589—1967. М., 1968

Волков А. А.М.Горький и литературное движение советской эпохи. М., 1958

Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991

Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992

Всесоюзное совещание жен хозяйственников и инженерно-технических работников тяжелой промышленности: Стенографический отчет. М., 1936

Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета XVI созыва, 1—9 февраля 1936 г.: Стенографический отчет. М., 1936

Героини социалистического труда. М., 1936

Гиляровский В. Москва и москвичи. М., 1979

Глотов Б. Билет до Ленинграда. Большевик Зинаида Немцова, как она есть // Огонек. 1988. № 27

Горький М. Собр. соч. в 30 т. М., 1949—1955

Гранин Д. Ленинградский каталог // Нева. 1984. № 9

Громыко А.А. Памятное. Кн. 1. М., 1988

Гронский И. Из прошлого... Воспоминания. М., 1991

Декреты советской власти. Т. 2. М., 1959

Добкин А.И. Лишенцы // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.—СПб., 1992

Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. Лондон, 1988

Дугин Н. Открывая архивы // На боевом посту. 1989. 27 дек.

Елагин Ю. Темные гении (Всеволод Мейерхольд). Нью-Йорк, 1955; Он же. Укрощение искусств. Нью-Йорк, 1952

Жена инженера / Под ред. З.М.Рогачевской. М.—Л., 1936

Женская судьба в России. Документы и воспоминания / Ред. Б.С.Илизарова; Предисл. Т.М.Горяевой. М., 1994

Женщина — большая сила. Северное краевое совещание жен стахановцев, Архангельск 1936. Архангельск, 1936

Женщины и дети в СССР: Статистический сборник. М., 1969

Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930—1954) // Отечественная история. 1994. № 1

Зощенко М. Рассказы, фельетоны, повести. М., 1958

Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929—1932 гг.). М., 1972

Изменения социальной структуры советского общества: 1921 — середина 30-х годов. М., 1979

Измозик В.С. Глаза и уши режима. Государственный политический контроль за населением советской России в 1918—1928 годах. СПб., 1995

Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман. М., 1995; Они же. Золотой теленок: Роман. М., 1995

Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. М., 1993

Исаев В.И. Формирование городского образа жизни рабочих Сибири в период социалистической реконструкции народного хозяйства // Урбанизация советской Сибири / Под ред. В.В.Алексеева. Новосибирск, 1987

История советского кино. Т. 2: 1931—1941. М., 1973

История советской конституции. Сборник документов 1917—1957. М., 1957

История социалистической экономики СССР: В 7 т. М., 1977—1978. Т. 3, 4

Итоги десятилетия советской власти в цифрах 1917—1927. М., [1927]

Капица П.Л. Письма о науке, 1930—1980. М., 1989

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 5 (1931—1941). М., 1971

Коржихина Т.П. Борьба с алкоголизмом в 20-х — начале 30-х годов // Вопросы истории. 1985. № 9

Костерина Н. Дневник Нины Костериной. М., 1964

Крамола: Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе, 1953—1982 гг. / Ред.: В.А.Козлов, С.В.Мироненко, Е.Ю.Завадская, О.В.Эдельман. Рукопись

Крицман Л. Героический период великой русской революции. 2-е изд. М.—Л., 1926

Культурная жизнь в СССР 1928—1941. Хроника. М., 1976

Культурное строительство СССР. Статистический сборник. М.—Л., 1940

Куромия Х. Сталинская «революция сверху» и народ // Свободная мысль. 1992. № 2. С. 93—96

Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге. М., 1994

Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М., 1966

«Литературный фронт». История политической цензуры 1932—1946 гг. Сборник документов / Сост. Д.Л.Бабиченко. М., 1994

Любченко Н. Арбат, 30, квартира 58 // Источник. 1993. № 5—6

Макаренко А.С. Соч. в 7 т. М., 1957—1958

Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР (1917—1963 гг.). М., 1964

Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970

Маньков А.Г. Из дневника рядового человека (1933—1934 гг.) // Звезда. 1994. № 5; Он же. Из дневника 1938—1941 гг. // Звезда. 1995. № 11

Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года // Вопросы истории. 1992. № 4—5

Мелкая промышленность СССР. По данным переписи 1929 г. Вып. 1. М., 1933

Меньшагин Б.Г. Воспоминания: Смоленск... Хатынь... Владимирская тюрьма. Париж, 1988

Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза. [М.], 1939

Михаил Кольцов, каким он был. М., 1965

Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917—1953 гг. М., 1974

Народное образование, наука и культура в СССР. Статистический сборник. М., 1971

Народное хозяйство Псковской области. Статистический сборник. [Л.], 1968

Неизвестная Россия. XX век. Т. 1—4. М., 1992—1993

Нейман Г.Я. Внутренняя торговля СССР. М., 1935

О Валериане Куйбышеве: Воспоминания, очерки, статьи. М., 1983

Общество и власть. 1930-е годы: Повествование в документах / Под ред. А.К.Соколова. М., 1998

Осокина Е.А. За зеркальной дверью Торгсина // Отечественная история. 1995. № 2; Она же. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения 1928—1935 гг. М., 1993; Она же. Кризис снабжения 1939—1941 гг. в письмах советских людей // Вопросы истории. 1996. № 1; Она же. Люди и власть в условиях кризиса снабжения 1939—1941 годов // Отечественная история. 1995. № 3

Очерки истории советского кино / Под ред. Ю.С.Калашникова и др. Т. 1, 2. М., 1956, 1959

Паевский В.В. Вопросы демографической и медицинской статистики. М., 1970

Паперный В. Культура «два». Энн Арбор, 1985

Пензенская область за 50 лет советской власти. Статистический сборник. Саратов—Пенза, 1967

Первая московская областная конференция Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков): Стенографический отчет. Вып. 1. М., 1928

Перепись населения. Альбом наглядных пособий. М., 1938

Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев В.Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 г.) // Социологические исследования. 1990. № 7

Поспелов Е.М. Имена городов: вчера и сегодня. Топонимический словарь. М., 1993

Прамнек Е. Отчетный доклад V Горьковской областной партийной конференции о работе обкома ВКП(б). Горький, 1937

Пришвин М. Дневники. М., 1990

Пятницкая Ю. Дневник жены большевика. Бенсон, Вермонт, 1987

Работница на социалистической стройке: Сборник автобиографий работниц / Под ред. О.Н.Чаадаевой М., 1930

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917—1967 гг.). Т. 2. М., 1967

Сац Н. Жизнь — явление полосатое. М., 1991

Сборник важнейших постановлений по труду / Сост. Я.Л.Киселев, С.Е.Малкин. М., 1938

XVII съезд ВКП(б). 20 янв. — 10 февр. 1934 г.: Стенографический отчет. М., 1934

Серебренников Г.Н. Женский труд в СССР. М.—Л., 1934

Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР

Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР

Соловьев А.Г. Тетради красного профессора, 1912—1941 гг. // Неизвестная Россия. XX век. Т. 4. М., 1993

Социалистическое строительство Союза ССР (1937—1938 гг.). Статистический сборник. М., 1939

Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. М., 1934

Сталин И.В. Сочинения: В 13 т. М.; Он же. Сочинения: В 3 т. (XIV—XVI) / Ред. Р.Макнейл. Стэнфорд, 1967; Он же. «Невольники в руках германского рейхсвера» (Речь И.В.Сталина в Наркомате обороны) // Источник. 1994. № 3

Сталинское Политбюро в 30-е годы: Сборник документов. М., 1995

Старков Б. Как Москва чуть не стала Сталинодаром // Известия ЦК КПСС. 1990. № 12

Статистический сборник по Северному краю за 1929—1933 годы. Архангельск, 1934

Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф.Чуева. М., 1991

Сытин П.Б. Из истории московских улиц (очерки). М., 1958

Твардовский А. Василий Теркин: Поэма; Теркин на том свете: Поэма; Стихи разных лет. М., 1995

Твардовский И. Страницы пережитого // Юность. 1988. № 3

Тихомиров В.А. Промкооперация на современном этапе. М., 1931

Толковый словарь русского языка в 4 т. / Под ред. Д.Н.Ушакова. М., 1935–1940

Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года: Стенографический отчет. М., 1963

Трифонов Ю. Дом на набережной // Трифонов Ю. Московские повести. М., 1988

Труд в СССР: Статистический справочник. М., 1936

Труд в СССР: Статистический справочник. М., 1968

Упадочное настроение среди молодежи: Есенинщина. М., 1927

Урланис В.Ц. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963

Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001

Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996; Он же. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М., 1993; Он же. 1937-й: Сталин, НКВД и советского общество. М., 1992

Чамкина М. Художественная открытка. М., 1993

Чигринов Г.А. Почему Сталин, а не другие? // Вопросы истории КПСС. 1990. № 6

Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР 1917–1937 гг. М., 1978

Чухин И. Каналармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. Петрозаводск, 1990

Швейцер В., Ульрих А. Жены командиров тяжелой промышленности. М.–Л., 1936

Шейнин Л. Записки следователя. М., 1965

Шейнин Л., братья Тур. Очная ставка. М.–Л., 1938

Шенталинский В. Рабы свободы. В литературных архивах КГБ. [М.], 1995

6-я Всеказахская конференция РКП(б) 15–23 ноября 1927 года: Стенографический отчет. Кзыл-Орда, 1927

Шихеева-Гайстер И.А. Семейная хроника времен культа личности (1925–1953 гг.). Рукопись

Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев» // Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: Роман. М., 1995; Он же. Комментарии к роману «Золотой теленок» // Ильф И., Петров Е. Золотой теленок: Роман. М., 1995

Accusatory Practices. Denunciation in Modern European History 1789–1989 / Ed. S.Fitzpatrick, R.Gellately. Chicago, 1997

Alexopoulos G. Rights and Passage: Marking Outcasts and Making Citizens in Soviet Russia, 1926–1936: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996; Portrait of a Con Artist as a Soviet Man // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 4; The Ritual Lament // Russian History. 1997. Vol. 24. № 1–2

Andrle V. Workers in Stalin's Russia. Industrialization and Social Change in a Planned Economy. New York, 1988

Arlès P. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life / Transl. R.Baldick. New York, 1962

Bailes K.E. Technology and Society under Lenin and Stalin. Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 1917–1941. Princeton, 1978

Ball A.M. And Now My Soul is Hardened. Abandoned Children in Soviet Russia, 1918–1930. Berkeley, 1994; Russia's Last Capitalists. The Nepmen, 1921–1929. Berkeley, 1987

Barber J. Stalin's Letter to the Editors of Proletarskaya Revolyutsiya // Soviet Studies. 1976. Vol. 28. № 1

Bauer R.A. The New Man in Soviet Psychology. Cambridge, 1952

Benvenuti F. Fuoco sui Sabotatori! Stachanovismo e organizzazione industriale in URSS 1934–1938. Roma, 1988

Berg R.L. Memoirs of a Geneticist from the Soviet Union / Transl. D.Lowe. New York, 1988

Berliner J. Blat is Higher than Stalin // Problems of Communism. 1954. Vol. 3. № 1; Factory and Manager in the Soviet Union. Cambridge, Mass., 1957

Beyrau D. Die organisierte Autor: Institutionen, Kontrolle, Fürsorge // Kultur im Stalinismus / Ed. G.Gorzka. Bremen, 1994

Bone J. Soviet Controls of the Circulation of Information in the 1920s and 1930s // Cahiers du monde russe. 1999. Vol. 40. № 1–2

Bonner E. Mothers and Daughters / Transl. A.W.Bouis. New York, 1993

Bourdieu P. Language and Symbolic Power / Transl. G.Raymond, M.Adamson. Cambridge, Mass., 1991

Boym S. Common Places. Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge, Mass., 1994

Brooks J. Socialist Realism in Pravda: Read All about It! // Slavic Review. Winter 1994. Vol. 53. № 4; When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton, 1985

Brown A. The Gorbachev Factor. Oxford, 1996

Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917–1923. Vol. 1. Harmondsworth, Mx., 1966; Foundations of a Planned Economy, 1926–1929. Vol. 2. London, 1971; Socialism in One Country, 1924–1926. Vol. 2. London, 1959

Carr E.H., Davies R.W. Foundations of a Planned Economy, 1926–1929. Vol. 1. London, 1969

Carswell J. The Exile: A Life of Ivy Litvinov. London, 1983

Chamberlin W.H. The «Anecdote»: Unrationed Soviet Humor // Russian Review. 1957. Vol. 16. № 1

Chukovskaya L. Sofia Petrovna / Transl. by A.Worth, revised by E.Kellogg Klose. Evanston, 1988

Clark K. Petersburg. Crucible of Cultural Revolution. Cambridge, Mass., 1995; The Soviet Novel. History as Ritual. Chicago, 1985

Coe S.R. Peasants, the State, and the Languages of NEP: The Rural Correspondents Movement in the Soviet Union, 1924–1928: Ph. D. diss. University of Michigan, 1993

Cohen S.F. Bukharin and the Bolshevik Revolution. New York, 1973

Colton T.J. Moscow. Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass., 1995

Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth, Mx., 1971

Crankshaw E. Khrushchev's Russia. Harmondsworth, Mx., 1959

Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 / Ed. S.Fitzpatrick. Bloomington, 1978

The Culture of the Stalin Period / Ed. H.Günther. New York, 1990

David-Fox M. Revolution of the Mind. Higher Learning among the Bolsheviks, 1918–1929. Ithaca, 1997

Davies R.W. The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929–1930. Cambridge, Mass., 1980

Davies S. The «Cult» of the Vozhd': Representations in Letters from 1934—1941 // Russian History. 1997. № 1—2; Popular Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda and Dissent, 1934—1941. Cambridge, 1997; «Us Against Them»: Social Identities in Soviet Russia, 1934—41 // Russian Review. 1997. Vol. 56. № 1

De Certeau M. The Practice of Everyday Life / Transl. S.F.Rendall. Berkeley, 1984

Deutscher I. The Prophet Unarmed. Trotsky: 1921—1929. Oxford, 1959

Dunham V.S. In Stalin's Time. Middleclass Values in Soviet Fiction. Enlarged and updated edition. Durham, 1990

Edelman R. Serious Fun. A History of Spectator Sports in the U.S.S.R. New York, 1993

Engel B.A., Posadskaya-Vanderbeck A. A Revolution of Their Own. Voices of Women in Soviet History. Boulder, Colo., 1997

Everyday Subjects: Formations of Identity in Early Soviet Culture / Ed. C.Kiaer, E.Naiman. Cornell University Press, forthcoming

Fainsod M. Smolensk under Soviet Rule. London, 1958

Farge A. Subversive Words. Public Opinion in Eighteenth-Century France / Transl. R.Morris. University Park, Pa., 1995

Feuchtwanger L. Moscow, 1937. My Visit Described for My Friends / Transl. I.Josephy. New York, 1937

Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization. The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928—1941. Armonk, N.Y., 1986

Fischer L. Soviet Journey. New York, 1935

Fischer M. Palaces on Monday. Harmondsworth, Mx., 1944

Fischer R.T., Jr. Pattern for Soviet Youth. A Study of the Congresses of the Komsomol, 1918—1954. New York, 1959

Fitzpatrick S. After NEP: The Fate of NEP Entrepreneurs, Small Traders, and Artisans in the «Socialist Russia» of the 1930s // Russian History. 1986. Vol. 13. № 2—3; Ascribing Class: The Construcrion of Social Identity in Soviet Russia // Journal of Modern History. 1993. Vol. 65. № 4; The Commissariat of Enlightenment. Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917—1921. Cambridge, 1970; The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992; Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921—1934. Cambridge, 1979; How the Mice Buried the Cat: Scenes from the Great Purges of 1937 in the Russian Provinces // Russian Review. 1993. Vol. 52; Lives under Fire. Autobiographical Narratives and Their Challenges in Stalin's Russia // De Russie et d'ailleurs. Mélanges Marc Ferro. Paris, 1995; Supplicants and Citizens. Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s // Slavic Review. 1996. Vol. 55. № 1

Gambrell J. The Wonder of the Soviet World // New York Review of Books. 1994. 22 December. P. 30—35

Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass., 1968

Getty J.A. The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks 1932—1939. New Haven, 1999; Origins of the Great Purges. The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933—1938. Cambridge, 1985; State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s // Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 1

Getty J.A., Rittersporn G.T., Zemskov V.N. Victims of the Soviet Penal System in the Pre-war Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence // American Historical Review. 1993. Vol. 98. № 4

Gill G. The Origins of the Stalinist Political System. Cambridge, 1990

Ginzburg E. Into the Whirlwind / Transl. P.Stevenson, M.Harari. Harmondsworth, Mx., 1968

Goldman W. Women, the State and Revolution. Soviet Family Policy and Social Life, 1917—1936. Cambridge, 1993

The Great Purge Trial / Ed. R.C.Tucker, S.F.Cohen. New York, 1965

Gross J.T. A Note on the Nature of Soviet Totalitarianism // Soviet Studies. 1982. Vol. 34. July

Guillebaud P. The Role of Honorary Awards in the Soviet Economic System // American Slavic and East European Review. 1953. Vol. XII. № 4

Hagenloh P.M. «Socially-Harmful Elements» and the Great Terror // Stalinism: New Directions / Ed. S.Fitzpatrick. London, 2000

Harris J.R. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet System. Ithaca, 1999; Purging Local Cliques in the Urals Region, 1936—7 // Stalinism: New Directions / Ed. S.Fitzpatrick. London, 2000

Hatchen C. Mutual Rights and Obligations: Law, Family, and Social Welfare in Soviet Russia, 1917—1945. Unpublished paper (1996)

Hellbeck J. Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931—1939) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. Bd. 44. Heft 3

Hessler J. Culture of Shortages. A Social History of Soviet Trade, 1917—1953: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996

The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life / Ed. A.Lüdtke; Transl. W.Templer. Princeton, 1995

A History of Private Life / Ed. M.Perrot. Vol. 4. From the Fires of Revolution to the Great War / Transl. A.Goldhammer. Cambridge, 1990

Hoffman D.L. Peasant Metropolis. Social Identities in Moscow, 1928—1941. Ithaca, 1994

Holquist P. «Information is the Alpha and Omega of our Work»: Bolshevik Surveillance in its Pan-European Context // Journal of Modern History. 1997. Vol. 69. № 3

Hough J.F. Russia and the West. Gorbachev and his Politics of Reform. New York, 1988

Hough J.F., Fainsod M. How the Soviet Union is Governed. Cambridge, 1979

Hubbard L.E. Soviet Trade and Distribution. London, 1938

Inkeles A., Bauer R. The Soviet Citizen. Daily Life in a Totalitarian Society. New York, 1968

Intimacy and Terror. Soviet Diaries of the 1930s / Ed. V.Garros, N.Korenevskaya, T.Lahusen. New York, 1995

Izmozik V.S. Voices from the Twenties: Private Correspondence Intercepted by the OGPU // Russian Review. 1996. Vol. 55. № 2

Josephson P. Physics and Politics in Revolutionary Russia. Berkeley; Los Angeles, 1991

Jowitt K. New World Disorder. The Leninist Extinction. Berkeley, 1992

Kershaw I. Public Opinion and Political Dissent in the Third Reich. Bavaria 1933—1945. Oxford, 1984

Kharkhordin O.V. The Collective and the Indidvidual in Russia. A Study of Practices. Berkeley, 1999

Khrushchev Remembers / Ed. Strobe Talbott. Boston, 1970

Khrushchev Remembers. The Glasnost Tapes / Transl. J.L.Schecter, V.V.Luchkov. Boston, 1990

Kimerling E. Civil Rights and Social Policy in Soviet Russia, 1918—1936 // Russian Review. 1982. Vol. 41. № 1. January

Kingsley C. The Water-Babies. A Fairy Tale for a Land Baby. London, 1903

Klein J. Belomorkanal. Literatur und Propaganda in der Stalinzeit // Zeitschrift für slavische Philologie. 1995/6. Bd. 55. № 1

Kopelev L. The Education of a True Believer / Transl. G.Kern. New York, 1980

Kornai J. Economics of Shortage. 2 vols. Amsterdam, 1980; The Socialist System: The Political Economy of Communism. Princeton, 1992

Kotkin S. Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995

Kravchenko M. The World of the Russian Fairy Tale. Berne, 1987

Kravchenko V. I Chose Freedom. The Personal and Political Life of a Soviet Official. London, 1949

Kultur im Stalinismus / Hrsg. von G.Gorzka. Bremen, 1994

Kuromiya H. Stalin's Industrial Revolution. Politics and Workers, 1928—1932. Cambridge, 1988

Lahusen T. How Life Writes the Book, Real Socialism and Socialist Realism in Stalin's Russia. Ithaca, 1997

Larina A. This I Cannot Forget. The Memoirs of Nikolai Bukharin's Widow / Transl. G.Kern. New York, 1988

Ledeneva A. Russia's Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges. Cambridge, 1998

Lemon A.M. Indic Diaspora, Soviet History, Russian Home: Political Performances and Sincere Ironies in Romani Culture: Ph. D. diss. University of Chicago, 1995

Lenoe M.E. Soviet Mass Journalism and the Transformation of Soviet Newspapers, 1926—1932: Ph. D. diss. University of Chicago, 1997; Unmasking, Show Trials, and the Manipulation of Popular Moods. Ms.

The Letter as a Work of Art / Publ. by S.Fitzpatrick // Russian History. 1997. № 1—2

Lewin M. The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia. New York, 1985

Leyda J. Kino. A History of the Russian and Soviet Film. London, 1973

Littlepage J.D., Demaree B. In Search of Soviet Gold. New York, 1938

Maclean F. Eastern Approaches. London, 1949

Maier R. Die Stachanow-Bewegung 1935—1938. Stuttgart, 1990

Makarenko A.S. Learning to Live (Flags on the Battlements) / Transl. R.Parker. Moscow, 1953; The Road to Life (An Epic of Education): In 3 parts / Transl. I. and T.Litvinov. Moscow, 1951

Making Workers Soviet. Power, Class, and Identity / Ed. L.H.Siegelbaum, R.G.Suny. Ithaca, 1994

Mandelshtam N. Hope Abandoned / Transl. M.Hayward. New York, 1974

Martin T.D. An Affirmative Action Empire: Ethnicity and the Soviet State, 1921—1938: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996; Origins of Soviet Ethnic Cleansing // Journal of Modern History. 1998. Vol. 70. № 4

Mass Culture in Soviet Russia. Tales, Poems, Songs, Movies, Plays and Folklore 1917—1953 / Ed. J.Van Geldern, R.Stites. Bloomington, 1995

McCannon J. Positive Heroes at the Pole: Celebrity Status, Socialist-Realist Ideals, and the Soviet Myth of the Arctic, 1932—39 // Russian Review. 1997. Vol. 56. № 3. July; Red Arctic: Polar Exploration and the Myth of the North in the Soviet Union, 1932—1939. New York, 1998

McCutcheon R.A. The 1936—1937 Purge of Soviet Astronomers // Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 1

Medvedev R. Let History Judge. The Origins and Consequences of Stalinism / Ed. and transl. G.Shriver. Revised ed. New York, 1989

Messana P. Kommunalka. Une histoire de l'Union soviétique à travers les appartements communautaires. Paris, 1995

Miller F.J. Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudofolklore of the Stalin Era. Armonk, N.Y., 1990

The Moscow Theatre for Children. Moscow, 1934

Muggeridge M. Winter in Moscow. London, 1934

Neuberger J. Hooliganism. Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900—1914. Berkeley, 1993

Nove A. An Economic History of the U.S.S.R. Harmonrsworth, Mx., 1972

Orlova R. Memoirs / Transl. S.Cioran. New York, 1983

Party, State, and Society in the Russian Civil War. Explorations in Social History / Ed. D.P.Koenker, W.G.Rosenberg, R.G.Suny. Indiana, 1989

Payne M.J. Turksib: The Building of the Turkestano-Siberian Railroad and the Politics of Production during the Cultural Revolution, 1926—1931: Ph. D. diss. University of Chicago, 1994

Petrone K. Parading the Nation: Physical Culture Celebrations and the Construction of Soviet Identities in the 1930s // Michigan Discussions in Anthropology. 1996. Vol. XII

Peukert D.J.K. Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition, and Racism in Everyday Life / Transl. R.Deveson. New Haven, 1987

Pipes R. The Russian Military Colonies, 1810—1831 // Journal of Modern History. 1950. Vol. 22. № 3. September

Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia. The Eighteenth-Century Nobility. New York, 1966

Ransel D.L. Summer Nurseries under the Soviets as Device for Mobilizing Peasant Women and Diminishing Infant Mortality: Paper presented at First Midwest Russian History Workshop, Ann Arbor, March 1991

Rapports secrets soviétiques. La société russe dans les documents confidentiels 1921—1991 / Ed. N.Werth, G.Moullec. Paris, 1994

Reese R.R. Stalin's Reluctant Soldiers. A Social History of the Red Army, 1925—1941. Lawrence, Kans., 1996

Report of the Court Proceedings in the Case of the Anti-Soviet «Bloc of Rights and Trotskyites» Heard before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R. Moscow, March 2—13, 1938. Moscow, 1938

Report of the Court Proceedings in the Case of the Anti-Soviet Trotskyite Centre, Heard before the Military Collegium of the Supreme Court of the U.S.S.R. Moscow, January 23—30, 1937. Moscow, 1937

Revelations from the Russian Archives. Documents in English Translation / Ed. D.P.Koenker, R.D.Bachman. Washington DC, 1997

Richmond S.D. Ideologically Firm: Soviet Theater Censorship, 1921—1928: Ph. D. diss. University of Chicago, 1996

Rigby T.H. Communist Party Membership in the U.S.S.R, 1917—1967. Princeton, 1968; Political Elites in the USSR. Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev. Aldershot, 1990

Rimmel L.A. Another Kind of Fear: The Kirov Murder and the End of Bread Rationing in Leningrad // Slavic Review. 1997. Vol. 56. № 3

Roland B. Caviar for Breakfast. Sydney, 1989

Rosenberg H. The Leica and Other Stories. [Canberra], 1994

Rossman J.J. The Teikovo Cotton Workers' Strike of April 1932: Class, Gender and Identity Politics in Stalin's Russia // Russian Review. 1997. Vol. 56. № 1

Rukeyser W.A. Working for the Soviets: An American Engineer in Russia. New York, 1932

Russia in the Era of NEP. Explorations in Soviet Society and Culture / Ed. S.Fitzpatrick, A.Rabinowitch, R.Stites. Bloomington, 1991

Rybakov A. Children of the Arbat / Transl. H.Shukman. Boston, 1988; Fear / Transl. A.W.Bouis. Boston, 1992

Scheffer P. Seven Years in Soviet Russia. New York, 1932

Schlesinger R. Changing Attitudes in Soviet Russia. The Family. Documents and Readings. London, 1949

Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. New York, 1951

Scott J.C. The Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, 1985

Scott J. Behind the Urals. An American Worker in Russia's City of Steel. Bloomington, 1973

Serge V. Memoirs of a Revolutionary 1901—1941 / Transl. P.Sedgwick. London, 1963

Shearer D.R. Policing the Soviet Frontier. Social Disorder and Repression in Western Siberia during the 1930s: Paper presented at annual meeting of AAASS, Seattle, November 1997

Siegelbaum L.H. «Dear Comrade, You Ask What We Need»: Soviet Rural «Notables» and the Politic of Distribution in the Mid-1930s // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 1; Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935—1941. Cambridge, 1988

Simonov N.S. «Strenghten the Defence of the Land of the Soviets»: The 1927 «War Alarm» and its Consequences // Europe-Asia Studies. 1996. Vol. 8. № 8. December

Slezkine Yu. Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994; From Savages to Citizens: The Cultural Revolution in the Soviet Far North, 1928—1939 // Slavic Review. 1992. Vol. 51. № 1

Social Dimensions of Soviet Industrialization / Ed. W.G.Rosenberg, L.H.Siegelbaum. Bloomington, 1993

Solomon P.H., Jr. Soviet Criminal Justice under Stalin. Cambridge, 1996

Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago. Vols. 1—2 / Transl. T.P.Whitney. New York, 1974

Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories / Ed. N.K.Novak-Deker // Institut zur Erforschung der UdSSR. Series 1. № 51. München, 1959

Stalinism: New Directions / Ed. S.Fitzpatrick. London, 2000

Stalinismus vor dem Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung / Stalinism before the Second World War. New Avenues of Research / Hrsg. von M.Hildermeier, E.Müller-Luckner. München, 1998

Stalinist Terror. New Perspectives / Ed. J.A.Getty, R.T.Manning. Cambridge, 1993

Starr S.F. Red and Hot. The Fate of Jazz in the Soviet Union. New York, 1983

Stites R. Russian Popular Culture, Entertainment and Society since 1900. Cambridge, 1992

Suny R.G. The Soviet Experiment. Russia, the USSR, and the Successor States. New York, 1998

Tagebuch aus Moskau 1931—1939 / Hrsg. von J.Hellbeck. München, 1996

Testimony. The Memoirs of Dmitri Shostakovich / Ed. S.Volkov; Transl. A.W.Bouis. New York, 1980

Thurston R.W. Life and Terror in Stalin's Russia, 1934—1941. New Haven, 1996; Social Dimensions of Stalinist Rule: Humor and Terror in the USSR, 1935—1941 // Journal of Social History. 1991. Vol. 24. № 3

Timasheff N.S. The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia. New York, 1946

Tomoff K. People's Artist, Honored Figure: Official Identity and Divisions within the Soviet Music Profession. 1946—53. Unpublished paper

Trotsky L. The Revolution Betrayed. London, 1967

Tucker R.C. Stalin in Power. The Revolution from Above, 1928—1941. New York, 1990

Tuominen A. The Bells of the Kremlin. An Experience in Communism / Ed. P.Heiskanen; Transl. L.Leino. Hannover; London, 1983

Ulam A.B. Stalin. The Man and his Era. New York, 1973

Urussowa Ja. «Seht die Stadt, die leuchtet»: zur Evolution der Stadtgestalt in den sowjetischen Filmen der 20er und 30er Jahre: Paper delivered at University of Tübingen, 6 May 1997

Vaksberg A. Hotel Lux. Les partis frères au service de l'Internationale communiste / Transl. O.Simon. Paris, 1993; The Prosecutor and the Prey. Vyshinsky and the 1930s Moscow Show Trials / Transl. J.Butler. London, 1990

Van Geldern J. The Centre and Periphery: Cultural and Social Geography in the Mass Culture of the 1930s // New Directions in Soviet History / Ed. S.White. Cambridge, 1992

Verdery K. National Ideology under Socialism. Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley, 1991

Verner A.M. What's in a Name? Of Dog-Killers, Jews and Rasputin // Slavic Review. 1994. Vol. 53. N 4

Viola L. The Peasant Nightmare: Visions of Apocalypse in the Soviet Countryside // Journal of Modern History. 1990. Vol. 62. № 4; Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. New York, 1996

Volkogonov D. Stalin. Triumph and Tragedy / Transl. H.Shukman. Rocklin, CA, 1992

Voslensky M. Nomenklatura. The Soviet Ruling Class / Transl. E.Mosbacher. New York, 1984

Weinberg R. Purge and Politics in the Periphery: Birobidzhan in 1937 // Slavic Review. 1993. Vol. 52. № 1

Werth N. Etre communiste en URSS. Paris, 1981

Widdis E. Decentring Cultural Revolution in the Cinema of the First Five-Year Plan: Paper presented at annual meeting of AAASS, Seattle, November 1997

Witkin Z. An American Engineer in Stalin's Russia. The Memoirs of Zara Witkin, 1932—1934 / Ed. M.Gelb. Berkeley, 1991

Yang A.A. A Conversation of Rumours: The Language of Popular Mentalités in 19th-Century Colonial India // Journal of Social History. Spring 1987. Vol. 21

Zinoviev A. Homo Sovieticus / Transl. C.Janson. Boston, 1985; The Radiant Future / Transl. G.Clough. New York, 1980

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Оглавление

В оформлении обложки использована фотография А. Родченко
«Лозунги на Тверской. 1932» (История Москвы глазами русских
и зарубежных фотографов. М., 1997. С. 31)

Научное издание

ИСТОРИЯ СТАЛИНИЗМА

Шейла Фицпатрик

ПОВСЕДНЕВНЫЙ СТАЛИНИЗМ

Социальная история Советской России в 30-е годы: город

Пер. с англ. *Л. Ю. Пантина*
Художественный редактор *А. К. Сорокин*
Художественное оформление *П. П. Ефремов*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 20.01.2008.
Формат 60×90 1/16 . Бумага офсетная №1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,0. Тираж 2000 экз. Заказ 788

Издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 82.
Тел./факс: 334-82-42 (отдел реализации)
Тел.: 334-81-87 (дирекция)

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6